

СИБИРИАДА

ВАЛЕРИЙ
ПОВОЛЯЕВ



Бурсак
в седле

СИБИРИАДА

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Бурсак в седле

Москва
«Вече»
2010

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84 (2Рос-Рус)
П42

Поволяев, В.Д.
П42 Бурсак в седле : роман / Валерий Поволяев. — М.: Вече, 2010. — 448 с. — (Сибириада).

ISBN 978-5-9533-5071-6

Новый захватывающий роман известного российского писателя Валерия Поволяева рассказывает об одном из наиболее трагических эпизодов российской истории — Гражданской войне на Дальнем Востоке. В центре повествования — яркая, трагичная судьба войскового атамана Уссурийского казачьего войска генерал-майора Ивана Павловича Калмыкова (1890—1920), который стал одним из самых непримиримых борцов с советской властью на Дальнем Востоке. Части Калмыкова контролировали Транссибирскую магистраль на протяжении от Никольска-Уссурийского до Хабаровска. В феврале 1920 года, после поражения армии Колчака, атаман Калмыков ушел в Маньчжурию, где вскоре был арестован китайской жандармерией и расстрелян.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос-Рус)

ISBN 978-5-9533-5071-6

© Поволяев В.Д., 2010
© ООО «Издательский дом «Вече», 2010

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

На охоту вышли рано — солнце едва проклюнулось сквозь душную серую наволочь уходящей ночи, обозначилось темной розовой точкой, осветило тайгу тревожно и коротко, и через несколько минут пропало. Комары, гудевшие в воздухе, будто аэропланы, взъярились, заплясали, сделались лютыми — спасу от них не стало.

Иван Калмыков с силой саданул себя по шее, раздавил в кровь пару крупных, напившихся до отвала насекомых, подкинул в руке старый кавалерийский карабин и выругался:

— Кусаются — будто дробью хлещут! И какая только нечистая сила выдумала этих комаров?

Его напарник Григорий Куренев поспешно рассовал по карманам патроны.

— Пора бы вам к ним привыкнуть, господин подъяесаул! Столько времени у нас живете, столько пота и кровушки скормили им, а все свыкнуться не можете... Меня они, например, совсем не замечают.

— У тебя, Гриня, кожа толстая, как сапожная стелька. А какой комар, скажи, может прокусить сапожную стельку, а?

— Тут встречаются такие комары, что не только сапожную стельку — седло прокусывают.

— Ага! — Калмыков не выдержал, усмехнулся иронично. — Есть вообще такие комары, что с аэропланами запросто в воздухе сталкиваются... Комару хоть бы хны, он как ни в чем не бывало, летит дальше, а аэроплан с поломанными крыльями врезается в землю. Мотор — в одну сторону, хвост в другую, а господин авиатор в порванной кожаной одежде висит на дереве, глаза таращит, не может понять, что с ним произошло.

Куренев захохотал оглушающее громко, будто из ружья начал палить по фазанам, — обхохотавшись, сгибом пальца смахнул с глаз слезы, похвалил напарника:

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Вы — большой молодец, Иван Палыч, здорово рассказывать умеете. Талант... Только рассказ ваш — это же во! — Куренев согнул крючком прокопченный, коричневый от табака и костерного дыма указательный палец, показал его Калмыкову. — Загнули вы! Здорово загнули...

— Хочешь — переkreщусь! — предложил Калмыков. — Ничего я не загнул, сказал правду и только правду!

Куренев засмеялся вновь, потом поднес к губам кулак, оборвал смех, словно бы вытряхнул себе в ладонь разные добрые и недобрые слова, очистился от них и проговорил озабоченно:

— Пора идти, Иван Палыч, солнце скоро поднимается совсем, тогда нам с вами не до охоты станет — все зверье попрячется.

— Не попрячется, — уверенно произнес Калмыков. — Пошли!

В последнюю минуту, уже на окраине станицы, перед тем как нырнуть в густую душную сумеречь уссурийских дебрей, Куренев замедлил шаг:

— Может, все-таки лошадей возьмем, Иван Павлыч? Как считаете?

— Зачем?

— Чтобы ноги не бить.

— Задерут наших лошадей медведи, Гриня.

— Не дадим.

— А медведи у тебя и спрашивать не будут.

— Мы найдем, чем воздействовать на косолапых, — Куренев ласково провел ладонью по ложу карабина. — Косолапые будут довольны.

— Гриня, я сказал: «Нет!»

— Понял, господин подъяесаул, больше вопросов не задаю. — Куренев поддернул на плече карабин и поднял вверх обе руки. — Главное, чтобы ноги потом не ругали голову.

— Ты пойми, Гриня, я соскучился по тайге, — Калмыков повысил голос, потом, словно бы не зная, куда деть свободную руку, поправил ею светлые, аккуратно остриженные усы — выгоревшие, пропахшие дымом, редькой, водкой и огурцами, заквашенными в дубовой бочке, у таких огурцов и вкус особый, — давно не ходил по ней... А мне так надо пройти по ней сейчас, так надо... — Калмыков сжал руку в кулак, стиснул пальцы сильно, даже костяшки затрещали, словно бы он их раздавил. Тайга мне иногда даже снится. А я, ты знаешь, Гриня, человек не слабый, мне всякая ерунданиться не будет.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Знаю это, Иван Палыч, — Куренев боднул головой воздух, прогоняя крупных назойливых комаров, — видел вас в деле, ведаю, каким может быть Иван Палыч Калмыков. И раз уж тайга начала сниться — значит не довольна она, значит, обязательно надо повидаться с ней.

Калмыков ничего не сказал на это, резко свернул вправо и врубился в высокие черные кусты, облепленные белесыми легкокрылыми насекомыми, похожими на летающую тлю. Тля высоким гудящим облаком поднялась над ветками, воздух опасно заколебался. Калмыков на ходу сломил лапу у молодой елки, шлепнул ею себя по шее, потом еще раз шлепнул, затем прошелся по спине.

Тля, гудя жадно, голодно, отступила от него.

Уходить далеко от станицы охотники не собирались, рассчитывали побывать на солонцах, расположенных километрах в двух от жилых домов, взять там молодого, не обремененного рогатыми детишками козла и вернуться домой. «Семейных» договорились не трогать, — особенно самок — пусть живут и воспитывают подрастающее поколение, — бить только одних самцов. Планировали также посидеть на берегу какого-нибудь говорливого ручья, поджарить на костре козлиную печенку, полакомиться ею, запить еду студеной водой, от которой ломит зубы. Но недаром говорится: «Человек предполагает, а Бог располагает»...

На солонцах козлов не оказалось — то ли люди какие недавно здесь прошли и, дыша ханкой — плохой китайской водкой, которую гонят из гнилого риса, вонючим табаком, прожигаящим в легких дыры, потя и сморкаясь, распугали всю дичь, то ли тигр устроил тут лежку, то ли еще что-то произошло. Ни Калмыков, ни Куренев определить этого не смогли, но солонцы были пусты...

Калмыков выругался, сшиб точным плевком жирного паука, повисшего на серебряной нитке.

— В трех километрах отсюда есть еще одни солонцы, — сказал Куренев, — пошли туда.

— Пошли! — Калмыков заткнул за ремешок форменной казачьей фуражки небольшую кедровую лапу — этой хитрости он научился на войне у немцев. С одной стороны, это маскировка, с другой — мухи не кусают; комары, конечно, не такие глупые существа, как мухи, но кедровую хвою

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

тоже не любят, начинают пищать жалобно, отваливают в сторону; что же касается мокреца, мошки, кусачей тли, то на них этот немецкий фокус не действует, — и сразу стал похож на индейца, находящегося на боевом задании и приготовившегося сварить из какого-нибудь белого вкусный суп... Первым двинулся дальше по чащобе, чуть прихрамывая на одну ногу — след фронтального ушиба. Калмыкова тогда придавило лошадьё; иногда этот ушиб проявлялся внезапной хромотой.

Был подъесаул Калмыков, как всякий конник, кривоват, ногами мог чертить дуги, будто он полжизни провел в седле, обнимал конечностями крутой конский круп, но, несмотря на криволапость и легкую хромоту, по тайге двигался очень уверенно, по-охотничьи бесшумно, бросал взгляд то в одну сторону, то в другую, все засекал и, если что-то ему не нравилось, стискивал желваки так, что те крупными каменными кругляками начинали бугриться под кожей.

Прошли километра полтора и присели отдохнуть на поваленной пихте. Калмыков сломил еще одну хвойную ветку, сунул ее под ремешок фуражки, затянул ремешок шлевкой. Огляделся, поворачивая голову резкими птичьими движениями.

— Что-то, Гриня, пусто в тайге — нет зверья! А должно быть. И козлы должны быть, и кабаны, и изюбры.

— Я и сам, Иван Палыч, понять ничего не могу.

Где-то далеко вверху, над макушками деревьев, плавилось, брызгалось жаром, неторопливо двигаясь по прочерченному на невидимой карте курсу, солнце, но лучи его вниз, к комлям деревьев, во влажной серый сумрак не проникали, свет застревал в ветках; лишь в некоторых местах он окрашивал сумрак в бодрящую розовину и пропадал, бесследно растворяясь в угрюмом пространстве.

— Что, Иван Павлыч, хотите вернуться в станицу? Устали?

— Нет, не устал, — раздраженно проговорил Калмыков, — я же сказал, что соскучился по тайге.

— Возвращаться, значит, не будем?

— Без добычи не будем.

— Мне такая твердость нравится, — похвалил подъесаула Курнев. — Любо!

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Старое казачье слово «любо» на востоке произносилось редко — не привилось оно, как, скажем, в Кубанском войске, в Донском или в Терском, хотя слово это очень славное, слух ласкает и душу греет, но здешние казаки скорее подхватят и понесут дальше что-нибудь китайское, «сюсю» или «мусю». Странные люди!

Оттаивая, Калмыков улыбнулся, показал напарнику желтоватые прокуренные зубы:

— Любо! — С хрустом выдрал из земли пук травы, стер им налипь с сапог, стукнул одним каблуком о другой, стряхивая сор, оставшийся после травы, затем оперся прикладом карабина о землю, собираясь подняться, но Куренев поднялся первым, приложил палец ко рту.

— Тихо, Иван Палыч, — едва слышно пошевелил он губами.

Калмыков беззвучно поднялся, также немо шевельнул губами:

— Ну?

— Крик я слышал... Далекий.

— Человек кричал? Или кто-то еще?

— Не знаю.

Калмыков вытянул голову, прислушался. Среди деревьев перелетали сойки, галдели базарно, но резкие кухонные голоса их не были громкими, увязали в духоте тайги; еще попискивала тоненько, ладно, просила своего суженого, чтобы не сердился за жиденский обед — в следующий раз она наловит гусениц побольше и потолще, таких, что в клюв вмещаться не будут, — незнакомая птичка... вот и все. Что еще было слышно?

Больше ничего.

— Жалобный был крик, — добавил Куренев тихо, — очень жалобный.

— Кто-то кого-то сожрал...

Куренев отрицательно качнул головой.

— Нет, гут было что-то другое. На всякий случай, Иван Павлыч, загоните патрон в ствол.

— У меня всегда патрон в стволе... Фронтная привычка.

— Да-а-а... Там кто раньше успеет пальнуть — тот и пан, — Куренев вновь вытянул шею, напрягся, стараясь не упустить ни одного звука, даже самого неприметного, все, что доходило до него, фильтровал; звуки, которые могли сопутствовать опасности, отделял.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

А опасные звуки были. И вкрадчивый недалекий шорох, словно бы по траве проползла гигантская змея, и шипенье, будто на раскаленную сковородку плеснули воды, а она превратилась в пузырчатый блин и растворилась с хлопанием и фырканием. Раздался также чей-то топот — как будто невдалеке, в кустах, пробежал казак с кривыми заплетающимися ногами, разворошил сочную траву и поднял в воздух тучу жалобно пищавших комаров.

— Ну чего, слухач? — спросил Калмыков. — Засек что-нибудь?

— Пока ничего.

— Может, и не было ничего?

— Было, Иван Павлыч, было, — Куренев подкинул в руке карабин. — Двигать отсюда надо, пока на нас сзади мама не напала.

Мамами в станицах уважительно звали тигров. Кто-то когда-то придумал это уважительное прозвище, и оно осталось, уцелело во времени, дожило до сих пор. Калмыков глянул в одну сторону, потом в другую. В душном стоячем воздухе крутилась мошкара — рябило перед глазами этакое живое неприятное пшено, спускалось к земле, стригло траву, потом вспархивало вверх, под ветки деревьев, мельтешило там несколько минут, затем начинало вновь опускаться вниз.

Тревожно было в тайге.

Возможно, Куренев прав — не исключено, где-то рядом крутится мама, наблюдает за ними, выбирает момент, когда можно будет напасть на людей. Пахло чем-то кислым, гнилым, запах этот щекотал ноздри, на кончики ресниц напозлали мелкие, рожденные раздражением слезы.

— Пойдемте, пойдемте, господа подьесаул, — напарник ухватил Калмыкова за рукав, потянул, — пойдемте отсюда. Крик, который я слышал, — нехороший.

Калмыков растянул рот в насмешливой улыбке.

— Что ты говоришь, Гриня! Испугался, что ль?

— Нет, не испугался. Но разобраться, что это за дребедень, надо. Кто кричал, почему мороз по коже ползет, почему делается не по себе?

Что-то тут, господин подьесаул, не то...

Они прошли метров двадцать, врубились в бурелом, и Куренев вновь остановился. В угрожающем движении выставил перед собой ствол карабина. Повернул к Калмыкову голову.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Слышали что-нибудь, Иван Палыч?

— Нет, — тот отрицательно качнул головой.

— Может, мне померещилось?

— Всякое может случиться, — лицо у Калмыкова сделалось насмешливым.

Куренев вытянул шею. Невдалеке по траве проскакала белка, звонко цокнула, затем, вцепившись когтями в кору дерева, понеслась вверх. Вновь звонко и зло цокнула. Низко, петляя между стволами, пронеслась небольшая хищная птица, с лету сшибла какую-то невзрачную птаху, резко устремилась под кроны деревьев, оттуда вновь спикировала вниз, подхватила птаху цепкими лапами и растворилась в горячем сером сумраке. Куренев, не двигаясь, продолжал слушать пространство.

Было тихо. Тайга всегда бывает наполнена громкими звуками, птичьими криками, пением, зверушечьим шебуршанием, свиристением, шипением и стонами; у каждого существа — свой голос и свой язык, все сливается в единый хор, а тут — ничего... Ничего, кроме отдельных звуков. Словно бы в тайге угасла жизнь.

— Ну? — поинтересовался Калмыков.

— Приблизилось, — неуверенно проговорил Куренев.

Ощущение тревоги не проходило. Скорее, наоборот, — оно нарастало.

— Не пойму что-то, — беззвучно, будто немой, зашевелил губами Куренев, — неужто приблизилось?

Они стояли молча минуты три. Неожиданно из замусоренной глубины леса, из темной чащи, до них донесся протяжный стон, прервался, затем раздался вновь. Куренев ощутил, как по коже у него пополз холод, а хребет сделался влажным от пота. Калмыков также вытянул голову.

Будучи человеком взрывным, со сложным характером, — иногда характер этот доводил подъясаула до бешенства, — в минуты опасности Калмыков делался спокойным и холодным, как кусок льда, наливался силой и готов был часами рубиться с неприятелем. Лицо у него побелело, под глазами образовались сизые тени, желваки напряглись. Калмыков нагнул голову, будто боксер на ринге.

— Этот звук ты слышал, Гриня? — спросил он.

— Этот.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Это не звук, это стон. Стон человека, который вот-вот должен умереть. Уже концы отдает, находится в агонии, но еще живет. Иди, Гриня, влево, я вправо, сейчас мы возьмем его в кольцо. А там видно будет...

Калмыков сделал несколько шагов вправо и словно бы провалился в некий захламленный зеленый омут; Куренев тоже провалился в такой же омут, исчез в нем с головой. Калмыков остановился, прислонился плечом и пробковому дереву, покрытому мшистой зеленой шкуркой — пробку доедал лишай, — замер, рассчитывая услышать тяжелый стон умирающего. Вместо этого из чащи принесли зажатый вздох, повис на ближайшем кусте, но и этого Калмыкову было достаточно, чтобы сориентироваться.

Он вспомнил случай, произошедший на фронте. В Карпатах дело было, в позднюю весеннюю пору. Весна тогда задержалась, замерла в своей поступи, хотя солнце проклевывалось сквозь облака и освещало землю скудным красным светом и заставляло шевелиться сугробы, а ночью припекал мороз совершенно зимний и все запечатывал в броню. Сугробы сделались будто бы отлитыми из чугуна — не только нога человека не проваливалась, даже лошадиные копыта и те прочно стояли на металлической поверхности сугробов, не продавливали их, воздух стекленел... У заснувшего в окопе человека шинель примерзала к спине. Суrowая была весна. Хуже зимы. Впрочем, зима зиме — рознь.

Однажды ночью на нейтральной полосе — небольшом пространстве, изрытом воронками, раздался тихий, родивший оторопь стон — он проник в душу, в сердце, выворачивал все наизнанку — такой это был стон. Описать его было невозможно, описанию он не поддавался, — у двух солдат прямо в окопе случилась истерика, будто у изнеженных слаонервных дамочек, и тогда Калмыков, командовавший спешенными казаками, послал двух человек на нейтралку — проверить, кто же стонет... Вдруг наш?

Хотя наших там вроде бы не должно быть — днем в окопах произвели пересчет, все находились на месте, ранней ночью к немцам ходила разведка, но и разведчики вернулись все, ночевать расположились дома... В общем, проверить все равно надо было.

А тихий, рожденный неизбывной болью стон продолжал держать окопы в напряжении. Не спал никто.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Два человека, скребя локтями по насту, уползли в темноту. Вернулся один. Второй был убит немецким ножом прямо в сердце, напарник выволок его тело, чтобы похоронить по христианским обычаям...

Разгадка же оказалась проста.

В одной из воронок лежал без сознания, с развороченным животом немец в форме горной егерской бригады и стонал, рядом сидел другой немец — битюг с литыми плечами и двадцатикилограммовыми кулаками, дежурил. Вооружен он был двумя ножами.

Когда посланцы Калмыкова доползли до этой воронки, там уже лежало дворе русских с перерезанными глотками — приползли из других окопов; битюг постарался их не упустить.

В воронке завязалась драка. Одного из калмыковцев битюг убил — ловким ударом ножа почти целиком отсек ему голову, второй — казак из-под Гродеково, оказался ловчее и сильнее немца и уложил его.

Стон, доносившийся из замусоренных уссурийских глубин, из серого жаркого мрака, чем-то напоминал тот стон, который издавал тяжелораненый немец весной шестнадцатого года.

Подъесаул передернул плечами, оттолкнулся локтями от замшелого пробкового ствола и шагнул прямо в куст, покрытый красными, влажно поблескивавшими ягодами, раздвинул его, следом смял другой куст, такой же, только поменьше, машинально, щепотью сдернул с ветки несколько ягод, отправил в рот, подумал, что надо бы нарвать ягод побольше, ведь это — целебный лимонник.

Вкус у лимонника — горький, свежий, у этих ягод вкус тоже был горьким, но это была явно не та горечь, что у лимонника, — какая-то закишшая, и Калмыков, поморщившись, выплюнул красную жеванину.

Еще не хватало съесть какую-нибудь отраву, волчью ягоду, и свалиться на землю с приступом желудочной рези.

В следующее мгновение он забыл о красных горьких ягодах, на ходу, не останавливаясь, смял еще несколько небольших кустов, перелез через завал осклизлых, начавших гнить деревьев, и очутился на небольшой, густо завешенной нитями паутины поляне. Недовольно поморщился — странно и страшно выглядела эта поляна, будто ее целиком соткал некий гигантский паук, ловил теперь в сети людей и зверей и пожирал их.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

По левому краю поляны был проложен неровный темный след, как по осенней белой изморози. Это был след человека. Если бы прошел зверь, изюбр или козел, след был бы ровным, словно рисованным; человек же всегда оставляет после себя стежок рваный, неопрятный, будто бы ходок был сильно выпивший... Калмыков обвел поляну стволом карабина, готовый каждую секунду надавить на спусковой крючок, сжал губы в твердую складку: там, где прошел человек, может не только стон раздаваться.

Ходоков, судя по всему, было двое, шли нога в ногу, след в след, чтобы поменьше оставлять мятой травы, двигались осторожно — кого-то боялись.

«Это китайцы, — подумал Калмыков, — жень-шень ищут, лимонники сдирают с кустов, за древесными лягушками охотятся...» На щеках у подьесаула появились кирпично-твердые желваки: ходоков из-за кордона он не любил.

Согнулся над следом, увидел отчетливый отпечаток ноги: травинки, попавшие под подошву, не успели распрямиться, были придавлены. Значит, люди прошли здесь совсем недавно. Калмыков, будто зверь, потянул ноздрями воздух, ощутил в нем примесь пота, ханки и еще чего-то, схожего с прокисшей едой, вновь недовольно поморщился. Услышав над собой сухой треск, поднял голову. На высоком дереве, обламывая сухие сучки, неуклюже топталась, прогибая ветку, ворона, вытирала о лапы клюв и следила одним недобрый зраком за человеком.

Второй зрак дежурил, находился на стреме, обозревал пространство: нет ли в нем чего худого и опасного?

Калмыков хотел хлопнуть в ладони и спугнуть ворону, но в следующее мгновение остановил себя. Ворона эта — колдунья; хлопок принесется обратно, и неведомо еще, пустой он будет или с начинкой.

Из замусоренной глубины до него снова донесся стон — слезный, жалкий, на стон не похожий. Калмыков ощутил, как на горло ему легли чьи-то невидимые пальцы, и он бочком, бочком, стараясь, чтобы ноги при движении попадали в следы, уже оставленные людьми, обошел поляну и вновь, почти беззвучно, гася на ходу собственный шум, врубился в кусты.

Все вокруг было рябым — зелень рябая, стволы деревьев рябые, покрытые светлым недобрый крапом, далекое небо между двумя макушка-

БҮРСАК В СЕДЛЕ

ми — рябое, ворона, оставшаяся сидеть на ветке, тоже была рябой, словно ее обрызгали жидкой известкой. Калмыков ощутил, как у него сама по себе задергалась щека, внутри возник и тут же исчез холод — подьесаул подавил его...

Он проскребся сквозь кусты с трудом, быстро запыхался, остановился, чтобы оглядеться и перевести дух, посмотрел вверх, в прореху, образованную толстыми кривыми ветками. В прореху протиснулся плоский неяркий луч солнца, упал в траву. Несколько мгновений, ушибленный, лежал неподвижно, потом ожил, чуть передвинулся по зелени и исчез. Ветки вверху сомкнулись, и прорехи не стало.

Перед лицом Калмыкова возникла толстая, в налипи водяных капель и пота паутина, ловко перекинута от одного куста к другому. Посреди сетки, недоуменно тараща глаза, сидел толстый паук с ярким коричневым крестом, нарисованным на шерстистом упитанном теле. Калмыков невольно притормозил, потом, что было силы, шарахнул прикладом по пауку.

Тот, будто гуттаперчивый мальчик, унесся в кусты; в сетке образовалась крупная черная дыра. Калмыков выругался матом.

— Нечисти нам всякой только не хватало, — он брезгливо поерзал прикладом карабина по траве, стирая с оружия противную паучью мокроту, передернул плечами — внутренностей у паука оказалось не меньше, чем у крупной мясистой курицы.

В стороне послышался треск сломанной ветки. Калмыков стремительно развернулся, ткнул в пространство карабином, но в следующий миг опустил оружие — это Куренев так неаккуратно пробирался сквозь кусты, давил ветки. Лазутчик, называется!

Между стволами, ловко огибая их, пробежал слабенький, пахнувший травяной прелью ветерок, и до Калмыкова вновь донесся угасающий, страшный, похожий на полет смерти стон. Подьесаул, словно бы подстегнутый, вскинулся, сделал несколько поспешных шагов, вгрызаясь в чащу, но в следующее мгновение замедлил ход, перевел дыхание. Спешить в тайге — последнее дело; спешить тут надо, оглядываясь, иначе быстро окажешься в чьей-нибудь пасти, либо в лицо тебе вопьется острыми зубами беспощадная змея-стрелка, прыгающая прямо с земли... Яд у стрелки — смертельный, лекарств от него — никаких. Говорили,

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

во Владивостоке работает кто-то над сывороткой, способной вывести человека после укусу из комы, — но работает ли?

Россия катится в бездну, в никуда, люди месят друг друга, счет идет на десятки тысяч, убить ныне человека стало легче, чем зарезать курицу, так занимается ли кто-либо это сывороткой ныне? Вряд ли. Скорее всего, этот человек занят другим — спасает себя самого и свою душу.

Калмыков огляделся и увидел серый, словно бы запыленный хвост змеи, удиравшей от него в дебри, вскинул карабин, чтобы послать вдогонку пулю, но тут же опустил оружие.

Из глубины чащи вновь прилетел стон, словно бы там сидел некий колдун. Стонал, подманивал к себе людей, посылал стоны то в дну сторону, то в другую, потешался, азартно потирал руки — любил подурачить людей. Калмыков розыгрышей и насмешек не признавал, крепко стиснул зубы — даже в висках у него нехорошо зазвенело, перед глазами поплыл нездоровый розовый сумрак.

Путь перегородили несколько поваленных деревьев. Они лежали плотно, одним сомкнутым рядом, с отслаивающейся шкурой, приросшие к земле, безобидные на вид, но очень опасные для человека. Всякий таежный ходок съезжает со ствола задом вниз, словно бы эти гниющие деревья намазаны мылом — не одолеть. Сопревшая шкура ствола бывает такой скользкой, что не только люди и козы, но даже ловкие медведи ломают в таких буреломах лапы. Калмыков сторяча поставил ногу на ствол, лежавший с краю, — показалось, что ствол уже подсох и покрылся пылью, время его обработало — человека не опрокинет, и тут же, чертыхнувшись, полетел на землю. Карабин вырвался у подъесаула из рук и по-козлиному отпрыгнул в сторону, будто живой.

Чертыхнувшись вторично, Калмыков перекатился по траве, ухватил карабин пальцами за цевье, оперся на оружие, как на костыль, и поспешно поднялся. Недобро поиграл желваками: если оружие само выпрыгивает из рук — плохая примета. Низко, опавнув лицо размеренными движениями крыльев, над ним пронеслась ворона, каркнула громко и злобно. Калмыков вскинул карабин и чуть было не нажал на спусковой крючок, но в последний миг сдержал себя. Поспешно выдернул из защитной дужки предохранявшей курок.

БҮРБАК В СЕДЛЕ

Ворона засекала движение, которое сделал человек, злобное карканье у нее застряло в глотке, будто кость, шарахнулась в сторону, чуть не врезалась в кривой кленовый ствол, подъеденный ядовитой ржавью, проступавшей на земле, заполошно хлопнула крыльями и исчезла.

— Так-то лучше, ведьма! — угрюмо пробормотал Калмыков.

Из темной, плотно забитой валежником чащи прибежал заморенный, совсем лишенный сил ветер, вместе с ним опять прилетел тихий шелестящий стон, выбивший у Калмыкова на коже холодную болезненную сыпь.

— Тьфу! — он покрутил головой, нервно раздернул воротник на старой гимнастерке — нечем было дышать.

Через несколько мгновений стон повторился. Калмыков скатился в крутой, серебрившийся от летней паутины ложок, сделал неловкий шаг, подскользнулся, но на ногах удержался и, пригнувшись, словно бы для прыжка, огляделся — надо было понять, откуда прилетает этот страшный стон?

Он двигался в правильном направлении. Под ногами среди серебрено посверкивавших нитей чернела какая-то ягода, поблескивали листья костяники-пустоцвета — ни одной ягодки не было на сочных резных стеблях; отдельно, стайкой, росли кусты лимонника, а к лимоннику плотно примыкал багульник, который в тайге обычно не растет, все больше старается выбирать место на ветру, на вольном воздухе; ветры здешние бегают по сопкам да по отрогам Сихотэ-Алиня с такой скоростью, что на лошади не догнать. Калмыков двинулся дальше.

Под сапог попал жирный, с тяжелой шляпкой гриб, косо росший из земли, — быть прямым мешал взъем ложбины; Калмыков с силой поддел его сапогом. Безобидный гриб лишь ахнул от боли, взлетев в воздух, влетел в острый кленовый сук, повис на нем, как на гвозде.

Выбравшись из ложбины, Калмыков вновь услышал тихий протяжный стон, остановился. По коже пробежал колючий мороз. Вот чего не любил Калмыков, так это оторопи, перехваченного дыхания, мороза, бегающего по коже. Зло замычал, ладонью ударил на шею разбухшего от крови комара, размазал след.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Источник стона находился где-то недалеко, подьесаул шел правильно. Прислушался — вдруг хрустнет сучок под ногами у Куренева, но тот двигался беззвучно — приспособился.

— Молодец, — шепотом похвалил его Калмыков и втиснулся в чашу. Помечал всякие мелочи — лисенка, высунувшего из кустов свою любопытную мордашу, крупную лесную мышь, пробовавшую раскусить молодой орех, слишком рано выпавший из зеленой уздечки, невысокое неприметное растение, очень похожее на жень-шень. Калмыков прошел мимо, обогнул куст, облепленный паутиной, и врубился в высокие папоротниковые заросли.

На ум пришло старое поверье, которому никто еще не нашел подтверждения, сколько народ его ни искал: тот, кто увидит цветущий в ночи папоротник (а папоротник цветет только ночью), тот станет богатым человеком.

В детстве Калмыков тоже пробовал найти цветущий папоротник. Ночью с мальчишками даже убегал в предгорья, с «летучей мышью» обследовал заросли, думал, что на огонь керосинового фонаря из гущи папоротника обязательно высверкнет ответный огонь и тогда он двинется к нему... Но, увы, — тщетно. Калмыков ни разу не видел цветущий папоротник. И никто не видел.

Правда, в предосеннюю пору, в середине августа, встречался — и не раз — папоротник с ветками, раскрашенными в разные цвета — каждая лапка имела свой оттенок — от фиолетового и темно-красного до оранжевого и бледно-желтого; выглядели такие кусты нарядно, но это было не цветение папоротника, а его увядание.

Стволом карабина он раздвинул плотную стенку зарослей — нет ли там чего опасного? Известно, что папоротник дружит со змеями, укрывает их, и змеи платят за это признательностью, защищают папоротник, нападают на любого, кто пытается вырубить рисунчатые стебли, либо, уродуя растения, пытается отыскать волшебные цветки.

Из темноты зарослей послышалось шипение. Калмыков поспешно ткнул стволом карабина в темноту. Шипение угастро. Калмыков выждал несколько секунд и решительно шагнул в темноту, вновь услышал шипение и, целясь на звук, с силой ткнул носком сапога пространство. Под носок попал тугой клубок — змея.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

В следующее мгновение он услышал стальное клацанье — змея щелкнула зубами. Калмыков поспешно отскочил назад и выругался.

Снова выждал несколько секунд — змея должна уползи, но едва он сделал короткий, почти птичий шаг, как опять услышал злобное шипение и следом за ним — угрожающий костяной треск.

— Имей в виду — пуцу тебя на колбасу, — предупредил Калмыков шепотом — ему казалось, что змея слышит его, — нарежу дольками и запью водкой...

Заросли папоротника были неподвижны.

Калмыков решил не рисковать и, держа карабин наизготовку, обошел папоротниковый остров стороной, следом благополучно миновал плоскую, поросшую серой травой поляну, и остановился перед широкой полосой бурелома: деревья были беспорядочно навалены друг на друга, над землей взметывались скрученные в узлы корни, похожие на щупальцы гигантских спрутов, ветки с прилипшими к ним кусками грязи, гнилая отслоившаяся кора была свернута в кольца, над гнилью жужжали черные блестящие мухи.

— Тьфу! — отплюнулся подьесаул. Мухи у него всегда вызывали брезгливость. Приподнялся над завалом, прикидывая, как лучше его обойти.

Завал стелился по земле на добрую сотню метров в обе стороны: на сотню метров в одну сторону, на сотню в другую; из-под искореженных деревьев выглядывали сухие сбитые кусты; кривые, наполовину расщепленные стволы молодых елок, обритых едва ли не наголо упавшими исполинами; иголки рыжими сухими кучками лежали внизу — здесь пронесся лютый ураган; если на пути оказывался зверь — ветер крушил зверя, если оказывалось дерево — валил дерево...

В следующее мгновение Калмыков снова услышал тихий, рождавший оторопь стон — ну словно бы кто-то взял да сбросил человека в глубокую пропасть. Калмыков присел, словно бы кто-то ударил его кулаком по темени, сморщился и зашептал, ни к кому не обращаясь:

— Это что же такое делается... что делается, а?

Скосил глаза влево, но кроме дрожавшей облесенной, лишенной свежего воздуха листвы ничего не увидел; скосил вправо — также ничего не увидел; попробовал выругаться, но слова сами по себе, словно бы

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

под воздействием некоей таинственной силы, прилипли к языку — не отодрать. Калмыков потряс головой, стряхивая с себя наваждение, поднялся и пошел вдоволь завала вправо. Идти влево не было смысла — там двигался Куренев. Куренев — человек внимательный, способен засечь не только то, что видно простому глазу, но и то, чего не видно, вряд ли Григорий пропустит что-либо мимо себя — так что за тот фланг можно было быть спокойным.

А вот насчет правового фланга — тут были сплошные белые пятна.

Хоть и хлопали сапоги на ходу по худым икрам и каблуки стучали, отбивая шаг, а все-таки перемещения Калмыкова были не слышимы — уже в нескольких метрах от завала ничего нельзя было различить, все гложло в вязком влажном воздухе...

Подъесаул перешел с шага на бег, пробежал четыре десятка метров и остановился — воздух застревал в груди, наружу выбивался со свистом, обжигал ноздри, язык, глотку, небо. Калмыков скорчился, пробуя справиться с дыханием, но в глотке сидела твердая удушливая пробка, пробивать ее было бесполезно.

— Хы-ы! — выдохнул Калмыков, сплюнул себе прямо на обувь. Плевок оказался непослушным, затем также надорванно хмыкнул, загнал сапог в мягкую сырую траву, стер плевок.

Прислушался: где там бредет Куренев? Рот у Калмыкова раздраженно дернулся — куда запропастился Григорий? Неужели запутался в здешней густоте и не может вырваться из темных замусоренных дебрей? Тьфу! А Калмыков считал, что Куренев в тайге — свой человек...

Минут через десять Калмыков на ногах съехал в скользкую ложбину, залитую чем-то красным. Он не сразу понял, что это кровь, но это была кровь.

В следующее мгновение он увидел под смятым, с облезшей листвой кустом небольшого, слезно скулящего медвежонка с задранными вверх длинными лапами.

Лапы у него — сами подушки, с когтями и плюшевыми уплотнениями, — были отсечены ножом...

— Хунхузы! — не веря тому, что видел, зло выдохнул Калмыков. — Мать вашу узкоглазую!

БҮРСАК В СЕДЛЕ

От жалости к медвежонку у него неожиданно сдавило горло, он поморщился, помял пальцами неряшливо выступавший горбатый хрящ, слотнул что-то теплое, неприятное, внезапно возникшее на языке, и, все еще не веря тому, что видел, проговорил утвердительным шепотом:

— Хунгузы!

Хунгузов — бандитов, приходящих из-за Амура, с китайской территории, здесь было не меньше, чем местных жителей. Деревяшек на счетах всего Дальнего Востока не хватит, чтобы их пересчитать. Лютовали хунгузы сильно, часто убивали, словно бы боялись мести, хотя в большинстве своем были людьми трусливыми; в драке уступали; лишь когда имели перевес раз в семь — всемером на одного могли напасть, а если против них выступали двое, то ребята эти, пока их не наберется человек пятнадцать, вряд ли будут выступать.

В ложок, шумно сопя и широко расставив «свои дзюи», будто лыжник, съехал Григорий.

— Где тебя черти носят? — сорванным голосом прохрипел Калмыков, раздувая ноздри.

— Да в яму попал, — неожиданно, переходя с голоса на шепот, признался Куренев.

— У тебя чего, глаз не было? В яму попал... — оттаивая, проворчал Калмыков. Он очень быстро заводился, делался резким, нетерпимым и также быстро остывал — такой у него был характер.

— Так получилось, Иван Павлыч, — виноватым голосом пробормотал Куренев, — в поруху попал. Яма сырая, глубокая. Китайская. То ли ночевали в ней косые, то ли для каких-то своих надобностей вырыли, не... — он не договорил, споткнулся, увидев медвежонка с отрезанными лапами. Лицо Григория передернула жалость, около губ образовались старческие морщины. — Чего это?

— Разве не видишь?

— Кто это сделал? Китайцы?

— Да уж не русские, — Калмыков быстрым взглядом обвел ложок, засек свежий след. Это были они, китайцы...

Подъесаул переместился к следу, помял пальцами сырую траву, понюхал зачем-то свою ладонь, подошвой сапога стер морось с нетронутого целика, проверил выход из ложка, стараясь понять, сколько же здесь

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

было: двое или больше? Сколько их было — не понять... Впрочем, это особо и не интересовало Калмыкова — ему было совершенно безразлично, сколько их...

А Куренев тем временем крутился около медвежонка, хлопотал, ахал, морщился болезненно, словно бы сам попал в беду, пытался что-то сделать, но не мог... Что он может сделать, если у зверя нет лап? Прирастить новые, словно клешни, как это принято в рачьем царстве?

Калмыков сполз с края ложка вниз, стер грязной рукой лицо.

— Значит, так, Гриня, — в голосе его вновь улавливались злые нотки и голос получился надтреснутым, словно после затяжной пьянки, — бери медвежонка, кидай его себе на закорки и тащи домой. Вдруг выживет?

— А чего ему не выжить? Выживет... Вот только как с охотой? А? — жалобно спросил Куренев. — Без добычи домой придется возвращаться?

— Вернемся без добычи, Гриня, ничего страшного. На охоту мы можем сходить и завтра и послезавтра. А медвежонка через пару часов может и не быть — сгорит.

— Выживет, Иван Павлыч, раз нас дождался. Я ему сейчас раны целебной жеваниной залеплю, травами... Раз до сих пор не погиб — дальше не погибнет... Не дадим погибнуть. А вы, Иван Павлыч, как же, куда вы?

— Я попробую догнать китайцев, — Калмыков резким ударом кулака опечатав воздух, — догнать и наказать их. Такие вещи оставлять безнаказанными нельзя, — он подхватил карабин, махом, в два прыжка, одолел ложок. В один прыжок очутился наверху и врезался в высокие, размякшие от жары серые кусты, сбил с них целое облако прозрачной липкой тли и исчез в зарослях.

Куренев выскочил было следом, также врубился в кусты, но остановился — он даже не увидел, в какую сторону ушел Калмыков, — был слышен лишь шум, будто по чаще катился невесомый ветер, пригибал кусты к земле и растворялся в пространстве. Куренев ногой раздвинул куст, увидел у корней растение с длинными узкими листьями, сорвал его, потом нашел несколько стеблей, также сорвал...

Внизу, в ложке, он торопливо разжевал растение, превращая его в тюрю, сделал одну небольшую лепешку, наложил на правую переднюю лапу медвежонка, из заплечного мешка выдернул холстину, в которую

БҮРСАК В СЕДЛЕ

был завернут хлеб, разорвал ее. Куском холстины, как бинтом, обмотал мишке лапу.

— Потерпи немного, браток, — пробормотал, передергивая плечами, жалко было медвежонка, — потерпи... Сейчас легче будет, боль пройдет. Лапы, конечно, не вернешь, но боли не будет.

Точно такую же лепешку он наложил на другую лапу медвежонка, переднюю левую, и также обмотал обрывком холстины, затем обработал задние лапы.

Медвежонок, словно бы понимая, что от этого человека ему худа не будет, перестал стонать.

Закончив работу, Куренев взвалил медвежонка на одно плечо и, кряхтя, потащил домой, в станицу.

Калмыков шел по тайге быстро — у него в такие минуты, как впрочем, и в минуты опасности, — невесть откуда появлялись силы, они прибавлялись, словно бы внутри у него начинал работать какой-то дополнительный двигатель, дыхание обретало легкость, шаг делался летящим, бесшумным, невесомым. Это был шаг охотника, не любителя, который наведывался в тайгу, чтобы прочистить ноздри какому-нибудь зайцу, а настоящего охотника, который с тайгой был на «ты», и не только с тайгой, но и с царем здешних зверей — амурской «мамой».

Он стремительно одолел длинную, забитую черными поваленными деревьями падь — тут когда-то прошел беспощадный огонь, рожденный сборщиками жень-шеня, оставившими после себя непогашенный костер, и костер этот наделал бы дел, если бы не внезапно пролившийся дождь — такой вывод сделал подъясаул, поскольку пал не перекинулся в соседнюю падь, угас на неровном безлесном гребне; вторую падь Калмыков одолел еще быстрее первой, выскочил за закраину, поросшую кустарником, огляделся.

Перед ним открывалось пространство, затененное жаркой волнистой дымкой, почти безжизненное, неподвижное. Понять в этом пространстве, куда ушли разбойники, изувечившие медвежонка, было невозможно — ни единой метки, ни одного следа, стоит только ошибиться чуть-чуть и Калмыков промахнет мимо хунхузов.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Хоть бы где-нибудь крикнула сорока или шевельнулась зелень... Нет, ничего этого не было, ничегошеньки.

Молчали птицы; бабочки, которые еще совсем недавно беззаботно порхали среди стволов, исчезли, — все поглотил тяжелый дневной зной.

И все же в неподвижном тяжелом пространстве этом Калмыков уловил слабое шевеление, живинку, словно бы из темной глубины тайги на поверхность поднялось легкое облачко дыма — поднялось и тут же растаяло. Всего несколько мгновений длилось это, а острый глаз подбесаула засек, увидел, как из-под колючих макушек деревьев выпросталась сизая рябь, втиснулась в пространство, размазалась по нему и исчезла.

Он поспешно скатился с лысого гребня в угрюмую пядь, прикладом карабина, будто топором, разрубил переплетенные ветки дикого винограда, схожие с длинными, свитыми в петли веревками. Веточки образовали плотный занавес, не протиснуться. Но Калмыков, человек жилистый и упрямый, одолел занавес, влез в чащу; дальше он пошел быстрее — непреодолимая стенка поредела, расползлась, будто прелая ткань, воздух посвежел, из него исчез запах гнили; в сумраке чащи мелькнули и исчезли проворные тени — невидимые лесные зверьки при виде человека поспешно разбежались, некоторые разбежались задолго до его появления — Калмыков находился за километр от них, а иная зверушка, настрополив острые дульца ноздрей в его сторону, засекала тяжелый дух человека и до его прихода успевала закопаться в землю, либо спрятаться так, что ее даже опытная собака не могла отыскать.

Ничего и никого опаснее человека нет в уссурийской тайге, — ни медведь, ни «мама» — здешняя тигрица, имеющая характер очень суровый; ни вепрь, одним движением клыков способный выпустить кишки боевому скакуну, — не в состоянии бывают сравниться с «венцом природы». «Венец природы» по этой части опережает всех. Калмыков сплонул в сторону нескольких исчезнувших теней, не останавливаясь, проследовал дальше.

Взбравшись на очередной гребень, остановился, несколько раз вздохнул — выбивал воздух из легких с болезненным хрипом, тяжело, морщась от стеснения в груди и боли, потом попробовал сориентиро-

БҮРСАК В СЕДЛЕ

ваться: надо было понять, сколько светлого времени у него имеется и вообще, где находится солнце?

Солнце стояло еще высоко, значит, время у него есть... Калмыков двинулся дальше.

Медвежонок стонал, тыкался розовой от крови мордой Куреневу в шею, сопел от боли и страха, скулил, иногда замирал, делаясь неподвижным. Похоже, он, как и человек, терял сознание, потом приходил к себе и вновь начинал стонать. У Куренева от этих жалобных стонов все переворачивалось внутри.

Недалеко от станицы, в распадке, он заметил рыжее пятно, на несколько секунд вытаявшее из серой шевелящейся чащи и тут же утонувшее в ней.

Это был козел, направлявшийся на солонцы.

Следом мелькнуло еще одно пятно, более светлое, такое же живое, потом еще одно — козел вел за собой на солонцы стадо. Куренев подкинул на плече медвежонка, уложил его поудобнее, подошел поближе к солонцам и, когда в серой зелени мелькнуло очередное рыжеватое пятно, выстрелил.

Стрелял он, не целясь. Молодой козленок, в которого попала пуля, взвизгнул надорванно, будто ребенок, и взвился высоко над кустами. За первым прыжком совершил второй. После второго прыжка козленок уже не поднялся, дернулся пару раз и затих. Куренев удовлетворенно засмеялся и вновь подкинул медвежонка на плече.

В следующее мгновение озабоченно сморщился: этим точным выстрелом он усложнил себе жизнь. Теперь надо будет рвать жилы и тащить не только медвежонка, но и козелка. Но не стрелять тоже было нельзя: козенок — это шкура, шурпа и запеченное на углях мясо. Подъесаул, когда вернется, будет очень рад: нежную, пахнущую горелым дымком козлятину он очень любил.

Осознание того, что Калмыков будет доволен, словно бы прибавило сил Грине Куреневу: он отстегнул от пояса веревку, захлестнул ею небольшие, но острые рога козелка, сделал помочь и, кряхтя, потащил добычу по тайге. Вместе с медвежонком.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Калмыков рассчитывал, что до темноты он догонит китайцев, но одно дело — рассчитывать, предполагать, думать и совершенно другое — сложные реалии жизни, управляющие человеком. Всегда что-нибудь происходит, и это условие — обязательно: то одно мешает, то второе, то третье, то вообще что-нибудь совершенно неожиданное напластовывается. Никак от этого не уйти. Подъесаул уже ощущал физически, ноздрями своими чувствовал, что китайцы находятся совсем рядом, рукой до них достать можно, пара бросков — и они будут задержаны, но времени для этих двух бросков не хватило.

На тайгу опустилась ночь — тяжелая, черная, с тревожными вскриками зверей, прохладная и душная одновременно. Ничего не видно в такой ночи, совершенно ничегошеньки. Темнота стояла кромешная, расшибить в ней лоб о какое-нибудь столетнее дерево ничего не стоило. Калмыков этого опасался.

Если же он покалечится в тайге, но на помощь ему вряд ли кто придет — его просто не найдут в непролазных дебрях. Найти человека в них сложнее, чем иголку в скирде сена.

Поняв, что дальше идти опасно, Калмыков болезненно сморщился, словно бы на зуб ему попал шальной, случайно закатившийся в рот камень, остановился, медленно опустился на гладкий, поросший шелковистым волосом пенек, — надо было отдышаться.

Несколько минут он сидел неподвижно, опустив руки; тяжесть медленно, будто вода, стекала в пальцы, скапливалась в копчиках, падала горохом на землю, пробивала усталым ознобом все его тело, потом вскинулся, обвел взглядом темное пространство.

Ничего не было видно. Калмыков с досадой сплюнул — хотел сплюнуть себе под ноги, но передумал и послал плевков в воздух, ловко впечатал его в черную плотную стену, потом протестующе помотал головой.

Против чего он протестовал? Этого Калмыков не знал и сам. Просто настроение у него было паршивое: тело ныло от усталости, от бесполезной погони, от борьбы с дебрями; руки у него тряслись, сделались чужими, отяжелели; пальцы, словно бы налившись металлом, отвердели, не гнулись; в висках застыл звон. Мертво застыл, не вытряхнуть...

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Калмыков зашевелился и неожиданно подогнал себя хриплым вскриком, словно бы плеткой хлестанул:

— Хватит сидеть! Будет!

Зашевелился, пошарил пальцами вокруг себя, нашел несколько сбитых белками с сухого дерева сучков, сложил их горкой, пошарил еще — надо было ладить костер, чтобы окончательно не утонуть в этой гнетущей темноте. Набрав еще немного горючего крошева, Калмыков достал из кармана форменных, украшенных широкими желтыми лампасами штанов плоскую деревянную гребенку, отломил от нее один зубец и шаркнул им по серной дорожке, проложенной с двух сторон по низу гребенки.

На конце зубца вспыхнул слабый рыжий огонь — это были русские спички, не китайские; китайские особым качеством не отличались, а русские, выпускаемые под Владивостоком, на Гродековской фабрике, были что надо: и горели хорошо, и зажигались легко, и не ломались. Калмыков сунул огонек под небольшую горку сухотья — крохотный проворный гимнаст перепрыгнул на один сучок, затрещавший, словно порох, зашипевший, зафыркавший, затем, будто бы спасаясь от некоей напасти, нырнул вниз. Калмыков подумал невольно: придется зажигать еще одну спичку, но в это время малюсенький рыжий гимнаст объявился вновь, вскарабкался на вершину горки и расцвел ярко, отодвинув в сторону опасную предночную темноту.

Жаль, у Калмыкова не было с собой еды — вышел он из станицы налегке, надеясь скоро вернуться, у Грини Куренева еды тоже, скорее всего, не было, да даже если бы и была, проку от этого все равно никакого — еда-то ушла вместе с ним. Сидит сейчас Куренев уже дома, наверное, и распаренный, красный, потный, с наслаждением гоняет чай, сдабривает ужин ханкой и вяленым изюбренным мясом, а Калмыков кукует неведомо где, голодный, усталый, злой...

— Тьфу! — сплюнул он в огонь, ругая себя за оплошность.

А ведь он мог поправить это дело днем, во время погони — ему и жирный орляк по пути попадался, и сочная съедобная кислушка, и ягод полно было, и грибы встречались — рыжики, белянки, даже огромный, похожий на важного начальника шелковистый белый попался, но Калмыков не остановился, пронесся мимо... Жаль! Очень даже был бы

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

сейчас к месту сочный шашлычок из толстого белого гриба, нежного и душистого — м-м-м! Калмыков ощутил, как во рту у него собралась тягучая твердая слюна.

Некоторое время он сидел неподвижно, с тупым усталым недоумением глядя в огонь, ни о чем не думая, — впрочем, нет, кое-какие мысли все же шевелились в голове: он подумал о том, что человек может смотреть на любой огонь вечно, пока пламя будет гореть, столько он и станет неотрывно смотреть в него, и эта странная привязанность с годами усиливается... Так казалось подьесаулу, — ведь он тоже был таким. К чему это? К тому, что ему суждено погибнуть в огне или к чему-то другому?

Вопрос, конечно, тревожный, но он особо не занимал Калмыкова. О своей жизни он вообще никогда не задумывался, не пытался изменить ее, улучшить, повернуть в выгодную для себя сторону, довольствовался тем, что она ему подносила. Если выпадали горькие минуты, когда он терял близких людей, — не роптал, не проклинал никого, не грозился взорвать мир, заложив под него вагон динамита, если же случались удачи, победы, в том числе и на «бабском» фронте, особо не радовался, принимал это как должное...

Над головой пронеслась большая тяжелая птица, нырнула в густоту крон и уселась там на ветку — ночной хищнице тоже захотелось посмотреть на весело плясавшее пламя, проворно, с пороховым треском сжиравшее сухие ветки. Калмыков глянул в темноту недобро и, старчески хрустя костями, стеная, поднялся — надо было еще набрать веток.

Птица, прячась в высоких кронах, недобро ухнула — людей она не любила, но Калмыков не обратил на хищницу внимания — ухает и пусть себе ухает. Если нужно будет, он любой птице свернет голову набок. Какой-то пушистый, с длинным рыльцем зверек сверкнул глазами, зажато тявкнул, подпрыгнул, будто от укуса, и стремительно откатился в сторону, в кусты, исчез в них. Будто и не было зверька.

Невдалеке раздался крик — на зубы лисе либо дикой собаке попался слабосильный крикливый грызун. В следующий миг грызун умолк: едок перекусил ему хребет крепкими зубами... Калмыков в темноте нащупал и ловко подцепил пальцами сухую жердину, косо легшую на ствол, подволок ее к костру, конец уложил на трухлявый, обросший зеленым

БҮРСАК В СЕДЛЕ

мочалом пень, надавил ногой. Жердина покорно треснула под каблуком и переломилась сразу на три части.

Одну из частей Калмыков приложил к колену, ударил — и получились две, сухо брызнувших прелой крошкой половинки, Калмыков бросил их в костер. Пламя жадно впилося в деревяшки, залопотало обрадованно, затрещало; из глубины костра до его уха донесся жалобный писк, словно бы под костром, в земле, кто-то сварился живьем. В следующее мгновение писк исчез, Калмыков подхватил с земли еще один обломок и так же легко и ловко переломил его через колено.

Он действовал играючи, все у него спорилось, движения были скоординированные, четко прорисованные; видно было, что человек этот умеет обращаться и с оружием и с рабочими инструментами... Темнота, подползшая было к костру, нехотя отступила.

Из темноты сомкнувшихся крон, из ветвей, в которых спряталась любопытная ночная птица, послышалось глухое старческое ворчанье. Через несколько минут оно повторилось и зажглись два зеленоватых неподвижных огня. Свет их был колдовской, недобрый; Калмыков невольно поежился, по коже у него поползли мелкие холодные блохи, на лбу выступил пот. Ночная птица внимательно рассматривала его.

Он вытер пот со лба и, ухватив за ремень карабин, прислоненный к стволу дерева, с жестким металлическим клацаньем передернул затвор.

Колдовской свет в выси погас — ночная птица поняла, что человек сейчас выстрелит... Калмыков выбил из глотки скопившийся хрип и проговорил чистым звучным голосом:

— Так-то лучше.

Через несколько минут его потянуло в сон. Калмыков недовольно дернул головой, пошарил вокруг себя, нашел обломок жердины и кинул его в костер. В обломок мигом вцепилось пламя — сразу несколько проворных, рыжих, размером не больше березового листа огоньков-гимнастов заплясали на его поверхности, защелкали бодро, призывно, словно бы хотели затянуть человека в костер — вот коварные существа! Калмыков вновь дернул головой, поднялся — надо было найти еще пару жердин, — сонно покачнулся и вновь потряс головой.

На него словно бы подействовали чьи-то колдовские чары, мышцы одрябли, тело ослабело, звон в висках усилился, Калмыков повесил карабин на ветку и, пошатываясь, шагнул в темноту.

Костер, оставшийся за спиной, светил еле-еле, чей-то невидимый злой взгляд прожигал ему тело. Калмыков пошарил глазами по пространству, но ничего не увидел — все тонуло в черном мраке, лишь в двух шагах от него можно было различить несколько ровных прозрачных линий — абрис стволов, неподвижную листву, свисающие к земле ветки и все — больше ничего было не видно, словно бы тайга вышелушивалась, обездушела, сделалась пустой, потеряла то, что имела еще полчаса назад.

Хотя от духоты нечем было дышать, сделалось прохладно. Калмыков неожиданно зябко передернул плечами. В следующее мгновение грудь ему сдавил обруч, словно бы подъясаул должен был получить худую весть — у него всегда так бывало перед тем, как к нему приходили худые новости. Калмыков засипел дыряво, протестуяще, замотал головой и, слепо разведя пространство руками, шагнул в темноту.

Подумал о том, что от костра без карабина отходить нельзя, только с оружием — здесь в двух метрах от пламени может напасть какой-нибудь зверь. В следующий миг он отмахнулся от этой мысли — еще не хватало, чтобы он начал трусить.

Отойдя от костра саженей на пятнадцать, он остановился. Присел, поводит вокруг себя руками, стараясь нащупать какую-нибудь валежину, — пусто, ничего подходящего, пересел на другое место, также поводит вокруг себя руками, поморщился недовольно.

Рядом раздался подозрительный шорох. Калмыков замер, ощутил, как грудь под мышками вновь сдавил плотный обруч. Все-таки напрасно он отлучился от костра без карабина.

Вытянув голову — от неловкого движения у него заломило затылок, — ожидал, что шорох этот, рожденный крупным зверем, повторится, но шорох не повторился, — подъясаул резко, будто пружина, выпрямился, вновь переместился на несколько саженей в темноту.

Минут через пять он нашел, что искал — подцепил сухую ветвистую валежину, подтащил ее к костру. Изломал на несколько частей, кинул в костер. Потом сел на землю, прислонился спиной к стволу и закрыл глаза — вновь потянуло в сон.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

В детстве Калмыков был мальчишкой ленивым. Когда учился в миссионерской семинарии, постоянно ходил с опухшим лбом, покрытым синими пятнами. Каждый учитель, начиная с закона Божьего и кончая арифметикой, считал своим долгом огреть Ваньку линейкой. Причем среди преподавателей водились такие умельцы, которые могли врезать по черепушке так, что у бедного подопечного из ноздрей и ушей чуть ли не мозги выбрызгивали. Свои деньги педагоги-миссионеры отработывали ретиво и, как они считали, честно. Больше всех доставалось Ваньке Калмыкову, сыну обедневшего купца.

Иногда семинаристы с удовольствием наблюдали, как за Ванькой, громко топя ботинками, носился воспитатель и, лихо щелкая линейкой, кричал:

— Чему равен квадрат гипотенузы?

Ванька молчал.

Воспитатель вновь звонко щелкал линейкой:

— Запомни, малый, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух катетов, — раздавался новый щелчок линейкой — воспитатель старался дотянуться до Ванькиной черепушки, но это не всегда получалось — слишком шустер и проворен был пострел, гораздо проворнее грузного воспитателя.

Проворство это злило преподавателей, доводило до белого каления — они готовы были съесть преследуемого сырым, без соли и перца... Даже без хлеба.

— Не знаешь ты теорему Пифагора, не знаешь! — раздавался крик на всю семинарию.

Если же воспитатель задавал вопрос попроще и Ванька знал ответ, то выкрикивал его так громко, что с потолков семинарии сыпалась известка.

— Сколько будет семью восемь?

— Шестьдесят пять! — радостно взвизгивал Ванька.

Преследователь что было сил взмахивал линейкой. Хлоп — мимо! Промажнувшись, злобно разваливал бороду на две половины:

— Ы-ы-ы!

Ванька в унисон наставнику также начинал завывать:

— Ы-ы-ы-ы!

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Олух, олух, олух! — несмотря на одышку, остервенело кричал наставник. — Дурак набитый! Не шестьдесят пять, а пятьдесят шесть!

— Ы-ы-ы-ы!

— Пятьдесят шесть, заруби себе на темени, дубина стоеросовая!

Ванька, тощий, как некормленный глист, увертливый, поспешно нырнул куда-нибудь под лестницу и тут же выскакивал с другой стороны. Наставник, метнувшийся было следом, обычно застревал, дергался беспомощно, грузные чресла его мешали маневру, удерживали в пространстве под лестницей, и наставник обиженно ругался.

— Тьфу!

А Ванька уже находился у открытой двери, с лихим гиканьем прыгал в нее, на прощание показывал наставнику язык и бывал таков.

На улице пахло свободой. А свободу Ванька Калмыков любил.

...Он увидел себя во сне, тощего и синюшного.

Стояла ранняя весна. На деревьях набухали почки. Зелени еще не было видно. И земля, и деревья выглядели неяркими, какими-то пыльными, невымытыми. Вот отмоют их дожди — деревья будут совсем другими, посвежеют, обретут цвет, каждое дерево — свой.

Пахло талым снегом и гнилой травой. В недалеких горах серели, ежились в неярких солнечных лучах, истекали мутными струями ноздреватые сугробы. Целые пласты их были видны в ломких каменных ложбинах.

Громко, нагло кричали воробьи — не могли поделить кучу свежих конских яблок; на драчунов с интересом поглядывала пятнистая медово-глазая кошка. Ванька пулей пронесся мимо воробьев, перемахнул через жидкий боярышниковый куст и нырнул за угол. Здесь он окончательно почувствовал себя в безопасности.

Учеба в Александровской миссионерской семинарии давалась Калмыкову с трудом — то одно не клеилось, то другое, то он срывался в чем-нибудь — в знании Евангелия или в арифметических упражнениях, которые всегда для Ваньки были сложными.

— Плохой получится из тебя миссионер, Ванька, — сказал как-то Калмыкову наставник с кучерявой ассирийской бородой, вздохнул досадливо и запустил пальцы в волосы, — да и закончишь ты семинарию или

БҮРСАК В СЕДЛЕ

нет, никто не знает... Вот олух царя небесного! — и в голосе наставника прозвучали жалостливые нотки, он покачал головой. — Ох, олух!

А Ваньке совсем не хотелось быть миссионером, не хотелось путешествовать где-нибудь среди чукчей или эвенков — съедят ведь! И косточки, прежде чем бросить их собакам, обглодают. Неувлекательное это дело! А вот быть военным — совсем другой коленкор. Военных Ванька любил, форму их, особенно офицерскую, боготворил. И если бы не нищета, в которой он прозябал вместе со стариком-отцом, вряд ли бы он пошел в миссионерскую семинарию. В семинарии одно было хорошо — за учебу не нужно было платить.

— Эх, Ванька! — вздыхал отец. — Как же мне тебя выучить, на какие шиши? — В уголках глаз старого человека появлялись мелкие горькие слезы.

Ванька, задетый слезами отца, смущенно приподнимал одно плечо — этого он не знал.

Позже, двадцать лет спустя, он написал, что «неуклонно преодолевая всякие препятствия, создаваемые нуждой и бедственным положением моего отца-старика», — стремился к поступлению в военное училище. Желательно — в казачье, юнкерское.

Как-то один из преподавателей удрученно прижал к вискам пальцы и покачал головой:

— И откуда ты только взялся такой, Калмыков?

Калмыков готовно ответил:

— Из казачьей среды! — Но казаком он не был, лихих ребят в штанах с лампасами видел только издали, поэтому часто пускался в лживые воспоминания, из которых следовало, что родился он едва ли не во время бесшабашного казачьего набега на турецкую землю.

Преподаватель не поверил, что Ванька Калмыков принадлежит к казачьему сословию:

— Среди казаков таких дураков нет, — сказал он.

Ванька в ответ лишь хмыкнул:

— Как знать!

Преподаватель тоже хмыкнул — он остался при своей точке зрения.

Единственное, что отличало Калмыкова от его сверстников, это то, что он не боялся змей. Все шарахались от змей в разные стороны, толь-

ко пятки сверкали, вопили оглашено; один бурсак от страха, что змея вцепится в него своими страшными зубами и откусит кусок задницы, даже обмочился в штаны, а Ванька хоть бы хны — при виде змеи даже не морщился. Змей он обманывал легко, или если гадюка, допустим, совершала боевой бросок, стремясь впиться в Ваньку зубами, тот мигом подставлял ей под укус старый ватный рукав.

Гадюка впивалась в него опасными клычищами и... оставляла их в рукаве — ядовитые зубы выламывались у нее с легкостью необыкновенной, вылетали, будто старые кнопки из шелушащейся, начавшей осыпаться стены. У гадюки оставались еще два кусачих ядовитых зуба, надо было выломать и их, а дальше со змеей можно делать что угодно, — она мало чем будет теперь отличаться от обычной тряпки, которой вытирают мебель.

Иногда Ванька Калмыков приносил ядовитые зубы в семинарию — крика тогда стояло столько, что со здания могла сползти крыша — в районе Кавказских Минеральных Вод специальные приборы регистрировали мелкие колебания почвы, выпренно именуемые землетрясениями.

В таких случаях за Ванькой с линейками гонялись не только преподаватели, но и воспитанники.

— Ирод! — кричали они дружно; воспитатели добавляли запыхавшимися бабьими голосами: — Из семинарии выгоним! — но из учебного заведения Ваньку не выгоняли. Были у них на этот счет какие-то свои соображения.

Как-то Калмыков увидел на базаре в Пятигорске кобру — та плясала, извивалась, становясь на хвост под нежные звуки дудочки. Изящный танец змеи поразил его — слишком красива была кобра с мощным телом и плоской, украшенной колдовским орнаментом шеей. А если попробовать и выдрессировать на манер кобры местную змею, кавказскую гадюку?

Мысль была заманчивая. Ванька думал недолго — почесал пальцами затылок и отправился в болотистое место, где водились крупные змеи — гадюки с редким пестрым рисунком. Такую красочно расписанную змею какой-нибудь мужичок-недотепа запросто примет за королевскую кобру: важно только запудрить ему мозги и мужичок тут же в доверчивом изумлении распахнет кошелек.

БУРСАК В СЕДЛЕ

Болотистое змеиное место не часто встретишь среди здешних гор, вставших на землю подобно вулканическим прыщам, готовых в любое время взорваться, — оно заросло кугой — неведомым плешивым кустарником, облепленным прозрачными длиннокрылыми мухами, схожими с поденкой. Змей тут было много, как нигде на Кавказе... Ванька облюбовал здоровенную пеструю гадюку и приготовил ватный рукав. На всякий случай взял в руку палку, чтобы, если промахнется, можно было отогнать вражину, качнулся на тощих жилистых ногах влево-вправо и подступил к змее.

— Ну, давай, мадам, давай, — подбодрил он гадюку, — не стесняйся.

Змея не хотела нападать — мудрая была, уже в возрасте — чего ей нападать на двуногого «венца природа»: чай, не сумасшедшая! Но человек не отходил от нее, дразнил, и тогда змея сделала ложное движение, пугнула человека: кыш!

Ванька поспешно отскочил от змеи, сплющил ногами мягкую, раскисшую, как творог, кочку, подступил к гадюке с другой стороны. Змея зашипела, показала кривоватые белые клыки, стрельнула в человека гибким угольно-аспидным язычком — Ваньке только это и надо было: он сунул ей под нос жесткий, сплошь в дырках, будто измочаленный дробью рукав. Змея, разом шалея, впилась в него губами, Ванька резко дернул рукав к себе.

В ткани остались два острых зуба, украшенных прозрачными медовыми капельками. Это был яд. Калмыков скосил глаза на выданные зубы и удовлетворенно хмыкнул:

— Хар-рашо!

Осталось выдрать еще два ядовитых клыка — всего их у гадюки четыре, выскакивают из челюсти легко, успевай только руками управлять. Главное — не промахнуться и не подставить гадюке под укус руки.

Через несколько минут гадюка лишилась и второй пары ядовитых зубов. Ванька подхватил змею и, как обычную тряпку, сунул в мешок. Гадюка заскреблась изнутри о ткань своим чешуйчатым телом, задержалась, будто злобная рыба, попробовала укусить ловца, но не тут-то было — ловец был более ловким и увертливым, чем она сама.

Змея, обозлившись, задержалась сильнее, свилась в несколько колец, захлопала хвостом о грубую ткань мешка. Семинарист тоже вышел

из себя, матюкнулся и приложил мешок с гадюкой о трухлявую, рассыпавшуюся кочку. Змея крикнула по-лягушачьи и тут же затихла. Кочка, вместо того чтобы рассыпаться, взлетела вверх, подобно вороне, и с жирным звуком шлепнулась на землю. В разные стороны брызнул черный влажный сор.

— Тих-ха! — запоздало выкрикнул семинарист, давая понять змее, что шутить с ней он не собирается.

Гадюку Ванька Калмыков посадил в ящик, ящик спрятал в укромном месте, накрыл его тряпкой, сверху навалил сушняка, замаскировал.

Через пару дней у племенной гадюки вновь вылезли ядовитые зубы. Ванька, естественно, знал, что зубы у змеи прорежутся снова, и поэтому опять приготовил ватный рукав, проверил его — не белеют ли где ядовитые гвозди?

Когда он пришел к гадюке и немного приоткрыл ящик — сделал это слишком беспечно, полагая, что воля змеи за два дня плена сделалась вялой, как ботиночный шнурок, затихшая гадюка совершила резкий прыжок, целясь Ваньке в лицо. Испуганный семинарист стремительно отпрянул от нее, до лица достал только черный язычок, зубы не достали, — и поспешно хлобыстнул по змее крышкой ящика. Змея знакомо крикнула и нырнула вниз, в глубину ящика, Ванька вновь сунул ей ватный рукав. Змея щелкнула злобно, по-собачьи, всадила в вату зубы, задержалась всем телом, Ванька рыбацким рывком подсек ее, и в рукаве остались очередные два зуба. Пробормотал дрожащим голосом — испуг еще не прошел:

— Так-то вернее!

Времени Ванька Калмыков решил не терять — начать дрессировку сегодня же.

Весна продолжала свое неторопливое шествие по земле. Тихая, с мелкой водяной сыпью, валившей с небес — ни солнце, ни ветер никак не могли справиться с противным, вызывавшим в ключицах и в затылке чес дождиком, с голыми тощими кустами, рождавшими в душе печаль, и цветением диких слив. Домашние сливы еще не зацвели, они украсятся белой пеной позже, вместе с персиками и урюком, а дикие цвели — розовые, щемяще белые, горькие. Белым цветом были облиты сливы обычные, вроде бы уже набившие оскомину, но хозяйкам все же не надоевшие; они

БУРСАК В СЕДЛЕ

всегда с удовольствием пускали их на варенье; розовым — сливы красные, дикие, нисколько не уступавшие культурным сортам. Отцветут дикие сливы, холодная морось отступит, и тогда начнется цветение настоящее, обильное — будет цвести все, что способно цвести: от дикой смородины и боярышника до черешни и ябллок-ранеток, росших по склонам гор.

Калмыков вытащил гадюку из ящичка: та расправила рисунчатое тело и попыталась было удрать, но семинарист проворно сунул ей под нос палку, перекрыл дорогу, и гадюка нехотя отвернула в сторону, застыла на несколько мгновений, потом совершила резкий прыжок, норовя улизнуть в кусты, но Ванька опять оказался проворнее змеи, перекрыл ей дорогу.

— Цыц, мадама! — прикрикнул он.

Гадюка яростно зашипела, будто мокрая мочалка, угодившая в баньке на раскаленные камни, и развернулась в сторону человека. Вид у нее стал грозный. Любой мог испугаться, тикануть от гадины, но Ванька лишь упрямо сжал челюсти.

— Я сделаю из тебя кобру, вот увидишь, — пообещал он змее, — королевскую. Танцевать будешь не хуже цыганки в любом ресторане.

Несмотря на грозную внешность, змее было страшно, да и не хотела она воевать с человеком, мирная была гадюка, но вот она неожиданно свилась упруго, взвилась, сделала разворот в воздухе. Получилось это не совсем изящно, скорее, неуклюже, и вновь попыталась удрать, но Калмыков подставил под нее палку, подбил снизу, и змея со смачным влажным звуком шлепнулась на землю, а в следующий миг взвилась вверх, становясь на хвост.

Беззвучно, стремительно, как молния, сделала бросок в Ванькину сторону. Калмыков поспешно отскочил, хотя можно было и не делать этого, щелкнул змею палкой по носу.

Гадюка жестко щелкнула челюстями. Опоздала — семинарист действовал быстрее ее, — через секунду вновь поднялась на хвост и, бросив на человека недобрый взгляд, совершила очередной бросок, стараясь дотянуться до гадкого, плюгавого, криволапого, похожего на гнилой осенний гриб человечка. И опять человечек оказался проворнее ее.

Змея возненавидела это хилое, с руками в цыпках существо, ей непонятно было, как он умудряется быть ловчее и быстрее ее. Гадюка

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

сморщилась, зашипела, словно из нее выпустили воздух, и сползла на землю. Свернулась в жалкий, нервно подрагивавший, будто от холода, клубок.

Ванька присел рядом, ширкнул сочувственно носом.

— Неужели тебе непонятно, мадама, что нужно подчиниться человеку? А? Дура ты, баба? Или ты не баба и у тебя нет мозгов? Подчинись — и ты останешься жива. Не подчинишься — погибнешь.

Он положил палку между собой и змеей.

Змея даже не пошевелилась, словно бы не видела грозного оружия этого опасного кривоногого гриба. Ванька, хитрый, знал, что змея ничего не слышит — она глуха, как старый трухлявый пенёк. Зато хорошо видит — не хуже орла и засекает малейшее колебание воздуха, может среагировать даже на полет мухи в звездном пространстве.

Двух точек ей бывает вполне достаточно для того, чтобы сориентироваться и принять решение — удрать, скажем, или поспешно вскинуться в боевой стойке. Это Ванька Калмыков ведал и действовал в соответствии с собственным разумением, с тем, что ему подсказывала «бестолковка» — золотушная лопаухая голова.

— Чего, мадама, в обмороке пребываешь? — спросил он у змеи сочувственно, будто у приятельницы по уличным играм. У гадюки дрогнули, чуть соскользнули в сторону и остановились глаза.

Калмыков это короткое движение засек, отсел на полметра в сторону — ощутил, что от змеи исходит опасность, потянулся рукою к палке, но не успел взять ее — змея сделала молниеносный бросок и вцепилась зубами ему в руку. На этот раз Ванька сплеховал, гадюка переиграла его.

Ванька вскрикнул, откинулся назад, задрал ноги и стремительно откатился на несколько метров в сторону. Подавленно замычал, в следующий миг у него в мозгу мелькнула спасительная мысль о том, что змея всадила в него не ядовитые, а обычные зубы, он вновь замычал и поднялся на колени.

— Ах ты... с-сука! — проворчал он, глядя на свою руку, и страдальчески скривил губы — на прокушенной ладони текла кровь. — Ну-ну, мадама!

Тряхнув рукою, сбил с ладони несколько красных капелек, и чувствуя, как в нем останавливается дыхание, вновь затряс рукою.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Ну ты и... с-сука! — прорычал он по-собачьи. — Я же тебя сейчас топором изрублю. Поняла?

Рубить змею Калмыков не стал — через несколько мгновений ошеломление прошло, приступ власти — тоже. Прошел и испуг. Ванька неожиданно засмеялся — как бы ни кусалась гадюка, а все равно она ничего не сделает: ядовитых зубов у нее не осталось. Калмыков высосал из ладони кровь, сплюнул ее на землю.

Укус был безопасен.

Второй раз Ванька плюнул прямо на гадюку, ногой подгреб к себе палку, громко ударил ею по земле.

— А ну, гадина, подымайся!

Змея зашипела, проворно поднялась на хвост, качнулась в одну сторону, потом сделала нырок к Ваньке, но была отбита палкой, из глаз у нее вылетели электрические брызги, змея шлепнулась на землю и застыла в обморочном состоянии. Удар был сильным. Ванька снова ткнул в нее палкой.

— Подымайся, кому сказали!

Гадюка тряпично сдвинулась в сторону и опять застыла. Ванька выругался — резких слов не пожалел, — оглянулся в одну сторону, потом в другую: не слышит ли кто его? Не дай Бог услышит какой-нибудь попик-наставник в обтерханном платье, затурканный семинаристами настолько, что у него кожа на лице сделалась зеленой, как у лягушки, — на безответном Ваньке он обязательно отведет душу. Но в темном углу сада, где сейчас находился Калмыков, никого больше не было, Ванька удовлетворенно хрюкнул и в очередной раз поддел змею концом палки.

Та не пошевелилась — продолжала пребывать в обмороке. Ванька вновь притиснул к губам ладонь, с шумом всосал кровь, сплюнул, целя неприятным снарядом в гадюку.

Плевков до змеи не долетел. Ванька сел на корточки, поводит во рту языком, словно мутовкой, но, вспомнив о внезапном прыжке гадюки, поспешно отсел от нее — вдруг она плюнет в ответ? То, что у змеи не было ядовитых зубов, совсем не означало, что у нее нет больше яда. Наверняка гадина сохранила его где-нибудь за щекой, спрятала в карманке, либо в углублении под скулой. Ванька вновь ткнул в змею палкой,

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

потом поддел ее торцом, приподнял. Змея и на этот раз не пошевелилась — не пришла еще в себя.

Поняв, что игр с гадюкой сегодня больше не будет, Ванька разочарованно вздохнул и поднялся на ноги.

— Конец нашей сказочке!

Отсосал из укуса немного сукровицы, сплюнул и снова рассмеялся. Смех был хриплым, дребезжащим, как у взрослого мужика, любящего приложиться к рюмке, а потом в сырую стынть поспать где-нибудь под кустами, — голос у него бывает точно таким, как сейчас у Ваньки Калмыкова, сплошь в дырках.

Ванька подцепил змею рукой и с сожалением сунул ее в ящик, сверху ящик прикрыл крышкой и сухими черными ветками — заниматься с гадюкой можно будет, когда она придет в себя. Змеи — существа нежные, конструкция у них тонкая, в обмороке пребывать могут долго...

— Тьфу!

Ванька присел на пенек, оставшийся от старой яблони, прислушался к птичьей звени. Колготились, радовались дню в основном синицы — проворные, нарядные, шустрые. На них опасно поглядывали серые пичуги, недавно прилетевшие из южных краев и еще не успевшие освоиться: голоса у них были нежными, протяжными, сладкими и одновременно грустными, словно бы птички эти тосковали по оставленным местам, по каким-нибудь турецким вишням и цветам бом-бом, о которых Ванька Калмыков как-то прочитал в иллюстрированной книжке, выпущенной знатным московским издательством, потакающим красотам природы и влюбленным в них детским душам.

Ванькина душа такой не была; более того, его до смерти заклевали бы семинаристы, если бы узнали, что он стал таким чувствительным, по-девчоночьи квелым, слюнявым и сентиментальным (впрочем, что такое сентиментальность, Ванька не знал, он даже слова такого поганого не слышал), хотя мог расплакаться. Но не от боли — боль он терпел, а от обиды...

Среди тощих кустов смородины были видны синие, сиреневые и желтые пятнышки — проклюнувшиеся цветы. Еще вчера их не было, а сегодня они появились. Калмыков никогда раньше не обращал на них внимания, а вот сейчас обратил, более того, трогательно восхитился:

БҮРСАК В СЕДЛЕ

цветы эти, синие и сиреневые — местные подснежники, — взяли его за живое, как и цветы желтые, светлевшие в сыром углу сада, аккуратные пятилистники, очень похожие на эдельвейсы... Но это были не эдельвейсы.

Ни запаха желтые цветы не имели, ни шелковой мягкости, ни яркости той — желтизна их была блеклой, выгоревшей, вымоченной дождями. Что это были за цветы, Ванька не знал. Наверное, тоже подснежники, только иного сорта, особого. Калмыков сорвал один цветок, поднес к ноздрям.

Далекий, едва уловимый запах от цветов все-таки исходил — травянистый, жидкий. Это был, скорее, запах талой воды, а не цветов, далекий дух весны. Ванька помял цветок пальцами, вновь понюхал его — на этот раз бледно-желтые лепестки пахли обычной мокрой травой, давленной мошкаррой, еще чем-то и отбросил в сторону.

На следующий день, после дневной молитвы, он появился в дальнем углу сада. Змея заметно ослабела, при виде человека едва шевельнулась. Ванька озадаченно поскреб ногтями затылок: он не знал, чем питаются гадюки. Потом вспомнил — мышами. И этими самыми... Ну, «ква-ква» которые — лягушками.

— Чего-чего, а этой дичи я наловлю тебе сколько угодно, — пообещал Ванька и исчез.

Мышей в подвале семинарии было полно. Особенно зимой и весной — тут они сбивались в плотные стаи, жировали, грызли все подряд, что попадалось им на глаза, превращали в труху и в мелкие черненькие катышки, схожие с нелущеным просом. Больше всего на свете мыши любили грызть старые книги — видать, было в этих фолиантах что-то очень вкусное.

В подвале Ванька нашел большую старую банку, поставил ее на «великом мышинном пути», — поставил наклонно, подложив под бок банки кусок кирпича, а к широкой стеклянной горловине проложил слегу — длинную сосновую лучина, на дно банки мелкими щипками накрошил немного хлеба, и покинул подвал.

Через двадцать минут Ванька вернулся — в банке сидело пять мышей.

Увидев человека, они заметались. Банка наполнилась писком. Ванька довольно потер руки:

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Хар-рашо! — Подвигал губами из стороны в сторону: мышей еще надо было извлечь из банки, а потом придумать что-нибудь умное, чтобы они малость подрастеряли свою шустрость, — не то ведь ушмыгнут у змеи из-под носа и бедная гадюка останется голодной. Ванька недовольно похмыкал — не будешь же мышам подламывать лапки... Во-первых, это противно, во-вторых, они будут кусаться, в-третьих... есть и в-третьих, и в-четвертых. Но самое неприятное то, что они будут кусаться.

Ванька Калмыков и тут нашел выход, — времени на это потратил немного, — взял ватный рукав, который совал гадюкам в пасть, затянул его с одной стороны проволокой, другую сторону оставил свободной, — и согнал мышей в рукав, будто сухари.

А чтобы они не шебуршились, не пытались спрятаться или смыться, шваркнул рукавом о каменную стенку три раза. Мыши разом оглохли и потеряли запал, стали смиренными, как зимние мухи.

— Хар-рашо! — проговорил Ванька привычно и отволок мышей в сад. Высыпал их в змеиный ящик.

Гадюка разом ожила, ухватила одну мышь, самую крупную, самую нерасторопную, с оглушенным сонным взглядом, дернулась конвульсивно, разворачивая мышь головой в желудок, дернулась еще раз, и мышь нырнула в змеиную глотку, дернулась в третий раз, сокращая внутри себя мышцы, и испуганно попискивавшая мышь полезла в змеиное брюхо.

Некоторое время гадюка лежала неподвижно на дне ящика, потом приподняла голову и ухватила зубами еще одну мышь — не столь жирную, как первая. На этот раз еда не понравилась ей — слишком дохлый был кусок и она выплюнула худого, с блеклой шерсткой мышонка, ухватила кусок пожирнее и изящно, рисованным танцевальным движением подкинула вверх — мышь, очутившись в воздухе, пискнула жалобно, дергая лапками, перевернулась и очутилась в гадючьей пасти.

Проглотив вторую мышь, гадюка взялась за третью — слишком была голодная.

— Давай, давай, мадама! Лопай! — подогнал ее Ванька Калмыков. — Не будешь есть, я тебя на колбасу пушу. Постную...

Семинаристы любили постную колбасу. В том числе и Ванька Калмыков.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Со змеей, проглотившей трех мышей, заниматься было бесполезно. Это все равно, что заставить двигаться ватный рукав, — нужно было подождать пару дней, мышцы должны были улечься в гадючем брюхе, каждая в свой уголок, и тогда змея обретет подвижность.

Через два дня Ванька Калмыков опять появился в саду семинарии. Осмотрелся — нельзя было допустить, чтобы за ним увязался какой-нибудь наставник, пробрался в дальний замусоренный угол, вновь настороженно огляделся, подхватил с земли палку и вытряхнул гадюку из ящика. Сытая гадюка — она теперь могла не есть недели полторы, не меньше, — проворно устремила к кустам, но Ванька всадил в землю перед самым ее носом палку, развернул на сто восемьдесят градусов.

Прикрикнул командно:

— Давай, мадама, работай, работай!

Гадюка вновь устремила к кустам. Ванька выругался и опять развернул гадюку. Пригрозил:

— Сварю тебя на ужин вместо бульбы — будешь знать!

Словно бы услышав это, змея торопливо поднялась на хвост и ширкнула головой в Ванькину сторону. Ванька проворно отлетел от гадюки, — змея грозно зашипела, и Калмыков, преодолевая оторопь, неожиданно возникшую в нем, шагнул к гадюке. В черных маленьких глазках гадюки мелькнуло пламя — будто свеча зажглась, вспыхнула ярко, искристо и тут же погасла: змея приподнялась на хвосте и приготавлилась к броску.

— Давай, давай, мадама! — привычно подогнал ее Ванька.

Рисунок на теле змеи за эти дни поблек, потерял яркость, острые углы сгладились, словно бы их кто-то обработал напильником, либо обстругал ножиком, шея раздулась, и гадюка сделалась похожей на кобру.

— Давай! — повторил Ванька и сделал к гадюке полшага.

Змея ударила головой воздух, щелкнула зубами. Ванька врезал ей палкой по носу. Змея поспешно нырнула вниз, распласталась на земле.

Ванька усмехнулся:

— Не нравится ей... Барыня какая нашлась! Тьфу!

Он ткнул в змею палкой, та всадила мелкими острыми зубами в торец — крупные были изъяты, — предупреждающе зашипела.

— Шипи, шипи, мадама. Я тебя не боюсь... Это р-раз, и два — знай, что я тебя все равно порежу на колбасу. Шпрехен зи дойч? И квасом запью. Поняла? — Ванька снова ткнул в змею палкой.

Змея дернулась, переместилась на полметра, словно бы перелилась из одного пространства в другое, как из сосуда в сосуд, приподнялась обессиленно и тут же вновь опустилась на землю. Ванька посмотрел огорченно и опять толкнул в змею палкой. Видать, попал во что-то больное — змея дернулась, подпрыгнула, клюнула носом воздух.

Ванька огрел ее палкой:

— Цыц!

Гадюка снова атаковала пространство. Семинарист был проворнее и опытнее гадюки — не преминул щелкнуть ее палкой по носу.

— Цыц! Тренируйся, пока тебя уму-разуму учат, набирайся опыта — коброй будешь. Поняла? Я из тебя обязательно кобру сделаю, — Ванька зажмурил глаза, представил себя перед зрителями играющим на дудочке, управляющим змеей, покорно извивающейся, танцующей перед ним и растянул рот в довольной улыбке.

Так он запросто делается знаменитым, будет выступать на рынках и заколачивать большую таньгу.

И ему хорошо будет, и гадюке.

Конечно, он не превратил простую больную гадюку в королевскую кобру — этот эксперимент был обречен, но стоять на хвосте и извиваться в танце научил. И дело было не в редкостных Ванькиных способностях, а в том, что гадюка начала бояться палки.

Каждый щелчок по носу она воспринимала очень болезненно, вскидывалась, клевала в воздухе, стараясь достать до Ваньки, и очень внимательно следила за палкой. Разные индийские факиры, изображающие из себя великих покорителей животных, тоже лупили своих подопечных палкой до посинения, чуть что — хрясь по носу, даже случалось, забивали насмерть; малейшая промашка — и хрясь по носу, незначительная ошибка — хрясь по носу... Больно!

В конце концов змея, обломанная такой жестокой палкой, обязательно начинает следить за ней с утроенным вниманием, и тогда факир берет в руки дудочку. А для глухой змеи что палка, что дудочка — одно и то же. Ведь она глуха, как обычная деревяшка, ничего не слышит, совершенно

БҮРСАК В СЕДЛЕ

ничегошеньки, ни одного звука, только видит... Но любое движение, любой вздрог засекает, внимательно следит за палкой-дудочкой, не упускает ничего и колеблется всем телом, танцует, повторяя все движения палки и одновременно поедая глазами факира.

Змея стала слушаться Ваньку Калмыкова, хотя базарная артистка из нее не получилась: у Ваньки терпения не хватило, а у гадюки — мозгов.

Иногда в семинарию к Ваньке приезжал отец, привозил пироги с малиной, испеченные соседкой; твердый, как камень, сахар, лакричные таблетки от простуды (Ванька очень часто простужался, чихал, кашлял, ходил зеленый, как крапива, с запечатанным соплями носом, задышался. И отец, жалая сына, покупал ему лакричные таблетки); пироги Ванька делил на две части. Одну, которая побольше, съедал сам, вторую швырял на стол бурсе, братьям-семинаристам. Братья жадно накидывались на еду — все халявное, достававшееся даром, они любили.

Но щедрые дары эти не ограждали Ваньку Калмыкова от издевательств, его подначивали при всяком удобном случае, награждая подзатыльниками, — отвешивали оплеухи такие, что у Калмыкова только челюсти лягали, как у змеи во время тренировок, а из ноздрей вылетали красные тягучие брызги.

Перед уходом семинаристов в отпуск, когда каждый из будущих миссионеров уже облизывался, предвкушая горячие пироги с лесной земляникой и черной смородиной, а также рыбники и шаньги с творогом, которыми их будут потчевать дома в многочисленных харьковских, ставропольских и кубанских селах, Ванька Калмыков устроил представление — извлек из дальнего угла сада измученную змею, приволок ее на площадку перед главной дверью семинарии и перевернул ящик.

Змея зашипела, но Ванька на грозное шипение это — ноль внимания, он к нему привык. Ваньке вообще казалось, что он и сам умеет так шипеть: змея изогнулась кольцом и сунулась было в ящик, на привычное свое место, но Ванька отодвинул ее ногой в сторону:

— Цыц!

Калмыков умел играть на пастушьей дудочке — этому его когда-то обучил отец. Отец хоть и считался купцом, но происходил из нищих

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

крестьян Харьковской губернии и в голодном своем детстве пас коров. А где коровы, там и музыка.

Никто даже не заметил, как у Ваньки Калмыкова в руках появилась длинная деревянная дудочка. Увидев дудочку, змея поспешно поднялась на хвост — почувствовала, что вот-вот последует удар.

Ванька повел дудочкой в одну сторону — змея гибко потянулась туда же, словно за лакомой подачкой. Ванька посильнее дунул в мундштук, перекинул дудочку на противоположную сторону, змея, просчитав безопасное расстояние, отклонилась еще дальше, заняла позицию, внимательно следя за Ванькой. Все перемещения змеи в пространстве напоминали изящный танец.

Семинаристы, окружившие Ваньку Калмыкова, стояли на почти-тельном расстоянии от гадюки и в такт ее движениям также совершали броски — только подошвы ботинок громко опечатывали землю. Ванька, поглядывая на своих товарищей по бурсе, лишь ухмылялся, да дул в дудочку.

Повел дудочкой влево, сделал это слишком резко — змея даже подпрыгнула, стремясь успеть за движениями дудочки, в глазах ее высветился страх, семинаристы затопали башмаками, опасаясь змеи. Один из собравшихся — Гринька Плешивый — даже взвизгнул от испуга, а в следующее мгновение проглотил свой испуг, сделался белым, как бумага.

Ванька Калмыков торжествовал — ему удалось удивить семинаристов. О том, как он показывал концерт, бурса будет говорить долго.

— Это что тут за сборище? — послышался грозный голос. — Кто велел сбиваться в кучу? Вы знаете, кто вы? Отпетые лентяи, мусор, неучи, отходы, дураки, лоботрясы... А ну, разойдись! — дергаясь всем телом, тряся пузом, к семинаристам спешил рыжий лысый наставник, самый молодой среди воспитателей бурсы — глазастый, слюнявый, взъерошенный. — Обьедки, охломоны, обмылки, кусошники, собачье дерьмо!

Бурса разбежалась мигом. Ванька сунул дудочку за пазуху, поспешно подхватил свой ящик — это же улика, которая сработает против него, и унесся в сад.

Рыжий наставник, увидев змею, взвизгнул оторопело, затормозил — из-под кованых металлических подков его ботинок даже электрические

БУРСАК В СЕДЛЕ

искры полетели. Наставник закричал вновь — он смертельно боялся змей.

Гадюка, почувствовав свободу, нервными быстрыми рывками достигла кустов и исчезла в них.

Наставник продолжал орать. Блажил он так минут пять, не меньше, потом успокоился — устал.

Ванька бросил ящик в саду, с лету перемахнул через старую, сплетенную из ивовых прутьев изгородь и по узкой горной тропинке понесся вверх, к макушке гладкой зеленой сопки.

Благополучно перемахнул через нее и покатился вниз, к распадку. Там уселся на сырой, покрытый волосоцем пень, огляделся. Было тихо. Даже птицы не пели, словно бы в природе что-то произошло. Тонко пахло распутившимися почками, цветами и еще чем-то. Ванька побито сгорбился и неожиданно заплакал.

Он не знал, почему заплакал — вроде бы никакой обиды в нем не было, внутри не сидела никакая заноза, но вот к горлу подступило что-то душное, мягкое, и он заплакал. Выплакавшись, вытер глаза и застыл.

Весна была уже в разгаре. Темными, табачно-желтоватыми неприязательными цветками украсились ветки кизила, по земле резво рассыпались белые барабанчики — безмятежно-веселые цветки; степенными компаниями держались анемоны — нарядные, на высоких стеблях, с крупными тугими головками. Ванька анемоны старался не рвать — жалел их.

Через несколько минут он заплакал вновь. Рыдания сотрясали его худое, невесомое тело. Он не знал, сумеет закончить семинарию или нет. Скорее всего, его выгонят оттуда... Ваньке был жаль самого себя, своего отца, свою долю.

Как сложится его жизнь, он не знал.

Сон в тайге всегда бывает чутким, а многие люди, — особенно новички, ночуя в темных дебрях, вообще не могут заснуть: то медведь-людоед, шастающий в ночной темноте, начинает им чудиться, то вепрь с длинными острыми клыками, способный раздавить человека одними только копытами, даже не прибегая к помощи клыков. Вот он, вепрь, только что прошел совсем рядом, обдал тяжелым звериным духом и остановился

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

в кустах неподалеку, прислушивается, пытается сориентироваться; то волки — эти всегда ходят стаями, нападают на путников; то вновь подойдет одинокий шатун с лапами в две человеческих ноги...

Спокойнее всех ведет себя в тайге тигр. Приближается бесшумно, не рычит, не ломится сквозь чащу, как паровоз, волокущий по рельсам усталый «восточный экспресс», старается втихую все выведать и, если увидит, что дело ему придется иметь с человеком, уходит.

Первый раз Калмыков проснулся от того, что рядом пронеслась целая стая кабанят, ведомая тупоголовой хавроньей-мамашей — кабанята чуть всю тайну не вздыбили, поставили ее на-попа, даже с деревьев посыпалась листва; во второй раз подьесаул даже потянулся к нагану от тигрового хрипа — здоровенный старый самец проплывал в темноте неподалеку, обо что-то споткнулся и, предупреждая возможное столкновение, грозно зарычал.

Продрав глаза, Калмыков несколько минут напряженно вглядывался в темноту, но так ничего там и не увидел. По коже невольно побежали неприятные холодные букашки, вызывая неясную тоску, и Калмыков, человек непугливый, ощутил страх.

Старый тигр, который уже не может угнаться за молодым изюбром или козлом, вышедшим на солонцы, способен соблазниться человеком. Человека ему взять легче, чем изюбря.

Поняв, что тигр ушел, Калмыков опустил наган.

Под утро его вновь разбудили кабаны — кто-то гонял их по тайге. Кабанята-подсвинки громко топали, визжали, ломали кусты. Подьесаул послушал их визг и ухмыльнулся:

— Бродячие котлеты! — Ощупал землю около себя — наган был на месте. А карабин? Карабин тоже было на месте. Калмыков смежил глаза, проваливаясь в серую мглу, некоторое время плыл по странной речной зыби, дергаясь всем телом, потом услышал сквозь сон храп. Собственный храп.

Через некоторое время он провалился в то время, когда учился в семинарии, увидел одного из самых злобных наставников, любившего гоняться за ним с длинной линейкой; тот оторопело остановился перед Калмыковым и щелкнул зубами, будто змея, которую дрессировал юный Ванька.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Калмыков щелкнул ответно и унесся от наставника по воздуху, наставник устремился было следом, но врезался головой в окно, внезапно очутившееся у него на пути, и застрял в переплете, забился, будто пойманная муха...

Рассвет в тайге наступил рано — в затихшем, словно бы в остекленном пространстве неожиданно громко, настырно загомонили птицы, и Калмыкову показалось даже, что он слышит, как кричит петух — обычный деревенский Петя с огнистыми глазами и рыжевато-красными перьями, похожими на осенние таежные стебли дудочника, вербача, обычной куги, селящейся около ручьев, — хмельной и дурашливый одновременно петух. Калмыков даже подумал, что, может быть, какой-нибудь казак поселился в тайге, на займке вместе со своим хозяйством... Но, по сведениям, которые имелись в казачьем штабе, здесь никаких займок быть не должно.

Но и тащить с собой в тайгу домашнюю птицу — дело хлопотное: слишком многим лесным обитателям покажется интересным домашний петушок, немало четырехлапых захочет им полакомиться.

Темное вязкое пространство покрылось пятнами, посерело; пятна окрасились в розовый цвет, густой россыпью разлетелись по воздуху, пятен сделалось больше, и Калмыков неожиданно ощутил, как у него освобожденно, радостно, будто в детстве забилося сердце; тяжесть, сидевшая в нем всю ночь, отступила, бесследно растворилась в организме; усталость тоже исчезла...

Розовых пятен стало еще больше, они вертелись в пространстве, словно некие частицы колдовского шара — сорвались с него и крутятся, рождая у человека внутри радость и легкость.

Неподалеку, сидя на сучке, запела, защелкала маленькая серая птичка, с крыльями, украшенными на концах одуванчиковыми полосками, потом умолкла и начала прихорашиваться.

Совершив утренний моцион, вновь самозабвенно защелкала. Калмыков позавидовал птичке: беззаботное существо, никаких тревог и хлопот почти нет, а если и есть, то их можно решить таким вот музыкальным треском за несколько минут... Калмыков потянулся, захрустел костями и поспешно поднялся на ноги.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Весь лес уже целиком заливал розовый свет. В нем тонули высокие густые кроны деревьев; поваленные стволы с закрученной в кольца корой, отслаивающейся от поваленных ниц кленов и лиственниц; влажная земля с придавленной травой и темными плешинами, усеянными разными жуками и сороканожками, вылезшими наружу погреться. Гадкие насекомые эти вызвали в подбесауле ощущение гадости, он шагнул к одной из плешин и с силой всадил в нее каблук сапога, повернул его вокруг оси, потом повернул в обратную сторону, выкрикнул азартно:

— Ха!

Было слышно, как под каблуком трещат, лопаются прочные скорлупки жуков, будто орехи, и зеленая жижка брызжет во все стороны. Расправившись с жуками и сороканожками, Калмыков сунул наган в карман, подхватил карабин и, держа его на весу, быстрым шагом преодолел поросшую орляком поляну, поддел ногой жирную сонную змею, не успевшую заметить человека. Змея толстой веревкой взвилась в воздухе и шлепнулась на землю, смяв несколько сочных зеленых стеблей....

Через несколько минут Калмыков очутился около говорливого, обтопанного с обеих сторон ручья, остановился около него.

Присел, зачерпнул ладонью воды, плеснул себе в лицо, — не плеснул даже, а швырнул, будто тяжелую горсть... Вода обожгла ему кожу, вышибла из глаз слезы, Калмыков ошалело сморщился, снова зачерпнул ладонью воды.

Студеная влага быстро привела его в чувство, от холода задрожала, задержалась каждая мышца, тело также передернулось, во рту заломило нёбо и язык. Калмыков схлебнул воду с ладони, прополоскал ею рот, словно бы сбивал в твердый комок, выплюнул. Голова сделалась ясной, как у станичного мыслителя Васьки Голопупова, дыхание прочистилось.

— Теперь можно и дальше двигать, — произнес он вслух, подивился старческой скрипучести своего голоса, простуженности его, прокашлялся, повторил, словно бы выдавая самому себе приказ: — Теперь можно двигать и дальше!

Голос звучал уже лучше, чище, здоровее. Раздражение, скопившееся внутри за ночь, угасло само собою, будто и не было его. Калмыков вы-

БҮРСАК В СЕДЛЕ

дернул из земли толстый стебель кисловатого сытного ревеня, сжевал его, с силой всаживая зубы в мясистую сочную плоть, — настроение его улучшилось еще больше.

Хоть и не ел он ничего, кроме этого стебля, а голод перестал пристраивать свои щупальца к его организму, сосущая ломота в животе прошла. Калмыков подхватил карабин поудобнее и перепрыгнул через ручей.

Запоздало подумал о том, что у этого ручья и надо было заночевать — не там, на замусоренной поляне, облюбованной хищными ночными птицами, а здесь, но поди угадай, что в полукилометре от места ночевки течет такой роскошный ручей, — всего в полукилометре...

Розовый свет, наполнивший тайгу, потяжелел, сделался красным, каким-то недобрый, густым. Такой свет рождает в человеке тревогу и ничего, кроме тревоги, не способен больше родить. Калмыков сжал губы в тонкую упрямую линию — не любил он колебания... Колебания — это признак слабой воли, а воля у него, как он считал, была сильная...

Он насупился, нагнул голову, будто собирался выступить в честном поединке, и убыстрил шаг.

Карабин продолжал держать наготове, патрон загнал в ствол и поставил затвор на предохранитель, чтобы не произошел случайный выстрел...

Шел он, не останавливаясь, часа полтора, скатывался в крутые логи, выбираясь из них, огибая завалы и следы природных погромов, выбирал путь полегче, но это не всегда удавалось сделать, вброд одолел две речки, по которым, шлепая хвостами о камни, прыгала рыба, потом остановился, словно бы кто-то невидимый удержал его сильной рукой... Калмыков выбил из себя затравленное дыхание, сбившееся в твердый комок и одобренное клейкой слюной, присел...

В воздухе ясно ощущался запах дыма. Откуда он струился, вытекал тонким прозрачным шлейфом, — не понять и не увидеть, а вот дух его чувствовался здорово: на угольях что-то жарили — то ли соевую лепешку, то ли сшибленную с ветки ворону, то ли попавшего в силос зайца, — в общем, готовили еду. Калмыков выпрямился, пальцем опустил флажок предохранителя на карабине.

И без того небольшой, он разом сделался меньше, вобрался сам в себя, напряжился, обратился в единый мускул. Кто мог быть у

костра? Китайцы, изуродовавшие маленького мишку, русские мужики, копающие в тайге жень-шень, бабы, собирающие орляк — сейчас как раз пошел молодой подбой, брать папоротник можно только в чаще, в таежной глубине, — или кто-то еще? Запах жарева дразнил, щекотал ноздри. Калмыков повел головой в одну сторону, в другую, засек еще несколько запахов — багульника и подивился этому: ведь багульник растет в открытых местах, на ветру, на воздухе и солнышке, что же загнало его, беднягу, сюда, в душную сырость тайги, в сумрак марьиного корня и преющих грибов, таволожника, спелого лимонника и ягоды с резким духом, красной, как кровь, клоповника. В Калмыкове все обострилось, каждая клеточка, каждый малый нерв были нацелены на одно — найти супостатов... Были еще какие-то запахи, менее знакомые, и их засекал Калмыков, но не знал, от каких конкретно трав и корней они исходят...

Запах жарева усилился, дышать сделалось неожиданно тяжело, на лбу у Калмыкова появилась испарина — видать, день сегодня выдаться жарким, поплывет тогда подъясаул в своей одежде, совсем не приспособленной для гонок по тайге.

А может, это запах не свежего жарева, еще не снятого с костра, а запах прошлых лет, горелых деревьев, когда по чаще гибельным валом прошелся огонь, посбивал, опрокинул на землю несколько сотен деревьев, пообьедал у них ветки и макушки, а сами стволы, черные, обуглившись, пламени не поддались и остались, лежат теперь на земле, воняют, обманывают людей, забредших в эту жизнь на короткое время, чтобы поохотиться, — таких, как Калмыков....

Упаси Господь угодить в поваленный бурелом, а в бурелом, созданный огнем, тем более. В нем полно ям, глубоких выгорелостей, слизи, на которой на ногах не удержаться — обязательно растянешься, да еще лбом шибанешься о какой-нибудь ствол, мозги свои разбрызгаешь по черной траве, попадешь в змеиную логову — тут полно прыгающих змей, они очень любят такие места, — в общем, человека здесь подстерегает беда... Калмыков вновь попробовал угадать, откуда конкретно исходит дым, не угадал и раздраженно выругался.

Сорвался с места, будто на лыжах, и врубился в тайгу.

БУРСАК В СЕДЛЕ

Через несколько минут он потерял запах, остановился, привстал на цыпочках, стараясь ухватить тонкую горелую струю, покрутил головой в разные стороны и разочарованно сник — дым исчез.

Этого еще не хватало!

Но что было, то было. Калмыков с досадой развернулся — надо было вновь выходить на точку, где этот дым ощущался.

Отступить пришлось почти до исходной позиции, до того места, где он уже был, где первый раз почувствовал запах дыма. Калмыков остановился, развернулся и вновь начал движение.

Другого способа не было. Калмыков чуть спрямил свой ход, вломился в густую чащу, в лежавшие стволы деревьев, вскинувшие над собой в молящем движении черные ветки.

Совсем рядом, под ногами, заставив его вздрогнуть, закрикала утка.

— Черт побери! — прорычал Калмыков. — Он не сразу сообразил, что крикала не утка, а обычная древесная лягушка, за которыми китайцы охотятся так же самозабвенно, как и за медвежьими лапами, за тигровыми когтями и усами и целебными кореньями жень-шеня.

Древесные лягушки считаются в Китае лакомством, иногда эти «кряквы» вырастают такими большими, что запросто могут заклевать курицу.

В ответ на ругательство человека лягушка закрикала вновь — оглушающе резко, горласто, злобно; Калмыков сплюнул и сделал несколько поспешных шагов в сторону, а в следующий миг забыл о лягушке, принялся: пыхнет дымом или нет?

Вначале ничего не почувствовал, потом ощутил, что откуда-то снизу, едва ли не из-под земли, потянуло чем-то жареным, горьким, в следующее мгновение запах этот исчез, но через несколько секунд возник вновь. Калмыков подкинул в руке карабин, перехватил его половчее и вновь врубился в густую замусоренную чащу, пахнущую муравьиной кислотой, древесной гнилью, разлагающимися травами. Минуты через три остановился опять, чтобы сориентироваться.

Григорий Куренев считался в станице признанным лекарем — такая слава пришла к нему, когда в соседнем дворе петух попал под сеноко-

силку, направлявшуюся на луга, и выскочил из-под нее без одной лапы. Лапа осталась валяться на вытоптанной земле; некоторое время она жила, сжимая и разжимая когтистые пальцы, удивляя собравшихся мужиков, а потом утихла. Гриня вмешался в это дело, выстругал петуху лапу деревянную — обычную ветку с расщеплением на конце, в которую всунул обрубок, обмотал сухой прочной тряпкой — сделал бандаж.

Петух оказался сообразительным, довольно быстро приспособился к деревянной ноге и вскоре уже лихо бегал по улице, потешая разных казачий люд.

Справиться с медвежонком было, конечно, сложнее, но Куренев, знавший, как исправлять различное уродство, благополучно одолел и это, обмотал бедняге лапы, сунув под тряпицы бинтов новую порцию целебной травяной жеванины.

Затем отнес медвежонка на руках в хлев, уложил его на сноп свежей травы. Медвежонок все понимал, некоторое время благодарно скулил, а потом стих.

— Эх, жизнь, — горестно произнес Гриня Куренев, глядя на искалеченного зверя, ожесточенно почесал затылок, — жизнь-жизненка, катится, катится по тебе яблочко, никак остановиться не может...

Зверя ему было жалко.

Калмыков продолжал гнаться за невидимыми лиходеями. Запахи дыма и горелого мяса теперь не отпускали его. Разбойники находились где-то совсем рядом, казалось, что он вот-вот увидит их, сидящих около небольшого костра посреди какой-нибудь зеленой пади, беспечно попивающих чай, но он промахивал падь за падь, увал за увалом, — на увалах здесь росла особенно буйная тайга, деревья стояли так плотно, что не продрасться, смыкали высоко вверх свои кроны, — а хунхузов все не было.

Птицы, неистовавшие еще двадцать минут назад, — вся тайга была наполнена звенью их голосов, от птичьих криков и песен ломило уши, а виски сдавливала легкая боль, — умолкли. Неподвижный воздух сделался плотным и тяжелым, загустел; жидкий ночной холод выпарился из него, исчез, от комарья было не продохнуть — лезли гады в ноздри, в глаза, в рот. Калмыков отплевывался тягучей серой слюной, обозленно

БҮРСАК В СЕДЛЕ

мотал головой, наливался яростью, шлепал кулаком по воздуху, желая расправиться с кровососами, но ничего поделаться не мог: лицо у него становилось бледным, замкнутым, и он вновь врбался в кусты, ветками сбивая с себя комариную налипь.

Легкие рвались у него в груди, дыхание с хрипом выбивалось изо рта, само раздвигало крепко стиснутые зубы, пространство перед глазами наполнялось красным крутящимся севом, деревья, будто пьяные, кренились то в одну сторону, то в другую, плыли невесомо по воздуху, Калмыков огибал стволы — не хватало еще врезаться в какую-нибудь пихту или елку, которые на манер женской гребенки усеяны опасными острыми сучками, хватался за низко растущие ветки, скользил ногами по земле, понемногу продвигался дальше.

Вскарабкался на гребень очередной пади, привалился плечом к толстому старому стволу, украшенному огромным, пахнущим грибной сыростью дуплом, оглядел пядь. Нет китайцев! Исчезли, словно бы сквозь землю провалились.

Но они не провалились, а находились где-то совсем рядом — запах подкоптившегося на нем мяса усилился, щекотал ноздри, наплывал на подъесаула справа, слева, сваливался откуда-то сверху. Калмыков морщился — он был голоден и голод все больше и больше давал о себе знать, — зло шарил глазами по пространству: где же вы, китаезы?

Китайцев не было.

Отдышавшись, он оттолкнулся плечом от старого трухлявого ствола, запоздало подумал о том, что в дупле могли жить змеи. Мысль эта оставила его равнодушным; он часто заперебирал ногами, скатываясь в пядь, внизу чуть не завалился, зацепившись за вросшую в траву валежину, чертыхнулся, перепрыгнул через впаявшийся в землю ствол дерева, выбил из себя тягучую мокроту и, не останавливаясь, начал карабкаться на противоположную сторону пади.

Китайцы находились уже совсем рядом. Калмыков ощущал их буквально кончиками пальцев — вытягивал перед собой руку и у него начинали чесаться не только пальцы, но и ногти, губы делались тонкими, плотно сжимались в одну линию, но в следующее мгновение на них впухал кашель и губы расползались мстительно. Калмыков с трудом откашливался, прижимал к груди одну руку, словно бы хотел сжать

пальцами собственное сердце, изгнать из него усталость, боль, которая вошла не только в сердце, но и во все тело — это происходило потому, что Калмыков шел почти без отдыха. Через несколько минут он вскарабкался на противоположную сторону пади, замер на несколько мгновений.

Лицо у него разочарованно вытянулось — он думал, что уже догнал узкоглазых и сейчас навалится на них, но не тут-то было: слишком рано он нацелился укусить зубами яблоко, висевшее на ветке, — Калмыков чертыхнулся, захрипел, опустился на тощую, густо обросшую травой кочку — надо было посидеть хотя бы минуты три, освободиться от гуда, ощущавшегося в теле.

— Вот, сволочи, — Калмыков досадливо тряхнул головой, — куда же вы подевались?

Он задрал голову, принялся по-звериному к воздуху, — воздух по-прежнему продолжал пахнуть жареным. Подъесаул повел носом в одну сторону, потом в другую — запах не исчезал. Значит, китайцы находились где-то совсем близко, может быть, даже за тем вот гребнем, на котором весело поблескивали молодой хвоей лиственницы — держались они кучно, никого в свою компанию не пускали, и это нравилось Калмыкову. Он одобрительно наклонил голову и нехотя, через силу, улыбнулся. Улыбка его выглядела чужой, не смогла украсить хмурое напряженное лицо, перекошенное усталостью и неким ожиданием... Чего он ожидал? Удовлетворения от расплаты, которую он учинит над косоглазыми нарушителями границы, или ожидал чего-то другого — например, выстрела из китайского дробовика, нацеленного на него, либо еще чего-то?

Он привстал на кочке, оттолкнулся ногами от земли, будто заправский спортсмен, и в считанные минуты взлетел на противоположный гребень, протиснулся сквозь частокол молодых лиственниц, пахнувших смолой и еще чем-то душистым, с сипеньем вышиб из себя дыхание, остановился.

Невдалеке, метрах в семидесяти от гребня, среди поваленных деревьев горел костер.

Сизый кудрявый дым взметывался над огнем, расправлял свои кудри и волнистой неровной лентой тянулся к гребню, на котором стоял Калмыков.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Поваленные сухие стволы образовали закольцованную стенку, прикрыли от ветра и дождя небольшую травянистую поляну, на которой горел костер. И что еще было удобно — не надо было искать сухотье для костра, оно находилось рядом — надо только не лениться и почаще обламывать сучья у поваленных стволов, вода тоже находилась рядом. Замусоренную, с неряшливыми клочками мертвых кустов падь пересекал вязкий холодный ручей — он был хорошо виден сверху, с края пади, на котором стоял Калмыков, поблескивал металлом, журчал, пел, радовался небу, раскрывшемуся над падью, плоскому горячему солнцу, неспешно ползшему ввысь, птицам и зверькам, пившим его воду.

У костра, уже вялого, сидели четверо. Через костер был перекинут железный прут, на прут насажены две птичьи тушки. Рядом на рогульки был поставлен второй прут, на него также были насажены две ободраные, уже обожженные на огне птицы.

«Интересно, что же они собрались жрать? — Калмыков передернул затвор карабина, загоняя патрон в ствол. — Воронье мясо, что ли? Или все-таки умудрились подстрелить где-нибудь уток? А? Или фазанов? — Он приложился щекой к казенной части карабина, навел мушку на вьющийся костерный дым. — Воронье мясо — самое невкусное из всех птиц, даже у грача и то мясо вкуснее. Суетливая хрипкоголосая желна, которая крутится неподалеку от костра, перепрыгивает с одного ствола на другой, трещит что-то по-сорочьи, и та вкуснее».

В центре компании сидел плосколицый угрюмый китаец с выщипанными бровями и серьгой, вставленной в левое ухо; через плечо у него была переброшена тощая длинная косичка, перехваченная на конце грязным ботиночным шнурком, — этот человек происходил из купцов и был, похоже, старшим в разбойной команде, — вот плосколицый потянулся к шампуру, ухватил его за крученный торец, перевернул.

Волна ароматов покатила по воздуху. Калмыков невольно сглотнул слюну и подвел мушку карабина прямо под нос купеческого сына. Пуля пройдет несколько выше и всадится китаюцу точно в череп. Если она попадет в череп, то узкоглазому подданному Поднебесной никто никогда уже не поможет.

Тот факт, что разбойников было четверо, — перевес сил вон какой, — не тревожил Калмыкова, он точно так же ввязался бы в драку, если бы

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

хунгузов было и семь человек, и десять, это бы его тоже не остановило.

Калмыков на несколько секунд задержал в себе дыхание и плавно надавил на спусковой крючок карабина.

Раздался выстрел. Карабин по-лошадиному сильно лягнул его в плечо, ствол задрался, ушел вверх, Калмыков досадливо дернул головой — слишком сильна была отдача у карабина, она же скривила полет пули, но напрасно тревожился Калмыков: пуля вошла плосколицему китайцу точно в лоб, отметив от переносицы расстояние в полтора сантиметра вверх, на лбу нарисовался небольшой красный цветок. Плосколицый с изумленным видом привстал над пламенем, широко распахнул темный, с коричневыми зубами рот и в следующее мгновение рухнул прямо в костер, посшибав вертелы с насаженными на них птичьими тушками.

— Ё-ё-ё, — завыли китайцы, схватили ружья. Сунулись стволами в пространство, но куда стрелять — непонятно. Стрелять было некуда, они не засекали Калмыкова.

Закрутили встревоженно головами, один из них не выдержал, пальнул вслепую в пространство, звук увяз в тяжелом влажном воздухе — до Калмыкова донесся лишь задавленный слабый пук, китаец вторично нажал на спусковую собачку ружья. Выстрел снова увяз в воздухе.

Это были выстрелы в никуда, в белый свет. Калмыкова, стоявшего за кустами, они не видели. По-прежнему безмятежно громко пели птицы и звенели комары. Калмыков перезарядил карабин, вновь приложился к нему, провел стволом по галдевшим китайцам, выбирая цель.

Один из них наклонился над костром, ухватил плосколицего обеими руками за шиворот, выволок из вонючего угарного дыма. Впрочем, тому было уже все равно, в дыму он лежит, наполняясь ядовитой вонью по самые ноздри, либо нюхает нежные саранковые лепестки... Увидев дырку во лбу старшего, китаец закричал.

Крик его донесся до Калмыкова слабым задавленным всплеском воздуха, утонувшим в птичьем пении. Калмыков подвел мушку карабина под открытый кричащий рот и нажал на спусковой крючок — карабин больно толкнул его в плечо, отплюнулся дымом. Сизый густой дым, выхлестнувший из ствола карабина, расстроил Калмыкова: во-первых, патрон был заряжен слабым порохом, который хорош только для растопки костров, во-вторых, струю дыма засекут китайцы, в результате

БҮРСАК В СЕДЛЕ

начнется ответная пальба, уже прицельная, а китайцы охотники не хуже, чем прославленные сибирские стрелки.

Китаец захлопнул открытый рот и вздернул над собой руки, словно бы подавал кому-то сигнал. Калмыков поморщился — похоже, он промахнулся. Но вот из стиснутых губ китайца фонтаном брызнула кровь — подьесаул не промахнулся. Подломившись в коленях, китаец опустил на землю и лег на своего плосколицего предводителя, накрыв его сверху.

Двое оставшихся китайцев попадали по обе стороны костра, в то же мгновение над головой Калмыкова щелкнула пуля. Калмыков поспешно нырнул вниз, распластался на земле. Вторая китайская пуля прошла воздух в том самом месте, где он только что стоял, с чавканьем влетела в ствол старого пробкового дерева.

Калмыков отполз на несколько шагов в сторону, перезарядил карабин. Китайцы молчали, старались понять, куда делся человек, атаковавший их. Калмыков тоже молчал: бить надо было наверняка, лишь тогда станет ясно, где конкретно распластались ходи. И — ползать по земле, будто гусеница, чем проворнее, тем лучше. И безопаснее.

Беззвучно, стараясь не задеть ни одной былинки, он отполз в сторону еще на несколько метров, сунул голову под куст, огляделся.

Костер по-прежнему продолжал чадить, и дым от него, как и прежде, продолжал распространяться вкусный — он был пропитан духом жарева. Калмыков не сдержался, отплюнулся твердой, как картечь, голодной слюной, вгляделся в пространство. Через несколько мгновений увидел поднимающуюся над травой черную голову с едва державшимся на макушке грязным выгоревшим платком, — и хотя голова тут же опустилась в траву, Калмыков точно засек место, где лежал китаец, и подвел под разбойника мушку.

Стал ждать. Выстрелить надо было в тот момент, когда китаец вновь приподнимется над землей, раньше нельзя. Раньше — опасно. Судя по тому, что две пули шли верно в цель и, оказавшись он менее проворным, его явно бы прошили, — китайцы были из породы знатных стрелков.

Застыла падь, застыл воздух в ней. Пахло порохом. Запах этот Калмыков никогда в жизни не перепутает с другим — наелся его в окопах вдоволь.

Захотелось курить, так захотелось сунуть в рот папироску и затянуться сладким дымом, что у Калмыкова даже больно свело скулы, но курить было нельзя. И шевелиться нельзя... Калмыков ждал. И китайцы ждали.

Падь, облюбованная пришельцами, не была такой чумной, заросшей, как хламная тайга, примыкавшая к станице, — над ней весело голубело небо. А чистое голубое небо в уссурийской чащобе — явление редкое.

Медленно тянулось время. От того, кто кого переждет в этой игре, зависел успех. Около самого лица Калмыкова по плоской широкой травинке, будто по гаревой дорожке, прополз тяжелый рогатый жук, остановился, глянул на человека снисходительно и пополз дальше. Будто генерал какой. Калмыков лежал, не делая ни одного движения, словно бы превратился в некую неодушевленную чурку.

Так прошел час. Костер прогорел окончательно, угли в нем сделались черными и холодными, жареный дух истаял — ничто уже не напоминало, что в пади хунхузы собирались позавтракать.

Тело ныло, так ныло и болело, что внутри даже что-то потрескивало, мышцы гудели от усталости. Солнце уже вскарабкалось высоко, заняло свое всегдашнее место за облачками, разбросанными по разным местам неба, будто пена, выплеснутая из бабьего корыта; по лбу сползал едкий пот, мелкими каплями падал на землю, растворялся там, чтобы подкрепить какую-нибудь крапиву и дать ей рост.

Китаец не выдержал первым — нахлобучил на грязный платок лист папоротника, вздернул над травой голову — похоже, посчитал, что этот прилипчивый русский уже растворился, — и был неправ, Калмыков плавно нажал на спусковой крючок карабина.

Звук у карабина бывает оглушающее громким, как у очень серьезного оружия, человека может сдуть даже ветром, приклад вновь больно лягнулся, и в то же мгновение с китайца слетела папортниковая ветвь, а он ткнулся лицом в землю.

Калмыков был доволен выстрелом, произнес удовлетворенно:

— Однако!

Осталось достать последнего. Калмыков выругал себя — слишком долго он сидит на одно месте, отполз на несколько метров в сторону,

БУРСАК В СЕДЛЕ

стараясь не задевать за низко растущие ветки, втянул тело в свободное пространство за густым кустом лимонника, осмотрел местность.

Четвертого хунхуза не было видно, и примет, что он никуда не утек, тоже не было. Неужели ушел? Это надо было проверить.

Птицы заголосили сильнее, на все лады; даже кукушка, которая в здешней тайге — гостя редкая, она в глухие места вообще старается не забираться, ей там неуютно и скучно, человека эта рябовато-серая птица тоже особо не привечает, словно боится сглаза, — вплела свой голос в общий хор и смолкла.

— Кукушка, скажи, сколько лет мне осталось жить? — шепотом, который он и сам не услышал, спросил подъесаул, замер на несколько мгновений, потом униженно попросил: — Не жмись, кукушка, выдай мне, что положено по норме. И сверх нормы... Не скупись, кукушка.

Хоть и не услышал Калмыков собственного шепота, а кукушка услышала, вскинулась где-то в густоте деревьев и выкрикнула громко, словно бы давась собственным голосом, через силу:

— Ку-ку! — и тут же поперхнулась, смолкла.

Калмыков недоуменно сморщил губы:

— Ты чего, дура? Давай еще, давай! — Он вновь не услышал своего шепота. — Ну! Давай!

Кукушка молчала, упрямая. Калмыков ощутил, как внутри у него рождается раздражение, что-то хваткое, холодное начинает цеплять его за сердце, будто бы внутри поселился некий здоровенный паук, пробует сейчас живую плоть Калмыкова, впивается в нее зубами — то в одном месте надкусит, то в другом... Так ведь и сердце может остановиться.

— Ну, кукушка! Тебе что, жалко? Одного года мне мало. Добавь еще годков тридцать! Ты слышишь меня?

Кукушка слышала Калмыкова, но продолжала молчать.

Из-за макушек деревьев принесся тихий шелестящий ветер — словно бы с того света приволокся, пригнул макушки трав, разгреб спутавшиеся стебли шеломанника, растущего буйно, будто борода у сибирского кучера, медвежьих дудок и полыни — серой, густой, остро щекочущей ноздри своей горечью. Над полынью даже комары не вились — избегали ее писклявые. Станичные бабки считали, что от этой полыни даже нечистая сила в обморок хлопается, и прибивали на Троицу к дверям

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

вместе с березовыми ветками и былками чертополоха; влетев в такой дом, нечистая сила по полу катается, а сделать ничего не может...

Пробежавшись по пади, ветер вернулся, сделал еще один облет владений и стих. Наступило время жары, из-под фуражки у Калмыкова мелким свинцовым просом посыпались капли пота.

— Ну, кукушка, подай свой голос еще раз, продли мне жизнь... Ну!

Кукушка продолжала молчать.

— Й-йэ-эх! — с досадой вздохнул Калмыков и, отвлекаясь от кукушки, подумал, что четвертый китаец все-таки благополучно уполз из пади. Вот только как он умудрился это сделать, как остался незамеченным? Калмыков продолжал лежать не шевелясь — обратился в камень, в дерево, стал частью этой тайги.

Сколько Калмыков ни бывал в уссурийских чащах, а никогда не переставал им удивляться, не переставал учиться у матушки-природы — то маскировке, то умению добывать воду в безводную пору, то способности рождать огонь из ничего, то лечить всякое живое существо, не имея лекарств, то еще чему-нибудь, — тайга учила людей, умела это делать, и на что уж подьесаул не был способен к учебе — так он считал сам, и то очень многое сумел взять у нее. И костер без спичек разжечь умел, и суп сварить без мяса и приправ, и болезни лечить без госпитальных снадобий, и шкуры убитых зверей выделывать так, чтобы из них не вылезал волос — без всяких препаратов и порошков, и одежду чинить без иглы и ниток...

Неужели последний китаец все-таки утек? Жаль. Надо было этого живоглота, истязателя природы, припечатать... До чего докатились не люди — отрезали живому медвежонку лапы. Четверо на одного, по лапе на человека. Тьфу! Жаль, не встретила им мамаша этого искалеченного звереныша. Тогда бы они от нее даже на бронев автомобиле не ушли, она бы не дала... Калмыков сдул с носа какую-то наглуую козявку и хотел было привстать — слишком уж у него занемели мышцы, подтянул к себе длинную лысую прутину — у нее не только все сучки, даже все почки сгнили, надел на нее фуражку и приподнял над кустом.

В то же мгновение на противоположной стороне пади громыхнул выстрел. Застойный воздух шевельнулся, будто подстегнутый бичом, и пробитая пулей фуражка полетела в траву.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Калмыков привычно сжался, словно бы сидел в окопе, делаясь все меньше в объеме. Такое почти всегда бывает с людьми на фронте, если они попадают под обстрел — каждая клеточка хочет сделаться меньше, усохнуть, сжаться; внутри возникает противный холод, — потом все это проходит... В конце боя люди вспоминают такие превращения с досадой...

— Сука! — запоздало выругался Калмыков. Холодок нервной оторопи прошел.

Опытный вояка, подьесаул много земли и горелого пороха стрескал на фронте, был терт-перетерт, а чуть не подставил собственную тыкву под китайскую пулю, чуть не лег в уссурийском перегное вместе с тремя узкоглазыми. Тьфу!

Он подтянул к себе фуражку. Фуражка была испорчена так, что чинить ее было уже бесполезно: из мелкой тульи даже желтоватая тощая вата полезла, верхняя часть кокарды была отколота выстрелом, околыш разодран, из него также торчали вата и обрезки обгорелых ниток. Калмыков стиснул зубы и угрожающе прошептал:

— Ну, погоди, сука! Я тебе сейчас покажу, как рак умеет свистеть на самой высокой горе в здешней местности... Погоди!

Переместился на несколько метров в сторону, заполз за куст и замер.

С той стороны вновь прогремел выстрел — китаец был опытным охотником, засек змеиный шорох и треск нескольких веток, которые раздавил подьесаул, всадил еще одну пулю в куст, за которым еще полминуты назад сидел Калмыков, вторую пулю — неприцельно, наугад, — послал в траву. Она прошла совсем недалеко от Калмыкова, но он совершенно не обратил на нее внимания — это была не его пуля.

— Погоди, сука! — прежним угрожающим шепотом пробормотал подьесаул.

Он попытался понять, где конкретно сейчас находится китаец, за каким кустом затих, к какому бревну приклеился, в кого конкретно вырядился — в зайца или енота, обратился в лопух или в смятый кленовый лист, — такие умельцы, приходящие с той стороны реки Суйфун, имеются в достаточном количестве. Даже еще более хитрые и опытные. У себя дома каждую былинку, каждый кусок навоза берегут, без разрешения

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

боятся рвать даже крапиву, растущую на обочине дорог, а здесь им все трин-трава, под каждый корень всаживают лопату и выворачивают его наизнанку...

Китаец не подавал признаков жизни. Будто умер.

Но ведь только что гроыхнул его выстрел — только что... сидит жук где-то рядом, усами шевелит, глазами вращает, а вот поди, засеки его...

Нет китайца. Калмыков внимательно, останавливая взгляд на каждой подозрительной щепке, на каждом пеньке, прошелся глазами по противоположной стороне пади, ничего не пропуская, изучая каждую мелочь, каждую примятость травы, каждую выдавлину в старом поваленном стволе, на котором хунхузы сидели, но ничего не нашел и помрачнел. Не было ни одной живой метки, за которую можно было бы ухватиться и понять, где конкретно находится китаец.

Тяжелая, будто налитая металлом трава, над которой вьются комары и мухи, застывший воздух, превратившийся в желе.

Началось состязание на измор, борьба: кто кого возьмет? Кто окажется наверху, можно было только гадать. У кого нервы окажутся крепче, а задница мясистее, тот свое и возьмет... А соперник останется в этой пади кормить червяков.

Хотелось пить. Калмыков откусил зубами сочный травяной стебель, пожевал его. Поискал глазами ягоды лимонника — красную праздничную дробь, растущую на кустах, либо вялые продолговатые плоды жимолости, схожие с куколками, из которых потом вылупляются красавицы-бабочки, но ни лимонника, ни жимолости не нашел. В нескольких метрах отсюда, на прежнем месте ягоды росли, а здесь — нет...

На прежнее место возвращаться нельзя, это опасно — может кончиться тем, что не ходя останется лежать здесь, а подьесаул. А это никак не входит в его планы. Но где же ты, хитрый китаеза, где? В какой древесной щели замуровался, под какой ореховой скорлупой сидишь?

Калмыков сглотнул тягучую противную слюну, собравшуюся во рту, почувствовал в ноздрах тонкое противное щекотание, какое обычно возникает от слишком запашистой травы, либо от ядовитых сорных стеблей, которых расплодилось в тайге количество немеряное, поскольку человек выдирает из земли все ценное, нужное ему для лечения и пропитания, а всякую дребедень, способную уложить наповал какого-нибудь излюблен-

БҮРСАК В СЕДЛЕ

ка, оставляет, и дребедень эта расплодилась среди здешних трав очень густо. Калмыков пошарил глазами по головкам стеблей — откуда, от какой крапивы исходит такой резкий дух?

В следующее мгновение он одернул себя — не отвлекайся! — вновь скользнул усталым взглядом по противоположному краю пади, пытаясь обнаружить хоть одну зацепку, хотя бы малую деталь, которая выдала бы меткого ходю, но и в этот раз ничего не нашел.

Оставалось одно — ждать. Убойный стрелок если не утек, то обязательно проявится, не может он не проколоться, не обозначиться... Хотя очень уж хитро ведет себя ходя.

Подьесаул отметил, что в пади этой подрастает много молодых кедров, хотя совсем не факт, что каждый кедрчонок может стать взрослым деревом, — все зависит от породы. Впрочем, и взрослый низенький кедрчонок так же может давать урожай орехов, как и могучей гигант, вымахавший под облака, только орехи эти будут разными: у кедрчонка — жидкими, мелкими, а у гиганта помет будет гигантским: каждый орех похож на катаную свинцовую пулю, приготовленную, чтобы завалить медведя...

Казачата — маленькие мальчишки — набирают в тайге орехов столько, что сами выволочь добычу не могут, им подсобляют взрослые, в помощи никогда не отказывают, — тут каждый дом, каждое хозяйство имеет хороший запас орехов...

Из орехов дают масло, много масла, в котором обязательно варят пельмени. Прежде чем бросить на сковородку, ядрами сдобривают кашу — для сытости, с орехами в здешних поселениях даже чай пьют — такие они сладкие, а уж в долгие зимние вечера, когда народ собирается за столом, чтобы обсудить разные новости и отделить их от сплетен, никак не обходится без орехов... За вечер столько перетрут скорлупы, что утром выгребают ее из домов ведрами, перетаскивают в бани — на растопку, либо высыпают в печки...

Хотя кедровая скорлупа в печке — штука опасная: может пол-избы снести — горит, как порох.

А на перемычках — мелких сухих отонках, имеющих внутри ореха, — готовят целебную настойку, очень хорошее средство при простуде: всякий кашель, красный отек в горле, жжение снимает как рукой.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Калмыков, перебирая в голове разные сведения о ценном кедровом орехе, внимательно наблюдал за пространством, он сросся телом с землей, сам стал землей, перегноем, палым листом, куском камня, из которого течет вода — слезы его, вот ведь как — не делал ни одного движения, лежал, будто мертвый. Только глаза его были живыми, внимательно скользили по местности. Калмыков продолжал наблюдение.

Солнце поднялось на такую высоту, что на земле почти не было теней, птицы умолкли, образовалась тишина. Такая тишь установилась, что от нее трещали не только барабанные перепонки — трещали даже височные кости и ломило затылок.

Почти все звуки угасали в плотном горячем воздухе, сваривались. Похоже, излюбенок недалеке твякнул, будто ушибленная собачонка. Скорее всего, отец за непослушание поддел рогом мальчика, боль кое-какую причинил, тот вякнул от неожиданности, но тут же собственным вяканьем и подавился. В другую пору звук этот далеко бы растекся по пространству, а сейчас он увяз в воздухе, ткнулся в жирную плоть, угаснул. Птицы задвигались, зашебурились на вершине кедра, но в следующий миг умолкли — жарко.

Мышцы у Калмыкова онемели, сделались чужими, растеклись киселем, но Калмыков знал, что достаточно будет короткой команды самому себе, чтобы собраться «в кучку», как говорит большой станичный мыслитель, задумчивый человек Пупок, — и стать тем, кем подьесаул был на самом деле.

Если же лежать в засаде собранным, нерастекшимся, то от боли и усталости можно свихнуться, — такое с Калмыковым тоже бывало...

Чего только не проносится в голове, когда дежуришь в схоронке, лежишь в траве тихий, как мышь, и неподвижный, как поваленное дерево, у которого ничего, кроме кривых сучьев, нет. Правда, такая штука, как память, все-таки есть.

Память — великая вещь, именно она делает человека человеком и вообще отличает его от зверя, имени своего не помнящего, заставляет почитать мать и отца, ухаживать за родными могилами, поклоняться иконам, соблюдать посты, посещать храмы, каяться в грехах и очищаться, просчитывать будущее, находить в сравнения параллели, помогать

БҮРСАК В СЕДЛЕ

слабым, защищать убогих и так далее. Список этот может быть бесконечным — все это заставляет человека делать память. Память — двигатель, который шлифует человека, возвращает его в прошлое и спрашивает ехидно: «Ну как?»

Этот противный вопрос звучит где-то в животе, в кишках, в потрохах, а не только в голове; возникает там, где вообще ничего не должно возникать, звучит с противным желудочным писком, — и подьесаул невольно морщился, слыша его... Еще не хватало, чтобы он возник сейчас в этой дурацкой, пахнущей дымом и засиженной мухами пади. Запах жареного мяса исчез, не дождались китайцы печеных птичек, не полакомились дохлятиной. Вместо этого запаха появился дух навозных мух.

Калмыков продолжал ждать. Падь в жаре этой омертвела окончательно, не осталось в ней ничего живого. Ну где последний, четвертый хунхуз? Кто подскажет? Что на этот счет говорит внутренний голос?

Однажды Калмыкову срочно понадобилось съездить в Хабаровск, в канцелярию генерал-губернатора, забрать там ходатайства по поводу государственных выплат бедным семьям. Калмыков купил себе билет в «синий» вагон¹, чтобы доехать до губернской столицы как белому человеку, без докучливых рассказов попутчиков и их козлиных взглядов, способных забраться в любую душу, — в «синем» вагоне купе были двухместные...

В конце концов, соседство одного человека Калмыков выдержит — ехать не так далеко, не до Москвы и не до Северной Пальмиры, и даже не до Читы — всего лишь до Хабаровска — вот он, до него досвистеть можно, не то чтобы доехать.

Из вещей у Калмыкова с собой была лишь кожаная полевая сумка, больше ничего. Он уже уселся в вагон и вытянул ноги в зеркально начищенных сапогах, в которые можно было смотреться и видеть ранние морщины на собственной физиономии, как вдруг в ушах возник тонкий, по-птичьему писклявый, словно бы ему перетянули пупок, внутренний голос: «Слышь, будущий атаман, у тебя попутчицей будет потрясающая дамочка, такая — м-м-м! — Калмыков ясно различил сочный звук поцелуя, — с нею ты завяжешь роман. Возьми с собою выпивку... Она тебе очень даже пригодится. Понял?»

¹ Синий вагон — вагон первого класса.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

В другой раз на этот желудочный писк Калмыков не обратил никакого внимания, а тут при упоминании о дамочке, да еще потрясающей, он вдруг ощутил, как у него запылали сладким жаром щеки. Калмыков немедленно вскочил и бегом понесся в вокзальный буфет.

— Вы куда, ваше высокоблагородие? — закричал ему вдогонку обер-кондуктор — почтенный человек с лохматыми бровями и окладистой бородой, будто у швейцара владивостокского ресторана «Золотой Рог». — Поезд уже отправляется!

— Задержите отправление... Я сейчас! Одну минуту!

В буфете Калмыков купил бутылку дорогого шустовского коньяка, темного, десятилетней выдержки, и попросил завернуть в пакет фруктов.

— Вам каких фруктов? — полюбопытствовал буфетчик. — Нашенских или заморских?

— Давай заморских.

— Будет сделано! — бодро воскликнул буфетчик и сунул в большой пакет, склеенный из вощеной бумаги, крупный ананас, похожий на кактус, пяток бананов и пару небольших розовых фруктов неведомого роду-племени.

— А это что такое?

— Фрукт под названием бомбондир, господин генерал!

— Да не генерал я, — отмахнулся от завышенного звания Калмыков, хотя было приятно, что его называют генералом. — А что за фрукт-то этот, бомбондир?

— Бомбондир? Очень вам понравится, господин генерал. Довольны будете!

Калмыков поехал из стороны в сторону усами: фрукт бомбондир показался ему странным. А вдруг у этого благообразного плода вкус прокисшей капусты, а внутренность воняет навозом? Конфуз тогда выйдет несусветный, великий, дамочка-с может и по морде перчаткой съездить, что весьма и весьма, сами понимаете, нежелательно.

— А вкус у него какой? — продолжая подозрительно шевелить усами, спросил Калмыков.

— Вкус — м-м-м! — Буфетчик вытянул губы трубочкой и поцеловал воздух. — Вкус — манифик!

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— На что похож-то хоть?

— Да нет в России таких фруктов, господин генерал, не водятся...

Ни на что не похож.

— На яблоко, может быть?

— Не-а! — буфетчик отрицательно мотнул головой.

— На мандарин?

— Не-а!

— Может, с горчинкой? Как кожура апельсина?

— Не-а! Берите, господин генерал, будете довольны... Советую.

Калмыков взял. Сунув коньяк в карман галифе, прижав к груди пакет с фруктами, выскочил на перрон, бряцнул шашкой по деревянному настилу: где же поезд?

Поезд находился на месте. Калмыков влетел в вагон, по дороге хлопнул обер-кондуктора по плечу, из которого стрельнул плотный клуб пыли:

— Молодец, дед, задержал экспресс.

Обер-кондуктор смущенно похмыкал в кулак:

— Не задерживал я, ваше высокоблагородие, — он сам задержался....

— Ну и хорошо! — нетерпеливо произнес Калмыков, ему хотелось как можно быстрее очутиться в купе, взглянуть хотя бы одним глазком, кто там находится, что за попутчица?

Купе было пустым. Лицо у Калмыкова озадаченно вытянулось, глаза сжались в обиженные щелочки, будто у китайца.

— Где же дама? — неожиданно спросил он вслух; вопрос повис в воздухе — ответить на него было некому. — Кхэ! — с досадой крикнул Калмыков, аккуратно пристроил пакет на столике и, приподнявшись на цыпочки, заглянул в окно.

Перрон был полон. Прямо перед окном гомонили молодые люди в форме железнодорожных инженеров — они то ли провожали кого-то, то ли ждали, взмахивали руками, кричали громко, и крики эти вызвали у Калмыкова невольное раздражение. Он сжал пальцы в кулак и ударил, будто молотком, по воздуху...

Пробежался глазами по перрону — где блондинка, для которой он купил коньяк и фрукты? Почему-то ему казалось, что женщина эта обязательно должна быть блондинкой.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

На перроне не было ни одной блондинки. И вообще женщин было на удивление немного. У Калмыкова обиженно дернулись усы. Поезд уже должен был отчалить от перрона, а он все еще стоял... Калмыков поспешно вытащил из пакета ананас, водрузил его на видное место на столике, вытряхнул связку бананов и тяжелые, как бильярдные шары, фрукты под названием бомбондир, пристроил рядом с бананами.

У опустевшего бумажного пакета распахнул пошире горло, чтобы удобнее было складывать очистки от фруктов.

Поезд продолжал стоять. Калмыков опустил половинку окна и выглянул наружу. Кондукторы стояли у своих вагонов с красным флажками, свернутыми в трубочки, — отправление состава задерживалось. У Калмыкова на сердце что-то сладко екнуло — а ведь экспресс задерживают явно из-за незнакомой блондинки. Она должна прийти, эта блондинка, она обязательно должна прийти...

На перрон тем временем, отчаянно крикая клаксоном, вынесся старый автомобиль с раскаленно шипевшим радиатором, остановился около синего вагона.

В автомобиле, на кожаном заднем сиденье, как в пролетке, располагались двое: пехотный полковник с серебряными погонами, свидетельствующими о принадлежности к Генштабу, и прыщавый кадет с длинным унылым носом и тусклыми, вылупленными, будто у аквариумной рыбы, глазами. У Калмыкова нервно задергалась правая щека: похоже, финал этой истории будет самым неблагоприятным, худшим из всех, что только могут быть.

Шофер поспешно выпрыгнул из-за руля и распахнул дверцу автомобиля с той стороны, где сидел полковник.

Полковник, хрустя старыми костями, выбрался на перрон и, приложив ладонь к большому твердому уху, позвал:

— Мишель!

Мишель тоже выкарабкался на перрон, огляделся, затем, разминая затекшие ноги, несколько раз присел.

— В Хабаровске тебя встретит ротмистр Гайдаенко, — сказал ему полковник, — слушайся его во всем. Понял, Мишель?

— Понял, — устало проговорил Мишель.

БУРСАК В СЕДЛЕ

На длинном белом носу кадета висела простудная капля. Мишель смахнул ее небрежным движением руки.

— В дороге ешь побольше, — сказал ему полковник, — это успокаивает. И сон ночью будет лучше.

«Господи, неужели ко мне в купе посадят этого лягушонка? — с тоской подумал Калмыков. — Вместо прекрасной царевны? Неужели?»

— Все, Мишель, садись в вагон, — подогнал кадета полковник, — поезд и без того здорово задержал... Шевелись!

Мишель сделал недовольное лицо, но подчинился старому наставнику — кряхтя, будто его одолевал ревматизм, забрался в вагон. Худшие предположения Калмыкова подтвердились: кадет оказался его соседом по купе, деловито расположился на лавке, обтянутой бархатной тканью, не сказав Калмыкову ни «здрассьте», ни «позвольте войти» — повел себя, как черноморский матрос в жилье контрабандиста; Калмыков хоть и взвыл внутренне от такой наглости недоумка в кадетской форме, но промолчал и извлек из кожаной сумки штопор. Сосредоточенно, медленными ладными движениями ввинтил штопор в пробку, впечатанную в горлышко коньячной бутылки.

Вкусный напиток предстояло одолевать одному — не кадета же приглашать в компанию... И этот стервец — внутренний голос — спрятался: ни писка от него, ни царапанья, будто бы умер.

Тьфу!

Послышался удар медного стационарного колокола — пора отправляться, «микст», словно норовистый конь, запряженный в голову поезда, — дал свисток и начал гроыхать чугунными сочленениями колес. Перрон медленно пополз назад. Полковник, провожая кадета, почтительно взял под козырек, Калмыков с ненавистью проводил его побелевшими глазами и налил себе стакан коньяка. Полный, почти вровень с краями.

В купе вкусно запахло крепким виноградным духом, солнцем, ветром, сухими дубовыми листьями, еще чем-то приятным, — коньяк был очень качественным, одним словом, шустовский. Шустовские коньяки Калмыков любил. Большим глотком он отхлебнул полстакана, проглотил и вкуса коньяка не почувствовал. Удивленно качнул головой.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Кадет глянул на него диковато, потом прилип лицом к окну, словно бы хотел разглядеть там что-то потайное, невидимое. Уж не полковника ли?

Калмыков усмехнулся, выдернул из ножен шашку и ловким точным ударом снес у ананаса макушку, словно шапочку у хасида — верующего местечкового иудея затем отжал окно и в образовавшееся отверстие стряхнул шапочку — та звучно шлепнулась на шпалы.

Следующим ловким ударом Калмыков отрубил тонкий ровный пласт-кругляш, сделал это изящно, будто цирковой артист, подкинул его лезвие и поймал, поднес к ноздрям. Спелый ананас пах одуряющее терпко и одновременно нежно. Неземной запах этот родил на языке сладкое томление... Калмыков сунул шашку в ножны, чтобы не мешала, зубами отодрал от кругляша жесткую колючую кожуру, надкусил мякоть.

Ананас был хорош, но, тем не менее, Калмыков с кислым видом подергал усами:

— Квашеная в вилках капуста бывает нисколько не хуже. Если не лучше.

Он вновь выдернул шашку из ножен, отпластовал очередной кругляш от ананаса, быстро расправился и со второй порцией, подтвердил прежнее суждение:

— Да, капуста в вилках не хуже!

Кадет опять диковато, словно увидел папуаса, случайно попавшего на Амур, глянул на Калмыкова, открыл рот, чтобы изречь нечто умное, но увидев белесые глаза казачьего офицера, захлопнул рот и поежился, будто от холода.

Поезд громко постукивал колесами на стыках, за окном поблескивала речная синева — «микст» тянул вагоны вдоль спокойной, слегка вздыбленной ветром речки. Калмыков вытянулся перед коньячной бутылкой, словно перед генералом — единственно, только честь не отдал, налил себе еще стакан.

Все-таки умеет господин Шустов производить коньяки — вкусная у него получилась штукенция. Раздражение, оставшееся после появления в купе кадета, не проходило. Вместо роскошной золотоволосой дамы неприятно было лицезреть прыщавого суслика... И как же он, дурак набитый, поверил внутреннему голосу, этому шарамыжнику, сидящему в нем? Эх, Ванька, Ванька!

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Вкусный хмельной дух коньяка распространился не только по купе — по всему вагону, Калмыков, приходя в некое внутреннее неистовство, резко дернул головой, будто поймал зубами пулю — ловкий такой трюк. Кадет глянул на попутчика со страхом и съежился еще больше.

Медленными, очень маленькими глотками Калмыков осушил половину стакана, вкусно почмокал губами, прислушался к тому, что происходит в него внутри — процесс явно был сложный, приятный, раз с лица этого человека исчезла некая жесткость, а следом за нею и упрямая угловатость черт, которая обычно появляется перед дракой, — Калмыков довольно крякнул и вновь лихим ударом шашки оттяпал пластину ананаса, будто кусок репы отрубил.

— Гха!

Кругляш ананаса взвился в воздухе, Калмыков еле его поймал. Подивился:

— Во, какой шустрый огурец!

Съев ананас, покосился одним глазом — хмельным, бесшабашным, — на хваленый фрукт-бомбондир: а каков вкус у него? Не прохватит ли понос?

Не должен прохватить. Иначе Калмыков загонит буфетчика в Китай и никогда его оттуда не выпустит.

Нет, потрепаться фрукт-бомбондир было еще рано. А вот черед бананов подошел — пролетят в один миг в качестве шлифовки. Выпитое всегда хорошо отшлифовать сладкой банановой мякотью. Калмыков открутил от связки один кривой толстый банан, сдернул с него шкурку и, брезгливо приподняв в руке, произнес с неожиданным интересом:

— У коня причиндал больше.

Несчастный кадет сделался совсем плоским, вжался костями в спинку сиденья, побледнел, на кончике носа у него теперь непрерывно собиралась простудная роса и частым дождем сыпалась вниз.

Калмыков с усмешкой посмотрел на кадета и отвел взгляд в сторону. С ожесточением откусил кусок банана, не разжевывая, проглотил. Банан оказался пресным. Откусил второй кусок.

Речная рябь за окном кончилась, поползла неряшливая зеленая тайга, какая-то непричесанная, вспушенная, с воронами, пытавшимися бороться с внезапно возникшим ветром — целая стая пробивалась к

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

неведомой цели, взмывала вверх, обессиленно хлопала крыльями, плывя на одном месте, потом, роняя перья, ныряла вниз, к макушкам деревьев, лавировала там с трудом, беспомощно разевала рты, давясь воздухом и разным небесным сором, пока ветер снова не зашвыривал их наверх, не прижимал к тугим кудрявым облакам, неторопливо ползшим в выси.

Фрукт-бомбондир Калмыков также разрубил шашкой — уложил его на руку и смаху секанул лезвием. Несчастный кадет даже глаза закрыл — думал, что Калмыков отхватит себе сейчас руку, но удар у Ивана Павловича был поставлен точно — в любом состоянии он рубил словно по намеченной черте, не отклоняясь от нее ни на миллиметр.

Располовиненный фрукт остался лежать у него на ладони. Сунув шашку в ножны, Калмыков принялся к диковинному плоду — чем он пахнет? Никогда Калмыков ничего подобного не едал... Фрукт пахнул чем-то резким, кожаным, будто новый офицерский сапог, еще не знающий ваксы, с добавлением сложных растительных ароматов, начиная с крапивы, вереска, вишни, черемухи, кончая гречишным листом. Такой странной сложности аромата Калмыков удивился, аккуратно отщипнул зубами немного мякоти.

Вкус у фрукта-бомбондира был превосходный — кисловато-сладкий (в меру кислый, в меру сладкий), нежный, с добавлением чего-то неведомого, диковинного, придававшего фрукту пикантность, делавшего мужчин сумасшедшими, а дам податливыми, — буфетчик знал, что предлагать своим клиентам, отправлявшимся в Хабаровск. Калмыков остался фруктом доволен.

Через пятнадцать минут он допил коньяк, опустевшую бутылку выбросил в открытое окно купе и завалился спать.

Проснулся он уже в Хабаровске.

Калмыков продолжал выслеживать китайца — последнего из оставшихся хунзузов, судя по всему, опытного, знающего, с кем надо есть молодые бамбуковые побеги...

Птицы, то пропадавшие, то возникавшие вновь, стали кричать тише. Комаров тоже, кажется, стало меньше — свое брала жара; воздух в пади раскалился, сделался обжигающе горячим, мухи в нем сваривались на

БҮРСАК В СЕДЛЕ

лету — шлепались частой дробью на землю, комары оказались более стойкими, но вскоре поплыли и они.

Калмыков ждал. Аккуратно стянув с головы фуражку, осмотрел пробой — захотелось повторить опыт еще раз, он даже знал, почему захотелось. Это была какая-то странная потребность организма, что-то шедшее изнутри, — судя по пробую, китаец был вооружен сильной винтовкой, скорее всего штуцером.

— У нас винтовочка не хуже, — пробормотал Калмыков, любовно погладил ложе кавалерийского карабина, — а может быть, даже и лучше.

Как же выманывать китайца из его логова? И где конкретно он сидит? Слева, справа от кострища или же скрылся за поваленными деревьями? Незаметно отполз в кусты? Где он?

В общем, Калмыков ждал. Китаец тоже ждал. Уходить ни одному, ни другому было нельзя, это губельно. Калмыков напрягся, протер глаза — показалось, что в слипшейся зелени кустов что-то ожило, раздвинулось, и в щели он увидел плоское узкоглазое лицо.

Недолго думая, Калмыков послал в щель пулю; выстрел своим грохотом всколыхнул воздух, сбил с ровного лета двух махаонов, державших курс на далекие деревья, швырнул их на землю; несколько мгновений воздух дрожал, будто желе, потом успокоился и вновь стал неподвижным. Калмыков поспешно отполз в сторону — находиться там, откуда был произведен выстрел, нельзя — китаец мог выстрелить ответно.

Новая позиция была хуже старой — обзор был словно бы сдавлен с двух сторон густыми кустами, в щель между кустами можно было разглядеть только половину пади, да и то с большой натяжкой, а вот с той стороны Калмыков, вполне возможно, был виден хорошо. Осознание этого принесло неприятное внутреннее ощущение, под мышками пробежала дрожь. Калмыков невольно втянул голову в плечи и, стараясь не дышать, не шевельнуть случайно отзывавшуюся на всякое малое прикосновение ветку, сдвинулся на несколько метров влево.

Обзор отсюда был лучше, но все равно не так хорош, как был раньше. Что-то придавливало, сплющивало пространство, делало воздух серым, заставляло предметы расплываться.

Он вновь сдвинулся на несколько метров влево, просунул ствол карабина между несколькими, сросшимися в один пук медвежьими дудками. Глянул: что там, наверху?

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

И эта «лежка» не понравилась ему, внутри у Калмыкова возник и растекся холод, будто лопнул некий ледяной пузырь, в горле запершило.

Обзор должен быть более широким, не таким сдавленным. Лицо у него от напряжения и голода сделалось старым, морщинистым, он схлебнул с усов капли пота и вновь вдавился ногами, крестцом, локтями в плотную сочную траву.

Снова передвинулся влево. На этот раз удачно — обзор был отличным, даже лучше, чем на старом месте — и остатки костра были видны, как на ладони — вот они, рукой дотянуться можно, — и поваленные стволы, за которыми могла укрыться целая рота, и лежащий ничком китаец, притянувший к себе целое стадо мух особой породы, не боявшихся жары, — над ним вились серые и сине-зеленые навозные мухи. На этот раз Калмыков постарался потщательнее рассмотреть место, в которое он стрелял несколько минут назад.

Пуля Калмыкова перебила толстую ветку лимонника, в густой зелени образовалась прореха.

Прореха была пуста — ничего в ней не виднелось, лишь рябая, подрагивавшая вместе с воздухом темнота: Внизу, у самого основания прорехи, темнел бугорок, напоминавший очертания головы. Если это голова китайца, то достаточно одной пули, чтобы превратить ее в дырявую тыкву.

А если это оптический обман?

Тогда китайцу будет достаточно сделать один выстрел, чтобы превратить в дырявую тыкву голову Калмыкова. Стоит только подьесаулу произвести с этой позиции хотя бы один выстрел, как хунхуз его засечет. Калмыков перевел взгляд на убитого китайца, потом на остатки костра, прошелся глазами по поваленным стволам.

Ничто не выдавало хунхуза, словно бы он тут и не находился. Но он находился здесь, здесь... Калмыков снова медленно обвел глазами противоположную сторону пади.

Он не думал, что охота эта окажется такой затяжной, рассчитывал разделаться с китайцами быстро, в один присест, но получилось то, что получилось... Невесть что, одним словом, охота, в которой охотник неожиданно начинал играть роль дичи.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Небо малость потемнело и — вот удивительно, — пошло в зелень, словно бы в нем отразилась, как в зеркале, вся уссурийская тайга, и отсвет этот неземной, непривычный, родил в Калмыкове беспокойство.

А что, если охота, которую он затеял, окончится не по его сценарию, а по сценарию оставшегося целым и живым китайца? Калмыков, давя в себе остатки неуверенности, усмехнулся, через силу раздвинул губы — не может этого быть.

Не должно так быть, это не по правилам. Но человек предполагает, а Бог располагает...

И все-таки Калмыков верил в свою удачу.

Неожиданно он увидел чуть правее прорехи, метрах примерно в полутора, короткий металлический просверк. Тусклый, очень короткий. Как шажок воробья.

Так мог сверкнуть только ствол винтовки: зло, стремительно, предупреждающе. Калмыков поспешно вжался в землю — казалось, что китаец заметил его и уже нажал на спусковой крючок своего штуцера.

Но выстрела не последовало. Калмыков перевел дыхание и, сощурившись, взгляделся в место, где он засек металлический блеск, но ничего, кроме кучи травы, не обнаружил!

Стоп! А ведь этой кучи травы раньше тут не было. Она ведь углом топорщилась в прорехе, мешала рассмотреть, что там, а теперь самым таинственным образом переместилась в другое место. Что бы это значило?

Вот ходя и попался. Калмыков ощутил облегчение. Тяжесть, сдавливавшая ему плечи, мешавшая дышать, ослабла.

Он взял кучу травы на мушку, но стрелять пока не стрелял, медлил: а вдруг эта цель — ложная? Надо было убедиться, что хунхуз укрылся за этой зеленой горкой, сидит там, пупком с землею сросся, также ждет не дождется, когда ламоза сделает ошибки и подставится...

Калмыков сложил пальцы в фигу:

— Подставится? Вот тебе! — Он легонько повертел фигой перед собой, потом ткнул ею в пространство: — Вот!

Дышать вновь сделалось трудно — видно, в природе что-то менялось, одно состояние уступало место другому; вполне возможно, сюда полз дождь с низким, тяжелым, будто навесной потолок небом и пузатыми об-

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

лаками; с дождем установится прохлада, в которой можно будет хотя бы немного отдышаться... Отдышаться, конечно, можно будет, но вот комар станет лютовать сильнее. Он и сейчас не промахивается. Если присосется, то вытягивает половину крови из всякого живого организма, воет так, что у человека глаза сами по себе закатываются под лоб от страха.

Над правой бровью, под козырьком фуражки, у Калмыкова сидел комар и наливался кровью нагло и беззастенчиво.

Неожиданно зеленая горка шевельнулась, стронулась с места и тут же замерла. Калмыков коротким движением затвора загнал в ствол патрон, подвел черную, для ясности подкопченную мушку под основание зеленой горки, втянул в себя сквозь зубы воздух, затих.

Травяная куча была неподвижна. Калмыков выждал еще несколько секунд и нажал на спусковой крючок карабина. Сразу же после выстрела, оглушившего его, — в голове поплыл звон, а перед глазами заплясали крохотные электрические блохи, — передернул затвор, загнал в казенную часть новый патрон, чуть сдвинул ствол в сторону и вновь надавил пальцем на спусковой крючок. Грохнул второй выстрел, такой же оглушающий, как и первый.

С рычанием выбив из себя воздух, заводясь, Калмыков загнал в ствол третий патрон — он не должен был оставить китайцу ни одного шанса. Ежели оставить хотя бы один шанс и ходя уцелеет, то Калмыкову придется плохо — ходя добьет русского, не промахнется. Это подьесаул понимал хорошо. Он с ожесточением надавил пальцем на спусковую собачку в третий раз, подхватил карабин и стремительно откатился в сторону.

Было тихо. Так тихо, что звон, засевший в голове, казался таким оглушающим, что Калмыков невольно поморщился, словно от боли. Втиснулся под куст, глянул между ветками: что же там, в пади, творится?

Падь была неподвижна, дыры, проделанные пулями и плотном стоячем воздухе, как в некой материи, не затягивались, остро пахло порохом.

Калмыков взгляделся в прореху, в которую стрелял: а там что? Протер глаза — не блазнится ли чего? Или... Или все-таки что-то мерещится? А? В темной глубокой прорехе виднелось человеческое лицо. Человек

БҮРСАК В СЕДЛЕ

лежал на боку, открыв рот и изумленно распахнув глаза. Это был китаец: подьесаул уложил его наповал.

Выждав еще несколько минут, Калмыков неторопливо поднялся и, прикрываясь кустами, двинулся в обход пади, не спуская глаз с того места, где лежали убитые китайцы.

Сердце билось учащенно, толкалось в виски, трепыхалось в затылке, по лбу струился пот, капал в усы, и подьесаул ожесточенно сдувал его. Чувствовал он себя устало, размято, словно выжатый лимон, — и текло с него все время, текло непрерывно... Пот заливал глаза, соскальзывал на щеки, на подбородок, противно шевелился в усах, и это раздражало Калмыкова.

Карабин он держал наготове, палец словно бы прирос к спусковому крючку; всякое шевеление около потухшего костра он успел бы пресечь огнем, но у пепла, чадившего холодной сизой пылью, никто не шевелился — живых не было, Калмыков уложил всех.

Он приблизился к костру, остановился метрах в семи от него. Один из китайцев лежал, выкинув перед собой обе руки, словно бы защищаясь от неведомого стрелка и глядя на Калмыкова широко открытыми, налитыми ужасом глазами. Лицо его было густо облеплено мухами.

Этот был готов — никогда уже не сможет взять в руки винтовку и опасности от него было не больше, чем от мух, сидевших на желтой плоской физиономии. Калмыков перевел взгляд на второго убитого — в открытый рот того проворно втягивал свое жирное влажное тело какой-то червяк, похожий на крупную пиявку.

Этому хунхузу также уже не до стрельбы — отстрелялся. У Калмыкова сами по себе дернулись уголки рта, оба разом, а следом заскакали, прыгая вверх-вниз, усы.

Через несколько секунд он нашел третьего китайца — также отстрелялся, пакоstitь в уссурийской тайге больше не будет — все, отпакостился! Это был хунхуз, которого он застрелил последним, самый опытный, самый хитрый. Две пули в него все же попали, третья прошла мимо.

Калмыков опустил ствол карабина.

Четвертого китайца можно было не искать — он лежал, всадившись головой в костер и разбрызгав в разные стороны пепел, криворотый, страшный, с черным от костерной гари лицом.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Калмыков остановил на нем равнодушный взгляд всего на одно мгновение, потом пошарил глазами по пространству — а где же птичьи тушки, которые коптили китайцы?

Одна из тушек лежала в стороне от костра, испачканная золой, серая, но все равно такая аппетитная. Калмыков сглотнул слюну и, сделав несколько неровных шагов, поднял ее с земли. Рукавом стер золу. Понюхал. Тушка была фазанья — самое то, что по зубам русскому человеку, не ворона какая-нибудь вонючая, изъеденная червяками, а благородный фазан. Калмыков сглотнул слюну и впился зубами в мягкий фазаний бок.

Калмыков поспел вовремя. Задержишься он на какие-нибудь пятнадцать минут, китайцы съели бы добычу: мясо, поджаренное на медленном огне, было в самый раз — нежное, мягкое, оно уже поспело...

Подъесаул впивался в него зубами, быстро, азартно разжевывал, кости бросал себе под ноги. Иногда равнодушно косил глазами в сторону убитых китайцев и стирал ладонью жир на губах.

Китайцев следовало бы похоронить, вырыть для них общую могилу и закидать яму землей, сверху придавить поваленной пихтой, но он делать этого не будет. В конце концов тела все равно растащат по частям волки и медведи, объедят кости, мелкое зверье закончит трапезу, даже кабан, и тот не преминет полакомиться человечинной, так засыпай землей убитых, не засыпай — звери все равно до них доберутся.

Проще накрыть их ветками и оставить в пади — пусть созревают...

Подъесаул так и поступил.

Калмыкову повезло — он закончил четыре класса Александровской миссионерской духовной семинарии.

Несмотря на то что за ним по всем коридорам гонялись с линейками наставники и били бедного бурсака то по голове, то по худым лопаткам, то по шее, окончил Иван миссионерское заведение с неплохими отметками, — преподаватели потом сами удивились этому обстоятельству, но быть ему духовным лицом, тем более миссионером, не дали права. Причина — «физическое воздействие» на одного из наставников: Калмыкову надоел лысый, с пучками кудели на ушах любитель хлопать линейкой по воздуху, и он вместо того чтобы убежать от него, развернулся на сто восемьдесят градусов и всадились головой в живот.

БУРСАК В СЕДЛЕ

Удар был сильный — наставник отлетел от Калмыкова метров на восемь и распластался на полу. Раскинув руки в стороны, будто дохлый поросенок, потерял сознание.

Это и определило судьбу Вани Калмыкова — он не стал ни священником, ни миссионером.

А вот тяга к погонам, к юнкерской и офицерской форме у него стала сильнее.

Отец неудавшегося священника, обнищавший торговец, более разбиравшийся в номерах помола муки и сортах жмыха, чем в офицерских звездочках, аксельбантах и пуговицах, прослышав про тягу сына, лишь осуждающе покачал головой — военная служба ему никогда не нравилась, он считал ее пустой, излишне хлопотной и безрадостной. Другое дело — продажа коров живым весом, покупка дегтя и розничная реализация «музыкального» гороха, выращенного под Харьковом...

И совсем иной коленик — младший Калмыков; он буквально таял, когда видел парадные мундиры с блестящими пуговицами, украшенными орлами, и слышал речи военных людей. Он писал одно письмо за другим в штаб округа, где заявлял, что желает быть воином, слугой царя и Отечества, доказывал, что происходит из казаков, хотя это было не так — к казачьему сословию принадлежала лишь матушка его покойная, и все. Впрочем, одно время семья Калмыковых жила на Тереке, в станице Грозненской, и тамошние казаки относились к Калмыковым, как к своей родне, как к равным, и такое отношение грело душу Ивану Калмыкову.

Но ни в одном реестре казачьего войска — ни в одном из тринадцати — не было его фамилии, значит, казаком Калмыков не был.

Выходит, что в юнкерское училище дорога ему была заказана. Поступить он мог только в пехотное училище. Либо в артиллерийское.

Через некоторое время — это произошло восьмого сентября 1909 года, — Калмыков стал юнкером Тифлисского Великого князя Михаила Николаевича военного училища. Это было пехотное училище.

В науках Калмыков преуспевал — не то что в семинарии, — здесь он учился намного лучше: понимал, что если вылетит из училища, то песенка его будет спета. Раз и навсегда.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Через год, в ноябре 1910-го, он получил чин унтер-офицера, а еще через пару лет, вместе с документами об окончании училища по первому разряду, обзавелся погонами подпоручика: один просвет и две звездочки.

Калмыков сделал несколько попыток перевестись в казачьи войска и из подпоручиков переаттестоваться в хорунжие, но все попытки эти оказались тщетными — в ответ каждый раз звучало неумолимое «Нет!». Когда распределяли вакансии, Калмыков выбрал инженерные войска, а точнее, саперный батальон.

Саперный батальон — это, во-первых, звучало внушительно, а во-вторых, Калмыков чувствовал, что саперы очень скоро понадобятся в казачьих войсках, а раз так, то он будет иметь все шансы стать казаком.

Он пересек всю страну на поезде и очутился на Дальнем Востоке, в селе Спасском, во второй роте Третьего Сибирского саперного батальона.

Должность, которую он занял, была самая непритязательная — младший офицер роты.

В тринадцатом году он временно исполнял обязанности командира первой роты, а золотой осенью, когда здешняя тайга ломилась от небывалого урожая кедровых орехов, медведи объедались ими так, что не могли ходить, могли только лежать под кустами, в первых числах октября подпоручик Калмыков стал делопроизводителем батальонного суда.

Надо заметить, этого было маловато для человека, решившего сделать военную карьеру.

Впрочем, самого Калмыкова это устраивало — все лучше, чем читать нотации нижним чинам, да штудировать инструкции по классификации лопат: чем лопата совковая отличается от лопаты штыковой, и наоборот?

Сохранилась платежная ведомость той поры: в год подпоручику Калмыкову полагалось жалованья 804 рубля, плюс добавочных по табелю, плюс «амурские суточные», по-нынешнему, «за удаленность» — 108 рублей. И еще 253 рубля 92 копейки — квартирные. Итого — 1345 рублей 92 копейки за двенадцать месяцев. Это было очень даже неплохо, поскольку в богатой России той поры за четыре рубля запросто можно было купить корову.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Если бы у Калмыкова была жена, — а он был холост и предпочитал шумное холостяцкое одиночество тихой семейной жизни, — то ему были бы положены кое-какие деньги и на жену. В общем, с пачкой ассигнаций в кармане Калмыков чувствовал себя богатым человеком. Давно у него не было такого ощущения.

Он довольно улыбался.

Одно беспокоило: саперная служба его совсем не устраивала. Другое дело — казачья лава. Калмыков все отдал бы, чтобы уйти подальше от лопат и кирок, пироксилиновых шашек, динамита и интегральной цифири, позволяющей понять, завалится тот или иной окоп, если рядом вывернет землю шестидюймовый снаряд, и что надо сделать для того, чтобы он не завалился.

В общем, сдохнуть можно было от скуки — сдохнуть и покрыться зеленой плесенью. Что же касается судебного делопроизводства, то обстановка здесь была еще хуже: Калмыкову казалось, что в карманах его форменного кителя собирается пыль и в ней копошатся тощие воюющие клопы... Тьфу!

Проработав в суде месяц, он подал рапорт командиру второй саперной роты с просьбой перевести его в Уссурийской казачий дивизион, квартировавший рядом.

Командир роты, человек опытный, дотошный, ценивший в каждом своем подчиненном техническую хватку, возражать не стал: Калмыков был для него пустым человеком, не способным отличить шляпку от болта, которым крепится доска настила на временном мосту от артиллерийского взрывателя, а трос, свитый из прочной чистой стали, от обычной алюминиевой проволоки, а такие люди в саперной среде не нужны даже на писарчуковых должностях. Проку от них никакого... Так и от подпоручика Калмыкова.

На рапорте он начертал соответствующую резолюцию и отправил бумагу дальше, в батальон.

Рапорт попал на стол вриду² начальника штаба батальона подполковнику Кривенко. Тот вызвал к себе командира второй саперной роты, воткнул себе в глаз изящное стеклышко моногля, — эту моду подполковник привез из Академии Генерального штаба, — сощурился недоуменно:

² Врид — временно исполняющий должность.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Вам что, капитан, офицеры совсем не нужны? — спросил он резким металлическим голосом, будто сучок от дуба отпилил.

— Нужны, — ответил командир рот, — только не такие.

— Понятно, — сказал врид-подполковник, — подпоручик этот — дрэк?

— Полный дрэк, — подтвердил командир второй роты.

— Ну что ж, тогда пусть отваливает к казакам крутить лошадям хвосты и собирать в мешки навоз, чтобы было чем удобрять скудную уссурийскую землю...

Вечером врид начальника штаба подписал соответствующую бумагу: саперы готовы были передать казакам бесценный дар — подпоручика Калмыкова.

Практика перевода из одной части в другую, — а уж тем более из одного рода войск в другой — существовала следующая: собирались офицеры части, в которую переводился какой-нибудь поручик или капитан, и основательно промывали соискателю косточки, — то есть относились к этому делу серьезно, потом бросали на стол старую пропыленную фуражку (желательно командира части) и кидали в нее шары, черные и белые.

Судьбу соискателя решало количество белых шаров — обычных бумажек, украшенных знаком «плюс».

Точно так же уссурийские казаки решали судьбу и Ивана Калмыкова — между прочим, будущего войскового атамана, только этого казаки еще не знали...

В письме, которое они сочинили в свой штаб, были лестные слова и их было много, и вообще характеристика была такая, что подпоручика Калмыкова надо было не только переаттестовывать в хорунжие, но и присваивать ему очередное звание, уже казачье, сотника.

Калмыков находился на седьмом небе от счастья, ликовал — теперь-то уж он точно сменит на штанах черные саперные канты на желтые лампасы Уссурийского казачьего войска. Решение свое офицеры дивизиона оформили как протокол и протокол этот положили на стол командиру дивизиона полковнику Савицкому. Тот откладывать дело в долгий ящик не стал и на следующий же день — произошло это двадцатого ноября 1913 года — отправил начальнику Уссурийской конной

БҮРСАК В СЕДЛЕ

бригады пакет, украшенный большой сургучной нашлапкой, в котором просил комбрига положительно решить вопрос «о переводе господина Калмыкова в казачью часть».

Казалось, ничто уже не помешает переводу Ивана Калмыкова в казаки — ни одна сила...

Но не тут-то было. Сила эта нашлась. В лице самого... Калмыкова. Он, желая подогнать перевод, пошел на поступок, который был запрещен воинским уставом, — перепрыгнул через голову и направил свое ходатайство в Санкт-Петербург, прямо к государю. И это — помимо обычных рутинных бумаг, которые шли сами по себе — из одного штаба в другой, а потом в третий... Нарушение было вопиющее.

В результате — отказ. Калмыков получил на руки неприятную бумагу, в которой прыгающими машинописными буквами была изложена причина отказа: нарушение субординации. Через голову командира дивизии, командира бригады и наказного атамана прыгать нельзя. Отказ был утяжелен еще одной неприятной пилюлей — выговором.

Это было уже слишком. Калмыков чуть не заплакал.

Опустошенный, серый, он скинул в себя саперный мундир, натянул на плечи обычный штатский пиджачок, в каких любят щеголять клерки в меняльных конторах, и стал сам походить на меняльного клерка и сторожа церковно-приходской школы одновременно, после чего отправился в шинок — беду свою надо было залить.

В шинке забрался в дальний пустой угол, кошачий, как оказалось, — под столом там сидели два толстых желтоглазых кота, папаша и сынок, — и когда к нему подошел половой, учившийся на «подавальщика закусок», и спросил: «Чего изволите?», Калмыков ответил тонким, звеневшим от обиды голосом:

— Водки!

— Сколько?

— Чем больше — тем лучше.

Опытный половой обвел взглядом неказистую низкорослую фигуру гостя и сказал:

— Принесу по комплекции!

Половой использовал модное словечко «комплексия», невесть как залетевшее в дальневосточную глушь. Калмыков этого слова не знал,

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

глянул удивленно на полового и опустил голову. Кадык у него приподнялся с булькающим громким звуком и тяжело, будто свинцовая гирька, шлепнулся вниз.

Половой принес ему шкалик — графинчик размером меньше чекушки, двести граммов, — чекушечную расфасовку на Дальнем Востоке начали выпускать специального для извозчиков. Посудина точно скрывалась в рукавице и седокам не было видно, пьет извозчик-лихач или простуженно кашляет в рукавицу, — Калмыков невольно сощурил глаза, словно бы собирался выстрелить в шкалик из револьвера.

— Этого мало, — произнес он хрипло.

— Одолеете это, господин хороший, принесу еще, — размеренно и важно произнес половой.

Подпоручик ухватил шкалик рукой за горлышко, взболтал жидкость в посудине, чтобы легче было пить, и приник губами к горлышку. Водка в шкалике свернулась жгутом и в несколько секунд перекечевала из посуды в Калмыкова. Он опустил шкалик на стол и глянул на полового побелевшими глазами:

— Неси еще!

— Сей момент, — испуганно пробормотал половой; он таких фокусов еще не видел, но дело было даже не в фокусе — его напугали глаза этого человека, одетого в «штрюцкое» платье, хотя в нем легко можно было угадать военного, — белые, неподвижные, почти лишенные зрачков.

— Неси! — повторил Калмыков злым голосом.

Половой с топотом умчался. Калмыков подвигал из стороны в сторону нижней челюстью; шкалик, так лихо опороченный, на него не подействовал, словно бы крепкая жидкость вообще не имела никаких градусов...

На душе было пусто, горько. Впрочем, на смену пустоте иногда приходило что-то болезненное, бурчливое, словно бы из ничего возникала боль, накатывала на человека, будто тяжелая грязная волна, в следующее мгновение откатывала назад, растворялась внутри и душа начинала вновь ныть в пустоте.

Это надо же было так промахнуться — споткнулся Калмыков на ровном месте, на том, что попытался перепрыгнуть через самого себя. И через других тоже...

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Через самого себя Калмыков перепрыгнул, хотя никому на свете это не удавалось, а вот через начальство подпоручик перепрыгнуть не сумел. Споткнулся и очутился на земле.

Кто конкретно помог ему распластаться на земле, Калмыков не знал — то ли господин Кривенко, который из подполковников за короткое время сумел продвинуться в полковники, то ли полковник Савицкий, то ли еще кто-то... А узнать бы неплохо.

Громко топя каблуками сапог, примчался половой, поставил на стол полулитровый графин, по самую пробку наполненный зеленоватой прозрачной жидкостью.

— Что это?

— Рисовая водка, господин хороший, — звонким голосом ответил половой.

Калмыков одобрительно наклонил голову.

— Хорошо. Теперь неси закуску. Что там есть у тебя?

— Пирог с амурской калугой.

— Неси пироги. Еще что?

— Мясо изюбря с папортниковыми побегам, в соевом соусе...

— Опять папоротниковые побеги, — Калмыков поморщился. — Скоро буду бляеть, как овца.

— Есть уха из озерных рыб.

— Из карася небось?

— В том числе и из карася.

— Тухлая рыба. От нее болотом пахнет.

— Есть телятина.

— Прошлогодняя небось?

— Как можно! Свежая... Наисвежайшая!

— Тащи телятину. И хрена побольше!

Калмыков пил в этот вечер и не хмелел — водка не брала его, он вертел в пальцах большую граненую стопку, оставлял на ней следы, разглядывал плотное зеленоватое стекло на свет, морщился, пытаясь заглушить в себе боль, но попытки успеха не приносили, и Калмыков вновь наполнял стопку рисовой водкой, выпивал и в очередной раз нехорошо изумлялся напитку, лишённому горечи и характерного вкуса, тянулся пальцами к куску телятины. Телятину половой принес действительно вкусную и свежую.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

А вот с водкой было что-то не то, словно бы и не забористая «ханка» это была, а вода из колодца — ни крепости, ни духа, на запаха — вода и вода! Калмыков подозвал к себе пальцем пологого и подозрительно сощурился:

— Ты чего мне принес? — подпоручик щелкнул ногтями по боку графина. — Чего это, водка?

— Водка. Рисовая. Сорок градусов. Только вчера из Китая с завода доставили, — у пологого испуганно округлились глаза, и он широко и поспешно перекрестился, наклонил голову с ровным, напомаженным репейным маслом пробором. — Вот те крест, водка!

— Водка? — Калмыков недоверчиво похмыкал.

— Вот те крест, господин хороший! — полойкой вновь широко и уверенно перепоясал себя крестом. Злость у Калмыкова, когда он увидел взгляд этого слабого, но шустрого человека, мигом прошла, он плотно сомкнул рот и сделал рукой небрежный жест: пошел прочь, мол..

Когда Калмыков покидал шинок, было уже темно. На улице, над трубами спасских домов вились кудрявые, хорошо видные в темени дымы. Небо на западе было украшено яркой красной полосой — признак грядущих морозов; снег под ногами скрипел яростно, вызывал громкий лай собак на подворьях — они бесились, словно ощущали вселенскую беду, брызгали пеной, жалобно скулили, страшась завтрашнего дня, умолкали на несколько мгновений и вновь начинали беситься. Калмыков натянул шапку глубже на глаза и только сделал пару шагов в сторону гладкой, укатанной, будто стол, площади, как из ближайшего сугроба на него выпрыгнул здоровенный детина в коротком полушубке, подпоясанный ямщицким кушаком и, пьяно рыгнув, навалился сверху, будто тяжелое бремя снега, обдал сивушным облаком: ямщик этот пил за четверых, а закусывал за одного.

Калмыков не удержался на ногах и полетел на укатанную снеговую площадь, проехал по ней спиной несколько метров. Ямщик уперся кулаками в бока и громко, грубо, очень обидно для подпоручика захохотал. Калмыков тряхнул головой — надо было прийти в себя, — извернулся и ловко вскочил на ноги.

Темное вечернее пространство заколыхалось перед ним, уползло куда-то в сторону, потом сдвинулось в другую сторону, Калмыков

БҮРСАК В СЕДЛЕ

стремительно, будто снаряд, пересек пространство и всадился головой в живот ямщика.

Второй удар был намного сильнее первого — Калмыков ударил ямщика точно под вздох, а этот удар, как известно, очень болезненный; внутри у противника сыро хлопнула селезенка, он отхаркнулся тяжелым, плотно сбитым плевком и, неожиданно замахав руками, будто здоровенная птица, повалился на спину.

Подпоручик прыгнул на него, встал ногами на грудь, подлетел на полметра вверх — тело у ямщика оказалось словно бы резиновым, отбило Калмыкова, — и вновь приземлился ногами в широкую, болезненно засипевшую, будто она была сплошь покрыта дырками, грудь ямщика. Ямщик испуганно заорал, всколыхнул своим криком вечернее пространство:

— Братцы-ы-ы!

За сугробами послышалась возня, затем — мягкий топот катанок, как тут называют толстые теплые валенки, и на скользкую, как стекло, площадь выскочили двое, подпоясанные, как и пьяный детина, ямщиками кушаками.

— Убивают, братцы! — жалобно простонал ямщик, на котором продолжал прыгать Калмыков. — Спасите!

Ямщики, рыча, кинулись на Калмыкова. Тот ловко прошмыгнул под локтем одного из них, и очутившись сзади, прыгнул ему на спину, носком сапога зацепился за карман, так удачно подвернувшийся под ногу, приподнялся и со всей силой, что имелась у него, столкнул две головы — только медный звон пошел по пространству, да в разные стороны полетели электрические брызги, затем Калмыков снова саданул одной головой о другую. Ямщики закричали.

Калмыков откатился от них в сторону, перевернулся через самого себя и вновь кинулся на ямщиков.

Те не ожидали такого напора. Подпоручик прыгнул на рыжего, бородатого, с темным, окруженным мелкими сосульками ртом ямщика, будто обезьяна на дерево, ухватился за волосы и заломил ему голову назад, потом вцепился пальцами в прическу его напарника, обрезанную скобкой, с силой рванул к себе. Вновь раздался медный звон, и на землю посыпались искры. Через полминуты все трое ямщиков валялись на земле и жалобно стонали.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Подпоручик стряхнул с себя снег и, пошатываясь, скрылся в темноте.

Вскоре пришел в себя один из ямщиков, приподнялся над твердой, укатанной площадью:

— Кто это был, кто? Дьявол какой-то! — ткнул рукой в своего рыжебородого напарника. — Поднимайся, земля! Иначе мы тут замерзнем!

Тот застонал, зашевелился на снегу, отодрал от него примерзшую спину.

— Погуляли, называется...

— Нечистая сила помешала.

— Поднимаемся, поднимаемся, мужики... Иначе замерзнем.

Над людьми поднимался мелкими облачками холодный прозрачный пар, подрагивал в воздухе, было слышно, как недалеко — на соседней улице — играет гармошка. К ямщикам подбежали несколько собак. Почуввав родной запах — от ямщиков пахло помоями, собаки завиляли хвостами.

Ямщики, жалобно стелая, кряхтя, поднялись, и держась друг за дружку, качаясь, скрылись в шинке — полученное в этом странном бою поражение требовалось залить чем-нибудь крепким...

На следующий день Калмыкова вызвал к себе временно исполняющий обязанности командира саперного батальона, худощавый, болезненного вида подполковник. Калмыков подумал, что вызов связан со вчерашней дракой с ямщиками и приготовился защищаться, но разговор пошел о другом.

— Не огорчайтесь, подпоручик, — сказал подполковник Калмыкову, поморщился, будто внутри у него возникла боль. — Все не так плохо, как кажется с первого взгляда. — На шее у подполковника красовался орден Святого Владимира с мечами — заслуженная боевая награда, вызывавшая у офицеров уважение.

Калмыков молча щелкнул каблуками. Подполковник оценил это молчание и продолжил:

— Мой совет вам: берите лист бумаги и ручку и пишите новый рапорт.

Калмыков так и поступил.

БҮРГАК В СЕДЛЕ

Россия стояла на пороге 1914 года. Второго января наказной атаман Уссурийского казачьего войска полковник Крузе сообщил саперам, что не возражает против перевода Калмыкова в один из подведомственных ему казачьих полков и будет соответственно ходатайствовать о переименовании подполковника в хорунжие.

Письмо уссурийского атамана в тот же день ушло и в Главный штаб казачьих войск, там в течение недели были подготовлены соответствующие документы и переправлены в Зимний дворец государю на подпись.

Двадцатого января 1914 года был подписан Высочайший приказ, по которому подпоручику Калмыкову был разрешен перевод в Уссурийский казачий полк.

В хозяйской комнате, которую снимал Калмыков, висела большая темная икона с изображением одного из дальневосточных святых — имени его Калмыков не знал, прочесть же что-либо на иконе было невозможно, — слишком черной от времени сделалась доска. Калмыков, придя из штаба батальона, опустил перед иконой на колени, ткнулся лбом в пол.

— Спасибо тебе за помощь, святой отче! — прочитал молитву, потом повторил ее, вновь ткнулся лбом в пол, пахший сухой травой, ржавой мукой и мышами. — Спасибо, дошли до тебя мои молитвы.

Отмолвившись, Калмыков вытащил из-под кровати простой фанерный ящик, подумал, что надо бы покрасить его. Неудобно заявляться в казачий полк с таким барахлом — фанерные чемоданы были тогда признаком бедности. Гвардейские офицеры, например, признавали только чемоданы из толстой бычьей кожи с лаковым покрытием, и к фанере относились с глубоким презрением, фыркали, как тюлени, и отводили глаза в сторону, будто видели что-то неприличное. Потом махнул рукой: пустая, дескать, затея, обойдется и так. По одежке человека только принимают, а пройдет пара-тройка недель — будут судить по другим вещам. Калмыков заставит казачьих офицеров считаться с собой. Он стиснул зубы, ощутил, как на щеках заходили крупные твердые желваки.

Вещей у Калмыкова набралось ровно на один фанерный чемодан. Остальное все на себе — на плечах, на ногах. Он подержал чемодан в руках, подумал, что готов переехать в Гродеково, где расквартирован казачий полк, хоть сегодня.

Но скоро сказка сказывается, а нескоро дело делается — Калмыков надел казачью форму лишь в середине мая, когда здешняя земля была белым-бела от осыпавшихся цветов. Цветы осыпались в садах снежной белью, вызывали некую оторопь и одновременно неверие — что-то, а зима никак не должна вернуться, но осознание этого было почему-то нетвердым. Что-то в мире происходило, а что именно — не понять. Просто люди чувствовали беду, она была совсем рядом...

Именно в эту цветущую майскую пору Калмыков и появился в Гродекове и, стесняясь своего фанерного чемодана, первым делом помчался не в полк, а на окраину поселка, чтобы снять у какой-нибудь бабки угол.

С лету, на скорости, этот вопрос решить не удалось, — слишком уж придрчивы были здешние старушки, поэтому Калмыков вернулся на станцию, сдал чемодан в камеру хранения и поехал в полк определяться.

Крупная станция Гродеково, считавшаяся и большим железнодорожным узлом, также утопала в белом цвету, будто в снегу. В прозрачном слоистом воздухе плавала паутина, как в сентябре, в пору бабьего лета.

В Гродеково, в Первом Нерчинском полку в эту пору служил хорунжий Семенов Григорий Михайлович — невысокий плотный человек с литыми плечами, цепким взглядом и небольшими, по-купечески щегольскими усиками. Он появился здесь три месяца назад, в морозном феврале все того же четырнадцатого года.

Надо полагать, они встретились, Семенов и Калмыков, хотя никаких документов на этот счет нет, — но то, что в последующие годы поддерживали друг друга, выступали с одной программой и лихо, ящиками, тягали из казны бывшее царское золото, свидетельствует о цельности и схожести их характеров. И Семенов редко промахивался в жизни, и Калмыков...

Осенью четырнадцатого года оба полка отбыли на фронт. Семенов оставил после себя воспоминания о том, как его родные забайкальцы ехали на запад, как мирные российские граждане шарахались от лохматых шапок бурятов-агинцев и путали их с японцами, рассказывал и о том, как его полк совершил остановку в Москве, Калмыков же не оставил ничего — на писанину его не тянуло, он считал это дело бабьим и удивлялся, как это солидные люди — Семенов, Дутов, Краснов, — опускаются до занятий пустяками. Ведь это недостойно казаков.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Уссурийские пади были свежи от зелени, осень еще не коснулась их, хотя утром и вечером по траве уже скребли своими лохматыми животами неряшливые холодные туманы, загоняли в норы зверьков, а в дремучих чащах перекликались лешие.

Пустела без мужиков земля.

Забираясь в полковой вагон, Калмыков неистово перекрестился — без веры на войну уходить нельзя.

Через месяц полк уже был на фронте, рубился с «немаками», как казаки звали немцев.

Воевал Калмыков храбро, с толком, за спины казаков не прятался, ходил в разведку — маленький, юркий, он мог пролезть в любую щель, спрятаться под любой кочкой, на немцев набрасывался со злостью, и именно злость позволяла ему одолевать дюжих мордастых швабов, они не выдерживали натиска этого маленького, схожего с мальчишкой офицера, вздергивали руки вверх.

Начальство не могло нарадоваться на хорунжего Калмыкова — проворен, умен, задирист; если дать ему задание, чтобы взял в плен кайзера — возьмет и Вильгельмишку. Только задания такого никто Калмыкову не давал.

А так, глядишь, перехватил бы сухорукого где-нибудь в тылу, в собственном вагоне, — и войне пришел бы конец. Вильгельм любил воевать и передвигаться по подведомственным территориям с комфортом — в роскошном вагоне, обставленном дорогой мебелью, — мебель кайзеру сработали специально из красного дерева, с роскошной широкой спальней, в которой можно было уложить не только кухарку, но и королеву какого-нибудь маленького, походя завоеванного государства с огромной золоченой ванной, где можно было плавать — в общем, любил кайзер жизнь и в удовольствиях себе не отказывал, обставлял свой быт с комфортом.

А комфорт и безопасность — вещи, которые стоят на разных полках, но на это кайзер не обращал никакого внимания... Вот и чесал иногда хорунжий Калмыков себе затылок, прикидывал, как бы половчее ухватить кайзера за тощую ляжку...

И получалось у хорунжего — мог бы ухватить Вильгельмишку, скрутить его в рулон, в мешке перетащить на свою сторону, только вот при-

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

каз ему нужен... вышестоящего начальства. А вышестоящее начальство голову себе ломать по этому поводу не хотело.

Вздыхал Калмыков сочувственно — самому себе сочувствовал, вновь чесал затылок, втихаря поругивая командира кавалерийского корпуса, в который входил и Уссурийский казачий полк — совсем не ловил мух мужик, прозреть не может, что в подчинении у него такой боец находится, и, кинув под голову охапку соломы, заваливался спать в какую-нибудь пустую двуколку.

Должности в полку Калмыков перебрал за короткое время самые разные, как и в саперном батальоне, но больше всего ему понравились две — командира сотни и начальника пулеметной команды. Самостоятельные должности всякому солдату дают возможность почувствовать себя человеком, — если есть божья искра в сердце да извилины в голове, можно много сделать для того, чтобы швабы почаще задирали лытки вверх.

Калмыков старался. Работать шашкой научился не хуже машины. Вахмистр Саломахин, служивший под его началом в четвертой сотне, восхищенно округлял глаза:

— Когда их благородие крутит шашкой мельницу, в круг можно глядеться, как в зеркало, и бриться — все видно.

Действительно, круг вращения калмыковской шашки был сплошным, без провалов, в него, наверное, можно было смотреться, но вот насчет бриться — сомнительно. Калмыков отводил в сторону довольный взгляд: похвала боевого вахмистра была ему приятна.

Вахмистров в четвертой сотне было двое — Саломахин и Шевченко. Перед Шевченко, кстати, делались робкими даже генералы: он имел полной георгиевский бант, а по официальному положению в старой России генерал обязан был первым отдавать честь полному георгиевскому кавалеру. Даже если у кавалера не будет на погонах ни одной лычки, а локти гимнастерки украшены заплатами.

Конечно, генералы перед кавалерами-рядовыми во фронт не вытягивались и каблуками хромовых сапог не щелкали, но козыряли исправно. Поэтому Гавриил Матвеевич Шевченко держался особняком не только в четвертой сотне, но и во всем полку, но никогда не обидел ни одного человека — просто не мог сделать это в силу своего характера: был

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Шевченко мужиком добродушным, из тех, что даже муху лишний раз не смахнет на стол, постесняется — а вдруг мухе будет больно?

И вместе с тем он не был рохлей, таким хлебным мякишем, способным распухнуть слюни при виде какого-нибудь толстого шваба в плотно нахлобученной на котелок каске; в минуты опасности вахмистр действовал стремительно, жестко, ввязывался в любую драку и в драках этих, как правило, побеждал.

Хотя и был вахмистр Шевченко человеком терпимым, старался к каждому живому существу относиться с пониманием, даже к букашкам, но Калмыкова не любил, шурил непонимающе глаза и укоризненно качал головой — и чего этот кривоногий гриб-мухомор суетится, отчего во всю глотку орет: «Ура»?

Ведь то же самое можно сделать тихо, без мельтешни и лишних воплей. У Шевченко это получалось всегда, у Калмыкова не получалось никогда. И вообще зачастую он планировал сделать одно, в ходе операции менял цель и делал совсем другое, в результате же получалось третье. Там, где надо было продумать операцию, обмозговать детали, подготовить все тщательно, так, чтобы комар носа не подточил, Калмыков обычно действовал с наскока, стараясь проскочить сразу в дамки... Как в игре в шашки. Но шашки — это одно дело, совершенно безобидное, а война — совсем другое.

Тем не менее командир полка отмечал, что «хорунжий Калмыков воюет храбро», особенно отличился он в бою за деревню Нисковизны четырнадцатого марта 1915 года, а двадцать пятого мая в приложении к приказу № 475 по Уссурийскому казачьему войску было объявлено, что хорунжий удостоен ордена Святого Святослава третьей степени с мечами и бантом.

Конечно, Святой Святослав — не это Святой Георгий, белый эмалевый крест, но все равно — большой орден. Тем более — с мечами.

Хорунжий был так рад награде, что в первые дни даже спать ложился с орденом, но потом привык, стал относиться к награде спокойно, а потом и вовсе начал принимать ее за обычную железку. Вахмистр Шевченко награды вообще не носил: Георгиевские кресты — штуки дорогие, из чистого серебра отлиты, а первой степени — вовсе из золота, если потеряешь или таракан во сне откусит, когда будешь ночевать в хате у

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

какой-нибудь крутобедрой румынки, то все — дубликаты не выдают, поэтому ордена свои дорогие вахмистр Шевченко хранил в седельной сумке вместе с медалями, бритвой и двумя фотокарточками, взятыми из дома, — здесь они будут целее. Ибо если не таракан, то какой-нибудь шваб в драке кресты откусит — эти деятели любят питаться русскими орденами — хрумкают и щурятся от удовольствия. А удовольствия врагу Шевченко не привык доставлять, скорее наоборот.

Как-то жарким июньским днем Калмыков зашел в избу, где вместе с пулеметчиками отдыхал Шевченко. На улице пекло так, что ко всякой железяке, жарившейся на открытом солнце, невозможно было прикоснуться — тут же возникал волдырь. Хорунжий смахнул с лица пот:

— Ну и жарыща! На железной дороге могут рельсы расплавиться! — Глиняной кружкой он зачерпнул из ведра воды, сделал несколько глотков. Кадык с шумом, будто неисправный челнок, заездил у него по шее. — Как же местный народ тут живет? Бани никакой не надо... Каждый день баня.

Он сел на лавку, оглядел спящих казаков. Шевченко, лежавший на топчане, приподнялся на локтях.

— Чего изволите, ваше благородие?

Степенность вахмистра, его неторопливые движения, спокойный, чуть прищуренный взгляд раздражали Калмыкова. Шевченко был сработан, в отличие от него, совсем из другого материала.

Внутри у него шевельнулось раздражение, сбилось в твердый противный комок, комок пополз вверх, рождая внутри неудобство и острую боль. Калмыков, беря себя в руки, подергал щекой и глянул в упор на вахмистра:

— Гавриил Матвеевич, предстоит непростое дело...

— Раз предстоит — значит выполним, — невозмутимо отозвался вахмистр.

— Засаду немакам надо организовать, больно уж докучать начали. Соседи жалуются.

Соседями у казаков были румыны — вояки слабые, но зато большие любители своровать где-нибудь мясную рульку и налакаться вволю кукурузной бузы — напитка такого противного, что даже непривередливые казаки невольно отворачивали носы. Больше всего соседи любили дра-

БҮРСАК В СЕДЛЕ

пать и сдаваться в плен. Причем за это они обязательно требовали себе ордена. Ордена у румынов были знатные — яркие, большие, как тарелка для супа, один такой орден способен был занять полмундира.

Кричали румыны так, что с проплывавших мимо облаков слетала пыль.

— Значит, будем румын под свое крыло брать, — Шевченко усмехнулся, поскреб пальцами жилистую бурую шею. — А прикрывать румын — это, выходит, брать огонь на себя...

— Делать нечего. Приказ поступил из штаба корпуса.

— Так румыны всю войну на чужих плечах и проедут.

Хорунжий дернулся, будто угодил под ток, рот у него нехорошо зашевелился и пополз в сторону: вахмистр раздражал его.

— Поднимай сотню, Шевченко, — приказал он.

Вахмистр неторопливо слез с топчана.

— Есть поднимать сотню.

— Через двадцать минут выступаем в сторону деревни Лелайцы.

Движения у вахмистра по-прежнему были сонными, замедленными, будто он ничего не слышал про деревню Лелайцы, — Шевченко почесывался, старчески кряхтел. Хорунжий едва подавил в себе вспышку гнева. Он еще раз зачерпнул кружкой воды из ведра, выпил, остатки плеснул себе на лицо, молча вытерся.

Больше он не произносил ни слова — также молча и стремительно, будто птица, вынесеня из прохладной избы наружу, хватил полным ртом горячего полуденного воздуха и выругался матом. Вахмистр Шевченко, как считал он, способен довести до мата кого угодно, не только своего командира; если дать ему волю, он и командира корпуса генерала Крылова обратит в безмолвного птенчика. Калмыков поддел сапогом кошку, подвернувшуюся под ногу, и широкими быстрыми шагами покинул двор.

Раздражение, оставшееся после общения с вахмистром, прошло быстро — через несколько минут и следа не осталось.

Вместе с тем Калмыков знал: несмотря на медлительность, вялость, Шевченко никогда никуда не опаздывает. Такого с ним не случилось ни разу, и уж коли вахмистр ничего не возразил по поводу того, что сотня через двадцать минут должна выступить, — значит она выступит, а сам вахмистр будет находиться на правом фланге конного строя. Сидит он

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

на коне обычно чуть скособочась, кривовато, того гляди, вот-вот сползет на землю, но Шевченко никогда не выпадал из седла, он с ним срастался, одной рукой держа уздечки, другой — крутя шашку под головой.

Врагов вахмистр рубил с оттяжкой, буднично, словно крошил репу, иногда разваливал до самого копчика, — одна половина тела шлепалась в одну сторону, вторая в другую, голова, случалось, коlobком откатывалась на обочину, хлопала глазами, но ничего сказать уже не могла.

Калмыков так рубить врагов не умел и вахмистру завидовал. Втихую завидовал, поскольку выставлять зависть напоказ было нельзя.

Придаться к вахмистру было трудно, командиры-уссурийцы его любили и одновременно побаивались. Хорунжий старался быть придирчивым, но придаться не мог — лишь высокомерно улыбался...

Так оно было и на этот раз.

Сотня выстроилась на утоптанной площадке позади деревни. Кони, словно бы предчувствуя что-то, слыша издали свист пуль, нервно мельтешили копытами, не слушали окриков всадников, задирали головы, призывно ржали. Кони всегда загодя чувствуют кровь.

Почувствовали и на этот раз. Калмыков объехал строй. Конь под ним нервничал, по блестящей шкуре волнами бегала дрожь.

— Братцы! — хрипло проговорил хорунжий и неожиданно замолчал, словно бы внутри у него сработал некий тормоз, либо что-то сломалось, лицо перекосилось. Вновь проехался вдоль строя, поправил свои аккуратные светлые усы. — Братцы! — повторил он. — Дорогие мои! Сегодня нам предстоит провести операцию, которую не все мы, может быть, и переживем... Может, кому-то не доведется вернуться. Но казаки на то и казаки, что не боятся смерти. Смерть — это часть биографии всякого казака.

В высоком прожаренном небе, трескуче хлопая крыльями, носились ласточки. Калмыков вновь замолчал — что-то в его организме заедало, не прокручивалось, что-то срабатывало вхолостую.

— Немцы пытаются взять нас в клещи, запечатать в горшке, который они приготовили. Вместе с нами в окружении могут оказаться еще два полка. Казачий и пехотный. Плюс целое румынское войско. Румын — больше всего... Задача, поставленная перед нами штабом, — не дать немцам сделать это.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Хорунжий говорил, как генерал, очень важно и весомо.

— Сразу всем немакам, господин хорунжий? — насмешливо поинтересовался Шевченко.

Калмыков сжал челюсти, ответил спокойным чужим голосом:

— Нет, не всем — только полку карабинеров, который идет на нас. Наша задача — устроить ему засаду. Местность для этого подходящая, много лесистых участков, где не только нашу сотню скрыть можно — можно скрыть целую дивизию. Разумеете, славяне?

— Разумеем, — нестройным хором ответила сотня.

— И открытые места есть, где шашка не зацепится за сук... Разумеете?

— Любо! — пробасил кто-то из сотни, с правого фланга. — Порубаем капусту с овощами от всей души.

Солнце жарило так, что стоять на одном месте было нельзя — лошади начинали шататься, у людей на лицах появлялись волдыри. Калмыков развернул коня и рысью пустил его по ровной деревенской улице.

Скомандовал на ходу:

— За мной!

Сотня, распугивая кур, закопавшихся в горячую белую пыль, обесцвеченную солнцем, с топотом двинулась следом.

Лес начинался прямо за околицей, за обнесенным жердями лужком, на котором было сложено десятка полтора копен, придавленных кривыми неошкуренными слегами, — прошлогодний запас корма. Скота в селе поубавилось, поэтому корм и сохранился.

Последним дорогу казакам уступил драный горластый петух с заплывшими после утренней драки глазами, очень похожий на старого пьяницу, просадившего в шинке последний рубль. На солнце петух закемарил — даже клювом щелкал, гоняясь во сне за какой-то здоровенной сладкой мухой, — и прозевал момент, когда на дороге появилась сотня. Едва выскочил петух из-под копыт — чуть-чуть не распластали его подковы.

Петух метнулся в сторону, замахал облезлыми крыльями, перевернулся несколько раз через голову, по-собачьи взбрыкивая длинными когтистыми лапами, по дороге снес задумчивого индюка, распутившего сизые морщинистые сопли, украшавшие его шею, и скрылся в зарослях крапивы.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Сотня рысью проскакала мимо, петух ошалело высунул голову из крапивных дебрей и заорал. Он так и не понял, что произошло.

Через несколько минут сотня скрылась в лесу. Через полчаса в распоряжение Калмыкова прибыли еще две сотни — немцам готовили серьезную ловушку.

Леса тут небольшие, но густые, рощицы округлые, будто головки сыра, зеленые, веселые, нападать на них удобно — невозможно засечь, кто где прячется. Для нападения на немцев самым сподручным местом Калмыкову показалась небольшая лощинка между двумя рощами — здесь и коня вскачь пустить можно и, хорошенько развернувшись, шашкой рубануть, и копытами смять не только людей, но и пулеметы.

— Хорошее место, чтобы накостылять швабам по шее, — похвалил выбор командира Шевченко, — весьма и весьма.

Калмыков колюче глянул на георгиевского кавалера — похвала не тронула его.

Карабинеры показали через сорок четыре минуты, — Калмыков засек их появление по часам; шли они строем, без боевого охранения, со знаменем, украшенным то ли мальтийским, то ли тевтонским крестом, Калмыков в этих тонкостях не разбирался, — в общем, заслуженное было подразделение. Шли карабинеры тяжело, устало вздыхая. Над колонной высоким облаком поднималась мелкая густая пыль. Калмыков подивился беспечности противника — хотя бы разведку перед собой выслали...

Впрочем, разведка могла и не обнаружить казаков.

Шевченко словно бы понял, о чем думает «сотенный» — умел этот умный мужик читать чужие мысли, — проговорил удивленно:

— Ведут себя, как гимназисты в воскресный день за городом...

Внутри у Калмыкова шевельнулось раздражение, он отвернулся от вахмистра, поджал губы.

— Сотня-я, — свистящим шепотом протянул он, взглядевшись в пыль, повисшую над ближайшими деревьями, — к атаке — товсь!

Команду эту можно было и не подавать — казаки знали, зачем они находятся в этом беззаботном, наполненном птичьим пением лесу.

Позади полка на плотных литых колесах катились четыре короткоствольных пушчонки, в которые были впряжены пятнистые, исхудавшие в походе битюги. Калмыков подозвал к себе командира приданной к нему

БҮРСАК В СЕДЛЕ

пятой сотни — молоденького подхорунжего с жидкими, едва проросшими на лице кучеряшками — усами и бородой.

— Возьми два десятка людей и отбей артиллерию, — велел Калмыков. — Пока она находится на марше — уязвима, ее легко отсечь, но если мы провороним момент — короткоствольные пушки эти доставят нам много хлопот. — Калмыков добавил несколько крепких слов, которые стыдливые газеты обычно стараются не печатать.

Подхорунжий удивленно глянул на «сотенного» и отъехал в сторону — речь командира больше напоминала комланья одесского биндюжника, чем интеллигентного казачьего офицера. Война делает человека грубым, обкалывает его, будто некую вещь, имеющую хрупкие грани — среди разрывов шрапнели и сочного свиста пуль нет места ни нежности, ни слабым материям, ни уязвимости: войне может противостоять только сильная грубая натура.

Наверное, поэтому «сотенный» и матерится.

Подхорунжий напал на орудийную прислугу вместе с ударной группой казаков, навалившейся на голову колонны, — лихое «ура» раздалось одновременно. Подхорунжий рубанул шашкой немца в выгоревшем кургузом кителе — ездового, потом ткнул острием наводчика, перемахнул через лафет и точным ловким ударом отбил штык, который на него наставил плотный чернявый карабинер с большими, будто лопухи, ушами, торчавшими из-под каски.

Все шло удачно — осталось еще немного, еще чуть-чуть, и подхорунжий отбил бы полковую артиллерию, но в это время словно бы из-под земли вымахнуло десятка два-три похожих на чертей карабинеров и с воплями кинулось на казаков.

Подхорунжему пришлось туго — немцы в первую же минуту завалили старшего урядника, помогавшего ему управляться с сотней, потом двух казаков, неосторожно насадившихся на штыки, а в следующую минуту — еще двух... Войско подхорунжего поредело буквально на глазах. Подхорунжий закричал призывно и одновременно тоскливо — было жаль погубленных людей, поднял коня на дыбы, прикрываясь от выскочившего откуда-то из-под лафета немца, державшего в руках коротенький ездовой карабин, потом изловчился и ткнул фрица острием шашки прямо в горло. Немец выронил карабин, прижал к шее ладони и захрипел.

Схватка продолжалась.

Двое казаков, державшихся около подхорунжего, как по команде, вылетели из своих седел, один зацепился ногой за стремя, — испуганная лошадь уволокла его в сторону и, с треском ломая кусты, врубилась в лес. Второй рухнул прямо под копыта, застонал громко, надрывно, в следующую секунду умолк — был мертв.

Подхорунжий взмахнул шашкой, навалился на двух карабинеров, убивших его казаков; одного, замешкавшегося из-за перекосившегося патрона, он успел зарубить, второй оказался более удачливым — спроворился и выстрелил в подхорунжего.

Подхорунжий дернулся, боль перехлестнула ему дыхание, он согнулся вдвое и стиснул зубы. Некоторое время он висел на луке седла... Немец выстрелил в него снова. Подхорунжий даже не шевельнулся. Из приоткрытого рта брызнула кровь. Он уже не видел ни немца, стрелявшего в него, ни короткоствольных полковых пушчонок, которые ему надлежало отбить, ни безжалостного солнца, висевшего прямо над дорогой; ему сделалось холодно, горло перехватило, и он заплакал. Слишком молод был подхорунжий, слишком мало пожил на белом свете.

Собственно, и плача-то не было; вместо плача раздавался хрип, изо рта струилась кровь, а бледное лицо стремительно делалось восковым. Немец выстрелил в подхорунжего в третий раз и опять не смог оторвать того от луки седла — умирающий подхорунжий держался, не хотел сдаваться. Немец выстрелил в четвертый раз — безрезультатно.

С губ подхорунжего сорвалось жалобное слово, всего лишь одно:
— Мама!

Так со словом «мама» он и умер.

На онемевшего немца вихрем налетел один из казаков — грудастый, с Георгиевским крестом на гимнастерке, саданул шашкой по черепу и карабинер повалился под копыта русского коня, ударился головой о что-то твердое, запищал тонко-тонко, по-ребячьи жалобно, дернул одной ногой, потом второй и, продолжая пищать, замер.

Схватка продолжалась.

Отбить все пушки не удалось, отбили только три, но и этого было достаточно, чтобы немцы дрогнули в замешательстве и колонны полка смешались.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

К артиллеристам ринулась подмога — дюжие парни с короткими золотистыми бровками — особая порода, выведенная где-то в центре Германской империи, в глубинке, стойкая к ратным делам, приспособленная, ловкая, — подмога оттеснила казаков, но те, тоже хваткие, развернули немецких лошадей и уволокли три пушки в лес.

Немцы пустились было вдогонку, но дорогу им перекрыли казаки четвертой сотни, которой командовал сам Калмыков. Затеялась новая рубка. Трех пушек из своего артдивизиона немцы все же не досчитались.

На шитках у кайзеровских пушек красовался белый, с когтистыми лапами орел. Калмыков, выбравшийся из сечи, пучком травы стер с шашки чужую кровь, оценивающе склонил голову набок и хмыкнул подозрительно:

— Вместо этой вороны нарисуем нашего орла — пушки русскими станут. Немаков будут щелкать так, что вряд ли кто догадается, что они не в России сработаны.

Немецкий полк отступил — поспешно втянулся в соседний лесок и растворился в нем, не слышно стало его и не видно. Калмыков довольно цыкнул слюной в траву:

— Показали мы швабам настоящий «жопен зи плюх», долго будут от своих котяхов очищаться.

Не угадал хорунжий — через двадцать минут немецкий полк выкатился из леска и стремительно, будто морская волна, понесся на казаков: хы-ыхы! Тяжело, загнанно дышали глотки молодых немецких парней. Стало ясно: карабинеры сделают все, чтобы прорваться. Калмыков ощутил, как внутри у него все сжалось, вытер ладонь о штаны — важно, чтобы в драке рука с шашкой были единым целым, чтобы шашка не выскальзывала, прикипала к пальцам мертво, — самое плохое, когда рукоять шашки вихляется... В голову вновь приползло хулиганское, выдуманное острыми на язык казаками: «Жопен зи плюх!» — Калмыков привычно схватился за рукоять шашки, вытянул ее из ножен, но в следующий миг с хлестким звонким звуком загнал обратно.

— Сотня-я-я, — пропел он злым резким фальцетом, послушал, как звучит его голос, — не понравилось, но было не до красоты, не до лада, и хорунжий, морщась, вновь выдернул шашку из ножен, — за мной!

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

В двух других приданных ему сотнях команда была продублирована.

Лошадь легко перенесла Калмыкова через куст — опытная была, досталась хорунжему от убитого позавчера метким немецким стрелком старшего урядника Караваева, — следом взяла еще один куст, также легко, с лету, стрелой перемахнула через травянистую низину, в которой лежало несколько убитых немцев, и вынесла седока прямо к маршрутовавшим карабинерам.

— Эх-ма, погнали наши городских! — воскликнул Калмыков заведенно, будто мальчишка, — от фальцета освободиться он так и не смог, — рубанул шашкой белобрысого немца с перекошенной, толсто перевязанной бинтами шеей. Несмотря на жару, немчика терзали простудные чирьяки. Ноги его, обутое в сапоги с короткими голенищами, взлетели над землей, большемерная обувка не удержалась на мослах, слетела и унеслась в воздух, под самые облака.

— Погнали наши городских! — вновь бессвязно выкрикнул Калмыков, упав грудью на шею лошади.

В него целился из винтовки чернявый, ладный лицом карабинер, похожий на цыгана-конокрада, с веселым шальным лицом. В голове у хорунжего промелькнуло тупое, неверящее, лишнее всякого страха: «Сейчас ведь снимет меня... как пить дать снимет!» — и так оно, наверное, и было бы, если бы не везение: Калмыкову повезло, а немцу — нет. И такое случилось в этой схватке не в первый раз...

У цыгана вместо выстрела раздалось пустое щелканье — отсырел патрон. Пока он дергал затвор, пока загонял в ствол новый заряд, Калмыков постарался навсегда утихомирить шустрого немца: шашка оказалась надежнее винтовки.

Вскоре полк карабинеров побежал...

На место геройски погибшего подхорунжего Калмыков назначил вахмистра Шевченко. Не хотелось, конечно, этого неприятного человека назначать на командную должность, но других кандидатур у Калмыкова не было. Можно, конечно, назначить вахмистра Саломахина, но тогда Калмыков сам оставался без прикрытия, чего допускать было никак нельзя. Поэтому он подозвал к себе вахмистра Шевченко и, глядя в сторону, проговорил хмуρο, хриплым фальцетом:

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Принимай сотню... Временно.

В ответ вахмистр вздохнул:

— Спасибо, господин хорунжий... Доверие постараюсь оправдать.

Калмыкову ответ не понравился, но он промолчал, погрузился в свои невеселые мысли, зашевелил губами, высчитывая что-то... Потом вновь велел позвать вахмистра Шевченко. Тот подъехал на коне, глянул вопросительно.

— Подхорунжий погиб, но задания своего не выполнил, — прежним хриплым фальцетом произнес Калмыков, подвигал из стороны в сторону челюстью, — отбил у немцев не все пушки... А надо было отбить все. Твоя задача, Гавриил Матвеевич, отбить последнюю пушку.

— Попробую, конечно... — помрачневшим тоном произнес вахмистр, — только если ради одной пушчонки потребуется положить людей, я их класть не буду, господин хорунжий... Людей я привык беречь.

— Это приказ, вахмистр, а приказы командиров не обсуждаются. — Калмыков сцепил зубы, желваки у него на щеках отвердели, стали каменными.

— Это смотря с какой точки посмотреть, — твердо проговорил Шевченко и отвернул коня от Калмыкова.

Хорунжий сцепил зубы сильнее, скрипнул — не нравился ему Шевченко, но поделаться с полным георгиевским кавалером он ничего не мог, поднять на него руку опасался — за это дело можно загреметь под офицерский суд, а это крайне нежелательно...

Калмыков трепал полк карабинеров до позднего вечера, до темноты, не пропускал его в Лелайцы, — и так и не пропустил.

Шевченко дважды пробовал отбить последнюю пушку у карабинеров, но безуспешно — немцы усилили охрану и всякий раз сотня натыкалась на яростный огонь. Вахмистр дал команду отступить — берег людей. Тем более, в сотне было двое его земляков-одностаничников. Если пуля зацепит кого-нибудь из них, как же он потом в станице будет отчитываться?

Вечером, уже в сумерках, когда Калмыков прискакал из штаба полка, Шевченко подошел к нему, вскинул руку к козырьку выгоревшей фуражки:

— Приказание ваше, господин хорунжий, выполнить не сумел... Извините!

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Калмыков привычно стиснул челюсти и, скрипнув зубами, выдохнул с горячим свистом:

— Сволочь!

Шевченко сжал губы в узкие жесткие щелки, поиграл желваками.

— Смотри, хорунжий, оскорблять себя не позволю и не посмотрю, что ты офицер — гвоздану кулаком меж глаз так, что только огонь в разные стороны полетит!

Хорунжий стиснул кулаки, нагнул низко голову, — подбородком едва не коснулся живота, сделал несколько неровных напряженных шагов. Выставил перед собой кулаки. Вначале ударил левой рукой — сделал это стремительно, резко, с шумом выбив из себя воздух, Шевченко едва успел отскочить в сторону, — потом на громком выдохе послал в вахмистра второй кулак.

Шевченко на этот раз отскочить не успел, кулак хорунжего всадились ему под ребра, и вахмистр задавленно вскрикнул — было больно. Калмыков вновь взмахнул руками и сделал два кривых коротких шажка.

Вахмистр мотнул головой и пошел с Калмыковым на сближение.

— Сука ты... — прохрипел Калмыков, зло блестя глазами, — хотя и георгиевский кавалер. — Сука! Твои кресты тебя не спасут — пойдешь под суд.

— Тебя, хорунжий, твои погоны тоже не спасут, — пообещал Шевченко, сделал ложный замах левой рукой, отвлек внимание Калмыкова. Тот потянулся всем телом за кулаком, стараясь перехватить его, и открыл свой бок, а удар по боку бывает очень болезненным, это удар по печени. Шевченко не раз ощущал его на себе, — в следующее мгновение вахмистр всади кулак в бок хорунжего.

У Калмыкова внутри громко хлопыстнула селезенка, удар был сильный, клацнули зубы; на небольшом, покрытом капельками пота лбу, образовалась лесенка морщин, словно бы кожа на лице собралась в гармошку.

— Ты-ы-ы... — яростно захрипел Калмыков, в следующий миг споткнулся, сглотнул что-то твердое, будто в горло ему попал камень, не проглотив который он не то что говорить, даже ходить не мог. Шевченко хотел еще раз опечатать его кулаком, но вместо этого на два шага отступил назад.

БУРСАК В СЕДЛЕ

Проговорил насмешливо:

— Я! Ну и что?

— Ты под суд пойдешь, — наконец выдал из себя Калмыков, — военно-полевой.

— Так уж сразу и под суд, — издевательски произнес Шевченко, — под военно-полевой... Пфу!

— Ты ударил офицера.

— А ты — полного георгиевского кавалера. За это по головке не гладят даже фельдмаршалов, не говоря уже о каких-то козявках с двумя звездочками при одном просвете.

— Псы-ы-ы, — просипел Калмыков яростно, — берегись, Гаврила... Я этого дела не спущу.

— И я не спущу.

— Я тебе пулю в затылок всажу. Понял?

— Понял. Только знай: я в долгу не останусь.

— Псы-ы-ы-ы...

Хорунжий неровной походкой, цепляясь одной ногой за другую и по-мальчишески схлебывая с губ пот, отошел в сторону, взглянул на вахмистра с такой яростью, что тот ощутил физическую боль, словно бы от удара, — подхватил за повод своего коня, устало и непонимающе поглядывавшего на людей, — и двинулся от вахмистра прочь.

Вот и стали однополчане заклятыми врагами... Теперь в бою спину не подставляй. Шевченко горько скривил рот — а ведь этот тип с фигурой незрелого мальчишки теперь вряд ли оставит его в покое — будет преследовать. И не успокоится, пока не убьет его — такой нрав у тещедушного низкорослого хорунжего. Слышал Шевченко, что хорунжий в свое время окончил семинарию и готовился к иной деятельности, совсем не офицерской, но кривая жизненная дорожка вывела его на нынешний рубеж. Жаль, что другого места она не могла сыскать. Лучше бы оставался господин Калмыков попиком. Но нет — принесло михрютку в армию.

Покачав удрученно головой, Шевченко посмотрел на кулак — два мослака он ободрал себе до крови, — выругался неожиданно озлобленно. Хуже нет свары со своими. Уж лучше пятьдесят, сто, сто пятьдесят стычек с врагом, чем одна со своими... Он слизнул кровь с мослаков и отправился в четвертную сотню.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Самое правильное было бы — перевестись в другую сотню, но как Шевченко объяснит это начальству?

Объяснений не было.

Впрочем, семнадцатого сентября Калмыков был ранен, попал в госпиталь, а когда покинул палаты с белыми простынями, то сотней уже командовал другой человек. Хорунжий был назначен на должность начальника пулеметной команды.

Двенадцатого декабря 1915 года перед строем казаков в лохматых папахах был зачитан приказ № 1290 по войску, в котором было объявлено, что хорунжий Калмыков произведен в сотники «за выслугу лет, со старшинством с 6 августа 1915 года».

Сотник в кавалерии — это то же самое, что поручик в пехоте. По-нашенски, старший лейтенант.

Прошло полтора года.

Если на Кавказе, на Тереке, где раньше жил Калмыков, станицы обязательно звали станицами — это было устоявшееся, твердое, отличающее казаков и их поселения от прочего люда, от богатых городских мешан, от чопорного купечества, любившего смазывать кудрявые локоны лампадным маслом, от мрачных работяг, чинивших в депо паровозы, и гнилой «интеллигенции» — разных там учителей, землемеров и фельдшеров, — то на Дальнем Востоке слово «станция» обратилось в понятие.

Все понимали, знали, что такое станица, только слово это употребляли в речи не всегда. Точнее, очень редко.

Здешнему казачьему люду было гораздо привычнее слово «станция» или, скажем, такие слова, как «село», «поселок», «город», «деревня», «выселки» — что угодно, только не «станция».

Слово это почему-то не прижилось ни в Уссурийском казачьем войске, ни в Амурском. А вот в Забайкалье прижилось: лохматоголовые гураны с удовольствием звали свои поселения станицами и при этом гордо вздергивали подбородки. Будто петухи.

Петухов Калмыков не любил. Наверное, потому, что сам был петухом, иногда ловил себя на этом и лицо у него делалось мрачным, морщинистым, будто у старика, тонкие бледные губы сжимались в твердую длинную скобку.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Он думал, что гродековские старики, когда он приехал с фронта в Гродеко, примут его настороженно, но старики — самые важные в войске люди, — приняли Калмыкова радушно:

— Человек с фронта — это святое. Чувствуй себя как дома. Ты нам нравишься, сотник.

Калмыков длинным, специально отращенным на мизинце ногтем расчесал светлые усы:

— Я и сам себе иногда нравлюсь, господа старики.

Старики захохотали дружно:

— Однако шустрый!

Сотник вновь расчесал ногтем усы, взбодрился — понимал: если эти сивые деды отнесутся к нему с недоверием — жизни в этом крае не будет. Придется вновь возвращаться в саперы... А этого допустить никак нельзя. Он прижал руку к груди и, хотя ему не хотелось гнуть хребтину и ломаться в поясе, низко поклонился старикам. Произнес с пафосом:

— Сердечный вам привет с фронта. От земляков, от братьев-казачков, готовых свернуть голову кому угодно, не только австриякам с немаками...

Старики приосанились, сделались степенными, словно бы каждому из них подарили по кисету с табаком, распушили бороды.

— Ну как, одолеваем мы немаков?

— Пока нет, но победа все равно будет за нами.

— Любо!

Первый Уссурийский полк с фронта еще не вернулся — казаки митинговали, решали, продолжать войну или нет. Сотник Калмыков прикинул, что же ему светит в эту странную революционную пору, — и неожиданно для всех вступил в партию эсеров.

Не только агитаторы большевиков посещали фронтовые окопы, но и агитаторы эсеровские: эта партия также нуждалась в свежем притоке, в пополнении. Калмыкова, только что представленного к награждению георгиевским золотым оружием — именно саблей, — взяли в эту партию охотно.

Когда сотника спросили в полку, зачем он это сделал, Калмыков надменно вскинул голову:

— Социал-революционеры борются за подлинное народовластие. Я — с ними, я хочу, чтобы мой народ был свободным. Понятно?

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Никто в полку не понял сотника, кроме одного человека, с которым Калмыков продолжал враждовать, вахмистра Шевченко.

— Сотник, а ты, оказывается, лучше, чем я думал о тебе, — сказал вахмистр.

Калмыков на это ничего не ответил.

Шевченко вздохнул и сожалеющее покачал головой.

Когда стали избирать полковой комитет, — пошла-покатилась такая мода по фронтовым полкам и дивизиям, — Шевченко неожиданно предложил на должность секретаря комитета сотника Калмыкова.

Калмыков, услышав это, чуть со стула не слетел — поступок заклятого врага поразил его. Он нахмурился, брезгливо выпятил нижнюю губу и хотел было отказаться, но в следующую секунду передумал: почувствовал, что он вряд ли куда прорвется и даже не получит очередного чина, если не примкнет к какой-нибудь политической структуре. Эсеры были для Калмыкова самыми подходящими.

Впрочем, когда ему было выгодно, он выдавал себя за рьяного государственника, готов был горланить до посинения, утверждая, что «Россия впереди Европы всей», даже выставлял перед собой кулаки и делал зверское лицо, выдавал себя и за монархиста, утверждая, что без царя-батюшки империя погибнет, — в общем, крутился, как волчок. Время было такое.

Впрочем, от неприятностей Калмыков себя все равно не уберег.

В полковом комитете Калмыков оглядел своих товарищей, отметил, что большинство членов комитета носит обычные солдатские погоны и заявил:

— С большим удовольствием я сбросил бы все офицерские знаки различия, — потянулся с вкусным хрустом и добавил: — с большим-с!

— Что, надоели погоны, господин хороший? — спросил его мрачноватый, со складчатым, обожженным газами лицом хорунжий, прибывший из дивизионного комитета, и нервно дернул головой.

— Надоели — не то слово, — не стал скрывать Калмыков. — Опасно. В пехотных полках офицеров поднимают на штыки.

— Слава богу, у нас этого нет.

Калмыков ухмыльнулся.

— Нет, так будет.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Хорунжий не ответил, лишь отрицательно покачал головой.

— У нас, например, командира полка Пушкива скоро шашками заколят. Из него командир полка такой же, как из меня хабаровский губернатор, — сказал Калмыков. — Его надо менять. Разве этого в штабе дивизии не видят?

— Тебя, сотник, ждут, чтобы прозреть.

— Вполне возможно, — ухмыльнулся Калмыков.

— Только звание полковника, которое имеет Пушкив, ты, сотник, получишь очень нескоро, — в глазах представителя дивизионного комитета мелькнуло презрительное выражение.

— Я, если понадобится, и без звания стану командиром полка, — жестко отчеканил Калмыков.

— Вряд ли.

Калмыков знал, что говорил: через несколько дней по требованию полкового комитета Пушкив был отстранен от должности.

Его место занял... Калмыков.

Бывалые казаки изумленно чесали затылки:

— Надо же, как ловко этот хорь пробрался в командиры. Как таракан в задницу, без всякой смазки.

— Вряд ли он долго продержится...

Долго Калмыков действительно не продержался — его вызвали в штаб Третьего конного корпуса к такому же маленькому и тщедушному, как и сам Калмыков, есаулу; виски у есаула были седыми — повидал на свете этот человек немало...

— Была бы моя воля, я содрал бы с вас, сотник, погоны, — процедил он сквозь зубы.

— Руки коротки, — едва сдерживая внутреннее бешенство, отрезал Калмыков.

— Посмотрим. А пока вы, а также сотники Былков, Савельев и Савицкий предаетесь военно-полевому суду.

Калмыков ошалело приподнял одну бровь:

— За что?

— За интриги против офицеров... Слишком много интриг вы развели среди казаков, желая уничтожить офицерский корпус... Жалобы на вас приходят каждый день... Генералом Крымовым уже подписан приказ об исключении вас из состава дивизии и полка.

БАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Внутри у Калмыкова что-то дрогнуло, ему сделалось холодно — вот те и покомандовал полком, вот те и погарцевал на лихом коне перед строем спешенных казаков... Калмыков сглотнул комок, закупоривший ему горло.

— Всех четвертых под суд? — Голос у него мигом просел, сделался сиплым. — Или только меня одного?

— Всех четверых!

Но суда не было — генерал Крымов отдал распоряжение дело закрыть. И причина была не только в Калмыкове или в Савицком — Крымов просто не хотел марать доброе имя уссурийского казачества.

— Виноваты всего несколько человек, а пятно падает на всех, — недовольно проговорил он, — на тысячи людей. Гоните всех четверых из дивизии и на этом поставим точку, — приказал он, — чтобы о них никто ничего не слышал. Особенно об этом... как его?

— Вы имеете в виду сотника Калмыкова, господин генерал? — услужливо подсказал есаул с седыми висками — заместитель начальника контрразведки корпуса.

— Да, туземца этого...

— По нашим сведениям, он не казак, а обыкновенный ростовский мещанин.

— Тем более!

Вначале Калмыков переживал — слишком уж сильным оказался удар. Так переживал, что даже с лица сдал, а потом решил, что нет худа без добра, и переживать перестал. Впоследствии он не раз выступал на митингах — утверждал, что пострадал от старого режима.

Полк пришлось покинуть — Калмыкову велено было явиться в Харьков, в пехотный резерв. Но в Харьков сотник не поехал — отбыл на Дальний Восток. Можно было, конечно, податься в родные места, к кубанцам или терцам, или в Киев, в резерв чинов тамошнего военного округа, что было бы еще хуже Харькова, но тогда Калмыков точно вылетел бы из казаков и пришлось бы снова цеплять на карман кителя нелюбимый саперный значок. Этого Калмыкову делать не хотелось.

Он повертел в воздухе дулей, сложенной из трех пальцев:

— Вот вам!

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Уссурийским старикам маленький, верткий, хмельно стреляющий глазами Калмыков понравился, они дали ему высокую оценку:

— Наш человек!

«Наш человек», проехав по нескольким станицам, понял, что в тылу житье лучше, сытнее и спокойнее, чем на фронте, и вновь пошел к старикам:

— Дорогие станичники, а войсковой круг вы не собираетесь созывать?

— Зачем?

— Скоро с фронта вернутся казаки, в стране — новая власть, она требует перемен...

— Упаси нас Господь от всяких перемен, — старики дружно перекрестились. — Чем меньше перемен, тем лучше.

— И все-таки без перемен не обойтись, уважаемые.

Старики вдохнули и, как один, захлопнули рты. Молчание их Калмыков оценил как согласие.

Из всех уссурийских станиц Калмыкову дорожке всех была Гродековская, знакомая по прежним временам — наиболее крупная и значимая, расположенная на границе с Китаем, в ней он и остановился. Можно было, конечно, поселиться в городе, в Никольске-Уссурийском, но Калмыков побоялся этого сделать — вдруг его так достанет суровый генерал Крымов?

Войсковой круг состоялся в начале октября семнадцатого года. Третьего октября. Казаки собрались, чтобы выпить по паре стопок настойки дальневосточного лимонника и избрать начальство, — Калмыков присутствовал на всех заседаниях как делегат-фронтовик.

К этой поре он уже примелькался уссурийцам, часто забирался на трибуну, а, забравшись, резал правду-матку в глаза, подкалывал власть и выказывал уважение к старикам — ему надо было завоевать доверие казаков.

Сотник знал, что делал. Калмыкова избрали заместителем войскового атамана и присвоили ему чин подъесаула. Он приободрился и не стеснялся теперь звать свое фронтовое начальство дураками. В Никольске-Уссурийском выступил с речью, в которой похвалил местный совдеп — сделал это вовремя: через несколько дней грянула революция, названная

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

впоследствии Великой Октябрьской, а Калмыкова стали считать героем. Он умел предугадывать события — обладал нюхом; слава человека, пострадавшего от сумасбродного фронтового начальства, также работала на него, так что очень скоро войсковой атаман Николай Львович обнаружил, что перед новоиспеченным подъесаулом он просто никто, обычный любитель жареной картошки со шкварками, да вареников, заправленных топленным коровьим маслом. Дело дошло до того, что Калмыков стал брать домой войсковую печать — вот так он поставил собственную службу в Уссурийском войске.

Он по-прежнему продолжал поддерживать Советы, но в конце ноября семнадцатого года, прочитав во владивостокской газете о том, что большевики ведут сепаратные переговоры с германскими властями о заключении мира, потемнел лицом и, стиснув зубы, выкрикнул громко, с каким-то простудным визгом:

— Предатели!

Больше Калмыков в защиту совдепов не выступал, скорее, напротив — старался лягнуть большевиков. И побольнее. Когда это удавалось, был доволен.

На убитых китайцев в тайге наткнулись гродековские казаки — кости добытчиков медвежьих лап были тщательно обглоданы, обсосаны, объедены муравьями, мелкими и крупными голодными зверушками, пауками, прочим лесным населением, у которого одна задача — выжить, обмыты дождями, выскоблены до блеска ветрами, — казаки пришли к Калмыкову домой, в маленький чистый домишко, который тот снимал:

— Слышал, Палыч, там китаезы убитые валяются...

— Где там?

— В тайге.

— А конкретно?

— Километрах в двадцати пяти от Гродеково.

— Ну и пусть валяются, — Калмыков понял, о ком идет речь, вспомнил свою погоню и равнодушно махнул рукой. Иногда человек пропадает в тайге совершенно бесследно, годы проходят, а его не могут найти, — и очень часто не находят, а здесь минуло времени всего ничего

БҮРСАК В СЕДЛЕ

и хунхузы отыскались. Тьфу! Калмыков ощутил, как у него нервно задержались усы, он подбил их пальцем, отвел в сторону глаза.

— А если полиция...

— Какая еще полиция? — удивился Калмыков. — Вы чего, мужики! Да мы теперь сами себе полиция...

— Ну-у... — задумчиво протянул старший из казаков, — вдруг разборка какая-нибудь... Либо следствие.

— Никаких разборок, — оборвал его Калмыков. — Никаких следствий.

— Или...

— Никаких или!

— Как скажешь, атаман, так и будет.

Калмыков улыбнулся, ему нравилось, когда его называли атаманом.

— Кости зарыли, нет?

— Не стали зарывать... Мало ли что! На всякий случай сохранили в первоизданном виде.

— Первоизданном, — передразнил Калмыков и велел: — Заройте!

Калмыков подумал о том, что воздух здешний постепенно, из месяца в месяц, насыщается каким-то странным трескучим злом — подбесаулу казалось, что он даже слышит этот железный треск; когда треск появляется, то возникает и запах крови, хорошо знакомый всякому фронтовику... И тогда невидимые пальцы начинают сжимать горло, делается нечем дышать — очень опасное состояние, в котором может остановиться сердце. Отчего это состояние рождается, а, родившись, никак не может угаснуть? Держится долго — то усиливается, то ослабевает... И запах этот — крови, открытой раны, резаного тела...

Первый раз Калмыков ощутил его в конце лета, в душный предгрозово́й день, когда воздух сгустился, сделался стоячим, плотным, хоть ножом его режь, — из тайги тогда и приполз этот тяжелый, тревожащий душу дух.

Не знал, не ведал Калмыков, что это — запах гражданской войны, самой несправедливой и страшной из всех войн на белом свете, не думал, что она случится. Но что-то наводило его на мысль, на догадку — будет она, обязательно будет. И сыграет он в этой войне не самую последнюю

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

роль. Поэтому и вставал перед ним неподвижным столбом запах крови.

Было подьесаулу уже двадцать семь лет; в шевелюре у него появилась седые волосы, в уголках век — морщины, будто он слишком долго смотрел на солнце, губы отвердели, а в глазах поселилось скорбное выражение, как у человека, который слишком много пережил... Иногда Калмыкову приходила мысль, что он может умереть буквально сегодня, нынешней ночью. В том, что он умрет именно ночью, подьесаул бы уверен, — и тогда он делал усилие, чтобы отогнать от себя это навязчивое, очень болезненное ощущение и, если это не удавалось, начинал злиться...

Двадцать семь лет... А у Калмыкова — ни семьи, ни родни, ни любимой женщины, ни собственного дома — ничего нет. В карманах — одни дыры. Иногда блеснет золотая монетка — николаевский пятирублевик — и тут же исчезнет. Есть только казачье седло, пашка да конь. Конь — самый близкий родственник. Дожили, называется. Калмыков сжал губы, ощутил внутри пьянящую горечь.

В Гродеково было немало привлекательных женщин, но при виде их Калмыков невольно сжимался в комок, голова у него делалась деревянной, прекращала что-либо соображать и он переставал походить на самого себя — робел, мялся и не знал, как с этим состоянием справиться.

Иногда он бил самого себя по ногам плеткой, стараясь войти в норму, но плетка не помогала и тогда Калмыкову делалось еще хуже.

Он матерился, мрачнел и доставал из посудного шкафа-горки бутылку водки.

Жизнь шла, и в основном мимо. Нигде пока, кроме политики местечкового уровня, он не сделал особых успехов, а с другой стороны, у него и проигрышей крупных тоже пока не было. Лишь мелкие. Не проигрыши, а промахи.

В Гродеково всегда было много военных, к этому обязывала граница. Границу надо было защищать, и защищали ее не только казаки, не только солдаты Отдельного корпуса стражи, но и артиллеристы, и пехотинцы, и матросы, плававшие на плоских вертких канонерках по Уссури и Суйфуну, по Амуру и Сунгари, и железнодорожные стрелки, охранявшие грузы, и хорошо вооруженные таможенники — у них всегда можно было

БҮРСАК В СЕДЛЕ

разжиться и патронами, и гранатами, и пулеметом, — в общем, много тут было толкового народа, умевшего обращаться с оружием.

Поскольку с немцами готовилось заключение мира, на германском фронте сделалось тихо, настолько тихо, что окопники начали ходить друг другу в гости, — уссурийцы стали возвращаться домой.

Первым прибыл Уссурийский казачий полк — родной для Калмыкова. Подъесаул незамедлительно помчался в Никольск-Уссурийский, на вокзал, где из теплушек выгружали имущество полка, на перрон выводили коней, а с двух открытых платформ на землю по слегам спускали трофейные пушки, отбитые у австрийцев.

На засыпанной свежим хрустящим снегом привокзальной площади устроили митинг. Калмыков, заместитель войскового атамана, при орденах и парадной георгиевской шашке, первым поднялся на помост, специально сооруженный для митинга, втянул в себя запах карболки, пота и конских копыт, исходивший от досок, и вскричал звонким ликующим голосом:

— Казаки! — Вскинул над собой обе руки и неожиданно упал на колени, склонил низко голову, сложился вдвое и чуть не задохнулся от резкого карболового духа. Выпрямился. — Вот как вас должна встречать Россия! Низким земным поклоном, — он снова сложился вдвое.

Выступление Калмыкова произвело впечатление на казаков.

Домой, в Гродеково, Калмыков вернулся поздно. Улицы были тихи и сонны. Лишь на станции погромыхивал буферами паровоз, стягивая в тупик груженные вагоны, — в тупике располагалась досмотровая площадка таможи, — да дул медную дудку кондуктор одного из товарных составов, готовившегося отбыть в «Рассею». Калмыков огляделся, подивился пустынности улиц и вообще тихости домов, которые должны были трястись от стука стаканов, песен и громких выкриков, — ведь казаки вернулись с фронта, — но в Гродекове было тихо.

— Странно, странно, — пробормотал себе под нос Калмыков и неспешно двинулся по улице к невзрачной чистой хатке, которую снимал под жилье.

Из-под ближайшей загородки выскочила черная кудлатая собачонка, с сипением, будто проколотый резиновый колобок, подкатилась подъесаулу под ноги. Калмыков ловким ударом ноги отбил ее в сторону.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Собачонка без единого звука унеслась в темноту, бесследно растворилась в ней.

Калмыкову неожиданно сделалось тревожно. Как перед атакой, которая должна сорваться. Он сунул руку в карман шинели, нащупал рукоятку нагана. Хотя и было холодно, а от оружия исходило тепло. Калмыков ускорил шаг — хотелось быстрее попасть домой, прислониться спиной к горячей печке: Гриня Куренев, исполнявший у заместителя войскового атамана обязанности ординарца, наверняка протопил печь и приготовил какое-нибудь вкусное хлебо: борщ с чесночными пампушками или гороховый суп с изюбятиной... Гриня по этой части оказался непревзойденным мастаком. Борщи, например, готовил бесподобно, даже гродековские бабы не умели так готовить, — немудреное хозяйство калмыковское он содержал в полном порядке.

Калмыковым Гриня был очень доволен.

Он оглянулся — показалось, что сзади кто-то идет, поскрипывает снегом, хотя и старается идти аккуратно, но скрип все равно раздавался. Напрягся лицом, вслушиваясь в пространство, — сзади никого не было. Вверху, довольно низко, почти над самой головой, висели мелкие тусклые звезды, похожие на шляпки гвоздей, вколоченных в твердь неба по самую макушку, между звездами носились хвосты снега, играли в детские догонялки. Калмыков взвел в кармане курок нагана, снова оглянулся. Сзади — никого. Тогда откуда же возникло сосущее чувство опасности, почему так неприятно сжимается сердце?

Чутье у фронтовика Калмыкова было развито хорошо; тело у него, как у всякого человека, прошедшего войну, само ощущало опасность... Но какая может быть опасность здесь, в глубоком тылу? Похоже, во всем Гродеково он сейчас на улице находится один, совершенно один... Больше никого нет. Даже собак, кроме черной замарашки, молча подкатившейся ему под ноги несколько минут назад, и тех нету... Нету!

Над головой носились редкие снежинки, снег под ногами скрипел будто стекло, резко, вызывал на зубах неприятный зуд.

Он не заметил, как перед ним возникли четверо — плотные, приземистые, в низко надвинутых на глазах шапках, материализовавшиеся тени, вставшие перед ним стенкой...

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— А шашечка у тебя, казачонок, вижу, золотая, верно? — просипел один из налетчиков, безликий, какой-то расплывшийся в воздухе.

Подъесаул поспешно отскочил назад — нельзя было допустить, чтобы его взяли в кольцо, это опасно, — сжался в пружину, готовый броситься на налетчиков.

— Чего молчишь, барчук? — спросил у него второй — сундук с хриплым, надсаженным ханкой голосом. — Отвечай, когда тебя спрашивают солидные граждане. Ну!

Подъесаул ничего не ответил и на это.

— Гони-ка сюда свою шашечку, — протянул к нему руку третий, — она тебе больше не понадобится.

— Одна сабля — этого мало, — добавил четвертый, — выворачивай у него карманы...

— Счас! — наконец произнес Калмыков, глянул вверх — в минуты опасности человек совершает много ненужных движений, это происходит неподконтрольно, — скорбно дернул ртом и вновь опустил руку в карман.

— Правильно поступаешь, — похвалили его налетчики, — не сопротивляешься, не сучишь ногами... Чем меньше резких движений — тем лучше.

Стрелял Калмыков прямо из кармана, не вынимая нагана. Шинель у него окрасилась в оранжевый цвет, осветилась, словно под полкой электрическую лампу зажгли, рука у подъесаула дернулась, и квадратный, с крюкастыми руками налетчик отлетел в сторону, завизжал надорвано:

— Сю-ю-ю-ю!

Калмыков выдернул руку из кармана и выстрелил вторично. Шинель его видала виды, на ней имелись следы нескольких штопок, — и пули в хозяина попадали, и штыком его пробовали взять, и саблей разрубить, будто капусту, — но все равно было жалко дырять ее дальше, поэтому Калмыков и вытащил наган. Вторая пуля досталась налетчику с пропитым голосом, тот испуганно вскрикнул и сложился пополам.

— Тимоха, стреляй! — взвыл он, обращаясь к напарнику, но Тимоха — это был старший среди налетчиков — уже громко скрипел сапогами, уносясь в темноту: собственная жизнь была ему дороже жизни дальневосточных корефанов, дружков по каторге.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Тимо-х-а-а! — что было силы проорал его напарник. — Стреляй!

Но Тимоха на этот отчаянный крик даже не обернулся, только снег залиvisto визжал у него под ногами.

— Сю-ю-ю-ю, — просипел из сугроба налетчик, задержался, давясь воздухом, кровью, болью, оторопью, выплюнул из себя черный студенистый ошметок, зашкворчавший на морозном снегу, будто пережаренная яичница.

«Не жилец, — определил Калмыков, — как бы не пришлось писать объяснительную в штаб войска». Второй раненый заерзал ногами по снегу, старалась отодвинуться от Калмыкова, отполз на несколько метров и попросил подъесаула униженно, слабеющим голосом:

— Не трогай нас больше, добрый человек... Мы ошиблись.

Калмыков ухмыльнулся, сунул наган в карман, поставил его на предохранитель — как просто, оказывается, стать «добрым человеком».

Четвертый налетчик исчез, будто по велению некоей колдовской силы — растворился в воздухе, растаял. Калмыков даже не успел заметить, как это произошло.

— Не трогай нас больше, добрый человек... продолжал ныть угасающим дребезжащим голос раненый налетчик. — Тимоха! — с тщетной надеждой выкрикнул он. — А, Тимоха!

Не видно было Тимохи и не слышно — исчез он. Мелкие звезды продолжали равнодушно разглядывать с высоты пустынные гродековские улицы, не находя ничего интересного, слепо помаргивали.

Через несколько минут Калмыков был дома. Громяхнув наградной шашкой, сел на лавку — надо было отдышаться. К нему метнулся Григорий.

— Помочь раздеться?

— Не надо.

— Стрельба была...

— Не слышал, — произнес Калмыков как можно равнодушнее, потом повернул к Куреневу лицо и признался: — Это я стрелял, Гриня.

Лицо Гринино сделалось озабоченным, в глазах мелькнул испуг.

— Что случилось?

— Гоп-стопники разгулялись — спасу нету. — Калмыков приподнял ножны шашки, громко стукнул о пол. — Распустились, суки! Ограбить хотели. Пришлось пару раз пальнуть.

БУРСАК В СЕДЛЕ

— Никого не убили?

— Вроде нет, — Калмыков пошевелил смерзшимися, ничего не чувствовавшими пальцами. — Но двоих ранил. — Он подул на руку, попробовал: — Полей-ка мне воды, Гриня.

— Может, лучше к печке, Иван Павлыч? Там все-таки живое тепло...

— Нет. Пальцы потом ломить будет так, что хоть криком кричи. Спасибо, Гриня.

— Надо же, — удивился Куренев, поспешно зачерпнул ковшом воды из ведра, — не знал я этого.

— Чего не знал?

— Да что от тепла кости ноют. Никогда не слышал.

— Старый народный рецепт — сбивать боль холодной водой, — Калмыков застонал, затряс мокрыми руками.

В дверь постучали.

— Войдите, — выкрикнул Куренев, — не заперто!

На пороге появилась Наталья Помазкова — здоровенная баба лет пятидесяти с широким миловидным лицом и маленькими, какими-то медвежьими глазами. Следом за ней в дом просунулась красивая синеглазка лет семнадцати.

— Можно?

— Заходите, — радушно пригласил ординарец.

Тетка Наталья Помазкова была владелицей хаты, которую снимал Калмыков.

— Стрельбу слышали? — спросила она, потирая руками виски, словно бы ее допекала головная боль. — Два раза кто-то из винтовки саданул.

— Не из винтовки — из нагана, — поправил тетку ординарец.

— По мне, все едино — из дробовика или из пушки, я в этом не разбираюсь. Главное — стреляли... Кричал кто-то, это я тоже слышала.

Пришедшая с Помазковой девушка с интересом разглядывала Калмыкова.

— А это что за красавица, Наталья? — покосившись на девушку, бесцеремонно поинтересовался ординарец.

— Племянница моя, из Никольска погостить приехала, на пирожки с жимолостью.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— А зовут как?

— Анька, Анна, — тетка Наталья обернулась, погладила племянницу по голове. — Отец с войны должен был вернуться, да не вернулся.

— Убит или застрял где-то?

— Застрял. У атамана Семенова. То ли в Китае сейчас находится, то ли в Маньчжурии... Где-то там.

О том, что атаман Семенов сколотил большой и хорошо вооруженный отряд, Калмыков знал — часть уссурийцев, соблазненная хорошим жалованием, примкнула к боевому атаману; как знал и то, что обнаружить этот отряд довольно трудно — он все время передвигается.

— А фамилия отца как будет?

Тетка Наталья шмыгнула простудно и вытерла ладонью нос.

— Фамилия, как и моя, Помазков. Это брат мой... Родной.

— Зовут как брата?

— Евгений. Евгений Иванович Помазков. Так вот, Иван Павлович, помоги отыскать непутевого, а? Домой ему пора вернуться, ждут его... А он войну продолжить решил. Вот какая дочка у него выросла, — тетка Наталья покосилась на племянницу.

— Какое звание у вашего Помазкова, тетка Наталья?

— Не знаю. Три лычки у него на погонах и усы под носом.

— Понял. Не дадим дивчине умереть без отца, — Калмыков засмеялся.

Синеглазая Аня покраснела. Калмыкову это понравилось: девушка стыдливая, а значит, честная. Подъесаул на несколько минут ощутил некое неудобство, но это состояние быстро прошло.

— А бандюки что-то совсем распоясались, — переключилась на старую тему тетка Наталья, — стреляют по ночам, спать не дают. Ты посообрази, Иван Павлович, — попросила она, — бандюков надо прижать.

— Посоображаю, — пообещал Калмыков, — обязательно.

— Не то сладу с ними скоро совсем не будет. Надо их прижать.

— Прижмем, — Калмыков вытянул перед собой руки и приказал ординарцу: — Лей еще.

Григорий поспешно опустил в ведро ковш, зачерпнул воды. Аня продолжала с интересом разглядывать подъесаула и, как показалось Калмыкову, любовалась серебряными казачьими погонами, прикрепленными

БҮРСАК В СЕДЛЕ

к его шинели, шашкой с ярким георгиевским темляком. Он невольно подумал, что девушка эта совсем не похожа на других, которых он встречал ранее, — она совсем иная...

Внутри у Калмыкова возникло сладкое сосущее чувство — к такой девушке ведь и посвататься можно.

Надо будет обязательно отыскать ее отца. Для продолжения знакомства.

— Лей еще, — приказал он ординарцу.

Тот снова вылил на руки подьесаула ковш холодной воды. Осведомился:

— Ну как, полегчало?

— Лей еще пару ковшов.

— Значит, не очень полегчало.

— Полегчало, полегчало, — Калмыков фыркнул и, не удержавшись, скосил на глаза на Аню Помазкову: хороша была девушка! Тоненькая ладная фигура; дошку, сшитую из рыжих беличьих шкурок, Аня распахнула широко. Калмыков помотал головой, словно бы не верил тому, что видел, лицо его распустилось, сделалось каким-то расслабленным, квелым, и он, словно бы рассмотрев себя со стороны, повысил голос на ординарца: — Лей еще!

Утром, появившись в гродековском штабе, Калмыков затребовал сведения о Помазкове Евгении Ивановиче — где тот застрял? Почему не вернулся в войско? Затем, взяв с собой караульного казака с винтовкой, вышел на улицу: надо было найти место, где его подстерегли налетчики, посмотреть, не остались ли какие-нибудь следы?

На улице было морозно, солнечно, из тайги прилетела стая розовых птиц, похожих на снегирей, но это были не снегيري. Птицы расселись на ближайших деревьях, от вида их подьесаулу сделалось веселее, он воскликнул бодро:

— Жить хочется!

Сопровождавший Калмыкова казак ничего не понял — по его разумению, все, что исходит от начальства, — это от лукавого. Суждения офицеров можно не слушать, выполнять их не обязательно, а уж всякие дурацкие сентенции насчет жизни, те вообще глупые и вредные... И чего

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

этот тщедушный офицерик пристаёт к нему с разной мататой? Казак сердито подергал усами и сплюнул себе под ноги.

Подъесаул остановился в одном месте, обшарил глазами снег — нет ли где кровавых пятен, либо стреляных гильз, но ничего не обнаружил, поскреб затылок, перешел в другое место, но там тоже ничего не было.

— Интересно, интересно, — пробормотал Калмыков озадаченно, — где же это было?

В третьем месте он также ничего не нашел, хотя должны были остаться хотя бы гильзы, втоптаные в снег, не только кровь... Ни гильз, ни красных пятен не было.

— Загадка, — пробормотал подъесаул и решил больше ничего не искать — в конце концов он не скрывает, что ночью столкнулся с налетчиками. Надо будет сегодня же договориться с командиром здешнего полка о ночном патрулировании — без этого не обойтись.

Днем выяснилось, что Первый уссурийский полк вернулся домой без командира.

— Как же так, — растерянно проговорил Калмыков, — без командира?

— Без командира, — подтвердил Шевченко, — такой начальник, что был у нас, не нужен.

К Калмыкову председатель полкового комитета Шевченко относился уже более дружелюбно, без нервной колючести, бывшей на фронте, — местный совдеп дал подъесаулу положительную характеристику; более того, совдепонец Уткин, не последний человек у нынешней власти, посоветовал Шевченко получше присмотреться к Калмыкову.

— Да я уже много раз присматривался, — признался Шевченко, недовольно поморщившись.

— И что же?

— До сих пор не могу понять, что он за человек.

— Несколько раз подъесаул поддержал наш Совет, — сказал Уткин, — сделал это толково.

— Значит, революция обкатала его, — задумчиво произнес Шевченко, — а жизнь добавила своего... У меня на фронте с этим господином случались очень жестокие стычки. С мордобоем.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Уткин слова насчет мордобоя пропустил мимо — словно бы и не услышал их, — проговорил напористо:

— Кто старое помянет — тому глаз вон, — и, уловив согласный кивок Шевченко, продолжил: — А вот командир полка из него может получиться неплохой... Что скажешь?

Несколько минут Шевченко молчал — обдумывал неожиданное предложение, потом произнес:

— Вообще-то попробовать можно. Для начала вридом — временно исполняющим должность, а дальше будет видно.

— Попробуй, — сказал Уткин. — Совет рекомендует.

Так с помощью своего бывшего недоброжелателя Калмыков стал командовать полком. Положение его в войске упрочилось.

Ответ на запрос об уряднике Евгении Помазкове пришел быстро. Прислала его канцелярия ОМО — Особого Маньжурского отряда, которым командовал забайкальский атаман Семенов.

Калмыков, повертев бумагу в руках, произнес довольноно:

— Вот человек, на которого можно положиться всегда, во всем, — Григорий Михайлович Семенов.

— Вы знакомы с ним, Иван Павлович? — спросил Савицкий. Недавно он вновь появился в полку.

— Немного, — вспомнив свою довоенную службу, ответил Калмыков.

Какой-то есаул из штаба ОМО с немецкой фамилией обещал при первой же возможности отправить урядника Помазкова в распоряжение штаба Уссурийского полка — отряд атамана Семенова был и без Помазкова укомплектован по самую завязку.

Вечером тетка Наталья появилась в хате у Калмыкова, принесла два круга белого как снег, замерзшего молока со сливочными наплывами, расплзшимися по плоским широким макушкам кругов, Калмыков такое молоко любил. Сливочную намерзь ему всегда хотелось соскоблить с круга и отправить в рот, как лакомство.

— Подкормись, родимец! — сказала тетка Наталья. — Поздравляю с новой должностью!

Калмыков нахмурился было, но в следующий миг его лицо разгладилось, он махнул рукой.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Поздравлять не с чем, тетка Наталья. Это первое. Скоро твой брат прибудет — это второе. И третье — за молоко спасибо большое!

— На фронте такого молока небось не было?

— Зато было другое, тетка Наталья...

— Что ты сказал насчет моего брата?

— Скоро приедет. Если не приедет добровольно, сам, то его привезут.

Лицо тетки Натальи нервно дернулось — боязно стало за брата, — она протестующе помотала головой.

— Может, не надо?

— Надо!

— Вдруг мужику сломают жизнь, а?

— Кто ломает? Все в наших руках, тетка Наталья. Если даже кто-то чего-то ломает — исправим.

— Смотри, Иван Павлович, не навреди. А за новость — спасибо. Жив хоть, здоров... — Тетка Наталья взглянулась в лицо подъесаула, засмеялась тихо. — А чего про Аньку не спросишь? Стесняешься? — и видя, что Калмыков молча отвернул голову в сторону, — наверное, действительно стесняется, — прорывкала неожиданно громко, словно бы хотела, чтобы ее услышала все Гродеково: — Завтра она будет, Иван Павлович... Наверняка захочет услышать новость про отца из первых уст, от вас, — тетка Наталья звала своего постояльца то на «вы», то на «ты», когда как придется. — Так что мы обе тут будем.

Калмыков почувствовал, как у него ни с того ни с сего осеклось дыхание, а потом что-то острое впилося в сердце.

— Ты рад, Иван Павлович? — трубно гаркнула тетка Наталья.

— Рад, рад, — поспешно заверить ее подъесаул.

За окном, невдалеке, хлопнул выстрел, тетка Наталья испуганно сжалась, покосилась на замороженное стекло, залитое ночной чернотой, по улице пронесся верховой и все стихло: в Гродеково на гастроли приехали владивостокские налетчики, это они шалили.

— Гастролеры! — недовольно пробормотал подъесаул, скомандовал ординарцу: — Гриня, выгляни на улицу, посмотри, что там?

Тот выскочил на улицу, пробыл там недолго, вернулся, окутанный целым стогом пара:

— Ничего на улице нет. Пусто!

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Тетка Наталья заявила на следующий день раскрасневшаяся, с бутылкой самогона, сваренного из очищенных сахарных бураков и пропущенного через фильтр из кедровой скорлупы. Напиток обычно получается крепкий, может загореться от обычной спички, а уж что касается воздействия на казака, то человека с шашкой валит с ног без всяких усилий.

— Мы в гости! — объявила тетка Наталья с грубоватым напором, подняла бутылку: — Со своим вином.

Отступила на шаг в сторону — за теткой стояла племянница, также раскрасневшаяся, тоненькая, синеглазая, гибкая.

На душе у Калмыкова сделалось хмельно, в голове зашумело, будто от выпитого вина. Он скованно улыбнулся.

— А у нас картошечка есть, — объявил он. — Гриня только что сварил. И круг кровяной колбасы. Из станицы Вольной сегодня днем привезли.

— Вот пир устроим, — тетка Наталья потеряла руки, — на всю ивановскую.

— Колбасу надо пожарить.

— Это мы устроим мигом, комар даже захмелеть не успеет, — тетка Наталья вновь азартно потеряла ладони.

Ординарец выставил на стол картошку, банку огурцов, на удивление зеленых, похожих на малосольные, в мелких пупырышках. Тетка Наталья быстро поджарила в печке кровяную колбасу, горячий черный круг разрешила ножом на крупные куски и скомандовала:

— Садись, народ, за стол!

Выпили по стопке. Даже Аня, смущенная, робкая, и та выпила, приложила ко рту ладошку — непривычная была к крепким напиткам. Из глаз у нее выкатились две небольшие слезки: уж больно злым оказалось зелье тетки Натальи.

— Ну, Иван Иванович, расскажи Аняте, что там ведомо про ейного папашу?

— Воевал храбро, имеет георгиевские отличия, в последнее время находился в Маньчжурии — есть такая станция на КВЖД.

— Я знаю, — тихо произнесла Аня, — а сейчас?

— Сейчас, я так полагаю, он едет по железной дороге в Никольск-Уссурийский. По нашему запросу... Скоро будет.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Вообще братцу моему Женьке надо по шее накостылять, — протрубила, играя сильным голосом, тетка Наталья. — Это надо же такое удумать: ехал, ехал домой, да не доехал, зацепился за какую-то юбку. Ну будто Маньчжурия не могла прожить без него!

— Бывает! — философски спокойно произнес Калмыков, — всякое бывает. Гриня, садись к столу, — позвал он ординарца, — ты для нас человек не чужой.

— Счас, Иван Павлович. Самовар должен вот-вот закипеть — нельзя его в такой момент оставлять без присмотра.

— Вы, Иван Павлович, наверное, весь мир объехали? Везде побывали...

Калмыков с легким вздохом приподнял плечи, хотел было замолчать этот вопрос, не отвечать, но, увидев напряженное Анино лицо, блеск, возникший у нее в глазах, произнес невнятно, себе под нос:

— Поездил я, конечно, немного, но видел много.

— Расскажите, Иван Павлович! — попросила Аня.

— А что рассказывать, Ань? Про Польшу? Польша — страна не интересная. Про Кавказ? Кавказ интересен постольку-поскольку и не более того. Да и писали о нем много, так что вряд ли чего интересного я могу о нем рассказать...

— В Москве вы были?

— Был³.

— Расскажите про Москву!

— Москва — город златоглавый, стоит на семи холмах, живет сытно, в ус не дует. Россию не любит. Это я понял по себе... Но интересные места в Москве есть, — Калмыков заговорщически покачал головой, — ох, интересные!

— Какие же именно? — вмешалась в разговор тетка Наталья. Маленькие медвежьи глазки ее блестели от выпитого, кровяная колбаса оказалась очень вкусной, так что жизнью своей она была довольна. — А, Павлович?

³ Сведений о том, что Калмыков бывал в Москве, автор не нашел. Вполне возможно, что Иван Павлович, желая предстать перед дамой в лучшем свете, кое-что присочинил.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Ну, например, магазин господина... господина... Дай бог память, господина Елисеева. Бывали когда-нибудь в нем?

— Господь с тобою, Павлович! Откеля?

— А слышать слыхивала?

— И не слыхивала.

— Темная ты, тетка Наталья. В этот магазин за продуктами приезжают даже из самого Парижа.

— Ы-ыу! — не сдержавшись, икнула тетка Наталья.

— Да-да! Например, за икрой. Самая достойная — с Сальянских промыслов, мартовская. Вкуснее ее никакой другой икры нет.

— Это где же промыслы такие — Сальянские?

Сведениями насчет Сальянских промыслов Калмыков не располагал, потому ответил наобум:

— На Дону!

Тетка Наталья причмокнула губами:

— Вкусно!

— Но кучугур ценится выше сальянского посла.

— Ку-чу-гур, — медленно, по слогам, словно бы стараясь запомнить это колдовское слово, произнесла тетка Наталья, повторила: — ку-чу-гур. Что это такое, Иван Павлович? Ты ведь наверняка знаешь.

— Не знаю, хотя в одной газете прочитал, что кучугур имеет особый землистый аромат... Это самая дорогая икра.

Землистый аромат — это чего? Навозом пахнет, что ли?

Калмыков засмеялся.

— Налей-ка лучше, тетка Наталья, по маленькой.

— По чарочке, по маленькой, чем поят лошадей, — тетка Наталья взялась за бутылку и вздохнула. Разлила, первой чокнулась с Калмыковым. — Ну, за все хорошее в жизни... Чтоб дней светлых было побольше.

— Добрый тост — похвалил Калмыков.

— Чтоб побольше ярких звезд висело над головой, чтоб ты, дорогой наш постоялец, атаманом стал...

— А этот тост — еще добрее, — Калмыков заразительно, как-то по-мальчишески счастливо и открыто засмеялся. Глянул на Аню, Аня посмотрела на него. — Выпьем, тетка Наталья, — хоть и произнес Калмыков

имя тетки Натальи, а чокнуться потянулся к Ане. — Ты очень славная женщина, тетка Наталья, спасибо тебе.

— Не за что, племянничек. Ешь, насыщайся... Чего еще толкового есть в Москве?

— Цыгане есть...

— Что, цыгане там и впрямь живут?

— В Петровском парке, на Эльдорадовой улице, в Зыково, где ресторан «Яр» располагается... Слыхала про «Яр»?

Тетка Наталья смущенно повела одним плечом, и Калмыков крикнул:

— Темная ты, тетка Наталья, — перевел взгляд на зардевшуюся, размякшую в тепле племянницу: — Правда, Аня?

— Неправда, Иван Павлович. Тетя Наташа — совсем не темная.

— Вот так, хозяйка! Ты уже и защитницу себе нашла! «Яр» один французик образовал — на ровном месте создал, — сам, говорят, в нем еду готовил...

— По чьей вине мы проиграли войну, Иван Павлович? — неожиданно спросила тетка Наталья; лицо ее сделалось скорбным, постаревшим.

— Почему ты считаешь, что проиграли? По-моему, не проиграли. Это большевики суетятся, спешат заключить договор, талдычат о проигрыше... А честное фронтовое офицерство так не считает.

— Ох, Иван Павлович, быть тебе уссурийском атаманом! — воскликнула тетка Наталья, лихо расправилась с самогонкой, махом выплеснув ее в рот. Закусила куском колбасы, уже остывшей, но все еще очень вкусной. Лицо у нее дрогнуло, она потянулась к Ане, обхватила ее за плечи, прижала к себе. — Анька, Анька! По-моему, отец тебе достался непутевый. Дай бог, чтобы жених был путевый! — Она выразительно посмотрела на Калмыкова и прижала племянницу к себе покрепче.

Аня залилась краской. Смущалась она по любому поводу, делалась красной, как маков цвет.

— Хочешь стать женой уссурийского атамана? — спросила у нее тетка Наталья.

Аня промолчала, краской залилась еще пуще, даже виски у нее стали рдяными. Тетка Наталья отпустила племянницу и потянулась к бутылке, заткнутой сучком от пробкового дерева.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Наш Иван Павлович обязательно будет атаманом, вот увидишь!

Она как в воду глядела, тетка Наталья Помазкова...

За окном потрескивал мороз, сугробы кряхтели и шевелились, декабрь семнадцатого года был суровым.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Очередной казачий круг собрался на свое «комланье», как говорил полный георгиевский кавалер Гавриил Матвеевич Шевченко, в январе восемнадцатого года.

Надо было переизбрать старого войскового атамана Николая Львовича Попова: мягкий, сонный, излишне доброжелательный — он даже муху не мог обидеть, робел и извинялся, если случайно опечатывал ее газетой, бездеятельный, как всякий интеллигент той поры, он уже никого не устраивал в войске: ни левых, ни правых, ни средних, ни анархистов, ни большевиков, ни поборников гимна «Боже, царя храни!» — никого, словом; такая позиция не устраивала даже станичных баб — те тоже высказывались против Николая Львовича. Нужно было окончательно определиться в своих привязанностях, обнародовать свое отношение к советской власти, к Ленину, к Троцкому, к готовившемуся замирению с германцами, разобраться в причинах, почему Уссурийское казачье войско так здорово обнищало и тому подобное — вопросов набралось много.

В результате новым войсковым атаманом стал Калмыков — был он избран единогласно. Попов же, сдавая дела преемнику, подписал свой приказ — за номером 277 от 31 января 1918 года, — о производстве командира Уссурийского казачьего полка в есаулы. По другим сведениям, Калмыков был произведен сразу в генерал-майоры, минуя несколько чинов — есаула, войскового старшины и полковника, но, честно говоря, в это что-то не верится, вряд ли осторожный Попов отважился бы подписать такой приказ.

Большевики надеялись, что Калмыков развернется к ним лицом, поддержит их, но новоиспеченный атаман, сделав каменную физиономию, отвернулся от них окончательно: и от знакомого нам Шевченко, и от отца и сына Шестаковых, офицеров-фронтовиков, есаула и сотника, предав хуле и поддерживавшегося его Уткина.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Переговорив с представителями станиц, Калмыков выяснил, что станичники, — особенно старые, уважаемые, у которых уши покрылись плесенью и мхом, к большевикам относятся крайне отрицательно, и выступил с программной речью.

— Имейте в виду, казаки, к большевикам я отношусь плохо, — сказал он. — Я их вообще не признаю — это раз, и два — в работе своей я намерен опираться на демократические завоевания Февральской революции... советскую власть я также не признаю и объявляю об автономии Уссурийского казачьего войска.

Для большевиков такое заявление оказалось неожиданным. Шевченко потемнел лицом, сжал усы в горсть и потрясенно пробормотал:

— И как я, старый индюк, мог так здорово ошибиться? Тьфу!

Уткин уныло наклонил голову:

— Главная наша ошибка — в кадрах; не умеем мы поддерживать нужных людей, все время промахиваемся. Как только кого-нибудь подержим, выложимся, так человек этот тут же предает нас. Это извечная русская ошибка, она заложена в крови.

— Тьфу! — вновь отплюнулся Шевченко. — Надо проходить новый круг. Иного пути нет.

К штабу Уссурийского казачьего полка, разместившемся в добротном купеческом доме, сложенном из бревен-мертвяков, не поддающихся, как известно, гниению, стоят мертвяки веками, ничего им не делается, хотя одно плохо — горят они больно уж лихо, как спички, пых и нету, — подкатила повозка, запряженная двумя откормленными рысаками.

Из повозки вышел длинный сухопарый человек с лошадиным лицом и тяжелой нижней челюстью, делавшей его бледную нездоровую физиономию несимпатичной, ощупал глазами замерзших красноносых часовых, стоявших на крыльце, и произнес на довольно сносном русском языке:

— Я — английский майор Данлоп. Доложите о моем прибытии господину Калмыкову.

Часовые, стучавшие зубами от холода, — день был морозный и ветреный, — переглянулись: первый раз в жизни они видели живого англичанина. Наконец один из них свел вместе смерзшиеся, махровые от инея брови, неверяще переспросил:

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Кто, вы говорите? Майор...

— Майор Данлоп.

Калмыков тоже не ожидал увидеть у себя в штабе представительного английского майора, наряженного в подбитую мехом шинель, обутого в унты, — в общем, экипированного по дальневосточной погоде. Кинулся к майору, подобострастно пожал его длинную, с крохотной, чуть ли не детской ладонью руку.

— Господин майор...

— Данлоп.

— Господин Данлоп, рад приветствовать вас в штабе Уссурийского казачьего войска. И вообще — рад видеть...

Данлоп по-хозяйски уселся на скрипучий стул, стоявший у командирского стола, закинул ногу за ногу и произнес тонким школярским голосом:

— И я рад... видеть....

Неторопливо раскурил душистую сигарету, пустил изо рта дым, не замедливший расправиться в целую простынь и плоско расстелиться в воздухе. Всякому гостю, вздумавшему вести себя в его кабинете так, как повел себя англичанин, Калмыков вышиб бы зубы, но вышибать их из лошадиной пасти майора не осмелился — слишком важным был посетитель.

Интересно, что же привело его в штаб уссурийца?

— У вас в войске есть серьезные враги, — неожиданно проговорил англичанин.

— Кто?

— Ну-у... Например, господин Шевченко.

— Ничего нового. Об этом я знаю, господин майор, еще с фронта.

— Его поддерживают очень многие... И прежде всего фронтовики.

— И это я знаю. И людей тех знаю.

— Фронтовики готовятся вас арестовать...

Калмыков дернул головой, будто его укололи электрическим током, засмеялся нервно...

— Вряд ли у них что получится. Я ведь тоже не пальцем деланный...

Что такое «пальцем деланный», Данлоп не понял — это, как он догадался, была высшая ступень красочной загадочности и образности

БУРСАК В СЕДЛЕ

русского языка, на полет в таких высотах он претендовать не мог, поэтому важно наклонил голову:

— Совершенно верно, господин Калмыков! — Сигарета, которую он держал в левой руке, продолжала вкусно дымиться. — У Англии на Дальнем Востоке тоже есть свои симпатии и антипатии, поэтому мы переживаем за судьбу здешней земли, — майор говорил, как заправский агитатор, манипулировал своим ребячьим голосом, то наполняя его визгливыми нотками, то сменяя визг на картинную глухость, — мы вам верим, господин Калмыков.

— Чем я могу оправдать это доверие? — спросил Калмыков.

— Успешной борьбой с большевиками.

— Но это, господин Данлоп... — Калмыков выразительно помял пальцами воздух, жест этот во всем мире одинаков, перепугать его ни с чем нельзя, — это стоит денег... Больших денег.

— Деньги мы вам дадим, господин Калмыков. И не только мы. Японцы, насколько я знаю, тоже посматривают на вас с симпатией... И тоже готовы дать деньги. Я советую вам повстречаться с представителями японских военных властей — например, с генералом Накашимой. Очень советую.

— Что же мы должны сделать в ответ на финансовое вливание в наше войско?

— Повести с большевиками непримиримую борьбу.

Калмыков расцвел в открытой улыбке:

— О-о, это меня устраивает очень. Большевиков я ненавижу.

— Англия тоже ненавидит, — высокопарно проговорил Данлоп, погасил сигарету о край корявой кривобокой пепельницы, стоявшей на столе атамана, достал новую. — Предлагаю, господин Калмыков, разработать совместный план по ликвидации Советов на Дальнем Востоке. С участием, естественно, генерала Накашимы и его сотрудников.

Калмыков с предложением согласился.

— Почту за честь, — сказал он.

На следующий день Калмыков отправился на встречу с Накашимой. Вернулся поздно, ободренный разговором, довольно потер руки. В кабинет к нему заглянул Савицкий, исполнявший ныне обязанности начальника штаба.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Ну как, есть результаты, Иван Павлович? — спросил он.

— Пока нет, но результаты обязательно будут, — Калмыков вновь потер руки. — И очень даже скоро. Главное — собирай людей. Нам нужны толковые, хорошо соображающие головы. Мозги, умеющие варить...

— Мозги будут, — пообещал Савицкий.

Японцы разрабатывать план свержения советской власти на Дальнем Востоке отказались — деликатно отошли в сторону, зато обещали не пожалеть денег на эту операцию (и, как всегда, обманули. Они в ту пору проводили лисью политику, улыбались и клацали призывно челюстями, из-под полы показывали толстые пачки денег, на столе же оставляли жалкие копейки, которых едва хватало, чтобы купить пару свечек или кусок засохшего хлеба на черный день), французы также пообещали дать денег, с американцами Калмыков разговаривать не стал — не понимал, что у них на уме.

План свержения Советов пришлось разрабатывать англичанам и штабу Калмыкова. На паях, сообща. Главная идея заключалась в создании сепаратного государства на Дальнем Востоке, которое никому бы не подчинялось. Ни Москве, ни Пекину, ни Токио, ни Иркутску с Читой, ни заокеанскому дядюшке, ни тетушке с туманного Альбиона (впрочем, на этот счет Калмыков помалкивал, это он держал в уме, чтобы не раздражать майора Данлопа, имевшего свою собственную точку зрения по каждому пункту плана) — в общем, это будет совершенно самостоятельная страна. Без большевиков, без царя, но со своим шефом.

А шеф у сепаратной республики предполагался только один — атаман Калмыков.

Тем временем большевики во главе с Гавриилом Шевченко готовились к проведению нового войскового круга — Калмыкова надо было скovyрнуть с его поста во что бы то ни стало.

Калмыков, в свою очередь, тоже готовился к проведению этого круга.

Наконец-то Калмыкову выпала возможность побывать в доме у тетки Натальи. Дом, совсем недавно бывший таким близким, уже почти позабылся за последние два месяца, в памяти стерся едва ли не наполовину,

БУРСАК В СЕДЛЕ

всему виной — борьба за атаманскую власть, будь она неладна. Гриня находился у себя дома, в станице. Когда Калмыков вошел в дом, у него даже горло сдавило. Будто в родной хате объявился.

А в хате — никого. Пусто. Тетка Наталья, видать, куда-то наладилась. Характер у нее подвижной, шустрый, в жизни у нее был случай, когда она пешком ходила во Владивосток. А вообще, пешком она могла дойти даже до Иркутска или Пекина.

Печка стояла нетопленная, но холодно не было — значит здесь регулярно кто-то появляется, следит за печью, подтапливает ее. Может, Аня? Калмыков расстегнул крючки на воротнике кителя, шумно вздохнул — хорошо было бы увидеть ее. Раскрыл баул, в котором находились продукты. Бумажный кулек с китайскими рисовыми конфетами, второй кулек, матерчатый, — с сахаром, круг копченой колбасы, завернутый в позавчерашнюю хабаровскую газету, привезенную дневным поездом, буханка хлеба, комок сливочного масла в жестяной коробке с закрывающимся верхом, кусок вареного изюбриного окорока в промасленной бумаге, чтобы нежное мясо не заветривалось. Еще — бутылка китайской абрикосовой ханки — чтобы было чем согреться, если неожиданно делается холодно. Гриня остался в штабе, составить компанию Калмыкову не сумел. Атаману это не понравилось, но он промолчал, ничего не сказал.

Разложил продукты на подоконнике — тут самое прохладное место, — рядом поставил бутылку с ханкой.

Встряхнул баул — что там еще осталось? Патроны, брошенные россыпью на дно, острый складной ножик, бинт, скатанный в рулон и завернутый в лист чистой писчей бумаги, кисет с табаком, кресало, подаренное атаману одним паровозником из депо, кусок трута, свитого в фитиль, небольшой посеченный ударами стали кремень.

Не удержавшись, Калмыков хмыкнул:

— Не многовато ли на одного?

Неожиданно стукнула наружная дверь, в сенцах раздался топот ног и в хату вошла Аня. Прищурилась от света яркой керосиновой лампы-двенадцатилинейки, вскинула ладошки, заслоняясь:

— Вы, Иван Павлович?

— Я!

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Не то бегу по улице, смотрю — в хате кто-то хозяйничает. Даже тревожно сделалось — вдруг воры?

— Нет, не воры... Свои, — Калмыков почувствовал, как у него перехватило горло, помял пальцами кадык. — Дышать чего-то тяжело.

— Погода такая, Иван Павлович. Для организма трудная.

Слово какое мудреное знает — организм. Грамотная. Калмыков еще раз помял кадык, поправив его:

— От холода это, Аня.

— Сейчас я печку затоплю, тепло будет, — Аня сбросила с себя дошку, кинулась к печке. Движения у нее были быстрые, изящные — не залюбоваться было нельзя.

Калмыков поспешно перекинул еду с подоконника на стол.

— Аня, я предлагаю вам поужинать вместе со мною.

— Неудобно, Иван Павлович. Ешьте лучше без меня.

— Неудобно, Аня, брюки через голову надевать, еще — с печки прыгать в валенки. Все остальное — удобно.

— Неудобно, Иван Павлович.

— Что ты заладила: неудобно, да неудобно... Удобно! — Калмыков ловко ухватился рукой за кусок вареной изюбятины, нашпигованной чесноком, достал из баула складной ножик, отрезал несколько крупных сочных ломтей — отпластовал вместе с бумагой; также крупно нарезал хлеб. Хлеб был свежий, домашний, мягкий, пахнул так вкусно, что у Ани даже сердце зашлось.

— Неудобно...

— Удобно!

Через несколько минут печка заухала, завздыхала довольно, защелкала, внутри что-то пискнуло, словно бы за загнетку попал мышонок, и Аня стремительно поднялась с пола.

— Очень легкая печка, — похвалила она, — разгорается с одной спички. Сейчас тепло потянет.

— Поставь чайник, — попросил Калмыков.

Аня сунула в печку, прямо в огонь, закопченный помятый чайник. Этому ветерану крепкой заварки было лет пятьдесят, не меньше, по возрасту он считался старше тетки Натальи, хотя она часто называла чайник «племянничком».

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Был «племянничек» чумаз, пузат, изрядно покорежен, и помнил он, наверное, времена, когда в места здешние приезжал генерал Гродеков, занимался обустройством границы, обедал у костров, ночевал в палатках и забирался в такие дебри, в какие даже шустрые хунхузы не забирались.

Попав в жаркое место, «племянничек» басовито, будто подвыпивший мужик, загудел, забормотал — что он там бормотал, понять было невозможно. Калмыков нарезал колбасы и scomандовал:

— Аня, к столу!

Аня поколебалась еще несколько секунд и подседа к столу.

— Ладно, я чуть, Иван Павлович, я уже сегодня ужинала.

Калмыков придвинул к ней колбасу, нарезанную прямо на газете.

— Ешь!

— Иван Павлович, я бы тарелки достала, чего ж вы не сказали?

— И так сойдет, Аня. На войне, бывало, продукты раскладывали прямо на земле и так, вместе с землей, ели. А потом шли в бой.

— Ну так то война.

— А нынешнее время мало чем отличается от военного. Такое же поганое.

— Поганое, верно, — по лицу Ани скользнула легкая тень, словно бы девушка сама побывала на войне; взгляд сделался грустным.

Калмыков вспомнил, что посылал запрос насчет ее отца, застрывшего в ОМО у атамана Семенова, а вот насчет ответа в мозгах что-то ничего не застряло, провал образовался — атаман не помнил, был ответ или нет. Он с досадой покашлял в кулак.

— Отец еще не вернулся, Аня?

— Нет.

Атаман укоризненно покачал головой, сплюнул себе в ладонь.

— А я-то, дурак, когда мы общались в прошлый раз, когда была тетка Наталья, все кукарекал, что скоро он вернется, уже едет, наверное, в поезде, о доме своем, о семье думает, а его, оказывается, до сих пор нету. Вот я болтун, так болтун. Редкостный, — Калмыков стремительно, будто пружина, поднялся со стула, через всю хату метнулся к шкафчику, висевшему около печки, с треском распахнул его. — Вот болтун! — Из пропахшего лекарствами нутра выхватил пару стопок, с торжественным стуком опустил на стол.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Аня протестующее замахала руками:

— Нет, нет, нет! Я не пью!

— А я и не призываю тебя пить. Можешь вообще не прикасаться к стопке. — Калмыков налил в обе посуды ханки. — За то, чтобы твой отец вернулся на этой же неделе домой, надо выпить. Не выпьешь — не вернется, выпьешь — вернется. Выбирай, Аня!

— Конечно, я за то, чтобы вернулся.

— Тогда придется выпить.

— Да не пью я, Иван Павлович! Я же сказала...

Но Калмыков был прилипчив, как лист, отклеившийся от дубового веника в горячей воде, прилип — не отодрать. В конце концов Аня махнула рукой и выпила стопку. Ханка вначале обожгла ей дыхание своим невкусным вонючим духом — будто с помойки повеяло какой-то дрянью, потом горло словно бы ободрало наждаком, дышать стало совсем нечем, и Аня закашлялась. На глазах выступили слезы, склеили ресницы. Аня прошептала сдавленно, виновато:

— Я же сказала, Иван Павлович, не пью и вряд ли когда научусь пить. Это не мое дело.

— Но за отца-то, за его возвращение надо было, — укоризненно пробормотал атаман, — это ведь такой вопрос...

В печке что-то громыхнуло, потом послышался сатанинский хохот, словно бы там, на догорающих поленьях, подпалил себе бок немытый домашний бирюк и за загнеткой перестало полоскаться пламя.

Аня бросилась к печке, кинула в закопченное нутро несколько поленьев — чайник еще не вскипел, — проговорила с виноватым видом:

— Не уследила.

— Да все ты уследила, Аня, все. Поешь немного. Колбасу я ведь, считай, тебе привез, — сказал Калмыков и, увидев недоверчивый взгляд Ани, добавил: — Тебе, можно сказать.

Он тоже поднялся из-за стола, подсел к печке и, швырнув в огонь пару поленьев, сказал:

— Это моя доля... Чтобы пламя не погасло.

— Тетка Наталья вас заругает, Иван Павлович, она дрова старается экономить.

БУРСАК В СЕДЛЕ

— Ничего, я хлопцам скажу, они закинут дров сколько надо. И распилят их, и поколят, и в поленницу сложат.

Пламя в печке зашевелилось, заиграло освобожденно, попробовало опрокинуть заслонку, втиснуться в какую-нибудь щель, спрыгнуть вниз, на пол, к людям, но заслонка плотно прижалась к кирпичам пола, пламя разочарованно заухало, отползло назад, обволокло щупальцами бока чайника, надавило на них.

«Племянничек» удушливо засипел — напор огня был сильным. Окажись железо чуть послабее, чайник сплющился бы. Крышка дернулась, приподнялась лихо, сдвинулась в сторону. Аня услышала железный стук и приподняла заслонку:

— Чай готов!

Калмыков сложил вместе полосы хабаровской газеты, подхватил чайник за ручку, чтобы не обжечься, и выдернул «племянничка» из печи, с грохотом водрузил на стол. Морщась, пошевелил пальцами:

— Горячо!

Пламя в лампе затрепетало, поднялось, сделалось лучше видно, осветились затемненные углы избы, потом светлое пространство начало сужаться, сокращаться, будто шагреновая кожа, и в избе сделалось сумрачно. Подал свой серебристый голос сверчок, облюбовавший себе место за печкой, — там тепло, темно, хорошо и главное — никто не видит, жизнь кажется безопасной. Калмыков невольно подумал, что жильё человеческое только тогда становится жильем, когда в нем, извиняйте, люди, поселяется сверчок... Какие же все-таки глупые мысли лезут в голову — перед самим собой неудобно.

Калмыков ощутил, как у него перехватило горло. Он смятенно подхватил бутылку, налил ханки в свою стопку, потом глянул на Анину стопку и отставил бутылку в сторону, заткнул ее бумажной пробкой.

— Тебе я наливать не буду.

— Не надо, — Аня прижала руку к груди, — пожалуйста, Иван Павлович!

Этот простой жест — руки с растопыренными пальцами, плотно прижатые к кофточке, а также умоляющий взгляд родили в Калмыкове удушливую волну, в висках жарко и звонко забились незнакомые

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

молоточки, Калмыков поспешно выплеснул в себя вонючую жидкость, закусил толстым изюбриным ломтем и приказал Ане:

— Разливай чай.

Аня послушно взялась за чайник, но тут же шлепнула его дном о стол — ручка была очень горячей, не остыла, подула на пальцы: ф-ф-ф-ф! Увидела на загнетке тряпку — тетка Наталья специально держала, чтобы не обжигаться, снимая крышку с какого-нибудь чугунок или двигая в сторону кастрюли со свежими щами, — ухватила тряпку и вновь подняла чайник.

— Иван Павлович, подставляйте свой стакан!

— Имей в виду, Аня, я дорогих конфет привез, — Калмыков приподнял и опустил на стол кулек с китайскими конфетами, поспешно подвинул стакан.

— У тетки Натальи должен быть чай, она любит крепкую заварку. — Аня, легкая, воздушная, красивая, беззвучно переместилась по избе к шкафчику, из которого Калмыков доставал стопки. — Сейчас найдем.

Калмыков почувствовал, что изнутри его буквально обварило жаром, лицо сделалось красным и потным, он приблизился к Ане и неожиданно обхватил ее плечи.

— Аня! — хрипло проговорил он и умолк.

Аня сжалась, становясь совсем маленькой, хрупкой, как стекло, такую сломать ничего не стоит. Калмыков невольно задержал в себе дыхание, боясь сделать резкое движение. Девушка уперлась руками ему в грудь.

— Пустите, Иван Павлович! — произнесла она шепотом, надсаженным, свистящим, пытаясь оттолкнуть атамана от себя. — Пустите!

Атаман отрицательно помотал головой, развернул ее, прижал к себе:

— Анечка!

— Не надо, Иван Павлович! Прошу вас... Умоляю!

Но Калмыкова было не остановить. Ему казалось, что он теряет сознание, стены дома начали разъезжаться у него перед глазами: одна стена в одну сторону, вторая в другую; в темных, забусенных плотным инеем окнах забегали, заиграли яркие блески, будто дед мороз облюбовал себе это бедное окошко для очередного эксперимента. Калмыков с хрипом выбил из себя дыхание.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Анечка, ты будешь моей женой...

— Нет!

— Прошу тебя, Аня!

— Нет! — Аня извернулась и, освободив одну руку, ударила Калмыкова по щеке, голова у того мотнулась в сторону, он скрипнул зубами и сжал Аню что было силы.

— Прошу тебя, — прохрипел он. Дыхание из рта атамана вырывалось со свистом, будто Калмыкова прокололи насквозь и из него начал выходить воздух.

— Нет! — свет перед девушкой померк, она вскрикнула, не понимая, откуда у этого малорослого, светлоглазого человека столько силы и, понимая, что Калмыков одолеет ее, заревела.

Слезы душили Аню, тело дергалось конвульсивно, словно бы она попадала под удары тока, руками Аня пыталась оттолкнуть атамана от себя, но это ей не удавалось.

— Аня! Аня! Ты будешь моей женой. Мы завтра пойдем в церковь, Аня! Я дам команду — нас обвенчают незамедлительно.

— Нет! — Аня обмякла, ноги у нее подломились, и она тихо поползла вниз, на пол — потеряла сознание.

Калмыков пополз за ней следом на хорошо вымытые, пахнувшие травой доски пола...

Атаман не помнил, как отключился — что-то с ним произошло, — но тут же пришел в себя, понял, что без памяти находился недолго, всего несколько минут, — огляделся, поискал глазами: где же размятая, растерзанная Аня? Ани в доме уже не было.

Не поднимаясь с пола, Калмыков перевернулся на спину. Приложил к лицу руки: чем пахнет? Уловил далекий чистый запах женского тела, чего-то домашнего, кухни, но запахи эти были чужие, не Анины.

Помотал головой ошеломленно, вдавился затылком в пол: что же он наделал? Калмыков застонал — за такие проделки казаки могут изрубить шашками. Во рту было горько, к горечи прибавился вкус крови. Он перевернулся набок, в ребра больно врезалась рукоять нагана. То, что наган при нем находится, не в кармане шинели — хорошо, с наганом он не пропадет... Полежав еще несколько минут на полу, Калмыков поднялся, отряхнул одежду, сел за стол.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Саднило висок — Аня расцарапала ему кожу, в затылке плескался звон — звон этот болезненный был сильнее металлического треска сверчка, резвившегося за печкой, рождал в костях ломоту. Калмыков застонал вновь. В лампе заканчивался керосин, пламя трепетало, еле-еле светило.

У тетки Натальи где-то был керосин, хранился в темной запыленной бутылке. Калмыков оглянулся: где может быть керосин? Вряд ли тетка Наталья держит его в хате — скорее всего, хранит в сенцах, под лавкой, на которые она обычно ставит чугушки, чтобы те охладились.

Китайская ханка, которую он выпил, была некачественная, иначе откуда взяться противной звени, появившейся у него в затылке.

Бутылка с керосином действительно находилась в сенцах под лавкой, горючего в ней было чуть — с полстакана. Чтобы залить керосин в лампу, надо было ее потушить, иначе не обойтись — пожар будет. Калмыков перенес лампу поближе к печи, на загнетку, убавил фитиль...

Опасность он ощутил спиной — чувство это было выработано еще на фронте, выработано и отточено, тело само подсказывало атаману, что происходит и как надо себя вести, и не раз спасало его. Так и тут.

Заиндевелое окно над столом перечеркнула чья-то тень, опустилась вниз. Калмыков стремительно обернулся, но ничего не засек.

В то же мгновение раздался выстрел, от стекла отвалились несколько осколков, шлепнулись на пол, избу заволокло темным вонючим дымом. Пуля, пройдя около головы атамана, нырнула в печку, прямо в пламя, взвихрила сноп искр, с визгом отрикошетила от одного из кирпичей, саданулась о верх, взбила второй искристый сноп, встряхнула печь.

Калмыков отскочил в сторону, прижался спиной к стенке, выдернул из кармана наган и выстрелил в пробой окна, потом выстрелил еще.

На улице раздался вскрик, затопали чьи-то ноги, с визгом давя морозный снег, но куда убегал этот человек, видно не было. Калмыков выстрелил в третий раз — на звук.

Собаки в соседних дворах залились лаем, словно бы по команде, в проем окна с опозданием хлынул холодный воздух, ударил в лицо атамана обжигающей волной, мигом добрался до печки и заставил замолчать голосистого сверчка.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Некоторое время Калмыков стоял у стены неподвижно, словно бы окаменев, молча прижался к ней лопатками, потом сдвинулся немного в сторону и глянул в окно. На улице — ничего и никого, обыкновенная ночная темень, непроницаемая, вязкая, в ней даже намек не было на присутствие живого человека. Калмыков сунул в карман галифе наган и, пригнувшись, прошел под окошками к двери, беззвучно открыл ее.

В то же мгновение из темноты, ослепив глаза атамана яркой синеватой вспышкой, ударил еще один выстрел. Калмыков буквально вбросил себя в сенцы, вогнал в паз засов.

— Интересно, кто стреляет? Шевченко? — просипел он едва слышно, но ответа на этот вопрос не нашел. Неожиданно подумал, что стрелять могла даже Аня — в отместку за содеянное, но тут же отогнал эту от себя мысль.

Быть этого не могло по одной причине — просто потому, что не могло быть. Лампа, стоявшая у заслонки на выступе печи, погасла; сквозь дырявое окно в хату стремительно вполз холод. Заткнуть дыру придется либо шинелью, либо старой телогрейкой, если, конечно, такая рвань найдется в хозяйстве тетки Натальи.

Пригнувшись, упираясь руками в пол, Калмыков по-обезьяньи перебежал в противоположный угол хаты — сделал это стремительно, чтобы стрелок не успел поймать его на мушку.

Интересно, стрелок этот один или хату осадили несколько человек? И никто на помощь атаману не спешит прийти, словно бы в Гродеково совсем не осталось казаков.

Переведя дыхание, Калмыков переместился к окну, по дороге задел ногой табуретку, и темноту в то же мгновение расплосовала красная молния. Калмыков полетел на пол. Как его смогли засечь? — не видно же ничего... Но стрелок, спрятавшийся в темноте, сумел разглядеть цель.

Калмыкову показалось, что разбитое окошко вновь накрыла тень, он вскинул руку с наганом и выстрелил ответно. Пуля выколотила кусок стекла в окне и унеслась в ночное пространство.

Почудилось. Никого за окошком не было. Никого и ничего. Калмыков ощутил на щеке что-то теплое, будто крохотный ручеек потек, приложил пальцы, подцепил невидимую струйку и поморщился от боли — щеку порезал осколок стекла.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Мимо дома с топотом пронесся еще кто-то, растаял в темноте.

Прошло несколько томительных, каких-то громоздких по своим размерам минут, — Калмыков шкурой своей, хребтом ощущал, что рядом находятся люди и людей этих надо опасаться, поэтому он ждал и был удивлен, когда до него донесся хриплый, севший от табака голос:

— Иван Павлович! А, Иван Павлович!

— Кто это?

— Это я... Пупок.

— Кто-то?

— Василь Голопухов. Пупком меня кличут, вы знаете. Ваш ординарец Гриня Куренев — мой корефан. Дружим мы давно.

— Это ты стрелял, Пупок?

— Да вы что, Иван Павлович! Я спасти вас пришел.

— Ты один?

— Пока один. Сейчас еще мужики прибегут — на помощь... Не то ведь мы подумали — на вас целая банда напала. А тут — никого.

— Никого?

— Никого.

Калмыков закричал, оперся локтями о стол и, скособочась всем телом, поднялся. Потряс головой, вышибая из ушей противный слабящий звон.

В доме было холодно; стаканы с остывшим чаем покрылись мелким инеем. Через некоторое время иней сделался твердым, прилип к стеклу, стакан даже начал звенеть.

Тепло, которое появилось в этом доме вместе с Аней, исчезло. Калмыков ощутил внутри досаду — он не должен был так поступать с Аней, но в следующее мгновение в нем возникло что-то протестующее, недоброе: а почему, собственно, не должен?

Ни телогрейки, ни старого пальто Калмыков в доме не нашел. Собственной шинелью, украшенной новенькими блестящими погонами, затыкать эту дыру было жалко, удалось отыскать лишь детское одеяльце, невесть как попавшее к тетке Наталье, им Калмыков и воспользовался.

Потом, не выпуская из рук нагана, открыл дверь Пупку. Следом за Пупком вошли еще двое мужиков.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Холодно у вас, Иван Павлович. — Пупок поежился. — И темно.

Мог бы этого и не говорить. Калмыков кинул в печку несколько поленьев, затем слил в лампу остатки керосина и зажег фитиль. По хате разлился неровный свет.

Пупок прошел к окну, пальцами ощупал края пролома и, поцокав удрученно губами, произнес многозначительно, будто философ, открывший формулу жизни:

— Мда-а-а...

— Кто это был, не засекли? — отрывисто и хрипло, еще не успев прийти в себя, спросил Калмчков.

— Нет, — Пупок мотнул головой, — но кое-какие наблюдения на этот счет имеются.

— Кто? — коротко и жестко повторил вопрос Калмыков.

— Ну-у-у, — Пупок вновь ощупал пальцами края пролома в окне, оглянулся на мужиков, пришедших с ним, стараясь определить, выдадут они его или нет, ни к чему конкретному не пришел и произнес нехотя: — Это люди вахмистра Шевченко.

Калмыков поиграл желваками. В конце концов, он сам дал маху. Одному оставаться ему нельзя — это засекают мгновенно. Результат же может быть самым непредсказуемым.

— Ладно. Раз Гаврила объявил мне войну, то и я ее объявляю. В долгу не останусь, — Калмыков снова мрачно поиграл желваками.

Через несколько минут мужики ушли, раскочегарившаяся печка немного согрела дом. Калмыков запер дверь на засов, снизу засов подпер ломом и лег спать.

В голову пришла мысль об Ане. Что же он с нею сделал? Недовольно подергав головой, Калмыков натянул на себя шинель, укрылся ею по самую макушку. Вспоминать об Ане было неприятно. И чего, спрашивается, дура, заупрямилась? Ведь все равно ей одна дорога начертана — ложиться под мужика, других дорог нет... Но она этого не понимает.

От шинели пахло сыромятной кожей, сбруей, гарью, порохом и п том. Запах пота был сильнее всего.

Утром он пойдет к Ане и расставит все точки над «і». Над всеми «і». Слов на ветер Калмыков не привык бросать, раз обещал пойти с Аней под венец — значит пойдет, не будет вести себя, как колбаса в проруби,

что и утонуть боится, и примерзнуть к краю льда — всегда спасается, словом. Калмыков не такой. Он не имеет права быть таким.

Рассвет был жидким, болезненным, удушливая морозная темнота долго не могла рассеяться, но потом, не выдержав, посерела, расплзлась на несколько рваных неровных полос, будто гнилая ткань, полосы зашевелились, задвигались в воздухе, заполнили собой пространство, темнота разредилась еще больше.

От снега поднимался легкий прозрачный пар. Там, где он сгущался, — были видны кудрявые клубы.

Калмыков откинул в сторону лом, которым была подперта дверь изнутри, выбил из пазов засов и выглянул наружу.

Двор был затоптан — следов виднелось много, но понять, сколько человек приходили убивать атамана, было невозможно: Пупок со своими «мюридами» тоже здорово наследил... Калмыков, держа наган наготове, исследовал следы, потом заглянул за сарай.

В одном месте он увидел кровь. Немного крови — пуля зацепила человека по касательной, не ранила, а только обожгла. Ну что ж — хоть это. Пусть Шевченко знает: Калмыков никогда без боя не сдастся, обязательно будет отбиваться.

На дверь он навесил замок, хотя хлипкий плоский кусок железа был слабой защитой от воров, и вышел на улицу.

Миновал несколько домов, свернул в проулок, спугнул двух собравшихся подраться котов и очутился перед домом тетки Натальи (у нее было два дома, один она сдавала внайм, во втором жила сама). Аня обычно останавливалась здесь.

Подергал небольшую дверь, врезанную в изгородь. Дверь оказалась незаперта. Подумал о том, что надо сегодня же проверить, как обстоит дело с Евгением Помазковым, — сделать это не откладывая, — и осторожно вошел во двор. Дверь на всякий случай оставил открытой — вдруг на него сейчас из ружейного горла сыпанет свинец, но было тихо, и атаман, втянув голову в плечи, огляделся. Двор как двор, ничего приметного, справа вдоль забора тянулась жидкая, отощавшая за время холодов поленница дров, в двух местах дрова были небрежно рассыпаны, и в Калмыкове неожиданно возникла жалость: дом без мужских рук вы-

БҮРСАК В СЕДЛЕ

глядит каким-то сиротским, неприкаянным, все огрехи и неисправности вылезают на поверхность...

За всяким хозяйством пригляд нужен, без мужчины тут никак не обойтись. Калмыков, будто контуженный, дернул головой — внутри возникло что-то неприятное, чужое, вызвавшее в атамане неудобство, словно он натянул на ноги чужие башмаки, очень узкие, тесные, — недовольно поморщился.

Неприятное ощущение не проходило.

Он осторожно, стараясь не хрустеть снегом, прошел под окнами дома, — показалось, что на невидимой стороне избы кто-то находится, — заглянул за угол — никого. Вот ведь как — после ночной перестрелки ему всюду стали мерещиться враждебные тени, хотя с чего бы им мерещиться — трусом он никогда не был; ни перестрелок, ни шашки, ни нагана не боялся; пулю, если понадобится, готов был схватить руками, — и все-таки ощущение опасности не исчезало.

Несколько минут он стоял молча, не шевелясь, — слушал пространство, фильтровал звуки, доносившиеся до него: лай собак, лязганье вагонов на станции, мычание коровы, которую выгнали из хлева на мороз, далекий говор людей — звуки были обыденные, мирные, ничего опасного в себе не таили.

Калмыков на цыпочках прокрался к крыльцу — ощущение того, что его подстерегает опасность, не проходило.

Вновь огляделся.

Дверь в дом была закрыта — две старые, вытертые до блеска петли украшал навесной замок.

— Аня! — тихо позвал Калмыков. — Анечка!

В ответ — ни звука.

Поверхность крыльца были припорошена легким снежным пухом, на такой поверхности остается любой след, даже шаг мухи, — пух лежал нетронутым. Это означало, что Аня Помазкова, выскочив от атамана, растворилась — домой она не пришла...

Неверяще покрутив головой, Калмыков обошел дом, также не нашел ни одного следа и покинул тихое безлюдное подворье. Если Аня поднимет шум, это будет совсем ни к чему: Шевченко момента этого ни за что не упустит. Калмыков стиснул кулаки так сильно, что у него на перчатках даже кожа затрещала.

— Тьфу!

Аня в это время находилась в другом конце Гродекова, у своей подружки Кати Сергеевой и безудержно плакала. Лицо ее опухло, глаза были еле видны. Катя сидела рядом с Аней и рукой, осторожно, медленно гладила ее по спине, уговаривала:

— Аня, ну, перестань, перестань, пожалуйста... Жизнь на этом не кончается.

— Я застрелю его, — глухо, сквозь рыдания, заведенно бормотала Аня, — обязательно застрелю.

— Ну и чего ты, дурочка, этим добьешься? Абсолютно ничего. Ни-че-го. Только себе хуже сделаешь.

— З-застрелю!

— И не мечтай об этом, дуруха, не получится.

Анина спина дергалась, потом замирала на несколько мгновений — такое впечатление, что Аня теряла сознание, отключалась, и Катя также отключалась, старалась не дышать, чтобы не потревожить подругу, склонялась над ней сочувственно и слушала ее дыхание.

Сама Катя была уже замужем — выскочила очень рано за бедного казака Ивана Сергеева... Иван здорово отличился на войне — в одиночку ходил по ту сторону фронта и приволакивал оттуда упитанных сытых немцев — германских офицеров, за что был награжден несколькими солдатскими Георгиями.

Все беды обошли Ивана стороной, ни одна пуля не тронула, ни один снаряд не взорвался под ногами, — погиб он не на войне, погиб по пути домой. Эшелон, в котором он возвращался в Гродеково, на двое суток остановился в Чите. Там фронтовики решили купить на рынке свежего хлеба — за хлебом для общего кошта ушел Иван... Ушел и не вернулся; его зарезали местные гоп-стопники — один пырнул финским ножом в спину, другой полоснул бритвой по горлу, — из карманов выгребли деньги и были таковы. Хорошего человека не стало.

В общем, вкус и цвет беды Катя Сергеева знала хорошо.

Тем временем Аня вновь пришла в себя, дернулась в очередной раз и прошептала с сильным надрывом, будто внутри у нее лопнула какая-то жила:

— Я убью его!

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Никого ты не убьешь, Анька! — устало, откровенно и одновременно безнадежно прошептала Катя. — Не для этого мы с тобою созданы...
Поняла!

— Все равно убью! — упрямо проговорила Аня.

— Не убьешь!

— Убью! — плечи у Ани затряслись, она сделалась маленькой, худенькой, некрасивой. Аня опустила голову на колени подружки и вновь, давясь воздухом, еще чем-то — какими-то твердыми комками, — заплакала.

— Эх, Анька! — укоризненно и горько проговорила Катя и тоже заплакала.

Плакать вдвоем было легче, чем в одиночку.

Приехав в Уссурийск, Калмыков навел справки об уряднике Евгении Помазкове, узнал, что урядник уже покинул станцию Маньчжурия и по КВЖД направляется сейчас во Владивосток. А от Владивостока до Никольска-Уссурийского, до Гродеково рукой подать. Значит, скоро будет здесь.

Известие это сил и бодрости Калмыкову не прибавило — а вдруг лихой казак вздумает отомстить атаману? Ведь Аню в Гродекове Калмыков так и не нашел, а значит, дело осталось открытым. Вот нелады, вот загвоздка, — Калмыков, ощущая, как к вискам у него подкатывает буйная кровь, давит, дышать делается нечем, рванул крючки кителя, втянул в себя сквозь зубы воздух, выдохнул, снова втянул...

Дышать сделалось легче.

Фронтвики бунтовали, носились на конях по городу Никольску-Уссурийскому и орал во все горло.

— Не признаем Калмыкова атаманом! Домой Маленького Ваньку! На дыбу его!

Прозвище «Маленький Ванька» Калмыкова бесило — от стискивал кулаки и хлопал по столу так, что чернильница-непроливашка подсакивала метра на два, а бывалые казаки вздрагивали и напряженно прислушивались: где стреляют? Воздух после такой стрельбы начинал клубами перемещаться по пространству.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Поотрубаю головы нехристям! — сжимая зубы, хрипел Калмыков, но ничего поделать не мог.

Фронтвики продолжали горланить. Атамана стали ненавидеть еще более люто и при упоминании его станичники громко скрипели зубами.

— Прощельга! — орали фронтвики. — Маленький Ванька — прощельга!

Хорошего настроения это Калмыкову не добавляло.

Калмыков так же, как и фронтвики, скрипел зубами, закрывал наглухо окна и задергивал шторы. Он уже несколько дней со своими людьми и прежде всего с Савицким, оказавшимся способным штабистом, и с англичанами, которыми командовал майор Данлоп, разрабатывал план свержения советской власти в Приморье.

— Ничего-о-о, — стискивал зубы Калмыков, взмахивал кулаком, — я еще вам покажу Маленького Ваньку... Такого Ваньку покажу, что молиться будете, чтобы вас убили — жить сделается немоготу.

Противостояние продолжалось и — это Калмыков чувствовал своей шкурой, костями, — будет оно длиться долго. Возможно, всю оставшуюся жизнь. Калмыков почувствовал, что задыхается, и с трудом взял себя в руки...

В конце февраля, в один из вьюжных, но теплых дней, майор Данлоп во время обеда сказал атаману, — обедали они вдвоем, в комнате никого больше не было, лишь изредка заглядывал ординарец, Григорий Куренев, с трудом разжевывая тяжелыми челюстями неудобные русские слова и помогал себе взмахами руки:

— Я бы на вашем месте, господин атаман, жил бы оглядываясь... У вас слишком много врагов! — Майор был верен себе.

— Я знаю.

— И спать ложился бы с оружием.

— Я это делаю каждый вечер.

— Давно? — задал наивный вопрос майор и глубокомысленно сощурил глаза: дескать, он все знает, в том числе и то, чего не знает атаман.

— Давно, — жестким тоном ответил Калмыков: детская наивность майора, схожая с глупостью, его удивляла.

— На вас собираются совершить покушение...

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— И это я знаю, господин майор.

— Мое дело — предупредить вас...

— Спасибо, господин майор, — Калмыков, вспомнив о политесе, вежливо наклонил голову, — вы увидите, как все изменится, когда мы окончательно возьмем власть в свои руки... А покушений я не боюсь, — Калмыков вспомнил ночную стрельбу в Гродеково, случившуюся совсем недавно, и передернул плечами. — На меня уже покушались.

— Я не сомневаюсь, — сказал Данлоп.

Калмыков невольно отметил: «Глупый» — и постарался переключить разговор на другую тему.

Фронтвики продолжали толпами перемещаться по Никольску-Уссурийскому и оскорбительно обзывать атамана Маленьким Ванькой. Калмыкова это бесило.

Евгений Помазков появился в Никольске в маленькой форме, с желтыми лампасами на штанах, при погонах с тремя золочеными парадными лычками, на которых еще красовался незамысловатый металлический вензель «АС», что означало «Атаман Семенов» — Григорий Михайлович сумел и на него натянуть свою форму.

Форма была знатной, матерьял на пошив пошел добротный, знакомые казаки щупали пальцами ткань и восхищенно чмокали губами:

— Материя на все сто, чистый шевиот! А жалованье Григорий Михайлов выдает регулярно?

— Очень даже. Один раз в месяц. Иногда — два. Как ему приспичит... Но — регулярно.

— На хлеб хватает?

— И на сахар — тоже. Если бы меня какой-то дурак из штаба полка не выдернул, я бы до сих пор сидел в Маньчжурии, мед бы пил, да шоколадками закусывал.

— Мед с шоколадками — это слишком кучеряво.

— Мы такие, — гордо ответил на это Помазков и с лихим видом поправлял на голове казачью папаху, затем выдавал какое-нибудь мудреное танцевальное коленце. Танцором он был отменным, на весь Никольск славился.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Прибыв в Никольск, он тихим шагом прошел к своему дому, открыл калитку. Медленно, аккуратно закрыл и прислонился к ней спиной — перехватило горло. Так перехватило, что дышать сделалось нечем.

Голову потянуло куда-то в сторону от внутреннего шума, от того, что сердце начало вести себя незнакомо, подбито, словно его прошили пулей: то вдруг заработает с небывалой скоростью, оглушая хозяина, то вдруг остановится, замрет и тогда Помазкову непонятно делается — жив он или мертв?

Вот что значит родной дом, вот что значит давно здесь не был. Помазков подкинул на плече торбу, словно бы хотел проверить — не потерял ли ее?

В торбе находились гостинцы. Дочке, сестре Наталье... Жаль, что жены нет в живых. Дочке — роскошные австрийские туфли, которые он извлек из витрины разбитого магазина в одном из прусских городов, сестре — платье. Тоже магазинное, ни разу не надеванное. И еще кое-что по мелочам — цыганские монисты, изъятые из ранца убитого капрала-мадьяра, ленты атласные в волосы — особенно Аньке они подойдут, украсят девку, брошки и колечки.

Хотя сестре колечко, наверное, маловато будет — руки у нее огрубели на работе, пальцы сделались толстыми, суставы распухли. Придется расставить колечко, сделать его тоньше и шире — это не вопрос, можно сделать за десять минут. Помазков прижал руку к груди, к сердцу — никак «вечный двигатель» не мог успокоиться. Урядник недоуменно покрутил головой, разглядывая двор, примечая неволью, что тут знакомо ему, а что — не очень знакомо...

Потом, сглотнув комок, невесть откуда появившийся во рту — плотный, горький. Помазков спиной оттолкнулся от калитки и шагнул к дому. Пробормотал хрипло, потеряв быую бесшабашность.

— Вот я и приехал... Приехал!

Пройдя по дорожке, схватился за скобу двери, потянул — дверь в ответ противно закрипела — давно ее не смазывали... Мужского догляда не было. Помазков ощутил, как в висках у него заплескалось что-то теплое, глаза заволокло туманом. Как все-таки слаб человек, как быстро он умудряется расстроиться. Помазков ухватил себя пальцами за горло,

БУРСАК В СЕДЛЕ

за кадык, несколько раз сжал, словно бы хотел сломать хрящ, расстроено хлопнул носом и вошел в сенцы.

Сенцы были заставлены ведрами, на лавке в эмалированных мисках белело замерзшее молоко — значит корову в его отсутствие не продали, сохранили... Коли сохранили — значит живут нормально, не опустились до нищеты. Помазков не выдержал, вновь хлопнул носом.

И запах сенцы сохранили прежний. Помазков помнил, чем они пахли, когда он уходил на войну. Лежалым прошлогодним сеном. Несмотря на то что август в том году был жарким и сена было заготовлено много, воздух был насыщен прошлогодним духом — запахом сухих кореньев и цветов. Но чего-то тут не хватало, а вот чего именно — Помазков не мог понять. Потом понял, чего не хватает... Запаха конской сбруи — того самого, щекотного, способного вышибить слезы из глаз духа, что сопрождает казака всю его жизнь.

Помазков с шумом всосал в себя воздух, словно бы гасил скопившийся внутри шар, но не погасил его; огонь, сидевший в нем, разгорелся сильнее, — и сделал решительный шаг к двери.

Вспомнил, что в прошлые времена, еще довоенные, он, уходя рано утром в поле или на охоту в тайгу, всегда останавливался у двери и едва слышно шептал короткую молитву; такую же молитву он шептал, возвращаясь домой, усталый, с гудевшими ногами, покачиваясь от изнеможения. Дверь — этот тот самый порог, за которым начинались его владения, его личная жизнь... В эти просторы он мало кого впускал.

Вспомнив жену свою покойную, Клавдию, черную, бойкую, звонко-голосую, красивую... Когда Клавы не стало, он замены ей так и не нашел. Глаза у Клавы были такие черные, такие глубокие, что легко меняли свой цвет — делались зелеными, рыжими, синими... А вот у дочки Ани глаза — без всякой цветовой примеси — синие, яркие, будто солнечное зимнее небо.

Зимой в этих местах всегда бывает много солнца. Аня, наверное, стала совсем взрослой, отец вряд ли узнает ее.

Он открыл дверь.

В ноздри ударил стойкий, резковатый дух лекарства. Помазков остановился и, ощущая на шее обжим чьих-то тугих пальцев, позвал хриплым сдавленным шепотом:

— До-очка!

На шепот никто не отозвался. Помазков протестующее мотнул головой, потом мотнул еще раз и позвал громче:

— Аня!

И на этот раз никто не откликнулся на зов. В доме стоял запах беды. Он не сравним ни с чем, его нельзя спутать ни с каким другим запахом.

— Анечка! — напрягшись, просипел Помазков.

В противоположной стороне избы шевельнулась и отодвинулась в сторону занавеска, через несколько мгновений в раздвиге показалась молодая женщина с бледным красивым лицом. Посмотрела вопросительно на урядника.

— Вы кто? — прежним сырым, сдавленным шепотом спросил Помазков.

— А вы кто? — почти машинально, не вникая в суть вопроса, спросила молодая женщина, в следующее мгновение прижала к вискам руки. — Господи, как же я не догадалась ... Вы — Анин отец?

— Точно, — ощущая, как горло ему продолжают сдавливать сильные и цепкие пальцы, подтвердил Помазков. — Он самый...

— Я — Анина подруга. Катей меня зовут. Катя Сергеева.

— Что случилось, Катя? Где Аня?

Катя поежилась зябко и запахнула на груди шаль.

— Ане было плохо. Сейчас лучше — дело пошло на поправку.

Помазков застонал едва слышно, протестующе покрутил головой:

— Не пойму ничего...

— Аню изнасиловали...

Лицо у Помазкова окаменело, на скулах вспухли яркие красные пятна, он поводит из стороны в сторону потяжелевшей, быстро наполнившейся свинцом нижней челюстью.

— Кто?

Катя скорбно выпрямилась, машинально поправила узел платка под подбородком, — движения ее были машинальными, пальцы действовали сами по себе, развязали непонравившийся узел, затем завязали вновь, — Катя Сергеева боялась назвать имя обидчика, и Помазков вторично выбил из себя страшноватым свистящим шепотом короткий вопрос:

— Кто?

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Атаман Уссурийского войска Калмыков, — наконец ответила Катя, опустила глаза — ей были неприятно произносить это имя.

Помазков невольно сжал кулаки, выругался и, увидев, как покраснела Катя, — она не переносила ругань, — поспешно кинул вниз голову в виноватом наклоне:

— Извиняй меня!

Катя подняла и опустила руку — не стоит, мол, извиняться, раз случилось такое дело...

— Но это еще не все, — тихо произнесла она.

— А что еще?

— Аню я вынула из петли.

Урядник дернулся, будто в него всадили ножик, захрипел подбито, в следующее мгновение обмяк и неверяще помотал головой.

— Этого быть не может.

— К сожалению, может, дядя Женя...

— Это же грех.

— Бывают такие минуты, когда человек о грехе не думает — думает о собственной боли, она оказывается сильнее всего.

Помазков вздохнул.

— Да, я это знаю. По себе...

— А я в Гродеково была. Вдруг что-то кольнуло меня в сердце — Анька! Я сразу — сюда. А здесь вон что... Запоздай я минут на пятнадцать — Аню бы вернуть не удалось.

— В этом я виноват, — просипел Помазков расстроено, — я... Не удержишься я в Маньчжурии — ничего этого не было бы, никаких бед. Ан, нет, — он стянул с плеча объемистый немецкий мешок, перевязанный ремнем: фрицы в конце войны стали выдавать свои новобранцам такие мешки вместо ранцев. Очень удобные оказались они для русских хозяйственных надобностей. Поставил мешок на пол. — А сейчас как она? Говоришь, нормально?

— Нормально, — подтвердила Катя. — Отпоила я ее куриным бульоном, травами, да отходила молитвами.

— А сейчас... — Помазков, услышал, как в горле у него что-то громко булькнуло, кадык заходил сам по себе, двигаясь, как часовая гирька, то вверх, то вниз, — говорить он не мог.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Сейчас, слава богу, здорово полегчало, преодолела Анна порог... Все будет в порядке.

Помазков благодарно наклонил голову.

— Спасибо тебе, — с наклоненной головой он прошел за занавеску. Аня спала. Он взгляделся в ее лицо, проговорил шепотом: — Как повзрослела... Просто совсем взрослый человек. А была когда-то с варежку величиной, — он показал, какой была Аня в прошлом, — совсем чуть. — Помазков ощутив, что задыхается, замолчал.

Обстановка в Уссурийском казачьем войске продолжала обостряться.

В конце февраля был готов план ликвидации советской власти в Приморье и образование здесь отдельного дальневосточного государства — такого же великого, значимого, как и другие великие страны, — чтобы с республикой этой и Англия считалась, и Япония, и даже Мексика — почему-то у Калмыкова не выходила из головы именно Мексика. Ему очень хотелось побывать в этом государстве, посмотреть, как живут потомки ацтеков, глаза у атамана делались туманными, ласковыми, лучились масляно, он скрещивал руки на тощем животе и крутил пальцами «мельницу» — это у него было признаком хорошего настроения. Очень важно, чтобы с Дальневосточной республикой, во главе которой будет стоять сам Калмыков — лично! — считалась Мексика.

Японский представитель подполковник Сакабе, ознакомившись с планом, похлопал в ладони и, улыбаясь по-лошадиному, сразу во все зубы, произнес довольноно:

— Bravo!

Подполковник попробовал улыбнуться еще шире, но это у него не получилось, «зубов не хватило». Он хотел добавить, что неплохо бы план повернуть так, чтобы государство это легло под его страну, под Японию — белый флаг с красным солнцем здорово бы украсил самое высокое здание в городе Владивостоке, но вовремя ухватил себя за язык и промолчал — говорить об этом было еще рано.

— Мне очень приятно, что вы так считаете, — шаркнул сапогом атаман.

Сакабе продолжал улыбаться, показывая Калмыкову крупные зубы, затем прикрыл их толстыми негритянскими губами: время улыбок про-

БҮРСАК В СЕДЛЕ

шло, надо было приступить к делу. С этим атаман был согласен на все сто — тянуть ни в коем разе нельзя.

— Я сегодня же доложу генералу Накашите, что план получился отменный, — сказал японский подполковник.

Это было очень важно: генерал Накашима обещал Калмыкову финансовую помощь. Главное, чтобы план устраивал японцев.

— План этот можно уже приводить в действие, — сказал Калмыков, — советскую власть мы... — он придавил ноготь к стеклу, и Сакабе показалось, что он услышал сочный хруст раздавленного насекомого, — вот что мы с нею сделаем, вот...

— Это хорошо, — похвалил атамана Сакабе, — это очень хорошо.

— Так что я жду от вас соответствующих распоряжений, — щелкнул каблуками Калмыков.

— Выступить целесообразно лишь после того, как в Имане пройдет войсковой круг, — сказал Сакабе.

Калмыков поморщился, его прихватил приступ зубной боли — назначенный на пятое марта восемнадцатого года войсковой круг был для него хуже заразной болезни и прочих хворей, головных и желудочных, вместе взятых.

— Как скажете, так и будет, — пробормотал атаман неохотно.

— Только у нас есть одно условие...

— Какое?

— Вы должны увеличить свой отряд до четырех тысяч человек и объединить под своим знаменем все дальневосточное казачество.

— Это я сделаю, — твердо, очень уверенно произнес атаман, — сделаю обязательно.

— Даже если войсковой круг не подтвердит ваши полномочия?

— Он их подтвердит обязательно.

Сакабе с сомнением покачал головой, но ничего не сказал.

Тот мартовский день был ветреным, с яростным морозным солнцем и таким ярким небом, что цвет небесной глубины резал глаза до слез.

— Небо резкое, как свисток полицейского, — сказал атаману Савицкий, — не люблю такого неба.

— Я тоже, — сквозь сжатые зубы произнес Калмыков.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Заседание войскового круга началось с того, что на трибуну один за другим начали высказывать фронтовики — люди вахмистра Шевченко.

— Калмыков, вон из зала, — кричали они во весь голос. — Выйди отсюда!

Калмыков молчал. Чего стоило ему это молчание, можно было только догадываться. На щеках у атамана ходили каменные желваки.

Еле-еле старики — люди, которых войсковой круг слушался безоговорочно, — утихомирили буянов, звякавших Георгиевскими крестами и до сипоты надрывавших себе глотки. Тогда на трибуну поднялся сам Шевченко — широкогрудый, насмешливый, с распущенными усами, также при крестах, — поднял руку, прося тишины.

Шевченко в войске считался авторитетом, его слушались.

— Братья-казаки, — проговорил он спокойно, без всякого возбуждения.

— Громче! — проорал кто-то из зала. — Говори громче!

— Громче не могу, — произнес Шевченко размеренно, — перекричать вас может только марал на случке. Это вы будьте тише.

Зал дружно захохотал и через несколько мгновений умолк.

— Говори, Гаврила, — слышался прежний голос, — перебивать тебя не будем. Ты — наш, фронтовой...

— Вот от имени фронтовиков я и хочу сказать. Мы отказываемся признавать Калмыкова своим атаманом.

— А причины какие?

— Во-первых, он не казак. Происходит из обыкновенных кавказских мещан-лавочников, которые всегда жили около казаков, отирались рядом, поставляли товары и сшибали на этом неплохие деньги. На этот счет имеется справка, присланная из канцелярии Тверского казачьего войска. Во-вторых, он очень подло вел себя на фронте: стравливал казаков, доносил на них, старался действовать методом кнута и пряника и таким образом держать и тех и других на коротком поводке, в повиновении, сиречь. В-третьих, только чудом Калмыков и его приближенные: Савицкий, Савельев и Былков — избежали каторги. В-четвертых, Калмыков меняет свою политическую ориентацию, как коза перед дойкой — кто ей

БҮРСАК В СЕДЛЕ

предложит кусок хлеба с солью побольше, к тому она и идет дойти, — то Калмыков эсер, то большевик, то монархист, то еще кто-то, цвета он меняет по нескольку раз на день, а это, извините, атаман делать не имеет права. Либо он выступает, как девочка на панели, и всем дает, либо не дает никому... — Шевченко говорил еще минуты три, потом рубанул рукой воздух и закончил речь громкой фразой: — В общем, мы отказывается подчиняться Калмыкову — он не наш атаман!

Перегнул палку Шевченко — выступление его делегатам не понравилось.

— Окстись, Гаврила! — прокричал из зала знакомый голос, — Шевченко пригляделся: судя по всему, это был делегат из Полтавки, полустаницы-полудеревни, хриплоголосый говорливый казак с висячими усами, остальных делегатов Шевченко знал. — Не слишком ли круто загибаешь салазки?

— Нет, не круто, — качнул головой Шевченко, — совсем не круто. Если в атаманах у нас останется Калмыков — будет плохо всем нам. И из этой беды мы не выгребемся.

Шевченко предложил делегатам голосовать. Несмотря на сомнения, суету, возникшую в зале, на некое сопротивление — впрочем, оно было слабое, — голосование явно сложилось бы не в пользу Калмыкова. К трибуне подскочил хорунжий Эпов — проворный, кривоногий, пахнущий конским потом, будто бы только что слез с лошади.

— А зачем голосовать, Гаврила? — вскричал он фальцетом. — Тебе, похоже, казачьи съезды не указ?

— Указ, — не согласился с Эповым Шевченко.

— Не вижу. Ты решил обидеть стариков, проголосовавших за Ивана Павловича в прошлый раз... Я не стал бы делать этого.

По залу поплыл дым — делегаты без курева не могли обойтись, там, где приходилось ломать голову, ворочать мозгами, курева употребляли в два раза больше. Сизые слои, будто тучи, перемещались в воздухе, шевелились, как живые, сбивались в кучи, распадались — скоро в зале будет совсем не продохнуть. Эпов энергично помахал ладонью перед носом, разогнал дым, потом рассек пополам слишком близко подплывший к нему дымный ком:

— Никаких голосований!

В полдень в Иман приехал майор Данлоп; через несколько минут, словно бы привязанный к майору коротким поводком, прибыл подполковник Сакабе. Видно было, что японцы с англичанами соперничают — ни один, ни второй не выпускали друг друга из вида. Калмыкову же это было только на руку — он собирался получить деньги и у англичан, и у японцев. А если повезет, то круглую сумму слупить и с французов.

Те, правда, копали неглубоко, на половину лопаты, не более, но тоже очень хотели утвердиться на Дальнем Востоке. Уж слишком много здесь разных богатств имеется — у французииков глаза при виде их делаются широкими, — целая планета проскочит, утонет, накроется с головой, — и они теряли дар речи: вот бы эти все места взять да им бы подарить!

Когда в зале появился Данлоп, Калмыков почувствовал себя увереннее — это был добрый знак. А когда увидел подполковника Сакабе, совсем повеселел.

— Имейте в виду, — едва ворочая громадной нижней челюстью, предупредил Данлоп атамана, — ночью вас попытаются арестовать.

— Ночью сегодня или ночью завтра?

— Это я не знаю.

— Не получится, — уверенным тоном произнес Калмыков.

— А вдруг? — совсем по-русски прозвучал вопрос Данлопа, он прищурил один глаз, сразу делаясь хитрым и хищным.

— Не получится, и все тут, — сказал Калмыков. — Без всяких «вдруг».

Хоть и опасной силой были фронтовики, — особенно когда собирались вместе, они могли создать головную боль кому угодно, даже самому царю-батюшке, — но Калмыков обвел их вокруг пальца, будто несмышленных детишек. Атаман сказал приближенным делегатам, что будет ночевать в одном месте, — эта информация незамедлительно ушла к вахмистру Шевченко; в штабе полка велел, что, если понадобится по срочному делу, искать его по второму адресу, — это было произнесено громко, для всех, атамана услышали не только те, кому следовало его услышать, — сам же ночевал на третьей квартире вместе с Гришей Куреневым, ординарцем.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Ординарец стал для него человеком очень близким, заменил всех родственников, вместе взятых, роднее брата сделался... Спали не раздеваясь, при оружии. Фронтвики пробовали найти, арестовать Калмыкова, но у них из этого ничего не получилось — атаман как сквозь землю провалился. Утром Калмыков как ни в чем не бывало появился на казачьем круге, в зале. Встретившись взглядом с Шевченко, он издевательски усмехнулся.

На заседании круга окончательно определились с лозунгами. Шевченковцы — прежде всего фронтвики, — во всю глотку горланили: «Вся власть Советам!» Калмыков твердил обратное: «Долой власть Советов!»

Пути их разошлись навсегда, Калмыков и Шевченко стали заклятыми врагами.

В конце четвертого марта Калмыков предупредил хорунжего Эпова:

— Будь готов!

Тот вместо ответа наклонил голову, давая понять атаману, что готов. Калмыков разбойно подмигнул атаману и произнес коротко, будто только это слово и знал:

— Молодец!

Следом атаман предупредил Былкова:

— Будь готов!

Тот засмеялся неожиданно радостно, показал атаману желтоватые прокуренные зубы. На таких людей, как Эпов и Былков, можно было рассчитывать. Калмыков ногтем расчесал усы — вначале один ус, потом другой, подобрел, заулыбался своим худым лицом, выражение загнанности, сидевшее у него в глазах, исчезло.

Он подозвал к себе Савицкого, сказал:

— С этим кругом все понятно — за километр видно, куда гнут делегаты, особенно фронтвики.

— К сожалению, да.

— Завтра нам надо быть во Владивостоке. Предстоят переговоры с иностранными консулами.

— Раз надо быть — значит будем.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Ночью здание Иманского казначейства Государственного банка окружили полтора десятка вооруженных всадников. Руководил всадниками сам Калмыков — маленький, с ясным злым голосом, прочно сидящий в седле; от него не отделялся ни на сантиметр другой всадник — плотный, сильный, тепло одетый, с английским пулеметом в руках.

Оглядевшись, атаман скомандовал негромко:

— Начали!

Несколько всадников спешили, вбежали на крыльцо казначейства. Один из них громыхнул рукояткой револьвера в дверь:

— Сторож!

В ответ — ни звука. Испуганный сторож находился где-то рядом, спрятавшись то ли за дверью, то ли за стенкой тамбура и — ни гу-гу. Будто умер.

— Сторож! — вновь позвал незванный гость хранителя здешних заповров. — Открывай!

В ответ вновь ни звука. Но сторож здесь был, он не мог не быть в этом хранилище денег просто по инструкции. А инструкции банковские работники соблюдали свято, это у них заложено в крови.

— Открывай, кому сказали! — повысил голос незванный гость. — Иначе сейчас из пулемета разнесем всю дверь. Даже щепок не будет, все превратим в пыль. Понял, дед?

Внутри помещения закашлял, засморкался невидимый человек, зашаркал ногами — все звуки, производимые за дверью, были хорошо слышны, будто дело происходило в певческом клубе с хорошей акустикой, а не в глухом, с глубокими казематами казначействе.

— Я у тебя спрашиваю, сторож. Понял? — прохрипел налетчик. Голос у него был разбойный, как у молодца с большой дороги.

Сторож не ответил, молча открыл дверь.

Несколько человек вломились в казначейство, остальные, окружив здание, продолжали сидеть на конях — ждали результата.

— Включи свет! — было приказано сторожу. — Чего в темноте сидишь?

Через полминуты в глубине дома зажглась тусклая электрическая лампочка.

— Веди в хранилище денег, — велел сторожу человек с разбойным голосом — это был Эпов; при свете лампочки можно было хорошо раз-

БҮРСАК В СЕДЛЕ

глядеть его лицо; сторож нерешительно посмотрел ему в глаза и произнес едва слышно:

— Не имею права!

— Я тебе сейчас покажу такое право, что ты у меня не только батьку с маманькой забудешь — забудешь самого себя!

Сторож неуклюже повернулся и, сторбившись, побрел в хранилище, спина у него обиженно подрагивала. Люди Калмыкова, бряцая шпорами, двинулись следом.

— Посадят меня, ой, посадят, — внятно, расстроено проговорил сторож.

Эпов захохотал.

— Не бойся, дед, страшнее смерти уже ничего не будет... А смерть — это тьфу! — он на ходу громко бряцнул шпорой и растер плевков. — Это легче легкого. Выдуть бутылку «смирновской» из горлышка гораздо тяжелее.

Денег в хранилище оказалось всего ничего, жалкая стопка — тридцать тысяч рублей.

— С гулькин нос, — разочарованно произнес Эпов, — можно было даже не приходить.

— Посадят меня, ой, посадят, — привычно заныл сторож.

— Не скули, — Эпов наполовину вытащил из ножен шашку и с грозным металлическим стуком загнал ее обратно. Сторож невольно вздрогнул — слишком выразительным, устрашающим был звук. — На нервы мне действуешь.

Сторож замолчал, сторбился еще больше. Голова у него затряслась.

Утром Шевченко вместе со своими сторонниками окружил здание, где проходил войсковой круг, — все пришли с оружием, думали перехватить Калмыкова, спеленать, а потом вывести на зады огородов и там шлепнуть, но атамана и след простыл.

— Ушел, гад! — неверяще и одновременно горестно пробормотал Шевченко, ударил кулаком о стенку здания, где проходило последнее, «торжественное» заседание так, что стенка чуть не завалилась.

А когда узнал, что Калмыков ушел не пустой — взял с собой тридцать тысяч карбованцев, проговорил еще более горестно:

— Вот, гад!

Ловок был Калмыков, очень ловок, хитер и изворотлив — в ушко иголки мог проскочить и пуговицы на своем кительке не ободрать.

А Калмыков в это время уже находился во Владивостоке, вел переговоры с иностранцами — с японцами, англичанами и французами.

— Осталось сделать пару последних плевков, навести марафет и мы в дамках, — сказал атаман Эпову. — И деньги у нас будут, и оружие, и власть. А людей мы себе наберем. Добровольцев.

Глаза у атамана от собственных речей делались шальными, круглыми, как у кота, вкусившего мартовских и апрельских гулянок, усы топорщились грозно — Калмыков верил в собственную силу, в удачу, в яркую звезду, вознесшуюся над его головой. Во Владивостоке он заказал себе хромовые сапоги — генеральские, с тремя набойками и повышенными каблуками, — хотелось ему, очень хотелось вознестись над самим собой. Ждал теперь, когда ему принесут заказ. Сапожника он предупредил — если сапоги не понравятся, снимет с его туловища голову... Будто пустой горшок с тына.

И японцы и англичане были единодушны в своем требовании: Калмыков должен увеличить подведомственное войско до четырех тысяч человек. Собственно, Калмыков с этим требованием был знаком — майор Данлоп излагал ему это же самое еще в феврале и к разговору был готов.

Японский генерал Накашима повторил атаману это же требование усталым бесцветным голосом, — чувствовалось, что Накашима все надоело до смерти, хотелось побыстрее уехать в Токио, но слишком уж жирным был кусок — российский Дальний Восток, слишком уж выигрышно стоял он на кону, отступить от него было нельзя.

— Наша просьба остается прежняя: вы должны увеличить свой отряд до четырех тысяч человек.

— Увеличу, — бодро пообещал Калмыков, — но для этого нужны деньги. Войско же надо содержать...

— Деньги мы вам дадим, — сказал Накашима, — сколько надо, столько и дадим.

Генерал Накашима оказался человеком слова — вручил Калмыкову брезентовый мешок, в котором находился миллион рублей. Ровно миллион. Дали деньги и англичане⁴.

⁴ Сумма английского «взноса», к сожалению, неизвестна.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Калмыков потер руки с довольной ухмылкой:

— Все, покати́лась советская власть в Приморье под горку с громким топотом, только лапки засверкали... Лишь запах горелого мяса останется.

Подполковник Сакабе, присутствовавший при разговоре, спросил недоуменно:

— Почему именно мяса, а не... скажем, кукурузы?

— Большевики мясо любят... И сами они... мясные, — ответил атаман, — мы их будем жарить.

— Жарить — это хорошо, — все поняв, произнес Сакабе и удовлетворенный вздернул одну бровь, враз делаясь похожим на некоего японского божка, изображение которого Калмыков видел в одной толстой книге с иероглифами, но имени божка не знал. — Жареный коммунист вреда не принесет.

Он считал себя большим гуманистом, господин Сакабе.

Аня Помазкова поднялась-таки на ноги, в глазах у нее появился живой блеск, щеки порозовели. Сколько дней и ночей просидел у ее постели отец — не сосчитать, сколько просидела любимая подруга Катя Сергеева — тоже не сосчитать. Но жизнь взяла свое. Наконец Аня поднялась с постели, пошатнулась — слишком ослабло ее тело, — Помазков кинулся к ней, подхватил, помогая удержаться на ногах, прозрачное Анино лицо жалобно поползло в сторону, глаза повлажнели. Она ухвати́лась за плечо отца, оперлась о него.

— Батя... Батяня-я, — протянула Аня жалобно, — где же ты был?

Помазков сглотнул жгучие горячие слезы, собравшиеся в горле.

— Ты держись, доча, держись, — пробормотал он с жалостью, по-детски громко сглотнул горячий комок.

— Приехал? — неверяще прошептала Аня. — Наконец-то приехал...

Она заплакала.

С этой минуты Аня Помазкова пошла на поправку — через несколько дней от прежней немощи, хвори, обиды, которая глодала ее хуже болезни, не осталось и следа — Аня стала похожа на прежнюю Аню Помазкову, которую хорошо знали и в Гродеково, и в Никольске. Только в глазах у нее иногда появлялась мужская твердость, загорался тусклый беспощадный

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

огонь, как у солдата, поднимающегося в атаку — поднимается солдат на врага и не знает, будет он жив через двадцать минут или нет, — буквально через несколько мгновений его может сразить свинец...

Этот тусклый огонь во взоре пугал Катю, она отшатывалась от подруги, с тревогой всматривалась в ее глаза.

— Анька, что с тобой происходит?

— Как будто ты не знаешь.

— Ты здорово изменилась.

— А кто на моем месте не изменился бы? Кто угодно изменился б...

Катя ознобно передергивала плечами:

— Не знаю.

— А я знаю, — Анино лицо замирало, делалось неподвижным, она сжимала кулаки. — Я мечтаю об одном, Кать...

Катя этих разговоров боялась, старалась перевести их в другое русло, начинала ластиться к подруге.

— Ань, может, не надо?

— Надо, — жестко ответила та. — Пока я не убью его, не успокоюсь.

— Не надо, Ань... Не женское это дело, не наше, — браться за оружие.

Вот если за винтовку возьмется твой отец Евгений Иванович, тогда все будет понятно — так оно и должно быть... А если возьмешься ты, не поймет никто.

Аня упрямо мотала головой.

— Ты неправа, подруга.

Катя рассказала об этих разговорах Помазкову. Тот помрачнел лицом.

— Я думал, это временное, пройдет, а оказывается, нет. Не проходит. — Помазков вздохнул. — Значит, Маленького Ваньку придется убрать мне. — Он сжал руку, посмотрел на внушительный кулак, поднес к глазам, будто хотел разглядеть получше.

— Не надо, дядя Евгений.

— Какой я тебе дядя, Кать? — тихо, с хорошо различимой печалью произнес Помазков. — Не надо, Кать, не обижай...

— Ладно.

Хотя Калмыков зачастую и прикидывался таким дружелюбным простаком, которому по душе все люди без исключения, даже враги,

БҮРСАК В СЕДЛЕ

такие как вахмистр Шевченко, но по всем более-менее значительным фигурам, появлявшимся в поле его зрения, он собирал данные. Имелся в его распоряжении цепкий народец, умевший засекаать то, чего обычный глаз никогда не увидит, все приметное брать на карандаш и докладывать об этом начальству.

В начале марта, еще до войскового круга, один такой человек, неприметный, в треухе и хорошо начищенных офицерских сапогах, пришел к атаману. Стояло раннее утро — семи часов еще не было, за окном синела ночь, перечеркнутая серыми неряшливыми хвостами снега, — затевалась метель.

Увидев гостя, который проник в дом невидимо и неслышимо, будто вор, Калмыков рывком поднялся на кровати, пальцами поспешно протер глаза, покосился на своего верно оруженосца Григория, приказал ему сухо:

— Гриня, оставь нас!

Тот закряхтел недовольно, потом, накинув на плечи полушубок, вышел во двор. В сонный теплый дом сквозь приоткрытую дверь вполз колючий белый клуб холода.

Во дворе ординарец попрыгал на одной ноге, вытряхивая из уха застрявшего клопа — тот удобно устроился в тесном помещении на ночлег, благополучно переночевал в нем и был неприятно удивлен, когда шлепнулся в снег, — выругался и привалился спиной к поленнице. Похлопал рукой во рту, закрыл глаза.

— Скорее бы этот тихушник испарился — завтрак еще надо было готовить.

Гриня и не заметил, как «тихушник» исчез, — очнулся от того, что атаман стоял на крыльце и, как и ординарец, размеренно похлопывал ладонью по рту.

— Извини, Григорий!

— Чего уж там, — хмуро пробормотал Гриня; непонятно было, простил он шефа или нет.

— Разговор секретный был...

— Так и без завтрака, Иван Павлович, останемся.

— Не останемся, Гриня, не бойсь. Пошли в дом, не мерзни тут.

— Помяните меня, Иван Павлович, так оно и будет.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Помяну, помяну, Гриня...

В числе сведений, которые принес атаману человек в офицерских сапогах, была следующая информация.

— У нас есть одна молодая бабенка, Анькой зовут, знаете? — скороговоркой выпалил секретный агент, пристально глянул на атамана. — Фамилия ее — Помазкова...

Калмыков почувствовал, как внутри у него что-то сжалось.

— Ну! — он повысил голос. — Говори.

— Грозится вас убить.

Атаман засмеялся.

— Каким образом — не сообщила?

— Таких сведений у меня нет.

— Может застрелит из пальца? Или репчатой пяткой стукнет мне в лоб? Либо высморкается коню под копыта, когда я буду скакать по улице и конь подскользнется?

— Не знаю, каким способом она собирается это сделать, но я бы отнесся к этой информации серьезно, — секретный сотрудник не склонен был шутить.

Калмыков засмеялся еще громче.

— И еще. Вчера вечером ее отец чистил винтовку, — сказал секретный сотрудник, — к чему-то готовился... Явно не к охоте. Фронтвики, они знаете, какие сумасшедшие...

— Знаю. Сам фронтовик.

Весь доклад секретного агента атаману занял десять минут.

Двенадцатого марта атаман с полутора десятками всадников бежал на КВЖД; в ночи остановился, глянул назад, на черное весеннее небо — там оставалась Россия, — перекрестился и пересек границу — слишком напористо действовали фронтвики, Калмыков начал бояться за себя. Остановился он в первом крупном населенном пункте, находившемся в зоне отчуждения — на станции под названием Пограничная.

До Владивостока от Пограничной рукой подать, верхом можно доскакать в один хороший переход — Владивосток располагался по одну сторону границы, станция — по другую.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

По дороге Калмыкова попробовал задержать какой-то сумасшедший таможенник с пулеметом. Атаман приказал зарубить его, а пулемет забрать. Тем дело и кончилось.

Утром из Пограничной в Никольск и во Владивосток ушли две одинаковые телеграммы — о мобилизации уссурийских казаков по борьбе с советской властью и о создании ОКО. ОКО — в ту пору очень любили всякие сокращения, аббревиатуры, игры с языком, порою неприличные; Калмыкову эти игры тоже не были чужды. — Особый уссурийский казачий отряд.

«Цель ОКО, — сообщал атаман, — избавление России от деспотизма большевиков, защита Учредительного собрания и открытие австро-венгерского фронта». — Калмыков был яростным противником мира, заключенного Советами в Бресте, более того, он ощущал себя униженным.

— Мы воевали, воевали, колотили немаков и в хвост и в гриву, землю ели, выручали союзников, головы клали, а результат вона какой: побежденными оказались только мы одни, русские, а победителями — все, кому не лень: и немцы, и австрияки, и турки, и венгры, и англичане, и французики — все, словом. Кроме нас... ну и стородил Ленин канделяшку, жопен зи плюх! Уши вянут и на носу мухи сидят, как в нужнике на куче. Не-ет, мы против этого дела. Мирный договор этот — несправедливый, его надо разорвать и войну продолжить до победного конца.

Как ни странно, половина приверженцев Шевченко также придерживалась этой точки зрения, люди растерянно поглядывали друг на друга. Шевченко ходил между ними, как большой военачальник, поскрипывал новенькими, недавно сшитыми бурками, часто поправлял большой алый бант на груди и взмахивал кулаком, будто вбивал в воздух гвозди:

— Люди, вы это... Не поддавайтесь слухам, что мы проиграли войну, — хрипел он командно, — мы победили! Знайте, соратники, мы победили! Но для того, чтобы успокоить мировую гидру, великий Ленин наш придумал такой ход и сообщил всем, что мы войну проиграли...

Неубедительно это получалось у Шевченко; его сподвижники недоуменно переглядывались, опускали глаза и терли озадаченно затылки:

— Ить ты, какое Гаврила слово запузырил — «соратники»... Неужто сам стал таким грамотным? Или, может, в газету какую залез и там выкопал? А?

Этого не знал никто. Сподвижники вахмистра опускали глаза еще ниже.

— Но скоро наш вождь Ленин переделает формулировки мирного договора, даст более точный текст и контрибуцию будем платить не мы Германии, а Германия нам.

Грамотным был бывший вахмистр, подкованным, еще одно незнакомое слово произнес — «контрибуция». Такой действительно сломает шею атаману. Фронтовики кивали согласно, папахи дружно сдвигали на затылки, но тут же приходили в себя и, словно бы опомнившись, устыдившись чего-то, поспешно натягивали их на носы.

Сложное время стояло на дворе. Как жить дальше, фронтовики не знали. И атаман Калмыков не знал, вот ведь как.

К Калмыкову часто подступал Савицкий с одним и тем же вопросом:

— Как мы будем жить дальше?

— Как жили, так и будем жить! — Такой ответ атамана звучал по меньшей мере легкомысленно.

— А на какие шиши? — Савицкий громко щелкал пальцами, потом с грустным видом перетирал ими воздух. — На какие тити-мити? Кто нам тити-мити даст?

— Иностранные консульства дадут, — вид у Калмыкова делался горделивым — вона как дело обернулось, с ним считались даже крупные иностранные державы.

— Но этого будет мало. На эти деньги мы не прокормим четырехтысячное войско.

— Будем заниматься реквизицией в поездах. Поезда-то по КВЖД идут? Идут. И едут в них бога-атые пассажиры. В Харбин едут, в Порт-Артур, так что м-м-м, — атаман сладко почмокал губами, — пассажиры будут делиться с нами тем, что у них есть.

Помощь Калмыкову, кроме Данлопа с Накашимой, оказали три консульства: английское, французское и японское, но денег все равно не хватило — прав был Савицкий.

Не хватало и мудрой головы рядом, которая могла дать толковый совет... Калмыков в те дни все чаще и чаще вспоминал атамана Семенова — вот с кем бы он никогда не пропал.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Но Семенов находился далеко — в полутора тысячах километров от уссурийцев. И тем не менее, Калмыков написал Григорию Михайловичу письмо и отправил к забайкальцам, в Читу, доверенного человека. Семенов откликнулся довольно быстро, посоветовал: «Держись японцев. С японцами не пропадешь!»

Совет был ценным. Так Калмыков и поступил.

Из Никольска тем временем пришла неутешительная новость: фронтовики окончательно задавили сторонников атамана, строевые части Уссурийского казачьего войска признали советскую власть, хозяйственные портфели у войскового правительства были отобраны и министры остались ни с чем — ни власти у них не было, ни денег, ни силы, ни авторитета — нич-чего, только смешки да издевки, раздававшиеся в их адрес из толпы, быстро переходившие и откровенное улюлюкание, сопровождаемое презрительными плевками. Дело скоро дойдет и до подзатыльников, а потом и до шашек.

Узнав об этом, атаман беспечно махнул рукой.

— Все вернем на свои места! Фронтовиков выпорем, Шевченко повесим. — Поскреб пальцем чисто выбритую щеку. — И что же они выбрали вместо правительства? Учредили власть трех козлов, которые в хозяйственных делах ни бэ, ни мэ, ни кукареку?

— Избрали временный совет войска.

Калмыков хмыкнул:

— Опять временные! Скоро вся Россия делается временной. Завтра же отправлю в Никольск свой циркуляр. Я пока еще атаман войска, меня никто не переизбирал.

Стоял конец марта — солнечная, теплая пора, разгар весны в Северном Китае. Птицы на улицах Пограничной галдели так, что невозможно было разговаривать — человеческого голоса не было слышно. Со всех сторон — с запада, с юга, с восточных морей дули теплые ветры, а Калмыкову было холодно. Атаман сел за сочинение циркуляра. Работа эта оказалась трудной. Сочинил он непростую бумагу эту лишь в конце апреля и незамедлительно отправил в Никольск-Уссурийский.

В циркуляре Калмыков сообщал «собратьям по оружию», что продолжает считать себя войсковым атаманом и не признает отставки правительства. «Силой правительства не отстраняют от власти — пра-

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

вительства отстраняют простейшим голосованием: как только большинство народа проголосует за отставку, так члены правительства могут выметаться из кабинетов к себе домой, на печку, поближе к суточным шам...» Зная, что в станицах голодно, есть семьи, где дети уже несколько месяцев не держали в руках кусках хлеба, Калмыков пообещал снабдить казаков зерном... Но при одном условии — если станицы пришлют к нему в Пограничную «резолюции о непризнании Советов».

Это было самое сложное — хотя и хотелось станичникам отведать обещанного Калмыковым хлеба, а слишком уж непопулярным стал в Приморье атаман — при упоминании о нем из всех дворов начинал доноситься собачий лай, сопровождаемый руганью старух. Авторитет свой атаман растерял совсем — ничего не осталось.

Кстати, собрать полновесное войско — четыре тысячи обещанных человек, — Калмыков так и не собрал, довольствовался пока полутора сотнями шашек, которые и держал при себе. Кряхтел Калмыков озбоченно, надувал щеки, приподнимался на цыпочках, чтобы разглядеть вдали что-нибудь «большое и светлое», но разглядеть ничего не мог — ни «большого», ни «светлого».

Хоть и давали иностранные консульства деньги Калмыкову, денег было мало. Поэтому атаман каждый день объявлял «реквизиции» — уссурийцы устанавливали где-нибудь в безлюдном месте, на насыпи, около чугунного полотна, пару пулеметов и тормозили пассажирский поезд.

Поездов, несмотря на разруху и смуту, царившие в России, было много — и из Москвы шли, и из Питера, и из Иркутска с Читой, и из Владивостока. Люди, напуганные безвременьем, гражданской войной, поборами и грабежами, перемещались с места на место, искали тихую заводь, где и поглубже будет, и поспокойнее, и потеплее, но, как правило, не находили и вновь пускались в дорогу. Всем самое ценное эти люди обычно возили с собой — драгоценности, золотые монеты, деньги в крупных купюрах с изображением «Катеньки». Брать их расслабленными, тепленькими Калмыкову доставляло большое удовольствие.

Ночи апрельские (впрочем, как и майские) в Приморье стояли черные, хоть глаз выколи, непроглядные — ничего не видно, даже собственного носа. И тишина обволакивала землю такая, что можно было

ВУРСАК В СЕДЛЕ

сойти с ума — ни одна птица не осмеливалась закричать, даже если на нее наваливался какой-нибудь хорь, любитель сжевать птичку живьем, ни один выстрел не звучал... А если и звучал, то очень редко.

Пассажиры в поездах ехали осоловелые, размякшие, одуревшие от жары, ничего не соображавшие — самое милое дело трясти их в таком состоянии.

Воздух был наполнен запахом цветов, особенно сильны были запахи ночью — в тайге цвело все, что только могло распуститься и дать цветки. Прежде всего — саранки. Желтые, красные, белесые... Попадались даже лиловые, очень редкие. Благоухало все — и золотисто-желтый очиток, и нивяник, который больше известен народу под именем ромашки, и михения — сугубо местное растение, и медвежий лук, и лесной мак, понездешнему яркий китайский дельфиниум, и таинственный целебный девясил. Ожило все, что могло дышать, жить, цвести; выползло, распустилось на вольном воздухе, добавило своих красок и запахов. Это была пора жизни... Но не для всех.

Обычно больше одной ночной реквизиции Калмыков не устраивал, но в этот раз он вызвал к себе Эпова и сказал ему, мрачно поигрывая желваками:

— Сегодня реквизиций будет две.

— А спать когда, господин атаман? — деловито осведомился Эпов.

— Спать будем на том свете, — ответил не склонный к шуткам Калмыков; слишком много забот на него свалилось, слишком болела голова и главной болью был Шевченко со своими фронтовиками.

«Что же он делает, что творит? — морщась, думал Калмыков и ощущал, как у него начинает противно приплясывать рот, а предметы перед глазами шевелятся, плывут, будто живые. — Он разваливает казачье войско, уничтожает казаков как класс, он вообще разламывает Россию...» Проходило немало времени, прежде чем атаман успокаивался.

Первую реквизицию решили устроить владивостокскому поезду — народ из приморской столицы бежал — и катились, удирали на юг, на запад, в Китай, естественно, не бедняки, а люди богатые, с достатком, — в основном они устремлялись в Харбин — в столице страны Хорватии без денег делать было нечего.

Огромную, занявшую многие тысячи квадратных километров зону отчуждения около железной дороги русские, проживавшие в Китае, звали страной Хорватией — по фамилии генерала Хорвала Дмитрия Леонидовича, управляющего КВДЖ. Столицей этого непризнанной республики был город Харбин. Харбин бедных людей не любил — любил только богатых. Капризный был город...

Поезд выскочил из черной, густо пахнувшей травами и цветами ночи, будто огромный одноглазый зверь. На повороте совершал крутую дугу, осветил пространство вокруг себя — страшноватое, полное опасностей, неведомое, заревел истошно и громко, так, что у некоторых, особо нервных казаков по щекам побежала колючая сыпь. Они съежились, как на фронте, когда начинали бить тяжелые германские пушки. Калмыков тоже ощутил невольную внутреннюю робость — слишком пугающим наваливался на них зверь и, с трудом одолевая себя, прокричал Эпову:

— Маши красным фонарем, останавливай поезд!

Рядом с Эповым стоял стрелочник — седой плечистый старикан с висячими, будто у малоросса, усами. Эпов выхватил у него фонарь с красными стеклами и широко, хотя и с опаской, стараясь, чтобы фонарь не рассыпался, махнул по воздуху, оставляя яркий, хорошо видимый в ночи алый след. Паровоз заревел снова, залязгал железными суставами, окутался паром, засветившимся в ночи, словно гнилой газ, выходящий из могил. Калмыков подергал одним плечом и скомандовал, стараясь перекричать вой надвигавшегося экспресса:

— Пулемет!

Пулеметчик не услышал атамана. Тогда Калмыков выхватил из ножен шашку и рассек ею воздух.

— Пулемет!

На этот раз команда дошла до пулеметчика, он опустил ствол «максима» и повел им вдоль полотна. Звука очереди люди не услышали, по рельсам побежал проворный огонь. Раскаленные, похожие на горящих мух пули понеслись, рикошета, в разные стороны. Главное, чтобы не было рикошета назад. Хотя кто во время атаки думает о рикошете?

Паровоз вновь залязгал сочленениями; машинист, выглянув наружу, дернул длинный неудобный рычаг — как понял атаман, это был рычаг

БУРСАК В СЕДЛЕ

тормоза. Из-под колес полетели длинные широкие струи огня, и Калмыков прокричал не оборачиваясь:

— Отставить пулемет!

Вагоны громко застучали буферами. Эпов засмеялся:

— Много разных чемоданов и сумок сейчас окажется на полу.

Атаман тоже засмеялся:

— Это и хорошо.

— Каждая заначка будет вывернута наизнанку...

— Что, собственно, и требуется доказать, — Калмыков засмеялся вновь. — Как в гимназической задачке про бренность бытия.

У атамана было хорошее настроение. В конце концов машинист мог не послушаться и снести людей и пулеметы, превратить в лом и в окровавленные куски мяса, но машинист послушался. Есть еще дисциплина в России, остались кое-какие крохи... Впрочем, это не Россия, а Китай.

Машинист, не боясь налетчиков, на полкорпуса вылез из будки.

— Слезай вниз! — прокричал ему атаман.

— А не убьете? — без особого страха любопытствовал машинист.

Калмыков захохотал.

— Да если б нам надо было тебя убить, неужели ты думаешь, что мы не убили бы тебя в твоей будке?

Машинист похмыкал недоверчиво и неспешно спустился по лесенке вниз, подошел к атаману, но тот уже забыл про него.

В третьем от паровоза вагоне забузил пассажир — интеллигентный господин в шляпе из легкого ферта и старомодном, как у Чехова, пенсне. Калмыков интеллигентов не любил — слишком много от них вреда и мороки. Чтобы прикончить какую-нибудь вонючку, надо чуть ли не с Богом объясняться. Вот вывели человеческое племя! Господин не хотел расставаться с богатством, которым владел, — шестью золотыми пятнадцатирублевиками.

— В расход его, — махнул рукой атаман. — Нечего воздух портить!

Эпов, стоявший рядом с Калмыковым, нагнулся к его уху, что-то проговорил. Атаман невольно сморщил нос.

— Ладно, — пробурчал он, — так и быть, обойдемся половинной мерой.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Интеллигента огрели прикладом винтовки, он беспамятно рухнул на пол вагона, из кармана пиджака у него забрали золотые монеты, и солдаты ОКО проследовали по поезду дальше.

Реквизиция прошла удачно — калмыковцы взяли много золота, денег в ассигнациях, три старинных фамильных кольца с бриллиантами, изумрудный кулон и подвеску с сапфиром, а также три штуки превосходного сукна для штатских пальто — сукно имело рисунок в мелкую серую клеточку, для военных нужд не годилось.

Солдаты шли по вагонам, трясли каждого человека, интересовались его отношением к событиям в России, потом требовали, чтобы он добровольно пожертвовал свои сбережения страдающей Родине; если же пассажир сопротивлялся, с ним поступали так же, как и с интеллигентом из третьего вагона.

Атаман был недоволен Эповым — тот все уши ему просверлил, требуя, чтобы казаки не расстреливали пассажиров — слишком уж худая слава катится после этого за калмыковцами.

И все-таки без крайней меры не обошлось.

В последнем вагоне, шедшем до Харбина, оказалась тетка Наталья Помазкова. Увидев внизу, на шпалах, знакомую фигуру своего бывшего квартиранта, она поспешно выметнулась из вагона наружу, прыгнула на насыпь и, что было силы, хлестнула атамана ладонью по щеке.

— Ирод! — визгливо выкрикнула она. Казаки повисли на тетке — несколько человек, дюжих, способных сшибить с ног быка; тетка оказалась сильнее их, сбросила с себя, как слабеньких кутят. Те только в разные стороны посыпались, будто груши с дерева во время сильного ветра.

— Ирод! — вновь визгливо выкрикнула тетка Наталья, сделала стремительный рывок к атаману, столбом стоявшему на насыпи, — на Калмыкова словно бы нашло некое онеменение, — и вторично с размаху залепила ему еще одну пощечину. Удар был звонким, как выстрел.

Атаман даже пошатнулся, фыркнул зло — не хватало еще, чтобы он упал. Выдернув из кобуры свой старый наган, выстрелил в тетку Наталью.

Та охнула, глянула на своего бывшего постояльца изумленно, неверяще, прижала руку к груди, словно бы прощалась с ним, и тихо начала оседать.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Дурак ты, дурак... — прошептала она едва слышно. — Одно слово — ирод.

Атаман сунул наган в кобуру, скомандовал Эпову:

— Отправляй поезд! Реквизиция закончена.

— А эту куда? — Эпов ткнул в тетку Наталью носком сапога.

— Пусть едет в Харбин. У нее ведь билет до Харбина?

— До Харбина.

— Вот пусть туда и отправляется.

Тело тетки Натальи засунули в почтовый вагон — там имелся специальный отсек, холодный, для перевозки подобных грузов. Старик-машинист, насупив брови и стараясь не смотреть в сторону атамана, дал гудок, перевел в рабочее положение один рычаг, потом другой, паровоз залязгал своими сложными суставами, заездил по рельсам колесами, и вскоре владивостокский поезд скрылся в ночи.

— Не надо бы тетку эту глупую стрелять, — тихо, неуверенно, подрагивавшим будто от простуды голосом произнес Эпов.

Глаза у атамана сделались белыми, бешеными.

— Пошел ты! — взорвался он. — Если еще раз вспомнишь об этом — застрелю и тебя. Понял?

Хоть и обещал Калмыков помогать голодающим станицам хлебом и продуктами при условии, что те покажут советской власти фигу и откажутся ее признавать, а казаки от советской власти не отказались... Более того — решили ликвидировать собственное казачье войско. Такое решение принял новый казачий круг, собравшийся в Имане. Произошло это в мае восемнадцатого года. Круг этот получил название ликвидационного.

Атаман, узнав об «историческом» решении казаков, невольно схватился за голову:

— Они с ума сошли!

В Пограничную прибыл подполковник Сакабе, сытый, холеный, чрезмерно спокойный, вызывающий зависть. Высокомерно приподняв одну бровь, он фыркнул, будто породистый восточный кот, которому хозяин вместо козьего молока предложил какую-то несъедобную затирушку из яичной скорлупы:

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Сделайте же что-нибудь!

Атаман испытующе глянул на гостя и ничего не сказал. Находясь здесь, в Пограничной, он мог опираться не только на японцев, а на более сговорчивых и щедрых англичан, на французов, заваливших Приморье своим знаменитым парфюмом и модной одеждой; мог даже договориться с американцами, но не делал этого — по велению своего старшего товарища атамана Семенова ударил по рукам с японцами... Может, совет Семенова был неверным, может, на косоглазых надо было посмотреть кошачьим взглядом, с презрительно поднятой одной бровью, как на него сейчас смотрит Сакабе, и демонстративно отойти в сторону? А?

— Ваше бездействие приведет к тому, что мы прекратим помогать вам, — грозно вскинув вторую бровь, произнес Сакабе. — Понятно, господин атаман?

— Где уж не понять, господин подполковник, — хмуро проговорил Калмыков, — тут даже еж без пенсне все разберет...

Сакабе был знатоком русского языка, но эту мудреную фразу он не мог разобрать и решил промолчать — слишком уж много в нем было загадочного... Причем тут еж? А пенсне? И что должен разобрать еж? Машину, танк, катер? Нет, в русском языке ноги себе ломает даже лошадь. Брови у подполковника сползли вниз, закрыли глаза, он покашлял в кулак и произнес, как обыкновенный деревенский мужичок, забито и безлико:

— Вот!

— Я организую несколько налетов на советы, — поразмышляв немного, сказала атаман, — это заставит большевиков поприжать хвосты.

— Хорошее дело, — одобрил предложение Сакабе, — горсть перца под хвост, — он поднял руки и несколько раз медленно хлопнул в ладони.

Атаман совершил с десяток налетов, но они ни пользы, ни политического веса ему не принесли — калмыковцев окончательно стали считать бандитами. Калмыков выругался: тьфу! Пообещал нескольким пленным казакам — сподвижникам вахмистра Шевченко:

— Скоро иностранцы захватят вашу землю, ваши огороды превратят в нужник, ваших жен переселят в хлевы. Еще раз тьфу!

Закончив свою пламенную речь, Калмыков велел всех пленных расстрелять.

ВУРСАК В СЕДЛЕ

Маленький Ванька как в воду глядел — в конце июня восемнадцатого года в Приморье пришли чехословаки и свергли советскую власть. Над Владивостоком взвились полосатые флаги — торговые, про которые здешние люди уже совсем забыли, и приморцы начали поговаривать об отделении их земли от России.

Это очень устраивало иностранцев. Подполковник Сакабе вновь приехал к Калмыкову.

— Подкиньте-ка дровишек в костер, господин атаман, — велел он.

— Есть! — послушно вытянулся во «фрунт» Калмыков.

— Чехословаков трогать, естественно, не надо, а вот своих, с желтыми лампасами и красными бантами, которые можете трепать сколько угодно.

— Вы имеет в виду казаков, перешедших на сторону большевиков?

— Их я и имею в виду, господин атаман.

Калмыков усмехнулся и довольно потер руки:

— Будьте уверены, — я им покажу, как в бубликах надо делать дырки.

— Вот-вот, — милостиво разрешил атаману «делать в бубликах дырки» подполковник Сакабе, хотя и не понял, зачем это нужно. — Действуйте!

У Калмыкова было сто пятьдесят сабель, у чехословаков — сила. Несчасть. Сотни тысяч человек, вооруженных до зубов, с пулеметами и артиллерией, захвативших Трансиб — главную железнодорожную магистраль России, очень злобных; русских чехословаки не считали за людей, боялись только казаков — кичливых, высокомерных. Этому они научились у немцев, имевших одну цель: раз они попали в богатую страну Россию, то отсюда грех уехать нищими. Главное — хорошо набить мощну. Все остальное было для чехословаков мелочью, второстепенными деталями, мусором, пылью, тем самым, на что совершенно не следует обращать внимания.

А если кто-то вздумает сопротивляться или выступать против, то разговор с этими людьми вести на языке пулеметов — и только на этом языке.

Калмыков понимал — нужно снова объявлять среди казаков мобилизацию, иначе его войско так и останется карликовым и никто с ним

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

считаться не будет, более того, — иностранные атташе даже перестанут с ним здороваться.

Для того чтобы пополнить свое войско, надо было снова возвращаться на территорию России.

Четвертого июля восемнадцатого года Калмыков на полном скаку ворвался в Гродеково, окружил станцию, помещение телеграфа, банк, еще несколько важных стратегических точек — в общем, действовал почти по-ленински. Боя с большевиками не было — перед Калмыковым в Гродеково вошли чехословаки, поспешили занять там квартиры потеплее и пообжитее, где водились грудастые бабы; Калмыкову же достались в основном холодные склады, в которых находилось таможенное имущество.

На следующий день Калмыков созвал казаков Гродековского станичного округа и объявил им:

— Наша общая цель — восстановить земское и городское самоуправление — это р-раз, — он демонстративно загнул один палец, поднял руку и всем показал этот палец, — изгнать из наших пределов всех немцев и большевиков — это два, — атаман загнул еще один палец, также показал его собравшимся, — привести Россию к Учредительному собранию — три, — атаман пристигнул к ладони третий палец, потряс рукой в воздухе, и последнее... последнее... — Калмыков закашлялся, ему хотелось говорить убедительно, красиво, но получалось это не всегда, и атаман страдал от этого, наливался помидорной краснотой, начинал заикаться, затем бледнел, потом снова наливался мучительной краснотой и снова начинал заикаться: тяжело это дело — ораторствовать перед казаками. Но выхода у атамана не было — приходилось ораторствовать. — Последнее, значит, вот что... Тут в Имане собрался так называемый ликвидационный круг, который распустил казачество... так вот, официально заявляю — если мне попадутся на глаза организаторы этого круга — я их повешу. Без суда и следствия. Эти люди совершили тяжкое преступление против казачества.

Калмыков неожиданно почувствовал, что задыхается — собственные слова закупорили ему горло, застряли там, сбились в комок — доступа свежего воздуха не стало. Он смятенно оглянулся, увидел стоявшего позади него Эпова, попросил тихо:

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Ударь меня по спине кулаком. Что-то в горле застряло.

Эпов все понял, хлобыстнул атамана кулаком по спине. Голос у того вновь обрел звонкость.

— А пока считаю решения ликвидационного круга незаконным, казачье войско — мобилизованным, — объявил Калмыков. — Вся власть в нашем крае принадлежит атаману и войсковому правительству... Брестский мир, заключенный большевиками, считаю преступным и незаконным.

Вот такой был Маленький Ванька — голыми руками, без перчаток, не возьмешь. Он помял себе пальцами горло и закончил речь следующими словами:

— А пока объявляю мобилизацию казаков шестнадцатого, семнадцатого годов службы для восстановления германского фронта. Германцев мы должны победить.

— А как же быть с этим... с Брестским миром? — выкрикнул кто-то из толпы.

— Я же сказал — он объявлен незаконным.

— А сам-то как, атаман... Переизбираться будешь?

— Буду! — твердым голосом ответил Калмыков. — Как только советскую власть прикончим в Приморье, так сразу и сдам свои атаманские дела на ближайшем круге.

Ох, лукав был Маленький Ванька! Он научился пускать пыль и дым в глаза; сам он прекрасно понимал — никогда никому атаманскую власть добровольно не отдаст. Пока его не убьют.

Как бы там ни было, нынешние историки считают, что это было первое серьезное политическое выступление Калмыкова. Начало, так сказать.

В толпе собравшихся, в дальнем углу, под развесистым деревом стоял широкогрудый казак с жесткими, сжатыми в щелочки глазами, недобро поглядывал на трибуну, где распинался атаман, в конце концов не выдержал, выставил перед собой два пальца на манер охотничьего ружья и сочно чмокнул губами.

— Ты чего? — спросил его приятель, такой же широкогрудый казак с ржаным рыжеватым чубом, выбивавшимся из-под фуражки.

— Очень удобно этого фазана с трибуны снимать. С одного выстрела положить можно.

Приятель налег казаку локтем на плечо, придавливая к земле.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Ты чего, сдурел? Тебе сейчас охрана в котлету превратит.

— Зато фазана не будет.

— Что, допек уже?

— Допек. И давно допек, — казак тяжело вздохнул. — У меня дочка по его милости исчезла...

— Слышал об этом, — сказал его приятель и тоже вздохнул. — Вот дела наши бедовые, не дела, а делишки, — в голове у него вертелись разные умные мысли, но как выразить их словами, он не ведал.

— Не знаю, жива дочка или нет, — Помазков, а это был он, помялся, переступая с ноги на ногу, поднял два сложенных вместе пальца, будто ствол пистолета, глянул на них печально и опустил. — На войне все было понятно, мы знали, кому надо ломать хребет, а тут ничего не понятно.

— Вот ему прежде всего надо засунуть голову под микитки, — вздернув подбородок и указав таким образом на достойную цель — атамана Калмыкова, произнес приглушенным голосом помазковский приятель, — а потом — всем остальным.

— Легко сказать — засунуть голову по микитки, а сделать это как?

Калмыков же тем временем начал говорить о казачьих традициях, о том, что сразу после падения советской власти будет избран новый атаман...

— Ну так давай и изберем его прямо сейчас, — крикнул кто-то из толпы, — советская власть уже свергнута.

— Э, не-ет! — Калмыков поднял руку, подвигал из стороны в сторону указательным пальцем. — Она свергнута только здесь, в Гродеково, свергнута во Владивостоке, а в Никольске-Уссурийском еще не свергнута. И во многих других места тоже не свергнута. Так что... — атаман красноречиво развел руки в стороны, лицо у него сделалось хитрым и ехидным, — так что извиняйте, станичники.

По лицу атамана было видно, что добровольно власть свою он никогда не отдаст. Обещания обещаниями, а дела делами. И если кто-нибудь вздумает встать у него на дороге, он недогнувшей рукой ликвидирует этого человека.

Вытащив из-за голенища сапога плетку, атаман звонко хлопнул ею, прокричал что было силы:

— На этом все! Хватит! Замитинговались мы!

БУРСАК В СЕДЛЕ

Аня Помазкова нашла себя — примкнула к организации, которая, как считала она, боролась за правое дело. Здесь были и головы хорошие, и умельцы, которые могли из двух гаек с одним болтом соорудить переправу через буйную реку, имелись и знатоки восточной борьбы, которым ничего не стоило одним пальцем отправить на тот свет целый эскадрон... Позже организацию эту не только в Приморье, но и по всей России их было создано много, — стали называть чрезвычайками.

Руководил приморский подпольной чрезвычайкой немногословный человек с угрюмыми глазами, обелесевшими от натекшей в них усталости. Точного имени его никто не знал, знали только по псевдонимам. Псевдонимов этих — на деле обычных русских фамилий, либо имен, очень простых, у руководители подпольной чрезвычайки было несколько. Последний псевдоним — Антон. Товарищ Антон.

Как-то он собрал в одном из старых купеческих домов, расположенном на окраине Никольско-Уссурийского (дом этот имел несколько выходов, из него можно было исчезнуть незамеченным), небольшую группу молодых людей.

Некоторое время он молчал, оглядывал внимательно каждого, кто пришел, потом сказал:

— Главная наша задача — защита советской власти. Всеми средствами, всеми способами... Чем меньше станет врагов, тем лучше мы будем жить. А врагов у нас много. Под свой сапог старается загнать Приморье атаман Семенов. Хоть и находится он в Чите, а руки свои загребушие старается протянуть и сюда; на Амуре бесчинствует атаман Гамов, в Приморье — Калмыков, хозяин КВЖД генерал Хорват объявил себя ни много ни мало — правителем России и обозначил свою платформу — кадетско-монархическую, во Владивостоке правит бал ВПАС... Слышали о таком? ВПАС — это Временное правительство автономной Сибири. Как видите — всюду временные. И все — враги советской власти. Вместе в ВПАСом краем пытается править ПОЗУ — Приморская областная земская управа... Слова какие неприличные, товарищи, только что изобретенные — ВПАС, ПОЗУ... Звучат, как мат. — Некоторое время руководитель подпольной чрезвычайки молчал, соображая, что же говорить дальше, потом сжал крупную правую руку в кулак — получился вполне приличный молот, — саданул этим молотом по левой руке. От удара едва

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

искры во все стороны не полетели — тяжелы и тверды были кулаки у товарища Антона. — Вот что надо делать с врагами советской власти! Как учит товарищ Ленин, — бить их, бить и еще раз бить!

Неважно было товарищу Антону, что Ленин этих слов не говорил, важно, что это здорово пришлось к месту.

— Плюс ко всему у вас полно интервентов. Куда ни плюнь — обязательно попадешь в интервента! — Товарищ Антон вновь саданул кулаком о кулак. И вновь в воздух полетели искры. — Вот что надо делать с ними. Давить, давить и давить! По-ленински. Как он и велит нам, собственно...

Было слышно, как за окнами старого купеческого дома заливаются уличные кобели.

— Одним из самых опасных врагов советской власти я считаю атамана Калмыкова, — сказал Антон. — Человек этот очень жесток и продажен насквозь. Иностранцы делают на него ставку, считают Калмыкова руководителем, выбранным большинством казачества, а это совсем не так. Калмыкова надо убирать в первую очередь.

Аня Помазкова сидела в углу и внимательно слушала товарища Антона — тот говорил убедительно, точно, а главное, мысли ее совпадали с мыслями этого человека. Особенно по части ликвидации атамана Калмыкова. Виски ей стиснула боль, она поморщилась, сунула руку в карман недорогой шевиотовой кофты, сшитой на заказ. В кармане лежал револьвер.

В августе восемнадцатого года в борьбу против советской власти вступили иностранцы — те самые, которых товарищ Антон назвал интервентами (до августа имелись только представительства, но войск не было). Вначале по улицам дальневосточных городков стали маршировать англичане и французы, смешно вздергивая в парадном шаге ноги и вскидывая винтовки, при этом они очень горласто исполняли свои боевые песни. А двадцать третьего числа появились японцы. Они действовали решительнее всех — выгрузили из трюмов своих кораблей пушки и объявили о создании боевых отрядов, вплоть до карательных.

Во Владивостоке сидели чехословаки, их оказалось больше всего — крикливые, пестро одетые, они вели себя в городе, как цыгане

БУРСАК В СЕДЛЕ

на базаре. Воевали они плохо, а вот есть умели хорошо, требовали, чтобы каждый раз им подавали на стол не менее трех блюд — первое, второе и третье, а еще лучше, чтобы блюд было четыре, чтобы еще и салат радовал глаз и желудок: предпочитали жареный папоротник со сметаной, и если чего-то не хватало — здорово сердились, галдели и корчили зверские рожи.

При случае иного русского, если у него были деньги, могли обдуть в карты, делали это артистично, легко, разбойно, а потом долго веселились, кудахтали и талдычили о союзническом долге «Ивана-дурака» перед ними.

Чехословаков было много. Количеством своим могли повалить Россию набок.

Красные под массовым натиском чехословаков отступили, пятого сентября они сдали Хабаровск. Калмыков довольно потирал руки:

— Красная нечисть откатывается... Чего может быть лучше!

Он вступил в город вместе с чехословаками.

Семнадцатого сентября Калмыков занял пост начальника гарнизона и учреждений военного ведомства — так называлась его должность в Хабаровске (японцы немало сил приложили к тому, чтобы Маленький Ванька получил этот портфель; кстати, он действительно обзавелся кожаным портфелем, небольшим, аккуратным, тисненным под крокодила, реквизированным у инспектора начальных классов хабаровских гимназий).

— Теперь мы посмотрим, какой коньяк лучше всего идет под ананасы.

Начальник 12-й дивизии генерал Оой — человек суровый, совершенно не умеющий улыбаться, несмотря на хваленую японскую вежливость, поздравил Калмыкова, как «начальника строевой части русских войск, признанных союзниками».

Отряд Калмыкова — потрепанный, не умеющий держать строй, разномастно вооруженный — от старых штуцеров, найденных на складах Владивостока, до японских «арисак» и немецких «маузеров», колонной прошел по Хабаровску, Калмыков пожалел, что нет оркестра.

— Мои орлы под музыку печатали бы шаг так, что его было бы слышно даже в Китае.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Как нет музыки? Есть музыка. В Хабаровске находится лучший на Дальнем Востоке духовой оркестр.

Это сообщение заинтересовало Калмыкова.

— Как лучший духовой оркестр? Большой?

— Шестнадцать человек. В основном мадьяры. И не только...

— Мадьяры? — Калмыков подвигал из стороны в сторону нижней челюстью. — Пленные?

— Именно они, господин атаман.

Калмыков снова подвигал челюстью, поморщился. В кости и мышцы его натекала горячая тяжесть.

— И они что же, не могут нам сыграть?

— Не могут.

— Не могут или не хотят?

— Это ведомо только им самим, господин атаман.

— Тащите-ка их сюда!

Музыкантов действительно насчитывалось шестнадцать человек, и это были в основном мадьяры — из Будапешта и Секешвешервахера, из Печа и с озера Балатон; играли они «зажигательную» музыку, делали это слаженно, на одном дыхании, красиво, заставляли пускаться в пляс сивых дедов, которые по пятнадцать лет не вставали с печек-лежанок, на глаза превращаясь в мертвые кости. Молодели деды неузнаваемо под свист волшебных дудочек и труб. В Хабаровске не было ни одного дома, чтобы музыкантов не мечтали туда заманить, — мадьярский оркестр был очень популярен.

В тот хмурый, с быстрыми косматыми тучами день, когда в Хабаровск вошли калмыковцы, в городе играли несколько свадеб. Война войной, а жизнь жизнью, молодость брала свое, и жизнь требовала своего, она, несмотря на лютейший натиск смерти, жаждала продолжения... Род человеческий не должен был прерываться, и мадьяры искренне радовались вместе с молодыми и завидовали их счастью:

— О-о-о, у вас будут дети! У вас будет много детей!

Кто-нибудь из музыкантов обязательно вздергивал вверх большой палец и восхищенно округлял глаза.

Музыканты в тот день побывали в одном доме — справном, купеческом, где их едва ли не до одури закармлили пирогами с роскошной рыбой,

БҮРСАК В СЕДЛЕ

имеющей глуховатое русское название калуга, потом переместились в другой дом, не менее богатый, где их также чуть не уморили едой — еле вырвались. И все равно им было очень весело, они были благодарны русским людям за доброе отношение, за праздник души, которые те устроили. Третья свадьба проходила в бедном доме за печально знаменитыми оврагами, расположенными недалеко от Амуре.

Овраги были известны тем, что однажды там в сырой низине увязла лошадь. Вместе с телегой. Беднягу так и не удалось выволить — она осталась в овраге навсегда. Телега — тоже; ее засосало вместе с грузом, который волокла несчастная доходяга, кобыленка с распухшими, вывернутыми едва ли не наизнанку мослами.

Музыканты в игре не отказывали никому — ни бедным, ни богатым; понимали, что перед Богом все равны, значит, и обслуживать всех должны одинаково.

В бедном, косо сползавшем одной стороной в овраг дворе их и накрыли калмыковские всадники.

— Мадьяры? — перегнувшись через изгородь, спросил пожилой хорунжий с тугим седым чубом, выбивавшимся из-под козырька фуражки.

— Мадьяры, — ответил ему трубач по имени Шандор. Поскольку он сочинял и музыку, и тексты к ней, и вообще баловался стихами, заноса их в тетрадку, то трубача уважительно величали Петефи, как великого венгерского поэта.

Хорунжий стукнул рукоятью плетки о ладонь.

— Выходи на улицу, мадьяры! — приказал он. — Стройся в колонну по два.

— У нас же свадьба — мы еще не отыграли, — попробовал было сопротивляться Петефи и в ту же секунду понял: это бесполезно.

— Я тебе сейчас так отыграю, — хорунжий вторично стукнул плеткой по твердой, будто вырезанной из дерева ладони, — так отыграю, что свою маму будешь звать два часа без остановки. Выходи, кому сказали! И побрякушки свои не забудьте. Атаман требует!

Сопrotивляться было бесполезно. Казачий наряд пригнал мадьяров в небольшой парк, расположенный на макушке высокой, ровно срезанной каменной горы, недобро глядевшей в Амур. Хорунжий слез с коня,

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

привычно похлопал плеткой по жесткой деревянной ладони, прошелся вдоль строя музыкантов. Мадыяры, прижимая к себе инструменты, угрюмо смотрели на него.

— Чего глядите на меня, как тыквенные семечки на курицу? — любопытствовал хорунжий.

Музыканты не ответили ему, промолчали. Только один из них, маленький, тщедушный, с крупным вороньим носом, жалобно вздохнул и, словно бы собравшись куда-то бежать, переступил с ноги на ногу. Хорунжий воспринял это движение по-своему и демонстративно хлопнул плеткой по ножнам шашки.

— Но-но-но! Враз располовиню!

Маленький музыкантик сделался еще более горестным, скрючился, становясь совсем маленьким — превратился в этакий усохший старый пирожок.

— Веди себя поспокойнее, жидок, — посоветовал хорунжий, — чтобы ничего не вышло!

— Я не жидок, — сказал тщедушный музыкант.

— А кто же ты? Жид, самый настоящий жид, — хорунжий, довольный собственным открытием, громко захохотал. — Но ты не бойся, я к жидам отношусь терпимо. Это другие вас не любят... А бежать не советую, — он снова хлопнул плеткой по ножням.

На окраине парка, на дальней каменистой дорожке, раздался топот копыт, послышался мат — кто-то из казаков чуть не врубился на скаку головой в сук, еле увернулся, и на площадку вынесся казачий наряд, руководимый сотником, наряженным в суконную бекешу, в новенькие бриджи, украшенные широкими желтыми лампасами.

Наряд окружил музыкантов плотным кольцом.

— Все, можешь быть со своими людьми свободен, — сказал сотник хорунжему.

Хорунжий неожиданно растерялся, обвел плеткой музыкантов:

— А этих куда?

— Приказано пустить в расход как военнопленных.

Хорунжий побледнел, округлил глаза, покосился на музыкантов.

— Да ты чего, сотник! Люди же, на дудках играют... Хорошо! Хабаровску радость приносят. Я бы их выпорол и отпустил.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Это приказ.

— Да ты чего-о... — заныл хорунжий. — Нас в Хабаровске никто не поймет.

— А мне плевать, поймет Хабаровск это или не поймет, — обрезал хорунжего сотник. — Сходи к Маленькому Ваньке и попробуй отменить приказ. Другого пути нет.

Хорунжий понурил голову.

— Это опасно. Маленький Ванька вместо мадяров может мне самому снести башку.

— Эт-то точно.

Уже был случай, когда два калмыковца, — оба офицеры-фронтовики, — решили распорядиться на станции Свягино судьбой воинского эшелона — приказали отцепить от него несколько вагонов. Начальник станции — надо отдать ему должное — попробовал воспротивиться этому приказу, но brave калмыковские командиры надавили на него и он уступил.

Вагоны были отцеплены.

Узнав об этом, атаман пришел в бешенство.

— Кто приказал?

К нему привели двух насупленных, с плотно сжатыми ртами офицеров. Калмыков глянул на них и неожиданно затопал ногами:

— Высыпать по пятьдесят плетей каждому! — Офицеры опустили головы. — Начальнику станции — также пятьдесят плетей! — добавил атаман.

Приказание было выполнено. Офицеры промолчали — снесли все стоически, без единой жалобы, хотя порка была для них очень оскорбительна, а вот начальник станции не стерпел — подал чехословакам жалобу на уссурийского атамана.

Чехословакии вызвали Маленького Ваньку к себе.

Мораль атаману прочитал неведомый штабной подполковник — он неплохо говорил по-русски, хотя и медленно — еще не освоил беглую речь:

— Пока вы находитесь в нашем подчинении, принимать вам самостоятельные решения о наказании офицеров запрещено, — сказал подполковник Калмыкову на прощание.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Маленький Ванька был взбешен — еще никто никогда с ним там не разговаривал, — но поделаться ничего не мог: чехословаки запросто бы разоружили его и для острстки всыпали бы те же пятьдесят плетей... Это Калмыкова не устраивало, и он смирился с ситуацией. Но кое-что намотал себе на ус...

Хорунжий пригладил усы, поднял голову:

— Ладно, сотник, забирай пленных и исполняй приказание. Я тут бес-силен, — он взлетел в седло, зло гикнул и лошадь с места взяла в галоп. Дробный топот взвихрил застоявшийся воздух.

Наряд унесся на своем командиром следом.

— Отжимайте цыган к деревьям, — скомандовал сотник подчинен-ным, — и выстраивайте в шеренгу.

Мадьяры, бережно прижимая к себе серебряные трубы, попяти-лись.

Через несколько минут загрохотали выстрелы. Команда сотника, присланная из штаба ОКО, расстреляла все шестнадцать человек.

Это положило начало так называемым калмыковским экзекуциям; о редкостной свирепости Маленького Ваньки стали ходить легенды.

В ОКО Калмыков создал и контрразведку, только назвал ее несколько по-иному, не так хищно, как у атамана Семенова, скорее безобидно, — «военно-юридическим отделом», но хватка у этого отдела была жестче, чем у иной хваленной контрразведки. К атаману прибился палач — жилист-тый, длиннорукий, с тяжелым вытянутым лицом и пятнами высохшей слюны в уголках губ, чех по фамилии Юлинек.

В жизни своей Юлинек обучился только одному делу — убивать людей. Ничего другого он делать не умел, только это.

Ему было все равно, чью кровь пролить — курицы, фазана или какой-нибудь невинной набожной старушки. Когда палач оказывался в «пролете» — не довелось отправить на тот свет ни одного человека, он начинал плохо себя чувствовать, страдал.

«На хабаровской станции стояли два товарных вагона, — вспоминал впоследствии Юлинек. — В одном помещался конвой и иногда начальник военно-юридического отдела Кандауров, а в другом — приговоренные к расстрелу. Кто попадал в этот вагон — конец! Приходили ночью, не-смотря ни на какую погоду, приказывали: “Выходи на допрос!” Дороги

БУРСАК В СЕДЛЕ

назад уже не было». Про эти два вагона, стоявшие в железнодорожном тупике, хабаровчане прослышали очень быстро, старались обходить их стороной. Поезда, прибывшие в Хабаровск, теперь встречало совсем мало людей — из-за этих двух страшных вагонов. Народ начал бояться Калмыкова.

Юлинек рассказал в своих воспоминаниях, как расстреливали людей. Приговоренным к смерти давали в руки лопаты и в окружении конвоя уводили подальше в поле, за железнодорожные семафоры. Если на пути оказывался какой-нибудь любознательный хабаровчанин, его поспешно отгоняли прикладами винтовок в сторону... Могли вообще положить на землю, лицом в грязь и поднять чумазого, в дорожной налипши, минуты через три, когда мимо прошагают заключенные. При этом грозили:

— Если еще раз окажешься на дороге, будешь на себя пенять.

После такого предупреждения хабаровские жители, естественно, старались не попадаться на глаза людям Юлинека.

В атамана Юлинек был влюблен, как баба: когда речь заходила о Калмыкове, палач разом размякал, длинное костлявое лицо его делалось каким-то жидким, могло целиком переселиться на одну сторону и свеситься набок, могло перелиться в другую половину и также свеситься вниз.

— Наш атаман — настоящий герой, — хрипел Юлинек надсаженным голосом; глаза у него делались влюбленными и приобретали мечтательное выражение, — таких командиров в германской армии нет. Кое-кто может, конечно, говорить, что атаману не хватает образования, но это не помеха: он и без образования может командовать целым фронтом... Умеет делать дела. А порядок какой у себя в отряде навел — только держись! Никто не умеет так толково, сноровисто командовать людьми, как господин Калмыков, — лицо у Юлинека восхищенно перелилось с одной половины на другую, в глазах замерцала благодарная влага, Юлинек дергал правой ногой, что свидетельствовало о крайнем возбуждении, и он мычал сладко, будто проглотил сахарный леденец вместе с деревяшкой, на которую тот был насажен: — М-м-м!

Именно это сладостное «м-м-м» наводило народ на грешные мысли о том, что длиннорукий чех этот, словно обезьяна, неравнодушен к мужскому полу.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Хорунжий Эпов, заправлявший делами в штабе, вообще не мог без содрогания смотреть на палача: на лице его то появлялся настоящий ужас, хотя Эпов не был трусливым человеком, то возникало брезгливое выражение, будто хорунжего после перепоя выворачивало наизнанку и он делился проглоченной пищей с окружающей средой... Однажды он сказал атаману:

— И зачем вы, Иван Павлович, приблизили к себе эту обезьяну?

Взгляд Калмыкова сделался беспощадным.

— Ты в мои дела не лезь, хорунжий. Иначе я тебе такой «жопен зи плюх» сделаю — родную тетю на помощь звать будешь... Понял?

Эпов был человеком неробкого десятка, многое повидал в жизни, а тут оробел, втянул голову в плечи, пробормотал тихо:

— Прошу прощения, Иван Павлович!

Калмыков успокоился быстро, взгляд его обрел нормальное выражение, и атаман махнул рукой, отпуская своего помощника:

— Иди!

Товарищ Антон прибыл в Хабаровск. Вместе с ним — трое ловких молодых людей: два парня и одна девушка.

Девушка делали заметные успехи — гораздо быстрее своих товарищей вошла в роль, поняла, что от нее требуется, стала готовиться к грядущим событиям — изучала приемы китайской борьбы, умело стреляла из пистолета и винтовки, когда выходили в сопки, чтобы «почистить оружие», и стреляла лучше парней. Пустую бутылку, поставленную на пень, сшибала с первого раза, а однажды даже подбила вредную трескучую птицу желну, сидевшую на ветке в пятидесяти метрах от нее — пальнула играючи, навскидку, и желна, сдавленно икнув, задрала желтые когтистые лапы и смятой бесформенной тряпкой полетела с ветки на землю.

Товарищ Антон, увидев это, присвистнул удивленно:

— Однако... Не ожидал, не ожидал такой меткости от тебя, товарищ Аня!

Аня Помазкова была довольна: суровый руководитель их редко кого хвалил — в основном хмуρο сдвигал брови в одну линию и смотрел в землю, себе под ноги, словно бы боялся споткнуться.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

В Хабаровске группа товарища Антона сняла у рабочего депо Серушкина сарай, примыкавший к жилому дому. Сарай этот стоял косо, сползал вниз, в овраг, на дне которого валялись несколько дохлых собак, и старик Серушкин, боясь, что сарай окончательно скатится вниз, каждое утро подпирает его кольями.

— Если не боитесь очутиться на дне этого ущелья вместе с сараем... — Серушкин поморщился — он боялся всяких ям, хотя всю жизнь прожил на краю глубокого оврага, — и ткнул рукой вниз, в курящую сизую дымку, в которой плавали дохлые собаки, — то я вам сдам сарай... Очень дешево.

— Это нас устраивает, — не колеблясь, сказал товарищ Антон. — Только нельзя ли бесплатно?

— Бесплатно нельзя, — твердо произнес Серушкин, — соседи не поймут.

— Вы все-таки наш товарищ по революционной борьбе, — товарищ Антон пробовал воззвать Серушкина к пролетарской совести, но Серушкин упрямо стоял на своем.

— Деньги нужны, — сказал он.

— Какие там деньги, — продолжал гнуть свое товарищ Антон, — мелочь одна...

— Какие-никакие, а все-таки деньги. Без мелочи в лавке никто и хлебной корки не даст... Даже если будешь помирать с голоду — не дадут, не-а, — Серушкин энергично помотал головой, — так что извиняй, товарищ...

— Ладно, — сдаваясь, согласился с хозяином товарищ Антон, — грабитель ты, Серушкин, Антанта, представитель мирового капитализма!

— Да, я представитель мирового капитализма... — гордо произнес Серушкин и топнул ногой, — а если мне есть нечего будет, то кто меня из беды выручит, ты? Ты моей старухе принесешь краюшку хлеба?

Товарищ Антон пошевелил бровями — разговор ему сделался неприятен.

— Дискуссия наша принимает слишком затяжной характер, — сказал он. — Все, хватит!

Хозяин сник, шмыгнул носом и сказал:

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Извиняй, товарищ! — Он до бесконечности мог повторять то, что уже говорил. Через несколько минут ловил себя на том, что повторяется, и тогда лицо его принимало страдальческое выражение. Серушкин вытер рукой нос и повторил, хотя хотел сказать совсем другое: — Извиняй!

Уже поздно, в темноте, товарищ Антон собрал свою группу.

— Завтра всем разойтись по городу, — тихо, приказным тоном произнес он, — надо все про калмыковцев разведать, узнать, где что находится: где штаб, где квартира, которую снимает атаман, в каких казармах поселились казаки, где комендатура, где контрразведка — в общем, все, все, все... Понятно?

Он еще целый час держал группу в сборе, давая каждому задание — объяснял, распределяя людей по улицам, растолковывал, что надо узнать — каждому индивидуально, потом подсел к Ане Помазковой.

— Разговор с тобою — на закуску. Тебе выходить в город пока запрещают.

— Это почему же? — Аня неожиданно зарделась, будто маков цвет. — Почему?

— По кочану, да по кочерыжке... Не дай бог, попадешься на глаза атаману.

— Ну и что? Я же не грозила ему, не обещала пристрелить на каком-нибудь собрании...

— Этого еще не хватало!

— Значит, и опасности никакой нет.

— Есть, — товарищ Антон положил ей на плечо руку, — только ты об этом не догадываешься.

Аня раздосадовано, по-мужицки некрасиво сплюнула на земляной пол сарая.

— Я очень хотела повидать Хабаровск.

Товарищ Антон pokrutil головой:

— Как ты не понимаешь простых вещей... Ну, Аня! — Он вздохнул, махнул рукой. — Вот проведут ребята разведку в центре города, узнают, что к чему, тогда и сходишь, погуляешь по улицам Хабаровска.

Цель у группы товарища Антона, прибывшей в этот город, была одна: ликвидировать атамана Калмыкова. Задача была сложная — подобраться к атаману было почти невозможно. Он, ощущая, что на его шее может

БҮРСАК В СЕДЛЕ

затянуться веревочная петля, — и в первую очередь ему накинут веревку соперники-претенденты на атаманский пост, здорово озаботился собственной безопасностью...

Юлинек продолжал с восхищением вспоминать своего шефа Калмыкова, называя его «геройским человеком». «Геройский человек атаман Калмыков! — писал он. — Не пощадит ни одного мадьяра, немца или большевика. Многих учительниц и учителей большевистских выловил, чтобы крестьян глупых не обманывали...» С документальной точностью описал он и внешность атамана Калмыкова, особо подчеркнув, что роста атамана был маленького — с виду обычный ученик церковно-приходской школы или гимназии, только усы «взрослые», что редко Иван Калмыков бывал веселым — все больше нахмуренный и сосредоточенный.

«Офицеры все всегда спрашивали: “Ну как атаман?” Ну а у атамана привычка: если сердит, то козырек надвинут на нос, закрыты глаза, а весел — фуражка на затылке. Приводят, бывало, человек 50 большевиков, атаман подходит и кричит: “Мадьяры, три шага вперед! Считаю: раз, два, три...” Потом призывает офицера, приказывает: “Через три минуты расстрелять эту сволочь!” Их отводят в сторону и тут же расстреливают. На первых порах много мадьяр и немцев порасстрелял».

Жалобы на бесчинства атамана летели во все стороны. Письма приходили даже в Омск, к председателю Временного Сибирского правительства Вологодскому, не говоря уже о местных властях, расположенных во Владивостоке: в ПОЗУ — Приморскую областную земскую управу и ВПАСе — Временное правительство автономной Сибири. Приходили жалобы и к генералу Хорвату, управляющему КВЖД, но Хорват ничего не мог сделать с Маленьким Ванькой; на территории России его влияние было равно нулю.

Вологодский возмущенно всплескивал руками, ругался и не более того — дорога на Дальний Восток была ему заказана. Чиновников из ВПАСа и ПОЗУ Калмыков вообще за людей не считал, мог запросто отправить к тому же Юлинеку, а от Юлинека никто уже не возвращался. Во всяком случае, окружение Маленького Ваньки такого не помнило.

Цели достигали только те жалобы, которые получали чехословаки и японцы. Чехи старались внушить Калмыкову, что «с населением быть

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

жестоким нельзя», а японцы даже предупредили атамана, что перестанут ему помогать. Вот этого Маленький Ванька боялся по-настоящему: без японских денег он враз бы сделался никем. Когда «узкоглазые» говорили ему что-нибудь подобное, он расстроено дергал головой, будто больной «неверной» хворью и незамедлительно поджимал хвост. Но ненадолго.

Буквально через два дня он забывал об угрожающих ультиматумах своих покровителей и превращался в знакомого всем Маленького Ваньку, крикливого и жестокого.

После того как в дело вмешались американцы и потребовали от атамана прекратить репрессии, он позвал к себе Эпова, которому недавно присвоил звание есаула, и сказал:

— Американцы возмущаются деятельностью Кандаурова и его команды, — Кандауров продолжал руководить военно-юридическим отделом, — японцы тоже возмущаются, чехи смотрят на нас козлами, — атаман подхватил пальцами кончик уса, сунул его в рот, пожевал; ус оказался невкусным и Калмыков выплюнул его, — а собак всех вешают на меня. Кандауров творит бесчинство, а мне приходится отвечать...

Атаман врал, Эпов молчал и удивлялся про себя, как ловко Калмыков это делает — комар носа не подточит...

— В общем, мне надоело подставлять физиономию под оплеухи, — сказал атаман, раздраженно подергал усами. — Арестуй Кандаурова вместе со всем его отделом и... — он выразительно чиркнул концами пальцев по воздуху и добавил: — всех, кроме Юлинека. Отдел этот надо создавать заново.

Кандаурова и его людей Эпов не любил, поэтому приказание атамана выполнил с удовольствием, а выполнив, брезгливо поморщился:

— Чтобы другим было неповадно марать честь войска.

Кандаурова с сотрудниками зарыли там же, где зарывали мадьяр, немцев и пленных красноармейцев — всех примирила, всем дала вечный кровь земля-матушка.

Юлинек в эти дни старался не выходить из вагона — боялся.

На улице стоял октябрь — месяц на Дальнем Востоке благодатный, золотой; половина Хабаровска пропадала в тайге — люди колотили тяжелыми дубинками по кедровым стволам, сшибали шишки с орехами,

БҮРСАК В СЕДЛЕ

ловили на зиму птиц, в речках брали рыбу, готовившегося скатиться в Амур.

В эти дни Калмыкову представили нового начальника юридического отдела — сухопарого, лысоватого, с тонкими, криво изогнутыми ногами человека по фамилии Михайлов.

Когда Михайлов вошел в кабинет атамана и представился, Калмыков немедленно поднялся из-за стола, быстрыми мелкими шагами обошел гостя, разглядывая его не только с «фасада», но и с «черного хода», как говорил он, остановился напротив и заложил руки за спину:

— Михайлов, значит?

— Так точно, Михайлов, — спокойным густым басом ответил тот. Голос у Михайлова не соответствовал фигуре, такой бас должен иметь какой-нибудь богатырь с плечищами в полкилометра, а не этот выжаренный кривоногий хлюпик.

— Михайлов... — задумчивым тоном повторил атаман.

— Так точно! — громыхнул в ответ сочный бас.

— Знай, дорогой друг, — голос Калмыкова наполнился теплом, стал неузнаваемо сердечным, — мне нужен такой юрист, который, когда я расстреляю кого-то, сумел бы отбрехаться... Понял? Слишком уж много народа, дорогой друг Михайлов, на меня наваливается, обвиняет во всех смертных грехах... Сумеешь от этих волкодавов отбрехаться?

— Попробую.

Атаман усмехнулся.

— Только тут, друг Михайлов, надо действовать наверняка, иначе, как у германцев, «жопен зи плух» будет. Нам этого допускать никак нельзя. Иначе... в общем, ты сам понимаешь, что может быть иначе.

Глаза у Михайлова печально потемнели.

— Понимаю.

— Все, можешь идти. Приказ о назначении я подпишу сегодня. — Калмыков резко, на одном каблуке повернулся и направился к своему столу.

Михайлов исчез, словно дух бестелесный — бесшумно и совершенно незаметно.

Очень скоро он понял, что атаман готов расстреливать не только «мадьяр, немцев и большевиков», но и своих товарищей, сослуживцев

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

по Уссурийскому казачьему войску — слишком уж много они знали о Калмыкове, слишком здорово он был засвечен. Атаман же, ощущая собственную уязвимость, невольно скрипел зубами — он ненавидел старых фронтовиков-однопольчан, морщился, будто проглотил что-то кислое, когда думал о том, что любой из них может забраться в его атаманское седло, и тогда уссурийское войско поскачет дальше с новым предводителем.

В Хабаровске Калмыков пошил себе новую форму. Генеральскую. Хотя в генералах его никто не утверждал — было всего лишь решение войскового круга, и только... Но войсковой круг после этого уже несколько раз смещал его с атаманской должности, а раз это было так, то значит, попер из генералов. Впрочем, Маленький Ванька на это не обращал внимания — пусть забавляются однопольчане.

Форма получилась роскошная, атаман глаз не мог оторвать от зеркала, когда рассматривал в нем себя — он и ростом в этом наряде был выше, и в плечах шире, и статью помощнее, а главное — мундир был украшен настоящими генеральскими погонами.

Атаман натянул поверх кителя шинель. Шинель с окантованными широкими отворотами понравилась ему даже больше мундира.

— Гриня! — выкрикнул он, подзывая к себе ординарца.

Тот явился незамедлительно, будто из-под земли вынырнул.

Калмыков развернул ординарца вокруг оси.

— Ну-ка, ну-ка...

Ординарец удивленно поднял брови.

— Вы мне скажите, Иван Павлыч, чего надо, я сам все сделаю, — недоуменно пробормотал он.

— Мы с тобою, Гриня, одной комплекции или нет?

— Вроде бы одной, — не понимая, что происходит, проговорил ординарец.

— Вроде бы, вроде бы... — передразнил его атаман и стащил с себя шинель с широкими генеральскими отворотами, подкинул на руках, берясь за нее половчее и натянул на ординарца. Похлопал Гриню по плечу. — Во — враг человеком стал.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Да вы что, вы что, Иван Павлыч, — замылся ординарец, — неудобно как-то...

— Неудобно с печки в штаны прыгать — промахнуться можно... Дай-ка я погляжу на тебя со стороны.

Смотрел атаман на Гриню со стороны и видел себя, и любовался собою — лицо у него сделалось расслабленным, мечтательным, рот удивленно открылся, будто у мальчишки, ничего сейчас в Калмыкове не было от грозного атамана — пацан и пацан. И выражение у него на лице было пацанье. Он вновь развернул ординарца, потом еще раз развернул, восхищенно прицелкнул языком. Больше всего ему нравились яркие канты, которыми были обиты обшлага и борта шинели, золотой позумент на серебряных казачьих погонах и литая, будто бы сработанная из металла грудь.

— Молодец портной, — похвалил мастера атаман, — надо бы выписать ему гонорарий за работу.

— За такую шинель — не жалко, — ординарец деликатно покашлял в кулак.

Примерка происходила на большой застекленной веранде дома, который занимал Калмыков. Здесь стояли столы, стулья, в углу на гнутых дубовых ножках висело большое старое зеркало, в которое сейчас смотрелся атаман. Веранда выводила в сад, огороженный частоколом, за садом стоял наполовину вросший в землю старый дом с подслеповатыми пыльными окнами, под крышей дома нависали кроны двух раскидистых черемух, в которых галдели обсуждая какие-то свои птичьи проблемы, десятка три воробьев.

Сквозь щель между двумя занавесками Калмыкова изучал в бинокль невысокий, с короткой плотной шеей человек, досадливо откидывался назад, протирали пальцами глаза, потом протирали окуляры бинокля и снова вглядывался в веранду, на которой находились атаман с ординарцем.

Это был товарищ Антон.

Изучал он Калмыкова минут двадцать, потом отложил бинокль в сторону и озабоченно помял пальцами шею. Негромким голосом позвал своего напарника:

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Товарищ Семен!

В глубине дома, за занавеской, раздались легкие, почти невесомые шаги — так умеют ходить только охотники, — и перед руководителем группы предстал юный человек, почти мальчик, с голой бледной шеей и широко распахнутыми голубыми глазами.

— Да, — тихо, почти шепотом произнес он.

— Сегодня вечером будем снимать петуха с насеста, — сказал Антон, — хватит ему кур топтать, кончился воздух... Все, достаточно.

— Я готов, — прежним бесцветным шепотом проговорил юноша, — винтовка пристрелена, смазана...

— Проверь патроны.

— Патроны проверены.

— Хорошо, — удовлетворенно произнес Антон, — мое дело будет — грамотно организовать тебе отход.

Действие его по части грамотного отхода сводились к одному — посадить в укромных местах двух пареньков с наганами, которые в случае погони смогли бы подстраховать уходящего боевика; других подстраховок Антон организовать не мог. Аню Помазкову он решил из дома Серушкина пока не выпускать — опасно.

Пройдясь по улице, Антон нашел два укромных места: одно — за гигантской поленницей, сложенной у забора купца Маринихина, второе — в зарослях молодых елок с низко опущенными лапами, окаймлявших пешеходную дорожку, ведущую к пятистенке золотошвейки Разумовой — из этих точек и обстрел был хороший, а главное, стрелков можно было отыскать не сразу.

— Все, до вечера, до темноты — отбой, — скомандовал своим подопечным товарищ Антон.

Никольск-Уссурийский совсем не тронули беды последних лет. Все так же радовал глаз крышами своих шатров Никольский собор, в который к заутренней службе спешил народ; удивляла восточная замысловатость Триумфальной арки; гигантскими размерами поражало семиоконное деревянное здание Коммерческого собрания, расположенного на Земляной улице, самой широкой в городе, по которой солдаты пешего батальона маршировали, как по плацу; по-прежнему тянуло прокисшим рисом,

БҮРСАК В СЕДЛЕ

горечью прокаленного железа, используемого на изготовление ободов для телеги, из рядов Китайского базара; а по гигантской Кладбищенской площади с гиганьем скакали конники; как и всегда, был наряжен и свеж Народный дом; от него не отставали ремесленное и городское шестиклассное училище, а также главное управление Никольска — универмаг Кунста и Альберса.

Универмаги эти, очень модные, набитые дорогими вещами, расплодились по всему Приморью, вскоре их даже в рыбацких поселениях поставили.

Помазков, уважаемый георгиевский кавалер, несколько раз, бряцая наградами, заходил в универмаг, но делался бледным от цен, которые были накарябаны на этикетках, и поспешно выскакивал обратно.

— Свят-свят-свят! — суеверно крестился он. — Тут не только могут разуть и раздеть — тут вообще привыкли людей за дверь голяком выпроваживать.

Катя Сергеева, — пардон, Екатерина Семеновна, молодая вдова, которая иногда сопровождала георгиевского кавалера в его прогулках по городу, так не считала. При виде вывески «Кунст и Альберс» у нее загорались и делались рысьими, светящимися глаза. Она короткими сильными рывками тащила Помазкова в магазин, и как он ни сопротивлялся, но оказывался в универмаге.

Там Катя Сергеева, совсем на себя не похожая, прыгала от полки к полке, от прилавка к прилавку, подхватывала какие-то вещи, прикидывала их на себя, выжидательно поглядывала на георгиевского кавалера, но он отводил взгляд в сторону, сурово окидывал им горы товаров и что-то тихо бормотал про себя.

Было понятно — ничего Катьке не светит, у Помазкова на наряды просто нет денег. Если бы он подольше задержался на станции Маньчжурия, у атамана Семенова, может быть, деньги на какие-нибудь подарки накопились бы, но нет, не задержался и потому был пуст, как дырявая кошелка, в которую когда-то собирали грибы, а потом за ненадобностью выбросили на помойку.

С Катькой он не хотел сходиться — ведь все-таки молодая вдова была подружкой его дочери, а сошелся. Катя сама потянулась к нему. Не может в этом мире женщина жить без мужчины. Пропадет она одна, без мужика,

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

увянет в цвете лет. Катя Сергеева почувствовала это особенно остро и поспешила прибиться к берегу — к Евгению Ивановичу Помазкову.

Надо отдать должное Помазкову — не отстранился от молодой вдовы, подставил плечо, — и вот уже целый месяц они жили вместе, пребывая то в Никольск-Уссурийске, то в Гродеково, и все больше и больше привязывались друг к другу.

Катя уже дважды намекала новому суженому, что нужно бы в церковь сходить, узаконить их отношения, но Помазков с этим делом не торопился, замечал совершенно справедливо:

— Надо бы получше притереться друг к другу.

После нескольких таких высказываний Катя решила не торопить Помазкова: пусть Евгений Иванович сам созреет для такого решения. Ее близкая подружка Аня о произошедшем ничего не знала, и Катя страшилась предстоящей встречи и Анькиной реакции: вдруг она не захочет, чтобы Катька жила с ее отцом?

Мда-с, вопросец был заковыристый.

Про подружку Катя знала одно: та укатила в Хабаровск и словно бы сгинула там — ни слуху о ней, ни духу; исчез человек.

Отец догадывался: дочка охотится за атаманом Калмыковым и жалел ее, и в груди у него опасный холод сдавливал сердце — а вдруг с нею что-нибудь случится? Люди Калмыкова — лихие; лютуют почему зря; там, где проходит Маленький Ванька, остается кровавый след. Недобрая молва шла о калмыковском войске.

Помазков на ходу раздосадованно кричал, хлопал ладонью по рту, осаживал шаг, но в следующее мгновение, поймав встревоженный взгляд, убыстрял походку, и эта неравная пара с бодрым топотом катилась дальше.

Осенние сумерки в Хабаровске наступали быстро: небо стремительно темнело, облака сбивались в кудрявые пороховые клубы; клубы, подгоняемые неведомым ветром, сдвигались, смыкались в один большой полог, прикрывали землю сверху — ничего не было видно, лишь на западе огнисто рдела оранжевая полоска заката, угасала она долго, лаская взгляд.

Тихо было в эти дни в Хабаровске. Правда, случалось, где-нибудь громыхал выстрел и тогда поднималась суматоха, по улицам начинали

БУРСАК В СЕДЛЕ

носиться конные казаки, но так же быстро все прекращалось. Казаки исчезали, словно бы проваливались сквозь землю, и вновь наступала тишина.

Опасная эта было тишина, от нее по коже бежали мурашки, кладбищенский дух висел над Хабаровском.

Лицо у товарища Антона наливалось некой неземной озабоченностью, словно бы перед ним возникала, ярко высвечиваясь, некая высокая, рожденная на небе цель, и одновременно мрачнело, ибо он понимал, что убраться такого противника, как Калмыков, очень трудно. Он уже несколько раз подзывал к себе Семена и задавал один и тот же вопрос:

— Ну что, товарищ Семен, ты готов?

— Готов, товарищ Антон.

— Хорошо, ожидай команду...

Минут через двадцать предводитель забывал, что уже говорил с Семеном и вновь подзывал его к себе:

— Ну что ты, ты готов?

— Так точно, готов, — безропотно отвечал подопечный.

— Ладно, иди, — тихо произносил Антон, — и это самое... Не расслабляйся!

Вечером дом, в котором останавливался атаман, обычно блистал огнями; свет проливался на улицу из каждого окна. Горело электричество и на двух верандах — большой, где атаман любил вечером гонять чай (на этой веранде товарищ Антон и рассчитывал застрелить Калмыкова), и на второй веранде, пристроенной к дому с противоположной стороны, но сейчас дом был пуст и темен, горела только слабенькая лампа на кухне.

Товарищ Антон встревоженно вытягивал голову, шарил глазами по пространству, надеясь увидеть атамана, но того не было — Калмыков словно бы сквозь землю проваливался.

Антон хрустел костяшками пальцев, морщился с досадой и восклицал:

— И где же его черти носят, а?

Окна атаманского дома продолжали оставаться темными. Товарищ Антон доставал из кармана часы, шелкал крышкой:

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Он же был дома! Куда исчез? Тьфу! — Не поворачивая головы, он кричал в глубину дома: — Товарищ Семен!

Тот неслышно вытаивал из теплоты сумрака, откуда-то из-за двери.

— Ты готов?

— Готов, готов, товарищ Антон. Давно готов.

— Тьфу! — плевался Антон неведомо почему, замирал в некоем подавленном оцепенении. В тиши было слышно, как заржавело скрипят его мозги: человек пытается сообразить, куда же подевался атаман, но понять этого никак не может.

В тот осенний вечер и в ту ночь Калмыков дома так и не появился. Операция по его уничтожению сорвалась. Антон был расстроен, лицо у него тряслось, будто предводитель занемог некой «нервной» хворью, глаза слезились. В конец концов он взял себя в руки и произнес зло:

— Еще не все потеряно — будет много встреч... Вечер пока не наступил.

Лицо у него потемнело, усохло, приобрело задумчивое горестное выражение, около глаз, заползая на виски, обозначились морщины, сделались резкими, хищными, и непонятно стало: то ли человек этот сидит, страдает от внутренних забот, или же лесной житель, леший либо ведьмак из тайги выполз, чтобы пообщаться с народом, да постричься в городской парикмахерской.

В общем, как бы там ни было, жизнь для товарища Антона на некоторое время остановилась.

Из Никольска-Уссурийска к Калмыкову приходили вести не самые добрые: казаки по-прежнему были недовольны своим атаманом, поднимались против него. Калмыкову было обидно:

— Ну и пусть галдят и бунтуют! За свое место я не держусь, — шептал он тихо, слезно, — пусть переизбирают. Только где они найдут такого человека, который и с японцами был бы в ладах, и с америкашками, и французики чтобы в ладошке сидели, особо не тресли брыльями, и все прочее. И чтобы военный министр, находящийся в Омске, во Временном Сибирском правительстве, считался с точкой зрения войска... А? Нет такого другого человека. И хлеб для народа я достаю — сколько надо хлеба, столько и достаю. Кто еще может это делать? — Калмыков

БУРСАК В СЕДЛЕ

замирал, чутко вслушиваясь в пространство, потом решительно рубил рукою воздух: — Никто!

Новый начальник военно-юридического отдела Михайлов, которому атаман поручил присматривать не только за врагами, но и за друзьями, решил, что в число этих «друзей» неплохо бы включить и самого атамана.

Михайлову стало понятно, что атаман пойдет на что угодно, даже душу продаст, но сделает все, чтобы остаться на своем месте, при булавке; более того — постарается стать главным человеком в буферной республике.

Буферная республика — это японское изобретение, это они выдумали словечко «буферная» и подвели под него материальную базу. В том, что над кривоногой республикой этой будет развеяться белое знамя с красным солнцем посередине, они не сомневались, потому и дали Маленькому Ваньке деньги — совсем недавно, например, выделили кредит в два миллиона рублей.

Кредит этот атаман, естественно, никогда не вернет, поэтому большую кучу ассигнаций (деньги едва влезли в грузовик) можно было считать обычной подачкой, подарком. Дарили подданные «солнцеликого микадо» Маленькому Ваньке и оружие, и боеприпасы, и обмундирование, даже тюк ткани для личных нужд Калмыкова преподнесли — пойдет на второй комплект генеральской формы.

Атаман был доволен. Он обхватил тюк руками и захохотал неожиданно зычно:

— Добрый подарок! Штука сукна мне никогда не помешает. — Кликнул ординарца: — Оприходуй, это, Гриня, незамедлительно. Я куплю, мы с тобой еще одну шинель сошьем. С барашковым воротником — в расчете на здешнюю холодную зиму.

Вскоре Калмыков пошил себе еще одну генеральскую форму, благо в Хабаровске было много хороших портных.

А из Никольска-Уссурийского недобрые вести продолжали поступать: казаки все больше и больше желали свергнуть Маленького Ваньку, орали так, что надо было ватой затыкать уши от их речей: могли полотаться барабанные перепонки:

— Калмыкова — долой! В поганое ведро атамана и — в мусорную яму!

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Атаман, когда ему рассказывали об этом, лишь болезненно морщился.

Григорий Куренев сделался ему в Хабаровске самым близким человеком — атаман даже в спальне своей поставил для Грини кровать, чтобы тот охранял его сон. Калмыков опасность ощущал кожей, ноздрями, кончиками пальцев — очень чуток был. Помимо шашки и карабина ординарец теперь обзавелся и дополнительным вооружением — двумя наганами. Это ему посоветовал новый начальник юридического отдела: наган, дескать, самое надежное оружие, никогда не отказывает... Григорий Куренев советом воспользовался — атаман лично вручил ему два ствола.

Выслушав последнего посыльного, прибывшего поездом из Никольска, Калмыков потемнел лицом, раздраженно подергал усами и махнул рукой, выпроваживая посыльного из дома:

— Иди отсюда!

Вечером, когда ординарец подал ему еду, атаман хлопнул ладонью по табуретке.

— Посиди со мною, Гриня!

Куренев безропотно сел, хотя дел у него на кухне было более чем под завязку, — после атамана столько грязной посуды оставалось, как от трех здоровенных неряшливых мужиков. Атаман придвинул к нему крынку с молоком:

— Выпей стаканчик!

Ординарец мотнул головой.

— Благодарствую великодушно. Уже сыт.

— Да пей, лей молоко в стакан, не стесняйся! Может, чарку хочешь?

— Молоко, извините великодушно, Иван Павлович, не стаканами пьют, а кружками.

— Это кто как... И где как. На Кавказе, например, где я родился, пьют стаканами.

— А коньяк?

— Коньяк пьют из турьих рогов. Один рог выпьют — и достаточно. Больше не надо.

Гриня прикинул, сколько же коньяка помещается в большом роге, и восхищенно почесал затылок:

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Это надо ж!

Атаман достал из кармана бумажку с перечнем фамилий, доставленную ему уссурийским посланцем, разглядел ее рукой.

— Хочешь, Григорий, узнать, кто больше всех на меня тянет в казачьей среде? А? — речь у атамана явно была негенеральской — Калмыкову не хватало не то чтобы образования, не хватало даже обычной грамотешки.

— Да вы чего, Иван Павлович? Надо быть дураком набитым, чтобы тянуть на вас, — ординарец изумленно вскинул брови, — это ж все равно, что дуть против ветра.

— Или мочиться...

— Или мочиться, — повторил слова атамана Гриня.

— Есть такие люди, друг мой, есть... И их немало. Вот смотри, — атаман вновь разглядел бумажку. — Первым, естественно, числится Гаврила Шевченко.

— Старый уже, а все ему нейдет, — осуждающе проговорил ординарец. — Пфе!

— Старый, но зато опытный.

— О Боге надо думать, о душе, о семье своей, о детях, Иван Павлович, а он... Нет, не понимаю я таких людей.

— Не ты один не понимаешь, Гриня, — народ не понимает. А народ — это о! — атаман назидательно ткнул пальцами в воздух. — Народ — это масса! — Он почмокал языком. — Вторым идет Шестаков, есаул...

— Это кто же такой, очень смелый?

— Есаул, я говорю. Да не один выступает, а вместе со своим сыном, сотником.

— Вот уроды! Не евреи, случайно?

— Нет. Какие евреи могут быть среди казаков, Гриня? Окстись!

— Ныне все может быть, Иван Павлович. Такое может быть, что вы даже не представляете.

— Я представляю все! И знаю все, — обрезал ординарца атаман. — В общем, эти Шестаковы поносят меня больше всех. Даже больше вахмистра Шевченко. — Калмыков сожалеюще вздохнул. — Действительно, уроды. Попугай! — Он ногтем разрезал две фамилии, отца и сына. — Вот что надо с ними сделать. Как, впрочем, и со всеми остальными. Вот, вот, чтоб наши всегда гнали городских... А этот откуда взялся? Савинков какой-то,

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

подъесаул. Из какой дыры вылез? А хорунжему князю Хованскому чего нужно? Куда он лезет? — Калмыков осуждающе покачал головой.

Ординарец, вторя начальству, также осуждающе покачал головой.

— Я же говорю, Иван Павлыч, чего им нейдется? Может, в жабрах муравьи завелись? Либо опилок туда намыло?

— А этот офицеришка, о чем он думает? — атаман громко щелкнул пальцем по листу бумаги. — Куда устремляется? Хорунжий Скажутин...

— О таком я даже не слышал.

— И я не слышал, Гриня, но это ничего не значит. Совсем угорели люди. В бане пересидели! — Калмыков налил себе водки — бутылку с сургучной головкой ординарец предусмотрительно поставил на стол, — налил много, полстакана, залпом выпил. Запил молоком. Покрутил головой: — Уф-ф!

— Хорунжий Скажутин, — задумчиво проговорил ординарец. — Нет, никогда об этом карасе не слыша. И что делать будем с ними, Иван Павлыч? — Григорий указал подбородком на список.

— Только одно, — атаман плоско разрезал рукою воздух, одновременно издал губами чикающий звук, будто отделил противнику голову от туловища, — секир-башка. Других рецептов нет.

— Всем? — ординарец вопросительно постучал ногтем по бумаге.

— Всем, — подтвердил атаман, сжав глаза в жесткие щелки. — Всем до единого секир-башка. Никого не оставляю в живых.

Калмыков говорил с ординарцем откровенно, поскольку знал — Гриня Куренев сор из избы не вынесет. А если хоть одно словечко отсюда выкатится — Гриня знает, что с ним будет, поэтому атаман и не стеснялся. И ничего не боялся.

Заметив, что ординарец жалостно вздохнул, атаман произнес безапелляционно:

— Вопрос стоит так: либо я им сверну голову, либо они мне. Не вздыхай, Гриня, и не жалей никого, жалости здесь места нет. Понял?

Атаман аккуратно сложил лист с фамилиями, ногтем провел по сгибу бумаги и засунул список в карман кителя.

— Вот когда не будет этих людей, тогда я стану чувствовать себя спокойно. И забот у меня никаких, кроме собственного благополучия, не будет. Ясно, Гриня?

БУРСАК В СЕДЛЕ

С этого дня стрельба в Хабаровске стала звучать чаще. Калмыковцы циппали местных жителей: под прикрытием темноты лазили по подвалам, искали съестное. Если находили — частично съедали, частично безжалостно курочили, разбивая о землю банки с вареньем, заготовленным на зиму, разбрасывали, топтали ногами огромные шлептухи знаменитых хабаровских груздей, расшвыривали целые горы жареного орляка — съедобного папоротника, заменявшего многим беднякам картошку, давили его сапогом. Открыто смеялись, когда кто-то пытался спасти припасенные на лютую холодную зиму запасы:

— Чего вы цепляетесь за это вареное сено? У вас что, другой еды нету?

Хабаровчане матерились, оттаскивали калмыковцев за полы шинелей от своих погребов, и если кто-то бывал слишком настойчив, казаки стягивали с себя карабины:

— Вы, с-сукины дети, похоже, все это для красных заготовили... Их ожидаете? Продались?

Звучали выстрелы.

Когда на казаков жаловались атаману, тот пренебрежительно взмахивал руками:

— Пусть что хотят, то и делают! Это же казаки. — Калмыков глубокомысленно поправлял усы. — Не трогайте их.

Юлинек считал, что с приходом Михайлова в военно-юридический отдел у него будет меньше работы, но работы меньше не стало, скорее, напротив. К двум расстрельным вагонам прибавился третий, новенький, окрашенный в защитный цвет, с решетками на окнах, чтобы, как говорил новый начальник отдела, «не было фильтрации» — ни туда ни сюда, выход из вагона мог быть только один — на небеса.

Юлинек, командовавший расстрелами, мрачно похмыкивал: русских он не любил, немцев считал полной противоположностью русским и тоже не любил, арифметика из этой «любви-нелюбви» выходила одна: чем больше он уничтожит тех и других, тем будет лучше.

Особенно атамана беспокоили два человека — неугомонный Шевченко, который, несмотря на красную звездочку, пришилиленную к кожаной командирской фуражке, не снимал с кителя царских Георгиевских крестов, а также Шестаков. Меньше тревожил его сын, хотя в паре отец

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

и сын были просто опасны. Атаман вызвал к себе Михайлова, выложил из кармана мятую бумагу со списком, и разгладив ее, придвинул к начальнику юридического отдела:

— Ну-ка, мил человек, ознакомься с этим вот реестром.

Тот, нахлобучив на нос маленькие подслеповатые очки, прочитал список и, понимая похмыкав, наклонил голову:

— Задача ясна!

— Раз ясна — значит действуй! — сказал Калмыков. — Списочек перепиши своей рукой и отдай мне.

— Я его запомнил.

— Это еще лучше, — одобрил осторожность начальника юридического отдела Калмыков. — Действуй!

Войсковой круг собрался в конце октября, был он объявлен чрезвычайным и должен был решить главный вопрос: быть Уссурийскому казачьему войску или не быть? А раз вопрос ставился так, ребром, то решалось и другое, тесно с ним связанное — быть атаману Калмыкову или не быть? Калмыков был мрачен, покусывал усы — то левый ус, то правый, сплевывая откушенные волоски под ноги, и спрашивал у Михайлова:

— Ну что с этим деятелем, с Шевченко? Нашли его или нет?

— Пока не нашли.

— Ищите!

Ни князь Хованский, ни подьесаул Савинков, ни хорунжий Скакутин, ни отец с сыном Шестаковым уже не были страшны атаману — Михайлов оказался человеком хватким и свою задачу выполнил на «пять».

— Ну что, нашли этого барбоса Шевченко? — теревил, наливаясь нетерпением и злостью, атаман своего подопечного.

— Пока нет, — со вздохом отвечал Михайлов.

— Пошарьте-ка по его родственникам. Вдруг он где-нибудь у них под кроватью прячется? Или под юбкой у своей жены сидит... Всех потрясите, всех!

Михайлов молча брал под козырек и исчезал.

Через некоторое время вновь появлялся в кабинете атамана.

— Ну что? — собрав лоб в частую лесенку, тот стрелял жестким взглядом в начальника юридического отдела.

БУРСАК В СЕДЛЕ

— Как сквозь землю провалился, — поморщившись, докладывал Михайлов.

— Это что же, никого из этой чертовой семейки не удалось найти?

— Ну почему? Мы арестовали двух братьев Шевченко... С бабами не стали связываться.

— А не проверили, не сидит ли кто у баб под юбками?

— Проверили. Не сидит. Что делать с братьями Шевченко?

— Расстрелять! — коротко и зло выдохнул атаман, будто пулю изо рта выплюнул. — Раз Гаврила сам не хочет ответить за свои художества, то пусть ответят его братья.

Разговор этот происходил вечером. Михайлов согласно нагнул голову, показав седые косички волос, жиденькими колечками залезшие за крупные хрящеватые уши, и исчез.

Братьев Шевченко Михайлов содержал в одном из трех, пропитанных зловещей славой вагонов; дождавшись темноты, он вывел из со связанными руками на темный пустырь, расположенный за железнодорожными стрелками. Шли по пустырю недолго. Братья двигались неровными шагами, словно бы у них были перебиты ноги, иногда кто-нибудь заваливался набок и тогда вперед торопливо выбежал конвоир, помогал выпрямиться.

— Стоп! — скомандовал Михайлов, и братьям показалось, что от этого тихого голоса дрогнула ночь.

Они остановились.

Было слышно, как в черном, насыщенном холодом пространстве пошвистывает ветер, а на станционных путях дурным, как у проснувшегося попугая, голосом покрикивает «овечка» — маневренный паровоз.

Один из братьев Шевченко выпрямился, поймал глазами недалекий отсвет станционных фонарей, тоскливо зашевелил губами, — конвоиры, настороженно глядевшие на него, поняли — творит отходную молитву. Михайлов отступил от конвоиров на шаг, встал позади братьев и неслышно, очень осторожными, какими-то кошачьими движениями достал из кобуры револьвер.

Старший из братьев Шевченко продолжал немо шевелить губами — читал молитву. Лишь вздрогнул и опустил плечи, когда услышал за собственным затылком характерный железный щелчок — это Михайлов взвел курок.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Второй Шевченко стоял, опустив голову, и глядел себе под ноги. Что он там видел — неведомо. Скорее всего ничего, могильную пустоту.

Михайлов нажал на спусковой крючок, оборвал недочитанную молитву, старший Шевченко вскинул над головой руку, которую заносил вверх для знамени, вскрикнул зажато и рухнул плашмя на землю, лицом вниз. Михайлов поспешно взвел курок еще раз, через мгновение выстрелил снова...

Так не стало сразу двух братьев легендарного георгиевского кавалера, осмелившегося встать на пути у Маленького Ваньки.

Калмыкову удалось склонить войсковой круг на свою сторону — собравшиеся отменили все предыдущие решения по ликвидации Уссурийского казачьего войска, — калмыковцы этим обстоятельством были очень довольны. И еще более довольны тем, что у местного правительства, вершившего все здешние дела, круг отобрал портфели, ни у одного из этих тучных купцов не оставил — все помел большим дворницким веником. Главным человеком в правительстве вновь стал Калмыков.

Но и это было еще не все. Вот когда атаман наложил лапу на все войсковые финансы и заявил, что отныне каждая копейка будет расходоваться только по его письменному разрешению, казакам, недолюбливавшим его, сделалось кисло. Калмыков же на каждом углу, на каждом сборище твердил одно:

— С полным рвением казачьих сердец мы должны возродить Уссурийское войско, поставить его на ноги, чтобы оно служило хорошей опорой нашей изнемогающей родине.

Через час Калмыков слово в слово повторял уже сказанное в другом месте — повтор он не стеснялся, авторское самолюбие у него отсутствовало совершенно, — затем повторял это выступление в третьем месте, а через очередные два часа — в четвертом... На посулы он не скупился — обещал сделать все, чтобы «казаки почувствовали себя казаками и были горды тем, что они — казаки».

Похоже, именно в эти дни Калмыков освоил (наконец-то) азы ораторского искусства. Эпов, Михайлов, Савицкий обрабатывали тем временем стариков — самых авторитетных людей в войске, чтобы они подтвердили прошлое выдвижение атамана в генерал-майоры.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

В конце концов старики сделали это. Атаман гордо вздернул голову и заявил, что он работает «не ради чинов и звезд — работает для народа и ему служит», и очень рад тому обстоятельству, что получит этот чин не волею государя императора Николая Романова, а «волею Уссурийского казачьего войска». Если раньше, увидев какого-нибудь старика, он стремился облобызать его, то теперь, видя седую бороду и Георгия на ветхой рубахе, брезгливо отворачивался в сторону и делал каменное лицо — теперь старики были ему нипочем, соперники — все эти Шестаковы, Хованские и прочие убраны, впереди открывается широкая дорога, простор — что хочешь, то и делай.

И тем не менее, он заявил напоследок, звонко притоптывая ногой по твердой, высохшей по осени земле, уже тронутой морозом:

— Я был счастлив принять генеральский чин не волею монарха, а демократической власти, во имя которой я до сих пор боролся.

Японцы по-прежнему поддерживали Калмыкова — других кандидатур у них для поддержки не было, — предоставили Маленькому Ваньке очередной кредит, очень солидный, в два миллиона рублей, — совсем не рассчитывая, что уссурийский атаман его вернет, а также подвезли много нового, в смазке, оружия.

Почувствовав под ногами твердую почву, Маленький Ванька немедленно объявил о полной автономии своего войска — мол, это теперь государство в государстве, которое никому не подчиняется: ни красным, ни белым, ни синим, ни американцам, ни французам — никому, словом... Японцев Калмыков дипломатично не упоминал — японцы ему еще были нужны. Недалек ведь тот день, когда он попросит в кредит очередные два миллиона — это раз, и два: очень уж уважает узкоглазых атаман Семенов; а Семенов был единственным человеком, к которому Маленький Ванька относился с подчеркнутым почтением.

Ни одно из правительств — ни на Дальнем Востоке, ни в Сибири (впрочем, правительства эти менялись, как перчатки на руках у франтоватого гусара) не признало генеральский чин Калмыкова и не утвердило его, сделал это лишь атаман Семенов, да и то с большим опозданием, тринадцатого ноября двенадцатого года.

В конце октября Калмыков решил съездить во Владивосток, показать себя. К мундиру привинтил ордена, добыл новенькие, царского

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

еще, довоенного производства погоны с золотым позументом и двумя генеральскими звездочками, вложил в них твердые прокладки, чтобы погоны имели гусарский форс, и степенно, с начальственным видом, вошел в спальный вагон, который своим собственным решением закрепил за собой.

Через несколько часов он был во Владивостоке. Охраняли Маленького Ваньку три десятка звероватых мужиков в лохматых папахах, вооруженных японскими «арисаками» и несколькими ручными пулеметами английского производства, поступившими к Калмыкову прямо с самурайских складов. В общем, охраняли атамана серьезно, таких мужиков голыми руками не возьмешь.

Простые владивостокские жители, завидев охрану Маленького Ваньки, старались обходить его стороной — слишком уж громко и нервно вели себя уссурийцы, скалили зубы, гоготали, будто растревоженные гуси: среди приморских старушек про них прошел слух, что они воруют младенцев и вечером, собравшись около большого костра, поедают их — запекают в тесте, либо варят в супе, заправляя варево китайскими травами, перцем и картошкой.

Были у атамана во Владивостоке и доброжелатели. В частности, в штабе японского генерала Ооя — оттуда к нему прибыл улыбчивый капитан с трудно выговариваемой фамилией и лоснящейся, плоской, раскатанной в блин физиономией, сказал, что будет у Калмыкова советником.

Японцы продолжали делать ставку на Маленького Ваньку, считали его «всенародно избранным», тем самым счастливецом, которому доверяет народ. Не будь у подданных солнцеликого микадо этой убежденности, уверенности во «всенародно избранныости» их подопечного, вряд ли когда Маленький Ванька смог бы получить двухмиллионный кредит в золоте и английские ручные пулеметы.

Наклонившись к уху атамана, советник прошептал, что надо бы посетить военного министра, сидевшего во Владивостоке, генерала Иванова-Ринова.

Маленький Ванька гордо вздернул голову и прошипел сквозь зубы:
— Чего-о-о? — втянул в себя воздух и резко выдохнул, будто выбил изо рта плевков: — Никогда!

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Капитан обнажил в понимающей улыбке зубы. Зубы он отрастил себе знатные, не меньше, чем у жеребца, такими зубами можно было легко перекусить проволоку.

— Этого требуют наши общие интересы — интересы Японии и Уссурийской автономной республики, — сказал он. — Исходя из этого, я бы настоятельно просил вас посетить генерала Иванова-Ринова.

— Посетить его я могу только с одним делом, — Маленький Ванька зло, очень громко пристукнул зубами и замолчал.

— С какой целью, господин атаман? — вкрадчиво поинтересовался японец.

— Цель одна — стянуть с него штаны и надрать плеткой задницу, — выдал из себя атаман и, покраснев натужно, показал, как он будет это делать.

— Японское командование это не одобрит, — сказал ему капитан.

Калмыков промолчал — ссориться с японцами ему было нельзя, тогда придет конец всем надеждам, и если ОКО не подчинялось ни приморскому правительству, ни правительству сибирскому, ни земцам, ни монархистам, ни Колчаку, ни Хорвату, то японскому командованию подчинялось безоговорочно.

— Сходите, господин атаман, к генералу Иванову-Ринову, — японский советник был настойчив, он умел уговаривать людей и надеялся, что уговорит и Маленького Ваньку, но тот набычился, налился помидорной краской, в подглазьях у него выбелились «очки», и он рывкнул упорно:

— Нет!

Вечером Маленький Ванька закатился в ресторан. Гулял он в «Золотом Роге». Охрана оцепила ресторан по периметру, в двух точках выставили пулеметы. Когда появился солдатский патруль из городской комендатуры, то накостыляли патрулю так, что солдатики забыли, где у винтовок штыки, а где приклады, и сорной пеной укатились в глубину темных владивостокских переулков. Калмыков вел себя в ресторане чинно, поглядывал на собственные плечи, где красовались генеральские погоны, и пытался танцевать с дамами старинный танец «тустеп», но ноги у него ходили вкривь-вкось, атаману никак не удавалось собрать их в единое целое, и в конце концов он махнул на танец рукой:

— Да ну ее на фиг, «в ту степь» эту... Тьфу!

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Оркестр грянул тем временем «Эх, яблочко, куда ты катишься» — песню, любимую и суровыми флотскими мореманами, и железнодорожниками, и «суконными рылами» из конвойной пехотной роты. Маленький Ванька ожил, встрепенулся, лихо повел плечами и выдал несколько таких изобретательных коленцев, что ему заплодировала добрая половина зала.

Приободренный атаман закрутился, словно волчок, на танцевальном пятаке, который старательно обходили официанты, опасаясь зацепить подносом кого-нибудь из лихих завсегдатаев-танцоров, выдал еще несколько коленцев, потом вихрем прошелся по окоему площадки, хотя мелодия «яблочка» не была ни вихревой, ни зажигательной, и снова сорвал аплодисменты.

Атаман был в своей тарелке. У железнодорожного инженера, чьи серебряные погоны были украшены молоточками, отнял даму — полную молодую блондинку с чувственным, сильно накрашенным ртом. Та не посмела отказать Калмыкову, покорно поднялась из-за стола, а железнодорожник смущенно отвел в сторону потемневший взгляд — он не мог в одиночку драться с охраной Маленького Ваньки. Калмыков начал выделывать такие кренделя, что ресторанный зал невольно замер. Маленький Ванька вспомнил и горцев, и их зажигательные танцы, прежде всего лезгинку, в ушах его невольно зазвучал бешеный топот ног, он вспомнил, как соревнуются жгучие горбоносые брюнеты в борьбе за обладание какой-нибудь красавицей с осиной талией, и даже музыку кое-какую вспомнил, народную — то ли кумыковскую, то ли кабардинскую... Маленький Ванька пребывал в ударе.

Утром две газеты в разделе светской хроники дали сообщения о посещении уссурийским атаманом ресторана «Золотой Рог».

Звезда Калмыкова поползла вверх, в зенит. Об этом славном часе атаман мечтал давно.

Днем атаман проезжал на автомобиле мимо ведомства Иванова-Ринова. Увидев часового, охранявшего вход, он гордо вздернул голову и отвернулся. Жест этот был замечен журналистом, случайно оказавшимся рядом, тот быстро смекнул, что к чему и какие кошки бегают между уссурийским атаманом и руководителем военного ведомства, и

БҮРСАК В СЕДЛЕ

к вечеру положил перед редактором своей газеты статью под названием «Это что, война?».

Статья на следующий день увидела свет. Правда, под другим названием. О неприязненных отношениях между Калмыковым и генералом Ивановым-Риновым стало известно всему Приморью, об этом судачили даже голопузые пацанята во владивостокских подворотнях.

ОКО как боевая единица русской армии — белой, естественно, — переставала существовать, в отряде уже ничего русского не оставалось, — может быть, только мат, умение без закуски выпивать стакан водки, да особая тоска, присущая только людям, родившимся на этой земле, все остальное у калмыковцев уже было японское — и оружие, и патроны, и воинский скарб, и даже материя, из которой портные шили офицерам ОКО форму. Еще пулеметы были английские...

Про Маленького Ваньку говорили:

— Скоро он и брехать будет по-самурайски.

Так оно, собственно, и было. Людей же, которые говорили такое про атамана, старались вылавливать. Больше их никто никогда не видел: людей этих превращали в обычный фарш для котлет — подопечные атамана, возглавляемые Михайловым, по части расправ здорово набили руку.

В рот японцам преданно смотрел и забайкальский атаман Григорий Семенов. Он не раз говорил своему уссурийскому коллеге:

— Держись япошек, это люди верные. Все остальные колеблются, крутят хвостами, закатывают глаза, говорят о дружбе, а по повадкам видно — предатели.

Семенов с многозначительным видом вздергивал вверх указательный палец, словно бы хотел проткнуть пространство, и умолкал.

В последний день октября восемнадцатого года в Хабаровске встретились три атамана: Семенов, Калмыков и амурский — Гамов. Маленький Ванька расстарался, атаманам воздали королевские почести. Как главам государств, отказа им не было ни в чем: ни в коньяке, ни в кураже, ни в девочках. Правда, пышных хабаровских матрон, занимавшихся популярным промыслом, трудно было назвать девочками — слишком уж земными, тяжеловесными они были, но все равно успех имели.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Вопрос у нас один, — объявил Григорий Михайлович Семенов, когда крепко выпили, — об объединении дальневосточных казачьих войск.

— Кому будет подчиняться? — нервно дернувшись, спросил Гамов.

— Этот вопрос давно уже не требует ни ответа, ни комментариев, — ухмыльнулся Калмыков.

— Японцам, — коротко пояснил Семенов. — Давай бумагу, будем писать протокол.

Григорий Куренев, обслуживавший «встречу на высшем уровне», немедленно притащил несколько листов хорошей лощеной бумаги, локтем разгреб на столе завалы еды и аккуратно положил листы на освобожденное место.

— Ручку с чернилами! — по львиному рявкнул на Куренева забайкальский атаман.

— Может, пишбарышню позовем, — предложил Калмыков. — Она сделает лучше нас.

— Барышню — потом, — осадил его Семенов, подтянул к себе стопку бумаги, расчесал пером «родно» жиденский темный чуб и вывел на верхнем, чуть покоробленном листе: «Протокол».

Протокол этот потом, конечно, переделали, — переписали и перепечатали, оформили по всем правилам канцелярской практики, — но основа его была заложена здесь, в большом доме о шести ставнях, выбранном уссурийским атаманом для переговоров.

Командовать объединенными казачьими войсками Дальнего Востока было доверено атаману Семенову.

Когда Семенов уезжал из Хабаровска, то на вокзале притянул к себе Калмыкова, облобызал его трижды и сказал:

— Ты, Иван, береги себя... Ты нужен России!

Маленький Ванька растроганно пошмыгал носом и, стерев с ресниц слезы, всхлипнул:

— И вы берегите себя, Григорий Михайлович!

Семенов, неожиданно сделавшись печальным, отер рукою свое круглое лицо, жестко сцепил зубы и произнес тихо, с большим достоинством:

— Мы все нужны России! — Притянул к себе одной рукой Калмыкова, другой Гамова, сжал их плечи, потом одного клюнул губами в макушку, —

БҮРСАК В СЕДЛЕ

это был уссурийский атаман, второго в щеку — это был атаман амурский, прошептал растроганно: — Сподвижники мои!

Через несколько дней в Хабаровск из Токио прибыл сиятельный граф Мибу — личный адъютант наследника японского престола. Первый визит, который он нанес в городе, был визит к Калмыкову. Граф передал разные пустые слова от наследника, выложил несколько недорогих подарков. Растроганный атаман приказал шить наследнику мундир своего войска с широкими желтыми лампасами и с неуклюжим поклоном вручил графу.

— Передайте их сиятельству, — сказал он, — форму подведомственного ему войска. Мы считаем их сиятельство нашим командиром.

Даже те, кто был предан Маленькому Ваньке и кормились из его руки, недовольно сморщили носы: это было слишком, но атаман недовольства на лицах сподвижников не заметил. Поклонился графу Мибу в пояс.

Если бы не самочинные действия атаманов, жаждавших единоличной власти, ситуация на Дальнем Востоке была бы совсем иной. Барон Будберг, будущий колчаковский министр, управляющий военным ведомством, оставил после себя воспоминания. Он все, что видел, заносил в дневник, где называл Семенова, Калмыкова и примкнувших к ним атаманов обыкновенными разбойниками, Хорвата — длиннородым харбинским Уилиссом и так далее. Вряд ли голодные, холодные, зачастую плохо вооруженные красные смогли бы одолеть их, если бы силы белых не были так разобщены действиями атаманов.

А они не только набили атаманам физиономии, как и всем остальным, но и вообще загнули «всем белым салазки за спину».

Досталось, как мы знаем из истории, и японцам. Впрочем, делать ставку японцам было не на кого — только на атаманов. Они вновь начали закрывать глаза на бесчинства, творимые Калмыковым, — тот уничтожал людей, как блох, причем не только своих противников и тех, кого он не любил, а всех подряд.

В ночь с семнадцатого на восемнадцатое ноября, в частности, на станции Хабаровск были расстреляны одиннадцать человек. Тела убитых даже не удосужились зарыть — их бросили в канаву недалеко от железнодорожных путей.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Об этом местные жители сообщили японцам. На место расстрела приехал генерал Оой, начальник 12-й дивизии, походил вокруг, хлопал блестящим стальным стеклом по крагам и приказал доставить начальника калмыковского штаба Савицкого. Свободной машины под рукой не было, и Оой послал за штабистом свой автомобиль.

Савицкий приехал настороженный.

Оой потыкал стеклом в сторону канавы, где были свалены трупы:

— Что это такое?

Савицкий в ответ приподнял плечи:

— Не знаю. Я ничего не знаю.

— Зато знает мой начальник штаба, — назидательно произнес генерал Оой.

Будберг записал в дневнике, что «атаманы драпируются в ризы любви к Отечеству и ненависти в большевизму. Каторжный Калмыков двух слов не скажет, чтобы не заявить, что он идейный и активный борец против большевиков, а японцам должно быть лучше всех известно, с кем и какими средствами борется и расправляется этот хабаровский подголосок Семенова».

Дальний Восток трещал по швам, рвался, рассыпался и только одна сила крепла и готова была навести тут порядок — красные.

Наряд калмыковцев попал в засаду на одной из окраинных хабаровских улиц. Улица та была невзрачная, кривенькая, словно бы специально созданная для таких засад. Наряд не должен был здесь появляться, но старшему — бравому уряднику из молодых, сообщили, что некая бабка Варя Курносова открыла прямо из окна своего дома продажу крепкого первача, которым можно заправлять даже зажигалки, такой чистый и крепкий получился напиток, — старший вскинулся и, поправив усы, скомандовал:

— За мной!

Нос у казака хоть и не отличался особым нюхом, но питье он ощущал издалека, выпить урядник любил очень, поэтому мигом раскраснелся, взгляд у него сделался веселым, он гикнул и пустил коня в галоп. Наряд понесся следом.

Через десять минут казаки уже находились на темной кривой улочке, в третьем с краю доме было расположено среднее окно, в нем виднелась

БҮРСАК В СЕДЛЕ

дородная фигура старой женщины с остриженными под бурсацкий горшок седыми волосами.

— А ну, старая карга, гони сюда бидон с первачом — рывкнул на нее урядник. — Приказ штаба ОКО — реквизировать первач! Понятно?

Взгляд старухи испуганно посветлел, она отчаянно замахала руками:

— Н-нет у меня ничего!

Бравый урядник издевательски захохотал.

— Брешешь, ведьма!

— Нету-у!

Урядник, смеясь, вывернул из ножен шашку.

— Брешешь!

Старуха пискнула по-девичьи, взметнула над собой в молитвенном движении руки и исчезла в глубине дома. В то же мгновение с треском распахнулось несколько ставней напротив, в оконные проемы высунулись стволы винтовок.

Грохнул залп.

Урядника вынесло из седла и отбросило от коня метров на пять, будто попал под паровоз; лицо его исказилось, окрасилось кровью, один глаз, выбитый пулей, размазался по щеке, двух его напарников — нестарых еще казаков с кручеными тугими чубами, выбивавшимися из-под папах, также не стало — пули швырнули их под копыта коней, казаки, уже мертвые, задергались, заскребли ногтями по мерзлой земле, окрасили ее кровью.

Из дома выглянул товарищ Антон, пробежался взглядом по убитым, произнес поспешно, задыхаясь словно после бега:

— Все! Уходим!

Три стремительные тени выскользнули из двери дома, одну из них Антон задержал, проговорил тихо, по-прежнему страдая от одышки:

— Молодец, Аня, ты стреляла лучше всех!

Утром калмыковцы чистили улицу, на которой был уничтожен казачий наряд, перевернули вверх дном избу, приютившую нападавших, — это был брошенный дом, хозяин которого умер три года назад и до сих пор в него никто не вселился, обследовали соседние дома, до мелочей восстановили картину происшедшего... Занимался этим лично Михайлов.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Виноватых тут нет, — проговорил Михайлов угрюмо, почесал пальцами лысеющий лоб, — вот картина какая вырисовывается. Что делать?

Юлинек тоже был включен в следственную группу и, хотя в происшедшем не разобрался, — да и не до того было, — дал совет:

— Арестуйте, господин начальник, владельцев этих хат, — он обвел рукой дома, стоявшие рядом с большой холодной избой, из которой велась стрельба. — Во-первых, люди будут знать, что в нас без наказания стрелять нельзя, стрелявшие обязательно будут наказаны, во-вторых, может быть, мы узнаем что-нибудь новое, а в-третьих... В-третьих, другим будет неповадно так поступать, — Юлинек подвигал из стороны в сторону тяжелой нижней челюстью. — Советую, господин начальник.

— Что ж, совет — штука хорошая, — похвалил палача начальник юридического отдела и отдал приказ арестовать хозяев близлежащих домов. Их оказалось одиннадцать человек.

Тела этих людей нашли утром следующего дня, — трупы были беспорядочно свалены в мусорную канаву.

Маленького Ваньки в тот день в Хабаровске не было, — уехал, — иначе бы и ему досталось от Ооя.

Будберг запоздало записал в своем дневнике: «Обер-хунхуза Семенова послали уговаривать унтер-хунхуза Калмыкова быть поосторожнее по части угробливания людей и калмыкации чужой собственности. Разве уговоры могут помочь, раз атмосфера безнаказанности уничтожила все препоны для насилия и преступления?»

Впрочем, к этому моменту атамана Семенова в России не было, а харбинские газеты сообщили, что Григорий Михайлович «завел себе временную атаманшу из шансоньеток и преподнес ей колье в сорок тысяч рублей».

В конце октября Будберг зафиксировал следующее: «Калмыков перебрался из Хабаровска на станцию Гродеково: здесь он ближе к Семенову, и ему легче нажимать на Владивосток и его сообщения с Харбином; главное же, можно возобновить обыски поездов и, ища крамолу и красноту, находить кредитки, золото, драгоценности, без коих трудно существовать широкому атаманскому бюджету.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

И все боятся этого разбойника, несмотря на то, что достаточно хорошей роты, чтобы его раздавить...»

Будберг не без оснований полгал, что именно такие люди, как Маленький Ванька, да «читинский разбойник Семенов» и погубили Россию.

Атаман тем временем нашел новую статью для пополнения своей кассы — разделил дальневосточную тайгу на четыре лесничества — Ванюковское, Бикинское, Иманское и Полтавско-Гродековское, широко оповестил богатую отечественную публику и заинтересованных иностранцев о предстоящих публичных торгах, после чего не замедлил провести эти торги, — он спешил, очень спешил, поскольку и казаки, и крестьяне дружно выступали против разбазаривания богатств родной земли... Но Маленькому Ваньке на «родную землю» было наплевать, на сохранение ее богатства — тем более. Торги состоялись.

Карман атамана заметно распух, утяжелился; проданный японцам лес принес ему полмиллиона рублей чистым золотом. Таких денег не приносила ни чистка пассажирских вагонов на «колесухе», ни грабеж деревень в тайге, ни охота за купцами, перемещавшимися по Дальнему Востоку с запасами золота.

Японцы хоть и повышали иногда на Калмыкова голос, хоть и делали вид, что вот-вот отшлепают его и грозно посверкивали косыми очами, по-прежнему ничего не делали, чтобы остановить атамана. В ответ благодарный Калмыков позволял им творить на Дальнем Востоке все, что те хотели.

Недовольство Калмыковым росло. Причем росло не только среди мирного населения, но и среди тех, кто находился у Маленького Ваньки на довольствии. Особенно способствовали этому бывшие красноармейцы-казаки, воевавшие на стороне большевиков, а потом перешедшие к атаману, под его флаг, — Калмыков простил их, и прежде всего тех, кто был награжден Георгиевскими крестами и уравнил перебежчиков в правах со своими стариками-добровольцами.

Двух таких казаков, награжденных серебряными солдатскими Георгиями, чересчур недовольных атаманом, выловил Вацлав Юлинек. Лично отвел бедолаг к оврагу, на дне которого виднелось несколько домиков-засыпушек и всадил в их затылок по свинцовой площадке из нагана. Даже контрольных выстрелов не стал делать — был уверен в своей работе.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Длинное лицо его закаменело, взбугрилось костями, — каждая кость проступала в отдельности, была заметна, маленькие глазки потяжелели, налились свинцом, — некоторое время он следил, как два трупа катятся вниз, на дно оврага к домикам, потом развернулся и, размеренно помахиная длинными обезьяньими руками, ушел.

Юлинека в отряде Калмыкова считали колдуном, оборотнем и, завидя на улице нескладешную фигуру чеха, старались обойти стороной, либо нырнуть в какой-нибудь магазин.

Впрочем, чех от такого отношения к нему не страдал, ему был наплевать на всех, кто его окружал.

Грехов у чеха было немало. Почти никому в Хабаровске не было известно, что сборный венгерский оркестр был расстрелян по его воле — Вацлава Юлинека. А в оркестре не только венгры были, но и австрийцы, очень толковые музыканты.

Оркестр этот был образован — смешно сказать — по инициативе дамского коммерческого кружка, во главе которого стояла то ли графиня, то ли баронесса, этого Юлинек точно не знал, да и косточки той графини-баронессы уже давно сопрели. Первый свой концерт в магазине Пьянкова оркестр дал три года назад.

С тех пор оркестр никому не отказывал, а если и прибежал кто-нибудь из этого магазина и просил «пожаловать в торговую залу», — оркестранты, независимо от дел, поспешно подхватывали инструменты и перемещались к Пьянкову. Еще они любили играть в кофейне «Чашка чая», расположенной в людном месте, на центральной хабаровской улице... Раньше оркестрантов конвоировали солдаты из охранных рот, потом, весной семнадцатого года, когда в Петрограде у властного руля очутился сладкоречивый адвокат Керенский, конвоиров убрали.

Юлинек несколько раз слышал выступления музыкантов — в ту пору, когда те еще только сбивались в единое целое, подлаживались друг к другу. Они ему очень понравились своей игрой, так понравились, что у будущего палача даже слезы на глазах выступали: печальная музыка оркестра пронимала его до души (если, конечно, душа у Юлинека была).

Но не только это привлекало Юлинека к оркестру. Он увидел молчаливую строгую девушку, которая тоже любила слушать музыкантов. Девушка была гибкая, тонкая, как камыш на озере под Прагой, где Юлинек

БҮРСАК В СЕДЛЕ

любил ловить рыбу, с огромными черным глазами, — то ли полькой была она, то ли корейанкой — не понять. Юлинек и так пробовал подсластиться к ней, подбить клинья, и этак — ничего из этого не получилось, девушка даже ни разу не посмотрела в его сторону...

Юлинеку было обидно: ну чем он хуже человека, к которому она приходит, — белобрысого, с короткими пороссячьими ресницами, обрамлявшими крохотные, горохового цвета глаза австрияка, игравшего на бас-гитаре? У австрияка были мелкие, в выщербинах, нездоровые зубы, и тощие, словно бы он никогда не занимался физической работой, руки.

Австрияк очень не нравился Юлинеку, а вот черноокая молчаливая подружка его нравилась так, что Юлинек готов был на ней хоть сегодня жениться. Девушка эта с простым русским именем Мария приковывала к себе взгляды не только Юлинека, но и многих хабаровских мужиков: они словно бы в плен попадали... Хотелось бы уйти, обрезать концы, да не дано было — гольдка прочно держала их...

С хабаровских бугров был хорошо виден Амур — плоский, схожий с морем, словно бы наполненный свинцом. Говорят, Мария любила купаться в Амуре. Юлинек ходил на набережную реки в надежде подглядеть: а вдруг он увидит купающуюся Марию? Но Марии не было, и чех невольно наливался холодным бешенством: ну почему он так ведет себя при одной только мысли об этой девчонке?

Музыкант-австрияк на нее даже внимания не обращает, норовит отмахнуться, а она все больше и больше липнет к нему, становится покорной и счастливой, когда белобрысый этот губошлеп останавливает на ней свой взгляд и по-пороссячьи надувает щеки. Нет, породу женскую не понять, слишком уж загадочные, инопланетные существа эти бабы...

Юлинек страдал, но ничего поделать не мог — видать, удел у него был такой: страдать. Красное лицо его наполнялось тяжестью, брови грозно смыкались — попался бы ему в эту минуту любитель кислого сыра, сбитого из молока австрийских буренок, он бы его живо в кусок мяса, приготовленный для бифштекса, превратил... Тьфу!

Юлинек появился в Хабаровске за два дня до ухода из города красных — никем не признанный, в отлично сшитом пиджаке, украшенном этикеткой, свидетельствовавшей, что одежда эта произведена в Тулоне. Бывший пленный, он рассчитывал на лояльность жителей: те относи-

лись к чехословакам в сочувствием и пониманием — еще не нахлебались вдоволь кожаных плеток чешских офицеров, не poznали, насколько загребуши руки у солдат-собратьев по славянской принадлежности, — потому так и относились...

Но все было еще впереди — скоро и Сибирь-матушка, и Дальний Восток вдоволь наедятся и того и другого.

Беспрепятственно Юлинек пробрался к кофейне «Чашка чая», поднялся на второй этаж, оттуда был виден Амур, искал глазами белобрысого австрийца. Австрийца не было видно, и у Юлинека расстроено задержалась щека: наверное, с Марией милуется... Вот, гад!

— Чего будет вам угодно? — манерно, на плохом русском языке спросил у Юлинека администратор оркестра, тщедушный носатый еврей с Балатона.

— Музыки! — не задумываясь, ответил Юлинек.

— Всем нужна музыка, — глубокомысленно произнес администратор, — хорошие хозяйки, когда ныне доят коров, тоже ставят на колесо граммофона пластинку.

— Через два дня здесь будет атаман Калмыков, — сообщил Юлинек.

— Да-а-а? — не поверил администратор, озабоченно потер лоб, шевельнул полными влажными губами, будто приложил к ним мундштук серебряной трубы, и чех понял, что горбоносый противный еврейчик этот не очень-то представляет себе, кто такой Калмыков, — в нем возникла злость, подкатила к горлу, обварив все внутри противным теплом. Юлинек зашипел, словно Змей Горыныч, наступивший лапой на уголья, вылетевшие из горящего костра, нервно дернул головой, но в следующий миг взял себя в руки.

— Иван Павлович Калмыков — спаситель России, — так же манерно, как и администратор, его же трескучим голосом произнес палач, выпрямился, враз становясь осанистым, — город будет встречать атамана и его войска по высшему разряду, — сказал он.

— Да-а-а? — администратор вновь озадаченно потер лоб. — Но у нас ведь струнный оркестр...

— Ну и что? На трубах-то вы дудеть умеете?

— Умеем, но оркестр ваш — струнный, — горбоносый, с большими черными глазами навывкате администратор попробовал втолковать Юлинеку

БҮРСАК В СЕДЛЕ

некие прописные истины и надеялся, что это у него получится, но очень скоро надежды эти угасли. — Мы не можем на гитаре с мандалинами дать громкий звук, нас не будет слышно. Нас забьют копыта лошадей, железный цокот подков. Это будет выглядеть жалко, мы опозоримся.

— Я же сказал — возьмите трубы, и все будет в порядке, — Юлинек неприязненно подвигал нижней челюстью, зыркнул глазами в один угол помещения, потом в другой: не видно ли где красивой девушки Марии? — Марии не было видно, и чех поугрюмел еще больше, снова подвигал нижней челюстью, будто жерновом, перетирающим зерно, — а с этими жвынделками, — он поднял голову, указывая подбородком на две мандолины, висевшие на стене, — атаман Калмыков вас просто расстреляет.

Администратор подумал, а не дать ли этому назойливому посетителю денег, чтобы он отвалил от оркестра подальше и дело с концом, но денег у него не было — оркестр дал два благотворительных концерта в пользу инвалидов войны и детей-сирот, не взял за выступление ни копейки и сейчас сидел без денег. Юлинек понял, о чем думает администратор, и отрицательно поводит ладонью по воздуху.

— Не надо денег, — произнес он угрюмо, — это бесполезно...

Тогда я ничем вам помочь не могу, — сказал администратор, — извините, уважаемый...

— Ничем, значит? — неприятно подвигал нижней челюстью Юлинек.

— Ничем абсолютно, — подтвердил администратор.

В это время в комнату вошел розовощекий белобрысый австрияк, ухажер Марии, Юлинек покосился на него, и по лицу палача поползли яркие красные пятна.

— Хорошо, — угрожающе произнес он и покинул помещение, в котором музыканты хранили свое имущество.

— Очень неприятный человек, — сказал австриец администратору, — у него очень тяжелое лицо.

— Плевать! — отмахнулся администратор. — Мы в политику не играем и нашим музыкантам все равно, кто придет к власти — Ленин или Колчак.

— Колчак лучше, — сказал австриец. — Он — военный и понимает нашего брата.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Я сказал — все равно, — раздражаясь, администратор повысил голос, — главное, чтобы платили деньги за нашу игру.

— Русские — люди щедрые и, если у них есть деньги, не зажимают, платят. Когда начинается репетиция?

— Через час.

Пятого сентября восемнадцатого года в Хабаровск вошел Калмыков, и пятого сентября оркестр, игравший в коммерческом кафе «Чашка чая», был арестован и расстрелян в полном составе — Юлинек выполнил то, что задумал.

После двух залпов, уничтоживших оркестр, над парком, примыкавшем к «пострельной» скале, долго летали вороны, кричали возбужденно, никак не могли успокоиться: то ли еду чувствовали — протухнут музыканты, славный пир получится, то ли боялись повторных выстрелов. На этот раз по черной галдящей стае.

Юлинек начал методично, по квадратам, как опытный стратег, прочесывать Хабаровск — ему важно было найти чернооую Марию, увидеть ее, постоять рядом, произнести несколько слов — и тогда в нем произойдет обновление: он делается сильнее, но Марию так и не нашел. И понял, какую ошибку совершил — он сам отрезал, выбросил эту девушку из собственной жизни. Ведь белобрысый австриец был приманкой, она, словно редкая рыба, приплывала к нему, как на приманку шла, а когда ее не стало, рыба исчезла навсегда.

Слишком поздно понял это Вацлав Юлинек, взметнул над головой длинные цепкие руки, ухватил себя за волосы. Дернул в одну сторону, в другую, взвыл от боли. Через несколько минут он отрезвел, пришел в себя и долго сидел, опустошенный, вывернутый наизнанку. А потом заплакал.

Но слезы палача — это слезы палача, им нельзя верить: всхлипывая от жалости, этот человек может расстрелять кого угодно, даже собственную мать.

Юлинеку везло на приключения, он словно был создан для того, чтобы попадать в разные передраги.

Темным октябрьским вечером, когда голодно выл ветер и ломал на деревьях сучья, он решил прошвырнуться по «ночным бабочкам» — захотелось женского общества.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Около дома, где располагалась канцелярия хабаровского столоначальника, он присмотрел подходящую девицу — крутобедрую, с собольими бровями вразлет и пышным белым лицом. Девица напоминала Юлинеку вкусный сдобный хлеб, целый каравай — и ходят же такие караваи по хабаровским тротуарам! Юлинек вкусно почмокал губами и достал из кармана несколько красненьких — бумажных царских десятирублевков.

Девица пренебрежительно подняла верхнюю губу.

— Пипифакс не берем!

Что такое пипифакс, Юлинек не знал, глянул вопросительно на девицу.

Та шевельнула роскошными собольими бровями:

— Заплати, мальчик, рыжьем и все будет в порядке.

От близости этой девицы — рукой прикоснуться можно было к этой роскошной коже, к красивому лицу, — у Юлинека перехватило дух, голос сделался скрипучим, как у старой вороны.

— А что такое рыжье? — спросил он.

— Темнота! — пренебрежительно бросила девица. — Рыжье — это золото. Понял?

— Понял.

— Гони рыжий пятирублевик, и я пойду с тобой хоть в кусты.

— А меньше нельзя? — жалобно спросил Юлинек.

— Меньшего достоинства рыжье не бывает — это раз, и два — уж больно рожа у тебя противная, как у жеребца, страдающего запорами.

У Юлинека невольно сморщилась лицо, словно он сжевал кислый дичок и едва не подавился им.

— Ну и лярва! — пробормотал он сдавленно, слабая от сладкой истомы, подступившей к горлу.

— За общение с тобой надо не пятерку брать, а червонец, — добавила девица. — И то мало будет.

Юлинек крикнул. «Рыжье» у него было, перепадало чаще, чем он ожидал, — многие люди берегли золото на черный день, поскольку знали — монеты эти не поддаются никакой девальвации.

— Ну! — испытующе глянула на него девица, уперла руки в боки, пышные и соблазнительные.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Пошарив в нагрудном кармане френча, Юлинек достал оттуда пятирублевую «николаевку», ловко подкинул монету — яркая желтая чешуйка блеснула в темном воздухе, вызвала у палача невольный восторг, у него даже губы задрожали. Девушка поступила еще ловчее — протянула руку, и золотая чешуйка исчезла в ее ладони, она словно припечталась к ней.

— Пошли! — деловито произнесла она.

Причмокивая сладко, жмурясь от предстоящего удовольствия, Юлинек двинулся следом. Спросил лишь:

— Идти далеко?

— Недалеко.

Не думал Юлинек, что в центре Хабаровска, рядом с «присутственными» местами и особняками богатых купцов, могут быть зияющие дыры — черные проходные дворы, голубиные клетушки, из которых раздавался грубый мужской храп, кособокие лачуги о двух лапах, где жили ведьмы, а из окошек высывались метлы. И это все — в центре Хабаровска! Юлинек удивленно покрутил головой: в его родной Праге такого, например, нет.

Неожиданно он почувствовал страх, чьи-то холодные пальцы сжали ему горло. Светлая жакетка пышнотелой девушки расплывавшимся неясным пятном маячила впереди.

— Эй! — сдавленным голосом позвал Юлинек. — Нам далеко еще идти?

— Уж пришли. Осталось чуть.

Девушка громыхнула в темноте старым ведром, звук был дребезжащий, ржавый, потом громыхнула еще раз и открыла дверь в наполовину растворенную в темноте лачугу.

— Сюда, — скомандовала девушка, и Юлинек послушно свернул к лачуге.

Он едва переступил через порог, как сильный удар сбил его с ног. Юлинек очутился на полу и в следующий миг отключился.

Очнулся он утром от холода: Юлинек лежал на голой, присыпанной колючим снежком земле, уткнувшись головой в заплыванную чугунную урну, и стучал зубами. Оглядевшись, он поспешно отполз от урны, перевернулся — было мерзко. Проговорил едва слышно, тонким, ослабевшим голосом:

БУРСАК В СЕДЛЕ

— Где я?

Неожиданно неподалеку увидел дворника-татарина в чистом, сшитом из брезента фартуке, при тусклой латунной бляхе, прикрепленной булавкой прямо к брезенту.

— Где я? — спросил у дворника Юлинек.

— Как где? В Хабаровске, — ответил тот.

Правый рукав на модном полупальто Юлинека был оторван, в пролеху вползал крапивно острекающий холод. Палач вновь передернул плечами. Где находился Хабаровск, он не мог вспомнить — удар отшиб ему мозги. Но главное было не это, главное — исчезли вшитые в ватную пройму полупальто деньги, пятнадцать золотых червонцев, которые Юлинек берег на черный день и рассчитывал увезти в свою Чехию.

— Хо-хо-хо! — горестно простонал он и умолк. Угодил он в беду, словно петух в похлебку, даже лапами подергать не успел. Оглушили его и обобрали, словно липку, лишь голый ствол остался.

— Иди-ка ты, бачка, домой, пока тебя калмыковский патруль не замел, — посоветовал дворник, — патруль тебе не только рукава — ноги оторвет.

Это точно. Своих людей Юлинек знал.

Он поспешно пополз прочь, подальше от этого проклятого места.

Евгений Помазков и Катя Сергеева венчались в небольшой сельской церковке у знакомого батюшки, который взял денег с них очень немного, по-божески, — попросил только несколько рублей за вино и медные обручальные колечки. Все остальное сделал бесплатно. Перекрестил новобрачных и спросил совершенно неожиданно:

— А ты, Евгений, за белых или за красных, не пойму чего-то...

— Пока я в калмыковском войске состою, а дальше видно будет. Жизнь ведь — штука полосатая...

— Она не только в полоску бывает, но и в клеточку. Бойся жизни в клеточку, Евгений. Все остальное — ерунда. А теперь перейдем в трапезную, перекусим, чем бог послал, отметим важное событие в нашей жизни, дорогие Екатерина и Евгений.

Все-таки очень хороший человек был батюшка Алексей, даже свадебный обед в церкви предусмотрел.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Во время обеда священник тщательно отер бороду, стряхнул с нее хлебные крошки и, становясь строгим, будто принимал у молодых исповедь, спросил:

— А что с Аней, дочерью твоей, происходит? Жива ли?

Катя вспыхнула, словно маков цвет, и промолчала, а Помазков, вздохнув, проговорил:

— Не знаю, что с ней... Исчезла полгода назад и ни одной весточки. Ни письма, ни привета через знакомых — ничего.

Отец Алексей покосился на икону Спасителя, висевшую на стене, старую, в потемневшем серебряном окладе, перекрестился.

— Жива она, жива, — произнес он убежденно.

Помазков глянул на отца Алексея неверяще:

— Жива?

Отец Алексей в коротком утвердительном движении наклонил голову.

— Жива, Евгений, жива...

Повернув голову к иконе, Помазков долго разглядывал серебряный оклад, пытаясь понять, где и каким образом священник мог подглядеть и понять, что Аня жива, но, видать, что дано служителям церкви, не дано мирянину — ничего Помазков не увидел и вновь вопросительно покосился на отца Алексея.

— Жива, — подтвердил тот вторично, — раз говорю, что жива, — значит жива.

И такая убежденность прозвучала в его словах, такая вера, что у Помазкова отлегло на душе: «Раз говорит батюшка, что Анька жива, — значит жива...»

Аня Помазкова находилась со своей группой в Хабаровске, через каждые три дня меняла квартиру — так велел товарищ Антон, объясняя это обязательным условием конспирации, — участвовала в устройстве засад и стреляла калмыковцев.

Пока на землю не лег снег — все удавалось, но когда под ногами захрустел жесткий белый панцирь, прочный, как железо, и стало понятно, что до весны он не растает, группа начала допускать промахи.

Четыре дня назад на окраине Хабаровска уложили пьяного сотника, который вечером приставал к молодой девушке, громко орал и грозился перестрелять всю улицу, на которой он находился.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Группа товарища Антона в три человека — сам Антон, Аня и верный напарник Семен, набравшийся в Хабаровске опыта и смелости, — оказалась рядом. Руководитель группы мигом оценил обстановку, приподнял бровь, прикрывавшую тяжелый правый глаз, и тихо произнес:

— Товарищ Аня!

Аня Помазкова все поняла, выступила вперед и сунула руку в утепленную жеребковую жакетку.

Сотник, не почуяв опасности, продолжал разоряться, драл глотку и в очередной раз пытался ухватить молодайку за грудь, но та благополучно увертывалась от него, семенила ладными сапожками по сухому скрипучему насту и старалась уйти от калмыковца. Но уйти не могла — сотнику надо было бы выпить еще пару стаканов браги и тогда он, сморенный, может быть, отстал бы от молодайки... А пока он находился в силе, в самой силе — крепкий организм его требовал действия, приключений и сотник продолжал блажить на весь Хабаровск.

— Я тебя сейчас шашкой располовину, — пообещал он молодайке.

Аня, услышав это, сжала рот в плотную твердую линию и ускорила шаг. Находясь примерно в полутора метрах от сотника, она проворно выхватила из-за пазухи револьвер и с расстояния, на котором не бывает промахов, всадила пулю буйному мужчине прямо в лоб. Тот поперхнулся на полуслове, глянул на Аню с изумлением и пьяно... икнул. Он не понял, что с ним произошло, он еще жил, хотя уже был мертв, раскрыл рот, чтобы выплеснуть в пространство очередную порцию ругани, но язык перестал повиноваться ему, и сотник изумился еще более — не может того быть!

Может.

Калмыковец провел по пространству рукой, норовя ухватиться за плечо молодайки, но пальцы его, прежде цепкие, вдруг превратились в бескостные вялые колбаски, не слушающиеся человека; сотник неверяще потряс головой и повалился на землю. Аня, даже не повернув головы в его сторону, быстрыми шагами прошла мимо и нырнула в ближайший проулок.

Следом за ней нырнул товарищ Антон, — сделал это вовремя, а вот напарник их товарищ Семен уйти незамеченным не успел — сзади слышался топот копыт и на место расправы с сотником вылетел конный калмыковский наряд.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Семен прощально посмотрел вслед командиру — Антон даже не оглянулся, быстро уходил прочь, втянув голову в плечи, словно бы хотел скрыться в собственном теле, — и достал из кармана пистолет. Взвел курок.

Казаки задержались около упавшего сотника на мгновение, молодайки уже не было, исчезла, — один из калмыковцев, самый глазастый, увидел прижавшегося к стене дома Семена, прокричал звонко:

— Вот он!

Наряд с места рванул галопом, Семен выставил перед собой пистолет, поспешно выстрелил — мимо, снова нажал на курок — опять мимо, выстрелил в третий раз — попал!

Глазастый казачок взвизгнул испуганно — пуля чиркнула его по уху, оторвала кусок хряща; лошадь пугливо шарахнулась в сторону, поднялась на дыбы, и глазастый калмыковец, окропляя правый погон кровью, вылетел из седла, будто невесомое птичье перышко, покатился по тонкому твердому снегу, судорожно взбрыкивая ногами.

Заорал запоздало:

— А-а-а-а!

Семен нажал на спусковой крючок в четвертый раз, пистолет в ответ громко щелкнул. Семен с недоумением посмотрел на ствол, стараясь понять, почему не последовало выстрела. То ли патрон отсырел, то ли пистолет перегрелся в кармане. Он нажал на спуск в пятый раз — выстрела не последовало опять, и в этот момент на голову Семена опустилась казачья шашка.

Голова Семена развалилась на две части, залила угол дома кровью; казак, дотянувшись до него шашкой, ударил еще раз. Семен кулем распластался на снегу.

— Забери у него пистолет, — приказал казаку старший наряда, — не оставляй оружия.

— Ага, — казак сунул шашку в ножны, спрыгнул с коня. Подобрал пистолет, стер его рукавом полушубка, протянул старшему: — Вот...

— Держи его у себя, — велел старший, — на рынке обменяем на самогонку.

Он пустил лошадь вскачь, проехал проулок до последнего дома, развернулся.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Ну что, никого нет?

— Никого.

Глазастый казак лежал на снегу и, держась окровавленной рукой за ухо, не умирал.

— Ухо, — простонал раненый.

— Вижу, что не задница... От таких ран, говорю, еще никто не скончался, — старший повысил голос. — Ты чего, не слышишь? Поднимайся!

Через несколько минут калмыковский наряд покинул проулок. Тело убитого Семена они оставили лежать на земле.

До утра из домов не вышел ни один человек — боялись. За это время тело несчастного Семена окаменело, разрубленная голова превратилась в мясной оковалок, на руках выступила ледяная махра.

В ту ночь калмыковцы убили на хабаровских улицах еще двух человек.

В ноябре восемнадцатого года барон Будберг сделал следующую запись в дневнике — касалась она атамана Калмыкова: «Его политика совершенно ясна: имея деньги, он рассчитывает приобрести симпатии казачества, раззадорить казаков идеей полной автономии и возвращения им земель надела Духовского и сразу ошарашить казаков выдачей им всего, на что они заявляют претензии за прошлое время; в этом отношении он отлично учитывает любовь казаков к деньгам и понимает, что тот, кто первый удовлетворит казачьи жалобы, получит авторитет и поддержку; одновременно он учитывает свою силу, небольшую, но состоящую из отчаянных головорезов.

Кулака, который был бы сильнее его и мог его пристукнуть, пока что не видно, потому атаманишка и пользуется сложившейся для него обстановкой».

Можно понять, что именно так здорово раздражало барона Будберга. Барон был профессиональным военным, в Первую мировую войну командовал одним из корпусов на Северном фронте, потом поступил на службу в Красную Армию. Пробыл там недолго, оставил службу и через всю Россию ринулся на Дальний Восток, в Японию — искать там средства и силы для борьбы с большевиками, но очень неласково был встречен в Токио российским послом и был вынужден вернуться домой, в Россию.

Впоследствии Будберг управлял военным министерством у адмирала Колчака. Больше всего на свете он не любил анархию, расхлябанность, разнузданность, глупость, напыщенность, пьянство, — в общем, это был настоящий военный, из тех, кто любил Россию и болел за нее. Жестокости Калмыкова не понимал совершенно. Он считал — такое качество, как жестокость (скорее, жесткость), надо проявлять на фронте в бою, но не в тылу, не в мирной жизни, среди баб и детишек...

Поэтому Будберг и хлестал так лихо Семенова, Калмыкова и других атаманов, в том числе и мелких (надо слишком долго присматриваться, чтобы их разглядеть). Других способов борьбы с этими доморощенными разбойниками он не видел. Ноябрь восемнадцатого года в Хабаровске был холодным, особенно вторая половина месяца, — снега было немного, морозы безжалостно сжимали твердую железную землю, старались изо всех сил, земля по-старчески кряхтела, ежилась, стонала, мучалась, — ее бы укрыть сейчас теплым снежным одеялом, все лучше бы чувствовала себя старуха, но снега не было, приходилось матушке страдать. На амурский берег невозможно было выйти — ветер сбивал людей с ног, пытался уволочь куда-то, прожигал тело до костей...

Юлинек бесцельно ходил по Хабаровску, вглядывался в женские лица — рассчитывал встретить ту самую девицу с пышными формами, которая так безжалостно с ним разделалась.

На четвертый день он неожиданно увидел ее — высокая, в модных шнурованных ботинках и длинной легкой шубке, она уверенно стучала каблуками по тротуару, направляясь куда-то по делам. Те же пышные формы, знакомые... Злой огонь опалил Юлинека изнутри.

— А ты, с-сука! — прошептал он, едва шевеля белками, враз одеревневшими губами. — С-сука!

Он сделал несколько длинных стремительных прыжков, настиг беспутную девицу и ухватил ее за руку.

— Стой!

Девица остановилась, глянула негодующе на Юлинека:

— Что вы себе позволяете?

В первое мгновение Юлинек опешил: а ведь это не она, это другая девица, но тут же одернул себя: она это, точно она!

— Вы задержаны! — стискивая зубы, прохрипел Юлинек.

БУРСАК В СЕДЛЕ

— Что вы себе позволяете?

— Чего надо, то и позволяю, — Юлинек сжал руку девицы так, что у той в предплечье чуть не переломило кость.

Девица закричала, но Юлинек на крик даже внимания не обратил — поволок ее на станцию, туда, где стояли три страшных вагона военно-юридического отдела. По дороге увидел автомобиль, приписанный к отделу, — потрепанный «руссо-балт», за рулем которого сидел кадет Казыгирей.

— Казыгирей! — перекрывая шум мотора, зычно выкрикнул Юлинек. Автомобиль остановился.

Кадет приподнялся на сиденьи, по-вороньи обеспокоенно закрутил головой: кто его зовет? Увидел Юлинека, махнул ему рукой:

— Ну?

Юлинек подвел к нему девицу, втокнул в холодную кабину.

— Давай, кадет, на станцию, к нашим вагонам. Живее!

Пустив клуб сизого вонючего дыма, автомобиль быстро затрещал мотором, под колесами визгливо, вызывая чес на зубах, заскрипел снег. Несколько прохожих, оказавшихся рядом, испуганными глазами проводили машину.

Через десять минут автомобиль уже находился на станции. Девицу воткнули в один из вагонов, усадили на грубую расшатанную табуретку.

Юлинек сел напротив. Расправил на коленях бриджи, сурово глянул девице в лицо.

— Ты меня, мадам, помнишь?

— Нет.

— Ге-е-е, — Юлинек укоризненно показал головой и поцекал языком, — нехорошая ты женщина!

Лицо девицы залила краска.

— Прошу мне не тыкать!

Юлинек вновь печально поцекал языком.

— А я вот тебя хорошо помню, — сказал он, потрогал пальцами макушку, — до сих пор голова болит.

Девица, которая хотела бросить Юлинеку в лицо то-то резкое, неожиданно поджала губы и испуганно глянула на Юлинека. Тот вздохнул:

— Ну и память у вас, у баб... Короче спичек.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Я — иностранная подданная, — тихим свистящим шепотом произнесла девица. — Понятно?

— Ага. В таком разе я — китайский император, — со значением проговорил Юлинек, вздохнул сожалеюще. — Ладно, мадама, чего попусту болтать — предьяви-ка лучше пачпорт! — Юлинек поиграл желваками.

Девица поспешно открыла сумочку, зашарила там пальцами. Пальцы дрожали, не слушались ее. Наконец она вытащила плоскую синюю книжицу, протянула ее Юлинеку.

— Читайте!

В грамоте Юлинек не был силен. Страницы синей книжицы были исписаны тушью: на одной странице красовался русский текст, на другой английский. Юлинек повертел паспорт в руках и подозрительно поглядел на девицу:

— Ты чего... действительно иностранная подданная?

— Я же сказала!

— Откуда ты?

— Я — гражданка независимой Эстонии.

— Кхе, Эстонии, — Юлинек презрительно хмыкнул, поднес паспорт к глазам, прочитал медленно, по буквам:

— Кофф... Хельма, — Юлинек непонимающее пошевелил губами. — И чего тебя так далеко занесло от твоей Эстонии?

Девица выпрямилась, глаза ее яростно полыхнули. Только сейчас Юлинек окончательно понял, что он ошибся, девица эта совсем не та, что заволокла его в ловушку и выгребла из потайного места в одежде весь золотой запас, сделав палача нищим, но отступить было поздно, да и не привык Юлинек признавать свои ошибки... Проще вынести смертный приговор и привести его в исполнение, чем признать ошибку... Юлинек недоуменно подвигал нижней челюстью, будто его в подбородок ужалил слепень. Тьфу! Это надо же было так ошибиться!

Но ничего, ошибки — штука поправимая.

— Хельма Кофф, — медленно повторил он, сложил паспорт, похлопал им по ладони левой руки, — где ты, говоришь, трудишься?

— В шведском Красном Кресте.

— И чем ты там, в шведском Красном Кресте, занимаешься?

— Помогаю военнопленным.

БҮРСАК В БЕДЛЕ

Юлинек не удержался, хмыкнул.

— Чем же ты помогла мне, пленному чеху?

— Мы помогаем не конкретным лицам, а всем сразу, всем военнопленным.

Юлинек рассмеялся.

— Разве это возможно?

— Еще как возможно. Отпустите меня! — Лицо Хельмы мучительно сморщилось, на лбу появился мелкий искристый пот.

— Не отпущу, — Юлинек медленно покачал головой. — Не могу.

— Почему?

— Не могу, и все. С тобой должно разбираться начальство, не я.

— Какое еще начальство? — в голосе эстонки слышались слезы, но глаза были сухи.

— Во-первых, вы поносите последними словами атамана Калмыкова Ивана Павловича, — чех загнул на руке один палец.

— С чего вы взяли? Я не произнесла в адрес атамана ни одного слова.

— Произнесла, я сам слышал, — соврал чех. — Готов подтвердить под присягой. — Во-вторых, с вами уже было разбирательство... Весной.

Лицо Хельмы выразило недоумение.

— Не знаю.

— Было, было, — уверенно произнес чех. — Ваших людей задержали с ворованными деньгами. Много было денег... — Юлинек длинными цепкими руками обхватил воздух, показал, сколько было денег. — Вот столько, их пришлось вывозить на автомобиле. — Чех приподнялся на цыпочки и зычно гаркнул: — Казыгирей!

В купе всунулась голова кадета.

— Я!

— Поезжай за Михайловым, привези его сюда.

Кадет молодецки козырнул и исчез.

— Неправда, те деньги не были ворованными, — запоздало произнесла эстонка. — Их специально собрали для военнопленных.

— Знаем мы, как это делается, — Юлинек презрительно хмыкнул.

Память у палача была хорошей. События, которые произошли в мае восемнадцатого года, его никак не касались, но он видел на столе начальства бумаги, слышал все переговоры по полевому телефону со штабом

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

отряда, давал советы, поскольку дело имели с иностранцами, а у кого, как не у иностранца, спросить, как быть... Происходившее невольно отпечаталось у Юлинека в памяти. Лицо его расплылось в широкой улыбке, обнажились крупные зубы. Хельма невольно поежилась: такими зубами этот людоед любого человека перекусит пополам. Как травинку.

В мае на станции Пограничной были задержаны два сотрудника Красного креста — швед Хедблум и его помощник норвежец Оле Обсхау.

Хедблум спросил у начальника конвоя, старого подхорунжего, арестовавшего его с напарником:

— За что мы задержаны?

— Вы шпионы, — ответил тот, — потому и задержаны.

Хедблум пробовал сопротивляться, кричать на подхорунжего; тот, недолго думая, выдернул из желтой кожаной кобуры кольчугу, выменянный у одного американца на золотые царские монеты, и что было силы долбанул шведа рукояткой по темени.

Швед подпиленным деревом рухнул под ноги подхорунжего.

— Все вопросы решены, — довольно констатировал подхорунжий, — несогласных нет.

У задержанного был изъят плотный брезентовый мешок с деньгами и фирменной биркой одного из шведских банков, — в мешке находились 273 тысячи рублей.

Делегацию Красного Креста привезли в Харбин, там дело дошло до Хорвата, и тот не замедлил вступить за арестованных.

Делегацию вынуждены были отпустить, но деньги ей не вернули. Хедблум ярился, кричал, тряс кулаками:

— Где деньги?

— Не знаю, — равнодушно отвечал подхорунжий и отводил глаза в сторону, — я их не видел.

Когда Хедблум вместе с помощником-норвежцем садился в вагон, подхорунжий пытливо глянул ему в лицо и произнес, не разжимая челюстей:

— Смотри, вонючка, ты мне еще попадешься. Мир тесный.

Тот, горячий, непримиримый, вскинулся, вознес над собой кулаки и... промолчал. Решил, что в России — стране полного бесправия — лучше молчать. Круто развернулся и по ступенькам вбежал в синий вагон.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Подхорунжего, арестовавшего тогда шведа с напарником, Юлинек знал, фамилия его была Чебученко. Ныне Чебученко служил в конвойной роте, охранявшей штаб. Юлинек позвонил туда. Спросил:

— Чебученко у вас далеко?

— Только что дежурство сдал. Отдыхать в каптерку пошел.

— Пригласить его к аппарату нельзя?

— Почему же нельзя? Можно.

Через полминуты в трубке загромыхал бас подхорунжего:

— Але!

— Тут дамочка одна к нам угодила, эстонка... Хельма Кофф. Не знаешь такую?

— Не имею чести...

— Но тебе и не надо знать. Дело в другом — она работает в Хабаровской миссии Красного Креста.

— О-о-о, это по моей части, — оживился подхорунжий, — там есть пара дураков, с которыми мне хотелось бы повстречаться.

— Очень хочешь?

— Очень.

— Имеешь все шансы арестовать их. Как германских шпионов.

Подхорунжий не выдержал, захохотал.

— Чего смеешься? — спросил Юлинек.

— Я этим лошакам намекал, что земля круглая, а они и мне не поверили.

— Бери наряд из трех солдат, садись в машину и — в хабаровский Красный Крест. Арестованных доставь к нам, в походную гауптвахту.

— Ну, Юлька, ты и даешь! — подхорунжий снова захохотал, громко и зубасто.

Юлинек не понял его, переспросил:

— Чего даю?

— Молодец, говорю. Это так у нас, русских, талдычат — даешь! Хвалят, значит.

— Задание понял?

— Через двадцать минут эти трескоеды будут у тебя. Пусть постучат в твоём вагоне зубами от страха.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Подхорунжий знал, что говорил, и дело свое знал — через двадцать минут и Хедблум и Обсхау уже находились в вагоне «походной гауптвахты». Обсхау был испуган, поглядывал на казаков, арестовавших его, а Хедблум ругался. Ругался смешно, путая шведские и русские слова, плюясь и выкрикивая:

— Вы за это ответите!

— Ответим, ответим, — успокаивающе произносил подхорунжий и тыкал Хедблума кулаком в затылок, — обязательно ответим.

Хедблум взбрыкивал ногами, стараясь удержаться, совершал мелкие болезненные скачки, словно бы хотел убежать, но в то же мгновение его схватывали за запястье сопровождавшие подхорунжего казаки, крепко сжимали пальцами, осаживая строптивного шведа, тот ожесточенно плевался и вновь начинал ругаться.

Подхорунжий отвешивал ему очередной подзатыльник, и Хедблум начинал ругаться сильнее.

В вагоне Юлинек усадил арестованных на лавку, достал из стола перо и чернильницу, покосился на подхорунжего:

— Эти, что ль, тебя обидели?

Тот трубно высморкался в старый грязный платок.

— Эти. До самого бородатого, до Хорвата дошли, чтобы выпутаться... Германские шпионы.

— Шпионы, говоришь? Шпионов мы не любим. Отвечать придется по всей строгости военного времени.

Юлинек знал, что говорил: по всей строгости — значит по всей планке, оттуда дорога только одна — на небеса. И выбора сделать особо не дадут: либо пуля, либо веревка.

Хедблум перестал ругаться, умолк и опустил голову.

— Фамилия, имя? — строгим, железным голосом спросил Юлинек.

— У нас дипломатическая неприкосновенность... — устало произнес Хедблум, — мы — авторитетная международная организация.

— Знаю, знаю, — Юлинек почесал о волосы перо. — Фамилия, имя?

— Вы не имеете права нас арестовывать.

— И это знаю. Фамилия, имя?

— Я буду жаловаться. — Хедблум повысил голос.

БУРСАК В СЕДЛЕ

— Жалуйся, сколько тебе влезет, — Юлинек положил перо на стол, приподнялся и с места впечатал кулак в лицо шведа.

Тот слетел с табуретки и приложился головой к грязному полу вагона. Протяжно застонал, сплюнул под себя кровь. Когда Хедблум приподнялся над полом, лицо его было перекошено, словно бы Юлинек что-то в нем нарушил.

— Фамилия, имя? — ровным бесцветным голосом повторил вопрос Юлинек. — Молчать, записаться, ругаться не советую. Это понятно?

Хедблум неровно сел на табуретку, покачнулся. Невидяще поглядел на палача, по лицу его пробежала тень. Одна щека судорожно задергалась.

— Фамилия, имя? Отвечай! — потребовал Юлинек.

Швед, с трудом выговаривал слова — не пришел еще в себя от удара палача, — ответил. Юлинек усмехнулся и победно записал. Вновь почесал перо о прическу, наострил кончик — на конец садилась разная пыль, мешала писать.

— Чем занимаетесь в Хабаровске? — спросил Юлинек.

Юлинек хорошо знал, что делает Красный Крест не только в Хабаровске, но и вообще на Дальнем Востоке, и сам в свое время пользовался благами, которые для военнопленных пробил Красный Крест. Особенно для славян — словаков, чехов, поляков, румын, едва ли не насильно мобилизованных в германскую армию, из которой они потом бежали тысячами: выходили на линию фронта и поднимали руки.

На этот счет летом семнадцатого года военным министром России было даже подписано специальное распоряжение: пленным разрешалось выбирать своих представителей для общения с властями, приглашать своих поваров, чтобы те готовили сносную еду, прежде всего, национальную, а офицерам вообще создавали ресторанные условия, готовили им деликатесные супы из бычьих хвостов, на второе — мясо на вертеле — еду, для русского человека незнакомую; пленные могли беспрепятственно совершать покупки на местных рынках, создавать свои кассы взаимопомощи и так далее. Полностью снимался контроль с получения книг и периодических изданий.

И все это сделал Международный Красный Крест, представители которого корчились сейчас в «походной гауптвахте» Маленького Ваньки и гадали: что же с ними будет?

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Более того, пленным славянам разрешили вступать в брак с русскими подданными — слишком уж много стало появляться в маленьких городах и в деревнях «беспортошных» детишек, ничейных вроде бы, а на самом деле было хорошо известно, кто их отцы, — все это могло привести к повальной беспризорнице.

Приказ военного министра Временного правительства был оглашен в Приамурском крае еще в июне семнадцатого года. Особыми правами пользовались пленные, которых освободили из-под контроля под поручительство «юридических и частных лиц», пленные, «возбудившие ходатайство о принятии их в русское подданство», а также «освобождаемые со включением в разряд трудообязанных пленных славян». Более того, как написал неведомый петроградский грамотей, «в некоторых особенных случаях, например, если просьба о браке мотивирована нравственной необходимостью (даже тогда знали такое суровое выражение, как «нравственная необходимость», погубившая впоследствии в тридцатые — пятидесятые годы немало «русского люда мужского пола»), то браки могут быть разрешены и лицам, не принадлежащим к категориям вышеуказанным». Так в Сибирь и Дальний Восток прирастали не только русскими и пленными славянами, но и чистокровными немчиками.

Правда, в последнем случае разрешение на брак давало Главное управление Генерального штаба, иначе говоря, военная разведка.

Впрочем, где она теперь, военная разведка, какие хлеба ест и из чьих рук? У каждого атамана ныне — своя разведка, свой суд и свои палачи... Юлиnek снова почистил перо о свою шевелюру и продолжал допрос.

Когда в вагоне появился начальник военно-юридического отдела, лица Хедблума и Обсхау украшали внушительные кровоподтеки. Эстонку Хельму те пока не трогали — она сидела в отдельном купе, запертая на ключ, и, поглядывая в зарешеченное окошко на большую мусорную кучу, наваленную прямо посреди железнодорожных путей, стучала губами от страха.

— Старые знакомые, — едва глянув на арестованных, произнес Михайлов, пальцем разгреб предметы, изъятые из их карманов, за колечко подцепил ключи, приподнял. — Ты знаешь, Юлиnek, что это значит?

— Никак нет!

Михайлов подкинул ключи, коротким ловким движением поймал их.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Это ключи от конторы, где работают эти господа. Надо поехать в контору, — он снова подбросил ключи и вновь ловко поймал их, — и произвести там обыск.

Лицо Юлинека сделалось задумчивым: не предполагал, не гадал он, что его неудачный поход к «ночным бабочка» обрстет такими клубнями.

— Что-то непонятно? — спросил Михайлов.

Юлинек сделал плечами неопределенное движение.

— Германские шпионы могут прятать там документы, — пояснил Михайлов.

Лицо Юлинека посветлело.

— Верно!

— А посему, как любили говаривать в Царском Селе, — две машины — и к подъезду!

Через двадцать минут конвой из семи человек, возглавляемый начальником военно-юридического отдела, усердно чистил контору, которую занимали люди Хедблума, искал документы, которые могли бы изобличать их. Нашли миллион шестьдесят тысяч рублей — деньги по тем временам очень большие.

— О! — провозгласил Михайлов и поднял над собой тугую пачку денег. — Вот это они и есть, изобличающие германских шпионов документы.

Все было понятно: чем больше денег, тем значительнее вина Хедблума и его людей.

Для сравнения: в упомянутых выше дневниках барона Будберга есть запись, что его пригласили на службу в должности помощника военного министра (по существу, — первого заместителя) с окладом в двенадцать тысяч рублей в год... А тут — миллион шестьдесят тысяч!

— Хедблум — очень опасный человек для России, — объяснил Михайлов и швырнул пачку денег в общую кучу.

Обнаруженные в конторе деньги Красного Креста были реквизированы в пользу калмыковского войска. В войске этих денег никто не увидел, но Маленький Ванька, — пардон, Иван Павлович, познал их приятную тяжесть, здорово оттопырившую карманы не только в штанах, но и в шинели.

Жизнь была прекрасна и удивительна.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Естественно, после того как были обнаружены столь тяжкие улики, Хедблему со своими сотрудниками оставалось лишь одно — умереть.

— Что прикажете делать с арестованными? — спросил начальник военно-юридического отдела у атамана.

Тот недовольно подвигал из стороны в сторону нижней челюстью, хихикнул:

— А ты разве не знаешь, что надо делать?

— Знаю.

— Выполняй!

Хедблом, Обсхау, за компанию вместе с ними Хельми Кофф были повешены. Прямо в вагоне — условия тамошние позволяли это сделать, — потом Казыгирей подогнал к ступенькам «гауптвахты» автомобиль, помог Юлинеку погрузить трупы в машину, и они вдвоем отвезли тела казненных за Хабаровск, на глухую дорогу, сбросили там в кювет.

— Самое милое, самое чистое дело — повесить человека, — распространялся Юлинек, когда ехали обратно. — Ни грязи тебе, ни крови, ни вывернутой наизнанку ребухи, все культурненько, аккуратненько — душе приятно.

Казыгирей молчал. Нельзя сказать, что убитые произвели на него гнетущее впечатление, — он и сам много раз участвовал в казнях, обыскивал расстрелянных, не боясь испачкаться в крови, но чувствовал он себя сегодня неважно — не выспался, наверное... Или съел что-нибудь не то. Юлинек вытащил из кармана френча золотую пятнадцатирублевую монету, найденную в пиджаке Хедблома, посмотрел на изображение царя Александра Третьего.

Показал монету шоферу.

— Говорят, хороший был царь, много доброго сделал для народа.

Казыгирей вскинул и опустил жидкие рыжеватые брови.

— Все они хороши, когда спят на чистой простыни и дуют в две сопелки — народ на цыпочках может ходить мимо. Я с ним не был знаком.

— Неинтересный ты человек, Казыгирей, — произнес Юлинек сердито и, замолчав, отвернулся в сторону.

Примерно в ту же пору — осенью восемнадцатого года, — барон Будберг отметил в своем дневнике, что побывавшие в различных карательных и прочих операциях люди — он называл их «дегенератами», — любят

БҮРСАК В СЕДЛЕ

похваляться, как они «отдавали большевиков на расправу китайцам, предварительно перерезав пленным сухожилия под коленами (чтоб не убежали); хвастаются также, что закапывали большевиков живыми, с настилом для ямы с внутренностями из закапываемых (чтобы мягче лежать)». Хочется думать, что это только садистское бахвальство и что, как ни распущены наши белые большевики, все же они не могли дойти до таких невероятных гнусностей».

Умный человек Будберг, все отлично понимал и делил враждующие стороны на «большевиков красных» и «большевиков белых» — и те и другие были, на его взгляд, одинаково «хороши»...

Он отметил, что «и красный и белый большевизм, это — смертельные внутренние опухоли, и против них нужна немедленная операция. При наличии атаманских вольниц и атаманов, не признающих ничьей власти, невозможно создавать что-либо здоровое и прочное...». Вот так.

Во Владивостоке плотно сидели чехи и диктовали властям свои условия. Разграбили большинство магазинов и под метелку вычистили склады, находившиеся в крепости. Там хранились неприкосновенные запасы на двести тысяч человек, — от прежнего имущества остались только мятые бумажки, валявшиеся на полу, десятка два оторвавшихся от консервных банок этикеток, да несколько оторванных от обмундирования пуговиц.

Наблюдая за грабежом, Владивосток притих, сделался непохожим на себя, каким-то испуганным, сиротским. Представители армейской верхушки обратились к генералу Дитерихсу, которому подчинялись чехи (все же — «русский генерал русского Генерального штаба», отметил Будберг), но Дитерихс в ответ лишь раздраженно махнул рукой:

— И дальше будем поступать так же, у нас ничего нет и взять нам неоткуда... Русского же нам жалеть нечего!

По Владивостоку гуляли толпы чехов, наряженных в отлично сшитые из прочного штиглицкого сукна кители и шинели, на погах у них красовались «великолепные сапоги вятских кустарей».

Когда о реакции Дитерихса сообщили Маленькому Ваньке, тот раздражено приподнял верхнюю губу, украшенную аккуратными светлыми усами:

— Хоть и дурак этот Дитерихс, а ответил правильно.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Личная жизнь у Калмыкова никак не складывалась — сколько ни пытался он ее наладить, подобрать свою вторую половинку, остепениться, но куда там — по-прежнему он оставался один, как перст, иногда даже к глотке подступали горячие обидные слезы, мешали дышать. Калмыков отворачивался от людей, чтобы проморгаться, прийти в себя, но не всегда это у него получалось: одни женщины боялись атамана, другие прези- рали, третьи предпочитали просто не замечать его, четвертые капризно передергивали рот, пятые демонстративно отворачивались, и не было ни одной такой, что смотрела бы на него с лаской и любовью.

А без ласки и любви жениться не резон, не жизнь будет, а сплошная маята.

Атаман ощущал, как у него каменеет, делается чужим лицо, виски проваливаются, сквозь кожу выпирают кости и ему становилось жаль самого себя.

Полоса неудач началась сразу после того, как он обидел Аню Помазкову... Здорово обидел, хотя атаман не хотел признаваться себе в этом, мотал головой остервенело, протестующее и старался побыстрее выплеснуть из головы мысли об Ане, но это ему удавалось не всегда.

Дело дошло до того, что Калмыков начал бояться женского общества. Чтобы не оставаться одному, вновь поселил с собой ординарца Гриню Куренева, его койку поставил в комнате напротив своей, и Куренев, понимая важность своей миссии, обзавелся третьим наганом — получил его на складе по требованию самого атамана — теперь денно и ночью охранял «Иван Павловича».

Атаман часто просыпался ночью, а потом хлопал впустую глазами до самого утра, вспоминал свою жизнь и приходил к выводу весьма критическому — непутевая она у него.

Гриня старался развеселить атамана как мог, несколько раз предлагал открыто, не подыскивая деликатных слов:

— Иван Павлович, может, бабу какую-нибудь пофигуристее привести. А?

Калмыков делал рукой вялый взмах:

— Не надо!

Однажды он уже клюнул на такую вот «фигуристую» из разряда «привести и уложить на скрипучий диван», — до сих пор чихает, не может

БҮРСАК В СЕДЛЕ

расстаться с той наградой, которой его наделила лихая бабенка, — и не знает, как ему быть дальше, найдется ли врач, который поможет ему расстаться с негласной хворью... Очень хотел бы Калмыков встретить такого врача. Всех денег, что имеются у него, не пожалел бы...

Дела в отряде складывались не очень хорошо, хотя войско его распухло до размеров почти неуправляемых, обзавелось даже пластунским батальоном, которым командовал войсковой старшина Птицын, имелось несколько полков, артиллерия, горный пушечный дивизион, бронепоезд и саперная полурота — в общем целая армия, и народ в эту армию продолжал прибывать. Боеготовность у вновь поступивших была не самая высокая и атаману приходилось с этим мириться.

— Бывало и хуже, — успокаивал он себя и демонстративно накладывал кулак на кулак, — в крайнем случае, сделаем вот что, — он поворачивал один кулак в одну сторону, второй — в другую, — и все будет в порядке.

У него была толковая мысль — переманить казаков-фронтовиков, служивших ныне в Красной Армии, на свою сторону, — особенно тех, кто награжден Георгиевскими крестами... Вот это воины!

Поскольку им же, атаманом Калмыковым, был подписан приказ о снятии воинских званий с казаков, решивших связать свою судьбу с Красной Армией, то теперь он подписал новый приказ: те, кто вступит в его отряд, получит эти звания обратно. А после четырех месяцев службы уравниваются в правах с казаками. Которые никогда никуда не переходили, были верны атаману.

Днем к нему пришел Савицкий, начальник штаба. Савицкий погрузился, стал лосниться, обрел важность — на плечах у бывшего хорунжего красовались теперь погоны войскового старшины, по-нынешнему, подполковника.

— Иван Павлович, я к вам, — Савицкий с удовольствием поскрипел новенькими американскими ремнями, в которые был затянут.

Атаман недовольно глянул на гостя, выразительно вздернул одну бровь: ведь знает же человек, что домой к атаману ходят по приглашению.

— Ясно, что не к Грише, моему ординарцу. Выкладывай, чего случилось?

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Иван Павлович, не считите это свехосторожностью, но я бы по-строже отнесся к казакам, вернувшимся к нам из Красной Армии.

— Я знаю, что делаю, Савицкий. У тебя что, есть факты?

— Есть.

— Какие?

— Мой доверенный человек из Первого уссурийского полка сообщил, что бывшие красноармейцы часто собираются группами и о чем-то шепотом беседуют...

— Мало ли о чем они могут беседовать. О бабах, например... — Калмыков поморщился, махнул рукой, словно бы хотел поставить точку в неприятном разговоре. — Так мы с тобой, Савицкий, друг друга будем подозревать в большевистской агитации. Ты веришь, что я могу быть большевиком?

— Нет.

— А я не верю, что ты можешь быть большевиком... Вот и весь сказ. Так и тут с бывшими красноармейцами. Ну, ошиблись мужики, поверили какому-нибудь Шаповалову или этому самому... Шевченко. Что же мне теперь — головы им рубить за это? Так мы все казачество уничтожим. А это, брат... — Калмыков поднял указательный палец, поводит им их стороны в сторону.

— Мое дело — предупредить вас, Иван Павлович, ваше — принять решение.

— Да потом, не люблю я этих фосок... — Атаман называл секретных агентов, стукачей и прочий люд, любящих наушничать, фосками. Непонятное слово это прижилось в среде калмыковцев. — Сегодня они служат нашим, завтра — вашим, продаются всем подряд. Кто им больше заплатит, тем и продаются, — атаман демонстративно сплюнул на пол.

— Есть еще кое-какие соображения, Иван Павлович...

Атаман вновь поморщился.

— Давай поступим так: завтра я буду в штабе и все выслушаю. Сейчас не могу. Настроения нет, Савицкий. У тебя бывает такое, когда нет настроения?

— Бывает.

— Вот и у меня бывает. Прощевай до завтра.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Не нравилась такая позиция Савицкому, не нравилось серое лицо атамана, многое не нравилось, но поделаться он ничего не мог и от ощущения собственного бессилия чувствовал себя неважно. В прихожей, натягивая на плечи полушубок, украшенный серым каракулем, Савицкий ткнул пальцем в Гринин живот, перетянутый поясом с двумя висевшими на шлейках наганами (третий ствол ординарец держал у себя под подушкой):

— Он пьет?

— Кто он? — прижмутив по-кошачьи один глаз, спросил ординарец.

— Ну, он... Иван Павлович.

— Да нет вроде бы... Не замечал.

— Не ври. Иначе отдам тебя Юлинеку.

— А я Иван Павловичу скажу.

Савицкий поехал, застегнул полушубок и ушел — разговор ни с атаманом, ни с его ординарцем не получился.

На улице его поджидал конвойный наряд во главе с подхорунжим Чебученко. Подхорунжий вежливо протянул Савицкому ременный повод.

— Пожалуйста, господин войсковой старшина!

Ездить по улицам Хабаровска без конвоя опасно — даже дома, в хате, по дороге от обеденного стола к печке могли обстрелять невидимые враги, державшие под прицелом окна, поэтому Савицкий предпочитал брать с собой наряд.

Едва наряд въехал в пустынный, забитый снегом проулок, — хотели сократить дорогу к штабу, — как ударил гулкий, словно бы из сигнальной пушки, выстрел, — стреляли с чердака одного из домов. Пуля просвистела рядом с головой войскового старшины, обожгла горячим воздухом щеку. Савицкий пригнулся и пустил лошадь вскачь.

Искать чердак, на котором засел стрелок, было бесполезно; возвращаться сюда с казаками — тоже бесполезно: стрелок к этой поре испарится.

Чебученко выхватил из кобуры кольт, потряс им, но стрелять не стал — все патроны были бы сожжены впустую, — также пустил коня вскачь.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Через несколько секунд проулок был пуст — казачий наряд покинул его.

Над проулком, неспешно взмахивая крылами, плавали вороны — чуяли разбойницы падаль, каркали сыто, негромко, с презрением поглядывали на людей — их суета птицам не нравилась.

Помазков ходил мрачный погруженный в себя, на людей старался не смотреть — хоть и был он казаком, и носил на штанах желтые лампасы, а в войско калмыковское не вступал, противился, темнел лицом, когда ему об этом говорили и замыкался в себе.

Матушка Екатерина Семеновна, нынешняя супруга его, прикладывала к глазам уголок платка, всхлипывала:

— Никакого войска, никаких атак с оборонами... Хватит! Одного мужа я уже потеряла, второго терять не хочу. Все!

Помазков молча опускал голову. Конечно, в войске, именуемом страшно не по-русски — ОКО, он добрался бы до этого куренка-атамана быстрее, чем здесь, в казачьем тылу. А с другой стороны, кто даст Помазкову подойти к атаману близко? Калмыков плотно окружил себя верными людьми — даже пуля между ними не протиснется... Помазков вздыхал и отводил взгляд в сторону.

Катя поднималась на дыбы и грудью шла на того, кто пытался подбить ее мужа на военные подвиги.

— А ну вон отсюда! — кричала она.

— Да я же не от худа, я от добра об этом говорю, — пытался защититься от нее какой-нибудь доброхот, — жалованье в войске ведь такое, что ого-го! Мужики в золоте купаются, в носы себе брильянты вставляют...

— Это для чего ж такая пакость?

— Для разнообразия. Представляешь, как это здорово — брильянт в носу сверкает... Как фара у паровоза.

— Ага. Представляю, — Катя бралась за ухват. — Сейчас я тебе покажу фару паровозную — долго выть будешь!

Жизнь, кажется, обтекала стороной домик, который занимали супруги Помазковы; тревожные сведения, которые приходили их Хабаровска, из Владивостока, никак не касались их.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Единственное, что было плохо, — обилие чехов. Они, как тараканы, сидели едва ли не в каждом доме, вели себя нагло, ко всему, что видели, тянули свои руки:

— Дай!

Задирали юных парней, которым еще не подросла пора идти в армию. Приставали к девушкам, обижали старух — нехорошие были люди... Но в дом к Помазковым не заглядывали — слишком мало было здесь места.

Активно работая ухватом, Катя выпроваживала из избы очередного доброхота-агитатора и принималась за наставления по «международной части»:

— Лучше бы вытурили отсюда этих пшепшекающих оборванцев — пользы было бы больше и для города и для войска.

— Пшепшекают поляки, а это чехи.

— И поляков тоже надо выставлять. Все едино — обуза!

— Ну и баба! — восхищались Катей доброхоты. — Огонь! А насчет чехов — они совсем не оборванцы, ходят в новенькой, русской, очень ладной форме, позабিরали все, что имелось у нас в загажниках.

Владивостокские интенданты лет двадцати, если не больше, собирали армейское добро — сапог к сапогу, портянку к портянке, шинельку к шинельке — все теперь красовалось на «пшепшекающих». Только головные уборы чехи оставили свои, для России диковинные и чужие — конфедератки, «конверты», кепи, «фураньки» с непомерно высокими тульями, шапки с козырьками и мягкими матерчатыми ушами, застегивающимися на пуговицы.

Если доброхоты задерживались в доме Помазковых, Екатерина Семеновна к ухвату добавляла кочергу на длинном черенке, и тогда уже гостям приходилось туго — кочерга, в отличие от ухвата, ходила по спинам с металлическим звоном, только кости хрустели, да во все стороны летела пыль.

Катя располнела — уже ни в одно платье не влезала, на щеках у нее играл стыдливый румянец, — у супругов Помазковых должен был появиться ребенок.

Помазков довольно потирал руки — вот это дело! Старый конь борозды не портит — не опозорил он своего рода, не подкачал... Вечером за ужином он обязательно спрашивал жену:

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Как ты думаешь, кто будет: мальчик или девочка?

— Девочка, — уверенно отвечала Катя. Ей хотелось, очень хотелось, чтобы родилась девочка, потому она так и говорила.

Муж недовольно хмурил лоб:

— Девочек хватит. Была уже... Давай мальчика!

Катя в ответ смеялась, потом складывала пальцы в аккуратную белую фигу и совала ее мужу под нос.

— Мальчишки — дело ненадежное. Придет новая война и мальчишек не станет — слизнет их война, как корова языком. А девчонка — хранительница дома, она останется обязательно.

Количество морщин на лбу у Помазкова удваивалось — казак делался похожим на старика, здорово изношенного жизнью.

— Сына давай, сына! — гудел Помазков глухо, на это Катя вновь складывала симпатичную белую фигу...

Так и шла жизнь.

Как-то вечером Катя сообщила мужу:

— Аню в Хабаровске видели...

Помазков невольно вскинулся, щеки у него вобрались под скулы — он помолодел, похудел.

— И как она? Жива, здорова?

— Вроде бы и жива и здорова...

— Совсем мы потеряли Аньку. Отломанный кусок.

Вместо ответа Катя качнула головой, жест был неопределенный — то ли согласна была с этим, то ли нет, непонятно, — приложила к глазам уголок платка:

— Уж больно ненормально повела она себя при встрече — подхватила юбку и бегом унеслась в темный переулок.

Помазков вздохнул и расстроено постучал кулаком по столу:

— Во всем виноват этот кривоногий коротышка Калмыков. — Помазков сжал вторую руку в кулак, с грохотом опустил оба кулака на стол, — только он один... Попался бы он мне!

Катя неожиданно с силой вцепилась пальцами в локоть мужа.

— Не пуцу! Не пуцу!

Муж в ответ нервно дернул правой щекой — такие разговоры его раздражали, — освободил локоть от Катиных пальцев.

БУРСАК В СЕДЛЕ

— Все, все... Проехали. Поезд ушел.

Жена приложила уголок платка ко рту, коротко и горячо выдохнула в него — взрыд хотя и был тихим, но сильным, плечи Катины задрожали.

— Я же сказал — проехали, — повысил голос Помазков, — поезд ушел... Все, не будем об этом.

— У Калмыкова — такая охра-ана, — завсхлипывала Катя, — рубит всех подряд, не глядя на лица, — она словно бы не слышала мужа, плечи ее продолжали дрожать. — И тебя, дурака, зарубят.

— Не откована еще шашечка, которая меня зарубит, — Помазков горделиво вскинул голову, — а кроме ковки, ее еще и закалить и наточить надо. Не плачь, дура!

— Ы-ы-ы-ы!

— Ну все-все. Вот что значит глаза на мокром месте находятся — чуть что, и из них уже ручей течет. Успокойся. Может быть, нам поехать в Хабаровск и поискать там Аньку?

— М-да, поехать и пропасть там навсегда, — Катя выпрямилась, с подвывом втянула в себя воздух и замолчала, словно бы споткнулась обо что-то, губы у нее сделались морщинистыми, собрались в неопрятную кучку. Она медленно и печально покачала головой: — Не пуцу!

Новый год прошел незамеченным — уснули хабаровчане темной ветреной ночью в восемнадцатом году, проснулись серым морозным утром в году девятнадцатом.

Калмыков проснулся рано, а неугомонный Гриня еще раньше, он уже прыгал по дому с наганом за поясом, громыхал заслонкой печи, готовил еду. Почувствовав, что атаман продрал глаза, всунул голову в спальню:

— С добрым утречком вас, Иван Павлыч!

— Здорово, — пробурчал в ответ Калмыков, потянулся с молодым хрустом. — Чего грохочешь?

— Пельмени для вас готовлю, Иван Павлыч!

— Пельмени — это хорошо, — Калмыков похлопал ладонью по губам, гася зевок.

— Настойку на клоповке сейчас выставлю — сегодня же Новый год, первый день. Из Николаевска настойку прислали, специально для вас приготовили.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Настойку на клоповке — красных целебных ягодах — Калмыков любил. Вкусная вещь, хотя много ее не выпьешь: сердце заколотится так, что того и гляди выскочит из грудной клетки.

— Рыбешку какую-нибудь изыщи, — велел атаман Григорию, — посолониться хочется.

— Это у нас тоже есть, — довольным тоном произнес Гриня, — запасен и слабосольчик из краснины, и калужатина есть, и вяленая рыба, очень сочная — нарежу на стол.

Калмыков потянулся, глянул в окно — снег покрыл стекла замысловатыми рисунками — ничего не видно, серая вязкая темень, ни один огонек сквозь нее не протиснется. И темнота эта серая стоять будет еще долго — до самого упора, часов до девяти, раньше не рассветет. Проклятущая пора — дальневосточная зима. Дни короткие, как шаги вороны по снегу, ночи — бесконечные. Девать себя некуда. Если только пить с соратниками горькую... Но из них выпивохи хреновые — ни Савицкий, ни Этапов, ни... Калмыков перебрал в памяти несколько фамилий. А больше, оказывается, и нет никого. Вот если бы в Хабаровск приехал из Читы Григорий Михайлович Семенов — вот тогда бы у них сложилась отличная компания.

Но Семенов присылает своему «младшему брату» Калмыкову лишь редкие цибули, еще реже — приветы. Тем и ограничивается — все мотается по своему Забайкалью на броневиках⁵, наносит регулярные визиты на КАЖД. Это епархия генерала, отрастившего себе бороду длинную в руку... как его? А, Хорвата... Генерала Хорвата.

Один раз Григорий Михайлович, правда, прибыл на Дальний Восток, провел совещание по объединению трех атаманов под одним крылом — забайкальского, уссурийского и амурского... хорошо было. И время было хорошее, самое золотое для этих мест — конец октября.

Было это, в общем-то, не так уж и давно — в ушедшем году...

Японцы по части сходить в ресторан и расколотить пару блюд из кузнецовского либо севрского фарфора (если подадут) — тоже не компаньоны. Они даже суп есть ложками не умеют, а когда едят — вообще ртов не раскрывают. Вот умельцы — съедают целый обед, ни разу не распахнув рта.

⁵ Так в гражданскую войну звали бронепоезда.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Атаман снова потянулся, захрустел костями, глубоко вздохнул, очищая грудь от застрявшего там воздуха... А вот с американцами он сам никогда не пошел бы в ресторан. С англичанами никогда бы не пошел. Ну какой прок, допустим, от того же Данлопа с его квадратной челюстью и маленькими мутными глазками, умеющими лишь считать деньги. Вначале от Данлопа была польза, а сейчас? Не больше, чем от козла, под которого поставили подойник.

От американского генерала Гревса вообще исходят холодные враждебные токи, от них по коже начинают бегать мурашки.

Калмыков правильно оценивал Гревса. Недаром у атамана по хребту начинал катиться холодный пот только при одном упоминании его имени: американец называл в своих докладах войска Семенова, Громова и Калмыкова бандами (как и Будберг; как, впрочем, и адмирал Колчак — в своем письме к Деникину в январе девятнадцатого года. Адмирал также приклеил этим частям хлесткий ярлык «банды»: более того, он пошел дальше — Семенова назвал «агентом японской политики», практически обвинил его в предательстве, и при случае готов был арестовать Калмыкова. Если бы не японцы, Колчак давно бы сделал это. Но «косоглазые» мешали. Как мешали и американцы, привыкшие особо не стеснять себя в действиях, прикрывавшие Маленького Ваньку и Гревс злился, топал ногами, ломал дорогие сигареты, будто отгнившие ветки у сорного дерева, но ничего больше сделать не мог — слишком много японцев находилось в этом регионе и они запросто могли «подковать» любого американца и завязать ему ноги бантиком. Но Гревс был неглупым мужчиной, он смотрел дальше, чем полковник Накашима, и регулярно посылал аналитические записки своему правительству в Вашингтон.

«Японцы держат под своим контролем всю Восточную Сибирь, — писал он, — Семенов властвует в Чите, Калмыков в Хабаровске, Иванов-Ринов, находящийся во Владивостоке, все больше и больше попадает под их влияние... Таким образом Япония практически утвердилась на этой земле, и это сильно мешает американским интервентам. На что бы мы ни обратили внимание, — всюду японцы».

«Что делать?» — беспомощно спрашивал у Гревса Вашингтон.

«Пойти на сближение с адмиралом, — отвечал тот, — иначе власть микадо окончательно укрепитя в регионе, а мы здесь не сможем удержаться даже силой».

Вода камень точит, капля за каплей, монотонно, без перерывов на обеды и отдых. В результате в камне возникает дырка. Гревс проточил дырку в вашингтонском монолите, там, наконец поняли, что усиление Колчака будет означать ослабление японцев на Дальнем Востоке.

Позицию атаманы по-прежнему занимали сепаратистскую, предательскую. Когда к ним примкнул генерал Иванов-Ринов, военный министр Владивостокского правительства, совершенно забывший, кстати, о том, что Калмыков обещал его публично высечь, атаманы стали сильнее.

Надо отдать должное японцам: они старались держать нос по ветру, улавливая всякое малое дуновение, идущее из Штатов, из Великобритании, и как только почувствовали изменение в настроении Вашингтона, тут же послали к атаманам гонцов с тайными инструкциями: адмирала Колчака не признавать Верховным правителем ни в коем разе, а Семенов, сидя в Чите, получил телеграмму из Токио, из министерства иностранных дел: «Японское общественное мнение не одобряет Колчака. Вы протестуйте ему». Прочитав телеграмму, Семенов расправил усы, придавил пальцами к крутому лбу крохотный волнистый чубчик и, что было силы, громыхнул кулаком по столу:

— Этого надменного адмирала я давным-давно уже вижу в гробу...

Видные японские деятели, находившиеся в Токио, до которых этот возглас, естественно, донесся, дружно зааплодировали: такие выходки атамана Семенова им нравились. Адмирала Колчака они не замедлили окрестить «японофобом».

В ответ адмирал лишь усмехнулся и провел в своих войсках некую рокировку, которую атаман, естественно, засек и, как нашкодивший кот, поджал хвост — Колчак передвинул несколько сильных полков поближе к Чите. Запахло крупной междоусобицей.

Японцы отставили в сторону привычные улыбки (улыбки у них были чем-то вроде некой обязательной атрибутики, дополнением в форменной одежде, без улыбки они вообще не выходили из дома) и показали зубы.

— В случае конфликта Япония вынуждена будет встать на сторону атамана Семенова, — заявил представитель японской стороны адмиралу Колчаку.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— И чем же вы будете поддерживать атамана, — насмешливо сощурившись, поинтересовался Колчак. — Поставками проса? Японскими сбруями? Партией вензелей на погоны?

— Пушками, — продолжая показывать крупные лошадиные зубы, ответил представитель японской стороны, — и живой силой.

Адмирал понял, что это серьезно, и начал искать пути примирения с атаманом Семеновым.

Примирение произошло.

На Хабаровск тем временем навалились морозы. Запечатали Маленького Ваньку в городе — нос особо никуда не высунешь. Любая экспедиция, если надо было преодолеть расстояние более пяти километров, грозила обморожением всего, что у мужчины находится ниже пояса, и немедленной ампутацией. Иначе воина на тот свет отправит «антонов огонь».

Калмыков заскучал. Так заскучал, что даже Рождество и Новый год отмечал в Хабаровске вместе со своим ординарцем. Хотя с ординарца много не возьмешь — не баба же! Сделался угрюмым, нагнал на лоб побольше вертикальных складок, чтобы его боялись подчиненные, сторбился, становясь похожим на некоего лесного зверька, приготовившегося прыгнуть...

— Ну что, Гриня, — спросил он, продолжая нежиться в постели, — пельмени готовы?

— Сей момент, Иван Павлович, — отозвался ординарец бодрым голосом, — осталось чуть. Пельмени получились — м-м-м! — Он сложил пальцы в щепоть и чмокнул их влажными губами. — Объедение! И краснина слабосоленая тоже объедение. Шампанским можно запивать.

— Дур-рак! — беззлобно произнес Маленький Ванька, — кто же соленую рыбу запивает шампанским?

— Вкусно ведь, Иван Павлович, — нисколько не сомневаясь в своей правоте, произнес Гриня, — поэтому народ и запивает...

— Еще раз дурак. Соленую рыбу запивают водкой.

Дискуссию завершила кастрюля, над которой всплыло белое облако — сварились пельмени.

— Пельмени готовы, Иван Павлович!

Калмыков нехотя высунул из-под одеяла ноги в кальсонах, завязанных на лодышках плоскими тесемками, очень кокетливыми, потянул носом:

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Пахнет оч-чень вкусно.

— Все для вас, — широко улыбнулся Гриня, ловко метнул на стол блюдо с крупными кусками яркой, клюквенного цвета рыбы-красницы, затем блюдо с нежной маслянисто-белой калужатиной, икру — тоже калужью, высокой горкой насыпанную в тарелку, потом водрузил в центр пузату, темного заморского стекла бутылку.

— Клоповка!

— С утра? — атаман глянул на бутылку и поморщился.

— Так точно! По маленькой, чем поят лошадей... Новый год же!

— Неужели наступил тыща девятьсот девятнадцатый? — неверяще, каким-то детским обиженным голосом спросил Калмыков.

— Так точно! — повторил Григорий, и, торжественно вытянувшись, хлопнул одной пяткой о другую — ноги его были обуты в толстые вязаные носки, звук получился мягкий, домашний — в обуви ординарец не допускал в хоромы никого, даже атамана.

Атаман вздохнул, пошевелил пальцами босых ног и сказал ординарцу:

— Мне, Гриня, тоже дай носки. Холодно.

Григорий проворно метнулся на печку, свернул с теплых кирпичей толстые, с высокими, как голенища, резинками носки. Атаман натянул их на ноги, сел к столу.

— Умыться бы надо, Иван Павлович, — проворчал ординарец, отвел взгляд в сторону — боялся обидеть атамана. — Грешно, не умывшись...

— Обойдется, — махнул рукой атаман, потянулся к бутылке с настоеккой. — На Новый год можно выпить и не умывшись. Простит мне казачий люд.

— Так точно! — привычно рявкнул ординарец и отобрал у атамана бутылку. — Нельзя самому себе наливать, Иван Павлович. Плохая примета.

Калмыков заворчал было, приготовился хрястнуть ординарца кулаком по шее, но, услышав про плохую примету, успокоился и придвинул к Григорию свой стакан:

— Лей!

Было слышно, как за окном поскрипывают ядерным, промерзшим до каменной твердости снегом двое часовых, наряженных в длиннополые тулупы и волчьи малахай, обутых в громоздкие, похожие на средне-

БҮРСАК В СЕДЛЕ

ковые ботфорты-катанки. Калмыков выпил, послушал скрип за окном и передернул плечами, словно на зуб ему угодила свинцовая дробина.

— А чего у нас дичи никакой на столе нет, Григорий? — он прищурил один глаз, косо глянул на ординарца. — Как будто не атаман. Ни зайчатины, ни косульего мяса, ни маральего. В чем дело?

Ординарец также опрокинул в себя чарку клоповки и насупился:

— Виноват, Иван Павлович! Давно я этим не занимался. Надо заняться...

— Займись, займись, Григорий, — назидательным тоном произнес атаман, — не ленись. Совсем мышей не ловишь.

— Я это дело поправлю, Иван Павлович, поправлю обязательно. И зайчатина у нас будет на столе, и косулятина свежая, и целебное маралье мясо.

Один ус у атамана насмешливо дрогнул.

— Ладно, — проговорил он миролюбиво, — но это будет завтра. А сегодня — наливай!

Григорий поспешно схватился за бутылку.

Днем к Калмыкову на доклад явился Савицкий.

— Что-то ты, брат, округляешься очень быстро, — мельком глянув на него, сказал Калмыков, — скоро на окорок будешь похож. Штабная работа так действует, что ли?

— Болезнь, — Савицкий прижал руку у груди, вздохнул жалобно, — сердце что-то пошаливает.

— К эскулапам ходил?

— Ходил. Проку никакого. Когда речь заходит о деньгах — эскулапы в этом разбираются очень хорошо, но стоит заговорить о болезнях — непонятливыми чурками делаются. Чурки и чурки.

— Знакомая картина, — Калмыков хмыкнул. — Может, висечь плетками, тогда лучше соображать будут? А?

— Давайте об этом потом, Иван Павлович, сейчас надо обговорить вещи более серьезные, — лицо у Савицкого сделалось строгим и каким-то постным.

Калмыков с хрустом потянулся и заметил с каким-то неожиданным удивлением:

— Во, кости какие музыкальные стали!

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Эскулапы говорят, что хруст в костях хорошо исправляют минеральные воды.

— Это на Кавказе, здесь таких вод нет.

— Здесь есть воды посильнее кавказских, Иван Павлович, — вежливо произнес Савицкий. Идти поперек точки зрения шефа предпочитал осторожно.

Атаман подцепил пальцами из тарелки соленый огурец, стряхнул с него две укропные метелки и вкусно похрустел. Оценивающе глянул на Савицкого, словно бы хотел понять, что у начштаба находится внутри, и вяло махнул рукой.

— Все зависит от того, из каких гор льются эти воды. Если горы молодые, горячие, то стариков превращают в юнцов, если древние, седые, то и толку от них будет с полфиги, Калмыков поймал себя на мысли, что темы эти обсуждать с начальником штаба необязательно, сплюнул себе под ноги и ухватил еще один огурец. — Ну, чего там у тебя?

— Тревожные новости... Из первого полка, — Савицкий оглянулся на ординарца, соображая, можно ли такие вещи говорить при нем. Атаман взгляд засек, дернул головой сердито, давая понять начальнику штаба, что у него от Григория секретов нет. Савицкий молчал.

— Какие новости? — доев второй огурец, горьковатый от листьев хрена, в изобилии плававших в рассоле, спросил атаман.

— Заговорщики там объявились. Из бывших красноармейцев.

— Это я уже слышал. В заговор не верю.

Савицкий поежился — холодно ему сделалось.

— Факты — упрямая вещь, Иван Павлович, — тихо проговорил он.

— Знаю, мне уже докладывали... Все равно не верю.

— Наиболее тревожное положение — в третьей и четвертой сотнях, — сказал Савицкий и, глядя, как вкусно хрустит огурцом атаман, попросил:

— А мне огурец можно взять?

— Валяй, — разрешил Калмыков. — Дальше можешь не докладывать, я без тебя все знаю.

— Эх, Иван Павлович! — Савицкий вздохнул.

— И про третью, и про четвертую сотни тоже знаю. Есть там, конечно, шепутные мужики, но не более того. Они не опасные. Свои же их и скрутят.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Савицкий, хрустя огурцом, натянул на голову папаху.

— В таком разе что же, — он поклонился атаману, — с праздничком вас, Иван Павлович!

— И тебя тоже.

Начальник штаба, беззвучно прикрывая за собой двери, ушел. Лицо атамана было хмурым, невыспавшимся, упрямым, — в таком настроении с ним лучше не разговаривать.

Неподалеку от атаманского дома ударил выстрел. Григорий поспешно метнулся к окну, извлек из-за пояса наган.

— Совсем голову потеряли, — пробормотал он, — стрельбу рядом с покоями атамана устроили. — Он выглянул из-за занавески, всмотрелся в лиловый сумрак улицы: что там происходит?

Ничего нам не происходило. Часовые продолжали мерно похрустывать снегом, одинокий выстрел их не встревожил да и не выстрел это мог быть вовсе. От раскидистого, в два человеческих обхвата дуба мог отлететь сук. Слишком уж круто стали прижимать ныне морозы — спасу нет, на улицу выйти невозможно, дышать нечем.

Атаман почесал лохматую голову.

— Гриня, — произнес он тускло, хмуро, и ординарец обеспокоенно замер, — скажи там, пусть ко мне Бирюков явится. Не нравится мне что-то возня вокруг Первого уссурийского полка.

Полковник Бирюков был командиром этого полка.

Переоценил свои силы Иван Павлович Калмыков, понадеялся на кого-то. А на кого он, честно говоря, мог надеяться? Только на самого себя. Да на «узкоглазых», как он называл японских друзей, хотя в большинстве своем они узкоглазыми не были, и вообще прикрывали атамана надежно. Атаман их тоже не подводил, старался держаться с японцами на короткой ноге, поддерживать тесные отношения и готов был поменять русскую фамилию на японскую и стать каким-нибудь Макако-саном или кем-то в этом роде.

Выступление казаков в Первом уссурийском полку произошло незадолго до Сретения, в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое января.

Ночи от морозов были туманными — ничего не видно, снег под ногами скрипел как стекло, вызывал ломоту зубов, дышать по-прежнему

было нечем. По Хабаровску бегали собаки с отгнившими по самую репку хвостами, без ушей — постарался мороз. От мороза у собак даже отваливались усы, не только хвосты и уши — так было студено.

Казачьи казармы охранялись слабо — около них даже не всегда стояли часовые. Казаки в казармах чувствовали себя вольготно — бродили по всему городу, еду добывали, выпивку, вдовушек за толстые зады щипали — в общем, мало кто их прижимал. Командир полка Бирюков пробовал подавить подчиненных, навести дисциплину, но споткнулся о такое количество препятствий, что махнул рукой и больше попыток навести порядок не делал.

А в казармах назревал бунт — ночью бледные тени перемещались от одной койки к другой, чего-то шептали однополчанам, потом бегом уносились в соседнюю казарму — словом, шла работа. Офицеры жили на квартирах; в казармах появлялись только днем, да и то старались долго не задерживаться, поэтому ночная жизнь их никак не касалась.

Одним из заводил был Василий Голоцупов, тот самый Пупок, одностаничник Григория Куренева, мыслитель и выпивоха. Красным он никогда не был, поскольку считал, что казаки должны находиться вне политики, грешно им окрашиваться в какие-либо цвета — они не должны быть ни белыми, ни красными, ни малиновыми, — Пупок был против заигрывания с японцами и действия атамана не одобрял.

— Погубят нас япошки, — говорил он, — снимут шкуру и вытрут о нее ноги, а потом шкуру выбросят. Как только Маленький Ванька не понимает этого?

От Куренева, земляка своего, Пупок отдалился — слишком уж тот был близок к Калмыкову, в доме даже их койки стояли рядом. Не говоря уже о том, что они из одной тарелки ели, из одного стакана пили.

— Ах, Гриня, Гриня, — удрученно мотал головой Пупок, — погубит тебя атаман, сдерет, как и япошки, шкуру и сдаст живодерам за щепотку табака. Как же нерасчетливо ведешь ты себя, Гриня!

Общался он теперь с Григорием только по надобности, когда из их общей станицы приходили какие-нибудь вести или почтальон привозил в брезентовую сумку письмо.

Когда его спросил третий одностаничник Оралов: а чего Пупок так редко общается с Гриней, тот ответил просто:

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Боюсь, сдаст меня Гриня! А Маленький Ванька чикаться со мной не будет, мигом засунет в «проходную гауптвахту». Там же итог, ты, Вениамин, знаешь, — один, — Пупок выразительно попилил себе пальцем по шее.

Койки Пупка и Оралова в казарме стояли рядом. Между койками корячились две скрипучие кривые табуретки — на случай, если кто-то придет в гости, под койкой валялись пропахшие конским потом полупустые походные «сидоры». Воровства казаки не боялись — воровать у них было нечего.

В ту темную январскую ночь Пупок растолкал своего соседа:

— Просыпайся, Вениамин, сейчас начнется!

«Красноармейцы» — так называли казаков, успевших побывать в Красной Армии, — выволокли из каптерки дежурного офицера (им оказался хорунжий Чебученко, недавно получивший вторую звездочку на погоны) без шинели, без шапки, и дали пинка под зад.

— Вали отсюда, — сказали, — власть твоя, офицерская, кончилась.

Чебученко, виляя из стороны в сторону, зигзагами — боялся, что в спину будут стрелять, понесся к воротам. Ему здорово повезло — у ворот, подле коновяза, стояли три лошади, жевали сено, грудой наваленное прямо на снег, — седел на них не было, сняли, а вот уздечки были натянуты на морды.

Такому опытному наезднику, как Чебученко, было все равно — в седле ездить или без седла; он поспешно сдернул с бревна коновязи один из поводов и вскочил на лошадь. Пригнувшись, галопом пронесся под перекладиной ворот и был таков — растворился в туманной студеной мгле. Вдогонку ему запоздало ударил выстрел.

Напрасно старался стрелок — его пуля срубила кокошник у дымовой трубы в доме напротив и растворилась в черном пространстве, хорунжего не задела.

Через пять минут Чебученко уже был у дома, в котором квартировал командир полка Бирюков.

— Господин полковник, в полку — бунт, — с таким криком ворвался Чебученко в его квартиру. — Совсем очумели казаки!

Полковник еще не спал — сидел за столом и писал письмо жене... Вдруг какой-то полоумный хорунжий! Хотя и в офицерском чине Че-

бученко был, но экзамена на чин этот не держал. Калмыков прилепил ему вторую звездочку на погоны волюнтаристски, своим собственным решением... Бирюков таких выдвиженцев не любил? Крика от них много, а толку мало. Полковник поднялся. Накинул на плечи китель.

— Объясните толком, что произошло?

Чебученко, давясь словами, хрипя, выкатывая глаза так, что они у него чуть не сползали, как у рака на нос, рассказал, что произошло в казарме Первого уссурийского полка.

Бирюков побледнел, застегнул китель.

— В полк!

— Куда, господин полковник? Казаки вас убьют. Озверели люди... Красноюки, одним словом.

Командир полка оборвал его:

— Не краснюки, а уссурийцы, наши земляки!

— Внизу лошадь стоит. — Чебученко не слушал его, продолжал сипеть, давиться воздухом, жевать фразы. — Я прискакал... Правда, седла нет.

Полковник был наездником, не хуже хорунжего, с лету прыгнул на коня и поднял его на дыбы, рванул. Чебученко ухватился за жесткий лошадиный хвост, хлестнувший его по лицу, и заперебирал ногами по снегу — ему нельзя было отставать от полковника.

Из-под копыт летело твердое, как камень, крошево, хлестало хорунжего по щекам, он отчаянно жмурил глаза, стискивал веки — боялся, как бы чего не вышло, иначе останется слепым, и перебирал, перебирал сапогами, задыхался, но от Бирюкова не отставал. Да и тяга у него была хорошая и буксир крепкий — лошадиный хвост.

Когда до казармы оставалось метров триста, Чебученко оторвался от хвоста — сил, чтобы бежать дальше, не осталось совсем, — растянулся на твердом колючем снегу и на несколько мгновений, похоже, потерял сознание. Темнота перед ним вдруг сделалась бурой, замерцали в ней тусклые искры, лицо обожгло снегом. Хорунжий очнулся, поспешно поднялся, шатаясь, побежал дальше к казармам.

А полковник был уже во дворе казармы, ловко осадил лошадь и прыгнул на землю. Во дворе топтались казаки.

— Тю, — произнес один из них, в темноте невидимый, — лошадь, угнанная хорунжим, вернулась.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Мы ее, Пупок, даже в Спасске разыскали бы и вернули владельцу... Как же казаку без коня? Никак, — с казарменно-станичным философом Пупком разговаривал Оралов. Его голос, низкий, трескучий, можно было легко отличить от других голосов, так он выделялся.

— Вот полковник дурак, — проговорил Пупок и понизил голос, — и чего он приехал? Голову ему сейчас срубят, тем дело и кончится.

— Жалко будет — сказал Оралов, — мужик-то он неплохой.

— Счас, дурака уговаривать начнем...

— Это будет его самая большая ошибка.

Бирюков действительно начал уговаривать казаков: приложил руку к груди и поклонился им.

— Братцы, не бунтуйте, прошу вас... Ведь вы бунтуете против самой России.

— Ты, господин полковник, Россию с атаманом Калмыковым не путай, — выкрикнул кто-то из толпы, демонстративно щелкнул шашкой, вытянул ее из ножен, а потом с силой всадил обратно.

— Атаман Калмыков — это тоже Россия, — горько поморщившись, произнес полковник, — как в казачестве войско Уссурийское.

— А то, что атаман японцам задницы облизывает — это тоже во имя Росси, господин полковник? Чтобы ей жилось лучше, да?

— Заклинаю вас! — высоким голосом выкрикнул полковник. — Вернитесь в казарму, на свои места!

— Дудки!

В это время во двор ввалился вконец обессиленный Чебученко. Отметил, что народа толпится много — человек триста, не меньше. Если не больше... Люди были возбуждены.

— Калмыков — предатель! — громко прокричал кто-то. — Во имя Японии предал интересы России.

— На кол Калмыкова!

— Лучше петлю на шею. Этого он достоин больше, чем кола. Петля — позорнее.

Страсти накалялись. В прокаленном дворе, в котором любили опрастывать свою требуху казенные лошади, сделалось совсем холодно. С петлей для Калмыкова полковник Бирюков никак не мог согласиться и выдернул из кителя маленький, игрушечно выглядевший револьвер. На-

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

прасно он сделал это, не надо было ему хвататься за несерьезную детскую пуколку. С такими людьми, как фронтовики, можно разговаривать лишь с помощью одного толмача — пулемета «максим». В крайнем случае при поддержке «люськи» — английского ручного пулемета «люис».

— Возвращайтесь в казармы! — прокричал Бирюков командным голосом и взмахнул игрушечным пистолетиком. — Немедленно!

Один из казаков — звероватый, в лохматой бараньей шапке, с блестящими глазами, видными даже в ночной темени, рывком сдернул с плеча карабин.

Кто-то это засек, попробовал остановить казака:

— Не надо. Видишь — полковник не в себе...

Казак в бараньей шапке не услышал его, — вернее, сделал вид, что не услышал, — передернул затвор и, не целясь, хлопбытнул в полковника выстрелом. Полковник дернулся от боли, застонал — пуля угодила ему в плечо, — приложил к ране руку с зажатым в ней пистолетиком.

Галдевшие казаки замолчали, словно этот одинокий выстрел оглушил их, заставил отрезвиться. Кто-то сожалеющее охнул и проворботал:

— Напрасно, братцы!

Но у казака в бараньей шапке словно бы что-то помутнело в мозгу, он блеснул тусклым оловом своих глаз и загнал в ствол карабина второй патрон. Через мгновение гроыхнул еще один выстрел, обдал людей душной кислой вонью.

Казак был опытным стрелком — снова попал в полковника. У того пистолетик вышибло из пальцев, голова сломалась в шее и он ткнулся лысеющим черепом в снег: вторая пуля разворотила ему живот.

На стрелка тем временем навалились соседи, сразу три человека, выкрутили карабин и, приводя в норму, хлопбытнули несколько раз кулаками по шее:

— Провокатор!

Вполне возможно, что это был провокатор, специально взращенный «казачок», определить нам не дано — вон сколько лет прошло с той поры... И бумаг не осталось никаких. Ни фамилии этого стрелка, ни имени. Известно только, что из бывших красноармейцев. Да еще, что был он в свое время награжден Георгиевской медалью.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Чебученко видел, что происходило — полковник упал в снег на его глазах, — с досадой рубанул кулаком воздух и словно бы пару гвоздей вбил в крутой хабаровский мороз.

— Убили полковника-а, — из глаз Чебученко брызнули холодные слезы, — убили... Чего же я стою? — Он опомнился. — Надо мчаться в штаб. Там же ничего не знают. Сейчас эти люди пойдут убивать штабных... Обязательно!

Хорунжий развернулся и резко, громко скрипя подошвами сапог, побежал к штабу ОКО.

Как ни странно, не спал и начальник штаба войсковой старшина Савицкий. С бледным лицом и припухлостями под глазами, он маялся животом. Ему советовали пить соду, которая помогает снять желудочную боль, но Савицкий к соде относился с недоверием, отмахивался от нее, как от мухи, и продолжал страдать. Поговаривали, что скоро он станет полковником — широко шагал мужик, ни кальсоны у него не трещали, ни шаровары, вот ведь как...

Здесь, в штабе, о восстании в Первом уссурийском полку ничего не знали. Савицкий, услышав про это, схватился обеими руками за живот, расстроено пошевелил влажными губами, но в следующее мгновение пришел в себя и скомандовал:

— Выкатывай в окна штаба два пулемета!

— Окна надо открывать... Замерзнем же, господин подполковник, — выкрикнул кто-то.

— Не подполковник, а войсковой старшина — это раз, и два: что лучше — замерзнуть или получить пулю в лоб?

— Пулю...

— Дурак! Через двадцать минут, мил человек, тебя ею и наградят персонально, — голос у Савицкого сорвался. — Приготовься к бою!

Восставшие сейчас действительно двигались к штабу — рассчитывали здесь застать Маленького Ваньку. Но Калмыкова в штабе ОКО не было, и вот что было плохо — Савицкий не знал, где он сейчас находится. Тем не менее призвал к себе бойца в неформенной шапке-кубанке, с лихим белесым чубом, сваливавшимся на нос:

— Ильин, дуй к атаману на квартиру, глянь, есть он там или нет? Ежели нет — возвращайся немедленно, ежели есть — предупреди, пусть побережет себя.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Через минуту Ильин скрылся в туманном морозном сумраке. Калмыкова на квартире не оказалось — ни Калмыкова, ни верного ординарца Григория Куренева. Ильин выругался, стряхнул с белесого чуба снежную намерзь и понесся обратно.

События развивались стремительно. К восставшим двум сотням Первого уссурийского полка примкнула пулеметная команда и артиллеристы. Штат артиллеристов в отряде Калмыкова был раздут, как лошадиная торба рубленой соломой. Кроме конно-горного дивизиона, состоявшего из двух батарей, имелись еще отдельная юнкерская батарея, тяжелая батарея — также отдельная, хозяйственная часть — специально для пушкарей, укрупненный взвод управления, команда разведчиков, учебная команда, нестроевая команда, артиллерийский парк и гордость атамана — бронепоезд «Калмыковец», наводивший шороха на железной дороге, с ним даже настырные чехи старались не связываться — побаивались. Командир на бронепоезде был очень нервный — говорят, из кронштадтских моряков, невесть каким ветром сюда занесенный, но он лишь один из всех был знаком с английской скорострельной пушкой «пом-пом», а также с тощими, но злыми пушчонками тридцать седьмого калибра, укрепленными на обычных тележных колесах, чтобы отбиваться от аэропланов. Поэтому атаман и доверил ему бронепоезд; видя по дороге что-нибудь подозрительное, неприятное — тех же чехов в их мышинной форме, — кронштадтский матрос скрипел зубами и незамедлительно открывал артиллерийскую стрельбу.

Кстати, фокус с тележными колесами придумал именно этот матрос — у семеновцев, на их поездах, такого не было: пушки на семеновских броневиках били только из щелей, которые были вырезаны для них в броневой обшивке, и не более того — нововведений читинские инженеры не признавали.

Но вернемся к делам скорбным, к напасти, навалившейся на Маленького Ваньку (кстати, раз Маленький Ванька, значит, должен быть и Большой, но Большого Ваньки, увы, не было). Добрая половина артиллеристов (кроме юнкеров) перешла на сторону восставших. Так что количество тех, кто призывал посадить атамана на кол, перевалило за пятьсот человек.

Именно эти пятьсот человек, окутанные морозным паром, усиленно растирая замерзшие носы, ежась от стужи, двигались к штабу, занимав-

БҮРСАК В СЕДЛЕ

шему огромный купеческий особняк, — поговаривали, что в особняке том останавливался сам Чурин, великий дальневосточный купец. Увидев пулеметы, восставшие остановились.

Что было плохо, так это то, что ими совершенно никто не управлял; у восставших не было руководителя; серая замерзшая толпа расплзлась: кто-то хотел устремиться в лес по дрова, кто-то в ресторан есть печеных куропаток, кто-то умчаться в слободу по вдовушкам: у толпы этой не было не только руководителя, но и цели — люди не знали что им делать, за что бороться, чего требовать? Всем хотелось спокойной сытой жизни, некоей безмятежности, что ли, — чтобы ни о чем не думать, не помнить ни войну, ни голодуху невольную, что хуже смерти, когда приходилось довольствоваться горстью картофельных очисток в день, ни Маленького Ваньку с его короткими кривыми ногами... Чего еще нужно простому человеку?

Надо отдать должное американцам — они узнали, что началось восстание еще до того, как оно началось. Исхитрились. На разведку денег они не жалели. Но Маленькому Ваньке не сказали ни слова — пусть ему об этом скажут японцы.

А японцы восстание просто-напросто прозевали... В общем, Калмыков угодил в некую мертвую зону, где ничего не было ни видно, ни слышно.

Набившись в тесный двор штаба и опасливо поглядывая на рыльца двух «максимов», восставшие стали требовать Калмыкова.

На крыльцо вышел Савицкий.

— Атамана здесь нет, — коротко заявил он. Как отрезал.

— А где он?

— Спросите у него самого, — Савицкий, морщась, поглаживал ладонью живот, его продолжала допекать боль, — мне он, когда куда-то уходит, не докладывает.

Дульца двух пулеметов, выглядывавшие в раскрытые окна, грозно задвигались. Собравшиеся затоптались смятенно, захлопали рукавами шинелей, завздыхали — они не знали, что делать. Савицкий тоже вздохнул: он тоже не знал, что делать — не стрелять же в этих людей из «максимов»... И атаман куда-то исчез... Не специально ли? Стрельбу такую не простят ни ему, ни Ивану Павловичу — понесут обоих ногами вперед. Боль, сидевшая в желудке, сделалась нестерпимой.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Казачи, набившиеся во двор штаба, стучали сапогами друг о дружку; сильнее всего в этот мороз отмерзали ноги — костенели, делались деревянными, негнущимися.

— Может, вернемся в казармы? — предложил кто-то нерешительно.

— Да ты чего, паря! — взвился Пупок. Он всегда оказывался в нужное время в нужном месте, всегда ему везло на какие-нибудь приключения. — Возвращение в казармы для нас гибельно.

— Слушай, Пупок, ты мужик головастый...

— Головастый, — не стал отрицать Пупок.

— Вот мы тебя и избираем руководителем. Веди нас...

— Да вы что? — Пупок вскинулся, будто получил в зад заряд дроби, голос у него сделался испуганным: — Вы чего? Какой из меня руководитель? Никогда таковым не был. И головастым себя не считаю. Вы чего?

Толпа заволновалась. Пупка тут знали многие. Послышались крики:

— Любо!

— Пупка — в начальники!

— Из него вполне получится Стенька Разин.

Вот так Пупок и стал руководителем восстания. Оралов придвинулся к нему, пожал руку:

— Поздравляю!

— Нашел, с чем поздравлять!

«Где атаман? — морщился от боли Савицкий. — Куда подевался?»

А атаман скакал вместе с Гриней Куреневым к японцам: Маленький Ванька впереди, Григорий, прикрывая его от выстрелов вдогонку, позади.

О бунте третьей и четвертой сотен он узнал едва ли не раньше всех — вслед за американцами: из казармы к нему примчался казачок-землячок, прибившийся к уссурийцам из Терского войска — он примчался к земляку в ту минуту, когда мятежники еще только начинали громко драть глотки. Калмыков, надо отдать ему должное, в этот раз сориентировался мгновенно, схватил карабин, закинул себе за спину, свистнул Куренева и был таков...

Единственно, к кому он мог пойти, были японцы. По пути заскочил к Эпову, который носил уже погоны есаула и собирался в войсковые старшины. Не сходя с коня, постучал рукоятью плетки в окно:

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Есаул!

Эпов высунулся в форточку.

— Иван Павлович!

— Поднимай отряд по тревоге. У нас беда.

— Что случилось? — голос у Эпова дрогнул — с бедой мириться не хотелось.

— Взбунтовались третьи и четвертые сотни в полку у Бирюкова.

— Красноармейцы?

Они самые, будь неладны... А я им верил. Тьфу! Поднимай, в общем, отряд. А я — к узкоглазым за помощью.

— С богом! — Эпов перекрестил атамана.

Маленький Ванька хлестнул коня и растворился вместе с ординарцем в ночи. Начинала мести поземка, над крышами домов постанывал ветер.

— Свят, свят, свят! — Эпов, опытный вояка, зубы съел на войне, опасность ощущал ноздрями, а тут чего-то заволновался, руки у него затряслись — никак не мог натянуть на себя галифе.

Брюки галифе в отличие от казачьих шароваров ему нравились, и хотя галифе считались неформенной одеждой, Эпов нашел на них желтые уссурийские лампасы и ходил в обнове по Хабаровску, гордо вскинув голову.

Сразу было видно — идет казачий начальник.

Автомобилей у калмыковцев было немного — в редких случаях к штабу подгоняли богато убранный автомобиль с блестящим радиатором и хромированными спицами на колесах; раз подгоняли авто — значит Маленький Ванька ехал куда-нибудь клянчить чего-нибудь или же встречаться с очередным пшютом из Владивостока — тем же Ивановым-Риновым, Неометтуловым, либо с деятелями из ПОЗУ — Приморской земной управы, которые отчаянно тянули на себя одеяло и считали, что они — главные в этой части света, чего хотят, то и будут делать...

Вспомнив о роскошном штабном автомобиле, Эпов невольно крикнул:

— Эх, ландо бы сюда, я б живо не только Хабаровск поднял на ноги, но и Благовещенск. Но машины не было, и Эпов поспешно вскарабкался на «музыкального» коня — этакое бокастого пердунка, носившегося по

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Хабаровску с громкими музыкальными звуками. Вони от коня было не меньше, чем от автомобиля, имевшего дырявый мотор.

Но что хорошо — конь был неутомим, мог скакать, не уставая, сутками, а автомобиль так не мог.

Восстание уссурийцев разгоралось. Покинув штабной двор, казаки на ближайшей же площади развели высокий костер, у купца второй гильдии Пышкина разобрали поленницу, сложенную около забора, и перетащили дрова на площадь.

Из купеческого дома пробовал выскочить, защитить имущество своего хозяина мохнатенький, похожий на замшелый поздний гриб служка, но Пупок, почувствовавший себя командиром, так рывкнул на него, что мужичок икнул растерянно и поспешил растаять, поняв, что ему будет плохо. Некоторое время в темноте было слышно его икание, а потом исчезло и оно.

Когда народ отогрелся у жаркого костра, послышались голоса:

— Командуй нами, Пупок! Даром, что ли, мы тебя в атаманы выбрали?

— Пупок, говори, чего делать?

— Чего делать, чего делать? — Пупок озадаченно почесал затылок. — По моему разумению, если б нас набралось тысячи три, с Маленьким Ванькой можно было бы воевать, но нас-то всего сотни три-четыре ...

— Бери выше — пять! Я считал.

— Пять сотен — это тоже войско. Если на подмогу к нам придет Шевченко Гавриил Матвеевич — тогда мы войско, на коне... Но где Шевченко — никто не ведает. Говорят, зимует где-то в сопках под Сласском в трудных условиях и на помощь вряд ли отважится.

— В таком разе что делать, Пупок?

— Идти за помощью самим.

— К кому?

— К американцам.

— Атаман — к японцам, мы к американцам. Не слишком ли? Становиться на колени перед иностранцами — штука позорная.

Пупок сдвинул на нос лохматую шапку и поскреб ногтями затылок, потом сунул руки в пламя, погрел их.

— Говори, Пупок, не молчи! Что делать?

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Я же сказал — идти к американцам.

— Это мы уже слышали.

— Другого пути нет — только один. Иначе Маленький Ванька порубает всех нас, как капусту для засолки. — Пупок улыбнулся хмуро и одновременно жалко — он представил себе, как бесится сейчас атаман.

— А может, лучше пойти к японцам?

— Нет, только к американцам. Японцы нас не поддержат, они поддерживают Калмыкова.

Все-таки у Пупка была неплохая голова, недаром он считался деревенским мыслителем, мог просчитывать действия на пару шагов вперед. На большее не мог, а на пару шагов мог. Скомандовал восставим:

— Давайте, братцы, строиться. В колонну по три.

— Пупок, не зарывайся! Сейчас изберем другого начальника.

— А я и не зарываюсь. И быть у вас начальником мне тоже не очень-то с руки. Еще не хватало — отвечать не только за самого себя, но и за каких-то дураков, — в горле у Пупка что-то дернулось, будто в глотку влетела рыба кость, он поперхнулся, потом, одолевая себя, мотнул головой упрямо: — Значит, команда будет такая — кто хочет идти со мной к американцам — стройся! Кто не хочет, американцы ему противны, пусть выбирает себе другого командира.

Восставшие, все до единого, выстроились в колонну по три, никто не захотел идти к японцам.

— Вот это дело! — Пупок довольно потер руки. — Так, глядишь, и целыми останемся, при головах и волосах.

Колонна восставших, отчаянно скрипя промерзшими сапогами, вытянулась к широкою темную улицу и растворилась в ней.

Американцы — это был единственный верный ход, который сделали восставшие; все остальные ходы были обречены.

Маленький Ванька очень реально оценил на сей раз опасность, которую представляли для него бунтовщики, — именно так он назвал выступившие против него сотни и, как всякий опытный игрок, перекрыл им любую возможность совершать маневры — успели они только к американцам.

Пупок разумно решил сыграть на противоречиях двух медведей, забравшихся в одну берлогу, — японцев и американцев. Американцы

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

явно готовы пойти на любое ослабление власти Калмыкова, поскольку это ослабляло позиции японцев: в общем, Пупок рассчитал этот ход точно — на первый план вышла политика, а политические ходы часто бывают очень неожиданными.

К утру Пупок и усталая замерзшая колонна находились уже в расположении 27-го американского полка.

Дежурный офицер срочно поднял с постели полковника Стайера:

— Сэр, происходит что-то непонятное...

— Что именно?

— К нам в полк пришли записаться русские.

— Много?

— Пятьсот с лишним человек.

Стайер невольно присвистнул:

— Такого прецедента в американской армии еще не было, — сон с него слетел в одно мгновение. Через несколько минут командир полка в накинутой на плечи шубе вышел к воротам, у которых находились восставшие.

— Кто у вас главный? — на исковерканном русском языке спросил Стайер. Пупок вздохнул и потупил глаза: светиться и сообщать, что его выбрали руководителем восстания, очень не хотелось. Стоявший рядом с ним Оралов хлопнул Пупка рукой по погону:

— Вот он — руководитель!

— Что вы хотите? — спросил Стайер.

Пупок поднял глаза и сказал:

— Мы не желаем служить у атамана Калмыкова.

— Почему?

— Из-за притеснений атамана и господ офицеров. С нами обращаются, как с собаками. За службу платят копейки... Мы просим разрешения вступить в вашу армию. Помогите нам! Пожалуйста, — униженным тоном попросил Пупок.

Стайер поспешно удалился в канцелярию — связываться по телефонному аппарату с генералом Гревсом — старшим воинским начальником. Гревс спросонья долго не мог понять, что происходит, потом очухался и приказал:

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Пропустите русских в расположение полка, выдайте по чашке горячего кофе и накормите бутербродами.

— В нашей столовой не будет столько бутербродов, господин генерал.

— Сделайте это за мой счет, полковник.

У генерала были неограниченные представительские — он мог угостить восставших казаков не только бутербродами, но и горячими бифштексами с кровью.

Стайер щелкнул каблуками:

— Есть!

— Какие требования у восставших?

— Они хотят вступить в американскую армию.

— Это совершенно исключено!

— Я понимаю, что исключено, но требования их таковы.

Гревс подумал, что насчет бутербродов он погорячился, восставшие могли бы обойтись булочками.

А Маленький Ванька продолжал действовать. Он не только договорился с японцами о поддержке, он уже связался с Приморьем, с войсковым правительством, сидевшим во Владивостоке. Не приведи, Господи, если восстание этих дураков из Первого уссурийского полка поддержат там... Тогда все. Тогда готовь задницу для оглушительного пинка.

На следующий день он разослал по всем станциям цибулю, собственноручно сочиненную: всех, кто будет выступать против атамана и войскового правительства, — арестовать. Независимо от должности, чинов и регалий — сразу в кутузку! Войсковое правление было поставлено на ноги: атаман велел всем членам правления не спать по ночам, не завтракать утром, но бунт подавить в зародыше. Чтобы им и не пахло.

Но главное — чтобы дух этот подленький — задирает хвост на бабку — не просочился в другие части, не вспыхнул там злым пламенем...

Атаман знал, что делал: восставшие оказались в изоляции, пламя бунта не смогло распространиться ни по войску, ни по станциям. Бунт угас, так и не разгоревшись, — да и не было у бунта этого ни планов, ни целей, ни руководителей. Случайные люди типа Пупка — это не руководители. Это жертвы, которых выдвигают из своих рядов такие же жертвы, именуемые народными массами.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Но вернемся в замороженный неуютный двор 27-го американского полка, где в ожидании кофе и бутербродов сгрудились восставшие.

Что с ними делать дальше?

— Русские пришли с оружием? — спросил Гревс.

— Так точно, сэр!

— Разоружить немедленно!

Здесь же, во дворе, восставших разоружили, потом загнали в казарму — отогреться, в казарме произвели поименную перепись, а днем, под конвоем, перепроводили в лагерь военнопленных, расположенный на Красной Речке. — Гревсу надо было перевести дыхание и связаться с Вашингтоном: он не знал, что делать. Генерал никак не мог, просто не имел права зачислить пятьсот русских оборванцев в американскую армию. И держать в лагере военнопленных тоже не мог — он превышал свои полномочия.

Вскоре к американцам приехал войсковой старшина Савицкий, попросил суровым голосом:

— Господа, верните нам отнятое у взбунтовавшихся казаков оружие!

Американцы показали ему кукиш — даже разговаривать не стали.

— Мы решили вопрос о приеме наших добровольцев в американскую армию. Вместе с оружием. — И открыли дверь пошире, чтобы располневший Савицкий мог покинуть штабную комнату, не зацепившись животом за косяк.

Маленький Ванька поскакал к японцам жаловаться на американцев.

Делегация японского командования в составе трех человек не замедлила явиться к генералу Гревсу.

Гревс был холоден и категоричен.

— Нет! — коротко ответил он на просьбу японцев вернуть оружие Калмыкова и дал понять, что продолжать разговор не намерен.

Японцы намек поняли и, вежливо улыбаясь, удалились.

Вечером у Гревса появился японский военный, наделенный дипломатическими полномочиями. Он передал генералу официальный документ, из которого следовало, что вооружение, а также имущество, отобранное у восставших, является собственностью японской армии. Более того,

БҮРСАК В СЕДЛЕ

из документа следовало, что боевой отряд атамана Калмыкова ОКО с первых же дней своего существования получал оружие, боеприпасы и снаряжение от японских военных.

Это практически было первым документальным признанием японцев — они сообщали вполне официально, что пригнали Калмыкова и взяли его к себе на содержание.

Гревс, прочитав эту бумагу, улыбнулся ехидно — японцы здорово подставились, а уж он, генерал Гревс, обязательно постарается использовать ее в своих подковерных играх. Подняв телефонную трубку, Гревс несколькими энергичными движениями крутанул рукоять аппарата, попросил дежурного связиста:

— Соедините меня, голубчик, с полковником Стайером, — и когда в трубке загремел командный голос полковника, приказал ему: — Немедленно верните оружие, лошадей, если они были, и вообще все снаряжение, изъятые у русских казаков... Полковник, вы не дослушали меня! Почему вы решили бежать вперед паровоза? Не спешите! Верните все это представителю японского командования. Понятно?

Услышав последние слова, Стайер начал что-то невнятно хрюкать в кулак — не ожидал, что японцы расколются.

— Вам все понятно, полковник? — спросил Гревс.

— Так точно!

— Вы забыли добавить слово «сэр».

— Так точно, сэр!

— Выполняйте приказ!

Утром следующего дня все изъятые у восставших имущество было передано японцам — они приехали за ним на нескольких грузовиках и увезли в другой конец города, где располагался штаб дивизии генерала Ооя.

Калмыков спешно создал и утвердил собственной росписью состав военно-полевого суда, цель была одна — расследовать события двадцать седьмого — двадцать восьмого января 1919 года, виновных строго наказать.

Суд не стал выяснять, кто прав, кто виноват, кто действительно руководил действиями восставших, а кто лишь метлой сгребал бумажки на площади и наводил чистоту, — взял да и подвел всех под одну черту:

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

каждому, кто хоть как-то был причастен к восстанию, дал по одному году тюрьмы. Заочно.

Через пару дней с редакторами хабаровских газет встретился генерал Оой, который сообщил, что вопрос о восстании будет рассмотрен на совещании представителей союзного командования; совещание это должно скоро состояться во Владивостоке. Что же касается бесчинств, произведенных калмыковцами, то Оой по этому поводу только руки развел.

— Я об этом ничего не знаю, — сказал он. — Дайте мне факты, я их проверю и виновных обязательно накажу.

Двенадцатого февраля Калмыков подписал приказ, по которому Первый уссурийский полк был расформирован. Казаки, оставшиеся верными атаману, и часть офицеров были переведены во Второй уссурийский полк.

Больше всего Калмыков боялся волнений в станицах, но волнения, слава богу, не начались, хотя глухой ропот иногда долетал до Хабаровска с войсковых территорий и атаман незамедлительно поджимал хвост.

После нескольких жалоб на военно-юридический отдел с его страшной «походной гауптвахтой», он этот отдел закрыл, а состав заключенных велел почистить.

— Всех, кто попался на краже пряника у булочника, либо обматерил красивую бабенку и был задержан, — по заднице лопатой! — приказал он. — Пусть бегут отсюда без оглядки. Оставить только шкодливых большевиков, да серьезно провинившихся казаков... остальных, повторяю, — вон!

Генерал Иванов-Ринов, которого атаман, как мы знаем, обещал когда-то высечь нещадно, пошел на повышение, переместился из Владивостока в Омск, но вскоре вновь появился во Владивостоке, на этот раз с неограниченными полномочиями. Генерал этот, в общем-то очень серый, без единой яркой краски, был назначен помощником Верховного правителя по Дальнему Востоку.

Маленький Ванька, позабыв о прошлом, поспешил встретиться с ним.

— Я обязательно признаю власть Колчака как единственную в России, — заявил атаман, едва появившись в дверях кабинета. Ему еще даже не предложили сесть, а он уже сделал свой главный политический ход.

БУРСАК В СЕДЛЕ

— На каких условиях? — холодно поинтересовался Иванов-Ринов.

— На условиях Александра Васильевича Колчака, — атаман наклонил напомаженную голову. К этой встрече он готовился, как девица, вздумавшая выскочить замуж за гвардейского полковника. — Какие условия господин адмирал поставит, такие я и приму.

— Хорошо, хорошо, — не меняя холодного тона, проговорил Иванов-Ринов.

Ему стало понятно, что курс Калмыкова на автономизацию Уссурийского войска, готового стать «Россией в России», приказал долго жить. Больше строптивый атаман кочевряжиться не будет и признавать станет только одну власть — Колчака.

Иванов-Ринов был доволен. Беседа с Маленьким Ванькой прошла у него, как пишут в таких случаях в газетах (в ту пору тоже писали так), «в теплой, дружеской обстановке».

Договорились даже до того, что Иванов-Рилов переведет свою контору в Хабаровск.

За первой встречей последовала вторая, потом третья.

В результате было подписано соглашение, в котором «высокие договаривавшиеся стороны» облекли свои беседы и договоренности в форму документа.

Маленький Ванька и Иванов-Рилов стали друзьями «не разлей вода», ходили теперь чуть ли не в обнимку. Прошлое было забыто.

Калмыков понимал, что надо срочно собирать новый круг — только победа на общем сборе могла поправить его пошатнувшуюся репутацию. Почесав затылок, атаман разослал по станицам циркуляр с предложением избирать делегатов на Шестой войсковой круг.

Станицы зашевелились.

Устроиться в американскую армию мятежникам не удалось. Пупок повздыхал, повздыхал немного и сказал приятелю-земляку Оралову:

— Жизнь, брат Вениамин, очень колючая штука. Но воспринимать ее надо такой, какая она есть.

— Может, постараемся устроиться в американский лагерь надсмотрщиками?

— Не возьмут, — мотнул головой Пупок.

— Но почему-у?

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— По кочану, да по кочерыжке. Не возьмут и все.

— В таком разе, что будем делать?

— Надо пробираться домой, в станицу. Там мы не только от Калмыкова — от самого черта спрятаться сумеем.

— Это хорошо. — Оралов не сдержался, расцвел в улыбке, лицо у него помолодело. — Дома и стены помогают. Жену увижу... Нужно только прибиться к какому-нибудь пассажирскому поезду.

— Ни в коем случае! Если прибиваться, то только к товарняку. Пассажирские Маленький Ванька чистит так, что только перья из подушек летят. Даже к бабам под юбки забирается.

— Чего, мужиков пытаются там найти?

— Не мужиков — золото! И представь себе, Вениамин, — находят.

— Общипать бабу — дело нехитрое и приятное, — вид у Оралова сделался мечтательным, он облизнулся. Пупок это засек, усмехнулся — соскучился мужик по дамскому полу.

Вечером Оралов решил поговорить с американцем-капитаном, начальником лагеря — русский тот знал хорошо. Говорили, отец его добывал золото на Аляске, а когда Аляску продали САСШ — Северо-Американским Соединенным Штатам, остался там и через некоторое время получил на руки бумажку, из которой следовало, что он с той поры — гражданин САСШ.

— Господин капитан! — окликнул Оралов «русского американца». Тот стоял у ворот и, постукивая тростью по утепленным сапогам, задумчиво посматривал на лагерь — что-то ему не нравилось, а что именно, он не мог сообразить.

— Ну! — раздосадованно откликнулся капитан. — Что случилось?

Оралов сунул руку за пазуху и достал оттуда небольшую соболью шкурку, встряхнул ее — с шелковистого волоса на снег будто бы электрические искры полетели. Капитан заинтересованно глянул на шкурку и громко стукнул тростью по сапожному голенищу.

— Это вам, — сказал Оралов, — от благодарных казаков... За то, что вы не отказали нам, приняли в лагерь.

Капитан молча взял шкурку в руки, встряхнул ее. На снег вновь посыпались искры. Капитан улыбнулся и сунул шкурку за отворот подбитой мехом шинели.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Господин капитан... — голос у Оралова сделался жалобным, он прижал к груди обе руки. — Возьмите меня работать к себе.

— Не могу, — ровным, лишенным каких-либо красок тоном ответил капитан. — Если бы вы были американским гражданином, взял бы. Но вы не американский гражданин, верно?

— Ага... Не американский.

— Вот потому и не могу взять — у меня инструкция... Понятно?

— Ага, — грустно пробормотал Оралов, — все понятно.

Жаль только, отдал капитану дорогую шкурку, ее можно было обменять на базаре на продукты. Прав был Пупок: американцы их к себе не возьмут. Рожей не вышли. И пачпортами. Оралов почувствовал спазмы в горле, отвернулся от капитана и как бы нечаянно мазнул рукой по глазам.

Теперь они с Пупком, не прикрытые американцами, как голенькие на снегу...

Он пришел к Пупку, рассказал все. Шмыгнул тихо носом, привычно провел ладонью по глазам, сшибая с ресниц соленые слезы. Спросил:

— Что будем делать?

— Я же сказал, Вениамин, — бежать. Другого пути у нас нет.

На их счастье, морозы отпустили, перестали давить, стало легче дышать, воздух был уже не так обжигающе тверд, снег не скрипел под ногами, природа подобрела.

Ночью они перемахнули через частокол лагерной ограды, — часовой на вышке, оставив винтовку в сторону, сладко спал, ничего не видел, — по снегу vybrели на замусоренный соломой проселок и вскоре дружно шагали в сторону села, по самые трубы утонувшего в сугробах; из села они рассчитывали совершить бросок к железнодорожной станции.

На станции этой вряд ли обнаружатся калмыковские патрули, так далеко они обычно не забираются. А дальше — ищи их, свищи, — двух беглецов, возвращающихся домой.

Дышалось легко, ноги бежали по земле словно бы сами по себе, резво, над головой тихо скреблись своими жесткими спинами о небо темные ночные облака. Иногда в выси, в черных провалах, вспыхивали далекие крохотные огоньки, грели душу — это были звезды.

Взглянуть бы одним глазком, что за жизнь там, что за народ на звездах обитает, какие люди населяют тамошние деревни. Наступит ведь время, когда все это станет известно.

Пупок завистливо вздохнул — он до этого времени не доживет. Не дадут дожить, это Пупок понимал хорошо. Он это собственной шкурой ощущал.

До села добрались без приключений, там погрелись в домишке церковного сторожа — он бедолаг чаем напоил, а к чаю выставил полтарелки кирпично-твердых сухарей.

— Калмыковские разъезды сюда заглядывают, отец? — спросил Пупок у церковного сторожа.

— Редко, — сторож понимающе сощурился. — От Маленького Ваньки, я так понимаю, скрываетесь?

Пупок удивился.

— Вы тоже атамана Маленьким Ванькой называете? Значит, дошла молва и сюда?

Сторож с усмешкой качнул головой:

— Дошла и сюда.

Через десять минут Пупок с Ораловым поднялись, поклонились сторожу в пояс:

— Не поминай нас, дедусь, лихом... И прости.

— Бог простит! — по-церковному ответил дед. — А я уж тем более прощу. Берегите себя!

Днем беглецы пристали к конскому поезду: в восемнадцати вагонах стояли лошади, их везли во Владивосток, в формирующийся конвой при приморском правительстве. Чтобы дальневосточное охранное подразделение выглядело не хуже, чем конвой у атамана Калмыкова, подрядчики специально закупили в Чите коней — выносливых степных монголов.

К этому эшелону станичники и пристали.

— Конскими яблоками будет пахнуть, но это не беда, — сказал Пупок, плюхаясь задом в отдельный закуток, плотно набитый сеном. — Харрашо! — Он втянул руки и вкусно похрустел костями.

Оралов, неверяще улыбаясь, со счастливым детским выражением на лице — не верил в то, что все так удачно сложилось, — упал на сено рядом, подпрыгнул так же, как и его приятель, беззаботно и раскинул руки крестом:

— Вот повезло, так повезло.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Под настилом вагона мерзло, как-то очень уж неуютно застучали колеса. А здесь, в закутке, было хорошо. Тепло, покойно, рядом задумчиво хрустели сухим сеном лошади.

— Неужели скоро будем дома? — Оралов счастливо вздохнул. — Дома-а...

— Не кажи «гоп», пока через плетень не перемахнешь, — назидательно произнес Пупок, зарылся поглубже в сено, воскликнул довольно: — Тепло!

В вентиляционные отверстия, сделанные в вагоне, — схожи они были с обычными форточками, — тянул встречный ветерок, вымораживал помещение, и Пупок подумал, что неплохо бы пресечь этот холодный поток, заткнуть «форточки» сеном, но потом подумал, что сено выдаст их с Ораловым, и не стал этого делать. Лучше уж забиться в сено — там тепло.

Через полтора часа поезд остановился на большой людной станции. Станция была богатая; ни погромов, ни казачьих плеток не боялась, между вагонами шныряли старухи с чистыми узлами, в которых погромывали глиняные банки с запеканкой и сметком. Какой-то мужик на костылях торговал свежим маральим мясом, рядом молодайка трясла двумя жирными кусками кабанятины и кричала, что было силы:

— Сало дикого вепря, домашнее, копченое... Сало дикого вепря!

Дикое и домашнее у молодайки соседствовало рядом.

— Неплохо бы перекусить, — облизнувшись, произнес Оралов.

— А гроши есть?

— Немного есть.

Пупок выглянул в «форточку», быстрым взглядом обследовал перрон.

— Народу много, — сказал он. — Если один из нас высклизнет из вагона, а потом нырнет обратно — вряд ли кто заметит.

— Ну что, может, я попробую? — предложил Оралов.

— Дуй!

Оралов отжал дверь теплушки и выскользнул в образовавшуюся щель, спрыгнул прямо на занесенный снегом деревянный настил. Поморщился от ора голосов, вонзившегося ему в уши, присел, натягивая

голеньца сапог на икры, осторожно глянул в одну сторону, потом в другую — нет ли чего опасного?

Ничего опасного не было, и Оралов неторопливо направился к молодой, торговавшей «салом дикого вепря домашнего копчения», довольно быстро сторговал у нее кусок, подивился дешевизне кабаньего мяса, купил также буханку тяжелого свежего хлеба и направился назад, к вагону. По дороге сшиб несколько глуток твердого спекшегося сахара, приятно подивился дешевизне сладкого продукта.

Покупки он совершил удачно — с таким запасом еды не только до дома своего — до города Владивостока можно добраться: ни одна голодуха с ног не собьет. У вагона он вновь огляделся и осторожно отжал дверь.

Правильно поступал Оралов — осторожничать надо было; мстительность Маленького Ваньки была известна широко, восставших он никогда не простит — с каждым будет разделяваться в отдельности.

Тем более, общаясь с одним репортеришкой из хабаровской газеты, он назвал ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое января «кошмарной». Перетрухнул атаман, похоже, здорово.

Оралов влез в вагон, прикрыл за собой дверь. Похлопал ладонью по крупу лошадь, очутившуюся у него на пути, — каурую, сильную, с крупной белой звездочкой на лбу. Лошадь печально глянула на него, моргнула один раз, другой, словно бы хотела о чем-то предупредить. Но о чем может предупредить человека лошадь? Оралов стукнул костяшками пальцев себе по лбу и, счастливо засмеявшись, произнес:

— Давай, Пупок, обедать! Еды у нас на целый полк хватит.

Пупок на радостный призыв не отозвался — похоже, закопался в своем сене, согрелся, задремал... А может, вообще в сон с храпом погрузился. Хотя не должен...

Оралов пролез под двумя лошадиными животами, без опаски обошел сзади кобылу с тяжело отвисшей нижней губой, стукнул кулаком в прочную деревянную перегородку.

— Пупок, ау! Где ты?

Подкинув в руке кусок с одуряющее вкусно пахнувшей кабанятиной, Оралов сунулся за перегородку, в сенное отделение и обмер.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Пупок лежал, опрокинувшись навзничь, раскинув руки в стороны; шея у него была в крови, из красной, начавшей быстро загустевать жижи высовывались два проволочных хвоста.

— Пу-у... — Оралов ощутил, как изо рта у него выбился пузырь, лопнул беззвучно, обдав теплой моросью небритый подбородок. — Пу-у... Пу-у... — язык у Оралова словно бы прилип к небу, никак не мог оторваться.

Рядом с Пупком, довольно ухмыляясь, свесив с колен тяжелые кисти рук, сидели двое — Юлинек и хорунжий Чебученко. Ноги у Оралова подогнулись, он упал на колени.

— Пощадите, братки, — прохрипел. Скосил глаза на лежащего Пупка, с выпученными мертвыми глазами и вывалившимся изо рта толстым синим языком. — Пу-у-у... Пу-у...

— Хватит пукать, — оборвал его хорунжий, — и без тебя вони много.

В воздухе действительно пахло чем-то нехорошим — вывернутым наизнанку желудком, что ли. Оралов дернулся и на коленях пополз назад: не хотелось быть удушенным, как Пупок, проволокой; Юлинек, заметив маневр, прыгнул к несчастному казаку, ухватил его за шиворот:

— Стоп!

— Пощадите, — сипло простонал Оралов, — прошу вас...

— Об этом раньше надо было думать, — рявкнул на него Чебученко, — сейчас никшни!

Оралов умолк. Юлинек, крепко вцепившись в когтистое казачье запястье, подтащил Оралова к себе и, косо глянув на хорунжего, сомкнул пальцы на жилистой, сделавшейся неожиданно тонкой шее. Оралов задергался, захрипел, попробовал оторвать цепкие чужие пальцы от своей глотки, но плечистый, крепкий, схожий с орангутангом сытый Юлинек был сильнее вечно голодного, с усохшим телом Оралова; хорунжий присоединился к палачу, помог придавить ноги казака.

Язык вывалился изо рта Оралова, посинел, разбух; жилы, обметавшие язык, тоже разбухли. Казалось, они вот-вот лопнут; Оралов дернулся еще пару раз и затих.

Маленький Ванька не щадил тех, кто шел против него.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Задушив Оралова, Юлинек отряхнул руки, будто сбил с них пыль, с насмешкой посмотрел на хорунжего.

— Кажись, все, — проговорил тот озабоченно — задание выполнено.

— Может, еще кого-нибудь приголубить? — спросил Юлинек вроде бы добродушно, но в глазах его Чебученко увидел беспощадные сумасшедшие искорки, невольно поежился. Понял, что человек этот от всякого убийства получает удовольствие. Если понадобится, чех также спокойно, не раздумывая ни секунды, убьет и его, хорунжего Чебученко. И будет тогда Чебученко лежать с синим вываленным языком, как и этот дохляк, — он глянул на Оралова и отвернулся.

Рядом со стеной вагона, громко и тяжело давя снег, пробежал какой-то железнодорожный служака, хрипло крича на ходу:

— Пора отправляться!

Раз эшелону пора отправляться, то и Чебученко с Юлинеком пора, свое дело они сделали.

— Ну, что, оставим их так отдыхать или сеном прикроем? — спросил Чебученко, стараясь не глядеть на убитых. — Чтоб теплее было...

— Оставим так.

— Если кто-нибудь увидит их в таком виде — родимчик хватит.

— Плевать, — деловито произнес чех, стряхнул со штанов сенные остья, будто собираясь на доклад к высокому начальству.

Они выпрыгнули из вагона и плотно прикрыли за собой дверь.

Через несколько минут «лошадиный поезд», тускло светя красным фонарем, повешенным на стенку заднего вагона, скрылся из вида. Следом за ним понеслась запоздалая поземка и также исчезла.

Маленький Ванька продолжал ликвидировать последствия «кошмарной» ночи: если с кем-нибудь можно было разделаться и содрать с живого кожу, он разделывался; если можно было маслить — умасливал. Деньги у него были: и царские золотые рубли, и японские иены, и английские фунты... Даже монгольские «кизяковые» и те имелись.

Для него сейчас были видны две вещи: первое — проведение очередного войскового круга, на котором он должен, просто обязан победить, второе — накрутить хвосты партизанам, которые немало в количестве появлялись везде: и в Приамурье, и в Приморье и держали под своим контролем пространства от Читы до Никольска-Уссурийского. Снова

БҮРСАК В СЕДЛЕ

всплыл Шевченко — он теперь командовал крупным партизанским соединением и лихо трепал всех подряд: семеновцев, японцев, чехословаков, китайцев, иногда задира калмыковцев. Кто вставал на его пороге, тех он и бил.

Словом, дел было полно, отовсюду приходили тревожные вести. Маленький Ванька чувствовал себя этакой дамочкой, попавшей в интересное положение: и надо бы рожать, и боязно было, и неведомо еще, что народ скажет по этому поводу.

Колготится пресса. Журналисты атамана не любили, при всяком удобном случае превращали его в кашу — размазывали, как хотели. Но если бы только они не любили! Калмыкова не любили и в официальном Омске, и в официальном Владивостоке — везде он был личностью нежеланной.

В станице Вольной тем временем началась целая кампания, направленная против него. Калмыков подумал, подумал, повздыхал немного, выпил кружку самогона и прыгнул в свой персональный вагон, к нему прицепил другой вагон, набитый охраной, и помчался во Владивосток советоваться с Ивановым-Риновым.

Войдя в кабинет генерала, атаман изобразил на лице самую радушную, самую роскошную улыбку из всех, какие только мог изобразить, широко раскинул руки.

— Господин генерал, вы не представляете, как я рад вас видеть, — вскричал он. — Жду, когда ваш штаб переселится в Хабаровск... Вместе было бы легче скручивать большевиков в бараний рог...

— Дела пока задерживают штаб во Владивостоке, — сухо ответил Иванов-Ринов, поднимаясь из-за стола.

Переговоры атаман провел успешно, договорился о небольшом «ченче»: Калмыков «окончательно и бесповоротно» признавал Колчака как Верховного правителя России, а аристократ Иванов-Ринов признавал «окончательно и бесповоротно» беспородного атамана.

Из Владивостока атаман помчался в Гродеково — надо было нейтрализовать горлопанов в станции Вольной. И это ему удалось — Маленькому Ваньке везло.

Двадцать первого февраля девятнадцатого года в Хабаровске открылся Шестой войсковой круг. Калмыков вертелся, как угорь, угодивший из

прохладных глубин на раскаленную сковородку. Председательствовать на круге казаки доверили человеку, которого Калмыков не знал совершенно, — врачу Головлеву.

На заседание круга не явились двадцать делегатов. Калмыков не замедлил выскочить на трибуну:

— Это — результат преступной агитации врагов казачества — большевиков, имеющих тенденцию, как и в прошлый раз, сорвать круг, — громко прокричал он.

Вопросов было несколько, и все — большие. Первый вопрос — события «кошмарной ночи», второй — отношение Уссурийского казачьего войска к центральной власти... Выступая по первому вопросу, Калмыков заявил, что во всем виноваты американцы — это они подготовили восстание, это они поддерживали его, пока восставшие маршировали по Хабаровску и сотрясали своими криками город. Теперь же янки укрывают у себя в лагере виновных, не отдают их командованию ОКО.

— Более того, скажу откровенно, — произнес Калмыков и сделал паузу. В зале немедленно воцарилась тишина. — Американцы намеревались устранить меня самого, — проговорил атаман со вздохом.

— Как это? — растерянно спросил кто-то из зала.

— Очень просто. Из-за угла. Пиф-паф — и человека нет.

Тишина в зале не рассасывалась.

Калмыков продолжил свою речь дальше...

— Днем на Красную Речку, в американский лагерь, выехала делегация круга. Цель была одна — уговорить спрятавшихся там уссурийских казаков вернуться в войско. Казаки заупрямились.

— Как только мы покинем ворота лагеря, так нам придет конец, — сказали они, — кердык на китайский лад.

— Напрасно вы так, мужики, — пробовал урезонить казаков делегат. — Иван Павлович — человек добрый, умеет прощать... Он вас уже простил.

Казаки упрямо замотали головами — все как один.

— Не верим!

Тем не менее делегаты продолжали уговаривать казаков. Дело дошло до того, что казаки вообще отказались общаться с делегатами.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Передайте атаману, что пока он будет править в войске, мы не вернемся. Долой Маленького Ваньку!

Делегаты возвратились в Хабаровск ни с чем, крайне удрученные: общение с земляками оставило у них гнетущее впечатление. Делегаты вздыхали, сморкались, скребли затылки, кашляли, искали, где бы выпить полстаканчика самогонки, чтобы на душе сделалось теплее.

Когда они приехали на Красную Речку во второй раз, то казаки, засевшие в лагере, обозвали их предателями.

— Вы предатели, продавшиеся Маленькому Ваньке, — сказали они.

Это было обидно, но, видать, справедливо, раз делегаты не нашли, что ответить на это.

— Калмыкову мы служить не будем, — заявили мятежники, — это наша твердая позиция.

На заседание круга пригласили представителей американского командования.

— Верните казаков, ушедших из войска в наш лагерь, — потребовали делегаты.

Полковник Стайер, сияя белыми зубами и цветными орденскими нашивками, украшавшими френч, с улыбкой покачал головой.

— Выдавать казаков мы не будем, они должны определиться сами, — сказал он. — Если решат вернуться — держать не будем, если останутся — будем поить, кормить и предоставлять крышу над головой столько времени, сколько понадобится.

Примечательно, что в те же самые дни на столе у адмирала Колчака появилась аналитическая записка, подготовленная Главным штабом, где шла речь о взаимоотношениях американцев и атамана Калмыкова.

Ученые люди, историки, исследовавшие потом эту записку, отметили особо, что «деятельность США той поры была направлена на вытеснение экономического влияния Японии и овладение российским дальневосточным рынком, а в дальнейшем — на создание широкого товарообмена с остальной Сибирью и Европейской Россией. Опасаясь усиления японцев, американцы устроили бунт в отряде Калмыкова. Указывалось, что бунт калмыковцев и, как следствие, распад отряда «явился весьма ощутимым ударом по Японии, которая была заинтересована в

существовании отрядов у отдельных атаманов». Констатировалось, что основная цель США состояла в мировой завоевательной политике по отношению к России, а потому быстрое восстановление ее могущества не будет отвечать истинным намерениям США. Тем не менее США понимали, что противостоять Японии в ее геополитической стратегии по отношению к российскому Дальнему Востоку может только сильная белая государственная власть⁶.

Так Штаты постепенно переходили от неприятия адмирала Колчака к поддержке и в середине девятнадцатого года стали активно его поддерживать. Но было уже поздно — гражданская война в Сибири была белыми практически проиграна и, несмотря на все потуги, американцам в Сибири ничего не светило. Японцам, кстати, тоже.

Улица, где собирались участники круга, была плотно оцеплена казаками — мышь не проскочит. Отвечал за охрану и спокойствие делегатов сам Савицкий — начальник штаба отряда.

Атаман уже давно подумывал о повышении Савицкого в чине — исполнительнейший человек, достоин полковничьих погон. Так, глядишь, и в генералы доскачет.

Заседание круга проходило не так, как хотелось бы Калмыкову: успели-таки враги подкопать под него яму, успели поработать против атамана. Кислым огнем, будто на фронте, когда немцы пускали на наши позиции облака газа, жгло горло, к языку почему-то плотно прилип вкус парной крови, словно бы Калмыкову, как в семинаристской юности, съездили по зубам и от того, что он не смог ответить, было противно и печально.

Хотелось побыть одному, но что дозволено простому человеку, рядовому казаку, не дозволено атаману. Следом за Калмыковым ходил Григорий Куренев и канючил:

— Пообедали б, Иван Павлович, а! Не то уж целые сутки без еды.

Атаман на нудные приставания ординарца не отвечал, хотя хорошо слышал его. В ушах стоял нервный звон, будто туда залезли цикады — поганые насекомые, которых атаман не любил еще с Пятигорска; голову, будто перезрелый арбуз, разваливала боль.

⁶ Из исследования С. Савченко документов Государственного архива Хабаровского края.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Иван Павлович, перекусите... — продолжал канючить Куренев униженным голосом, — все горяченькое. Я прямо сюда, в зал заседаний принес.

Атаман продолжал делать вид, что не слышит ординарца. Хрустя снегом, он дошел до края оцепления и неожиданно за плечами казаков, за башлыками, увидел двух мужиков, чей облик показался ему знакомым. Атаман наморщил лоб — не мог понять, где он видел их раньше. Где? Он остановился, приподнялся на цыпочки, заглядывая за оцепление.

Мужики, увидев, что на них смотрит важный человек, генерал, сдернули с себя шапки. Один был лыс, словно вместо головы на плечах у него сидело огромное куриное яйцо: второй тоже был лыс, только на темени кучерявилось несколько жиденьких темных волосинок — жалкие остатки былой растительности.

— Иван Павлович! — уважительно, более того, подобострастно произнесли мужики в один голос. — Наше вам! И чтоб здоровье у вас было крепкое!

Калмыков шагнул за оцепление.

— Вы кто?

Мужики дружно засмеялись и нахлобучили шапки на головы.

— Да мы вас знаем, Иван Павлович... И вы нас должны знать.

— Ничего не понимаю...

— Александровскую миссионерскую семинарию помните?

— С трудом, — хмуро проговорил Калмыков. — Была в молодости моей такая ошибка.

— Вот мы из этой самой ошибки и выплыли. — Мужики дружно, залиристо, будто дети, засмеялись.

Теперь Калмыков начал кое-что припоминать, глянул на одного мужичка, потом на другого и неожиданно воскликнул:

— Гриня Плешивый?

Один из мужиков, тот, у которого впереди курчавились три темных волоска, довольно засмеялся.

— Точно. Он самый... — покрутил в воздухе одним пальцем и добавил восхищенно, — вот память у господина генерала!

Атаман перевел взгляд на Грининового спутника:

— А это кто?

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Господин наставник из той же семинарии. Бывший...

Калмыков усмехнулся.

— Ну что, приказать, чтобы вас выпороли? — атаман оценивающе прижмурил глаз. — Или обойдемся без порки?

Плешивый съезжился, будто от холода, и проговорил неуверенным голосом:

— Желательно обойтись бы без порки, господин генерал.

— Ну да, вы же — святые отцы! — Калмыков обернулся, глянул на Куренева, стоявшего в трех метрах от него. — Бери, Гриня, этих двух гавриков. Один из них — твой тезка, прозвище его — Плешивый... Бери и веди к себе на кухню. Накорми, словом.

— Будет исполнено, Иван Павлович! — озабоченно проговорил Куренев. — А вы сами когда есть станете?

— Позже, Гриня...

Днем делегация круга вновь отбыла на Красную Речку. Калмыков, узнав об этом, раздраженно покрутил головой:

— Дур-раки! Ничего они там не добьются. Взбунтовавшиеся казаки — ломоть отрезанный.

Взбунтовавшиеся на этот раз сочинили грамоту на нескольких листах бумаги, где объясняли причины восстания. В частности, отметили, что «террор, многочисленные расстрелы, нагайки, голод, мордобитие, и тому подобное заставили казаков уйти от атамана», и написали в заключение, что к нему они больше не вернуться.

Делегация вернулась с Красной Речки мрачной. Калмыков понял, что он висит на ниточке — круг, обладающий широкими полномочиями, может не только лишить его полномочий атамана, но и вообще выгнать из казаков. Как некоего инородца, любителя яичницы с помидорами, случайно затесавшегося в их ряды.

Опасения его были не напрасны. На следующий день несколько делегатов внесли предложения, чтобы строевые части войска выделили своих представителей для специального разбора бунта. Это было больше похоже на суд над атаманом...

Калмыков, мрачный, не выславшийся, со стиснутыми кулаками поднялся на трибуну.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Я против этого предложения, — сказал он. — Если вы его примете, тут же сниму с себя всякую ответственность за порядок в отряде и уйду из войска. Что будет дальше — можете представить себе сами.

В зале воцарилась тишина.

— Только не это! — раздался звенящий голос из рядов. Калмыков узнал его — это Савицкий. — Если Иван Павлович покинет войско — развалится не только отряд — развалится все войско.

Предложение не прошло.

Казакам, находившимся у американцев, было передано приглашение явиться на заседание круга, где им будет предоставлена возможность рассказать все, что произошло. Если же казаки не явятся, то поставят себя в сложное положение и пребывание их в Уссурийском казачьем войске станет невозможным.

Они даже в станицах не смогут жить после этого — будут считаться инородцами. Угроза подействовала. Из 585 казаков, находившихся в лагере на Красной Речке, на заседание круга явились четыреста пятьдесят человек.

Остальные предпочли жить по собственным правилам. Часть из них вообще исчезла, как это произошло с Пупком и его приятелем — из лошадинаго вагона во Владивостоке вынули два остывших тела и поскольку при убитых не обнаружили никаких документов, то похоронили их в общей яме на Морском кладбище.

Не простила Калмыков и казаков станицы Вольной — нечего поднимать свои пипки на атамана, господ хорошие! Станицу лишили статуса, она была превращена в обычный поселок, получивший название Чикаговского и на правах окраины включена в Гродековский станичный округ.

Это устраивало Калмыкова.

Пятого марта казаки, принимавшие участие в заседаниях круга, сочинили резолюцию, в которой приравнивали восстание к обычному мятежу, причиной же мятежа назвали «плохое отношение некоторых из командного состава к казакам», и не более, — Калмыкову удалось провести свою линию, скрыть подлинные причины бунта и, в частности, то, что подчиненные его, несмотря на русскую военную форму, были обычными японскими вояками, выполняли их задания и получали жа-

лованье и оружие из рук подданных микадо. Фактически они, с подачи Маленького Ваньки, служили чужой стране и, сами того не зная, занимались тем, что вряд ли бы им когда-либо простила бы Россия. Могла вообще поштучно выдать свинцовые медали по девять граммов весом каждая, но наступили иные времена, а с ними и иные нравы.

Предательство стало такой же нормой жизни, как и подлость, бандитизм, убийства, и атаман уссурийский Иван Павлович Калмыков немало поработал, чтобы «норма жизни» эта стала реальностью.

Интересным было и заявление Калмыкова, прозвучавшее на последнем заседании круга. Шестого марта девятнадцатого года атаман объявил во всеуслышание, что в ближайшее время выступает со всем своим отрядом на Уральский фронт — поддержать Колчака и дать отпор красным.

Заявление это вызвало аплодисменты.

— А атаман наш не так уж и плох, — покидая зал заседаний, говорили делегаты. — Боевой петух, соплями трясет лихо.

— Кто же будет в таком разе атаманить вместо него?

— А лях его знает!

Через пару дней Калмыков собрался отбыть из Хабаровска — ему надо было повидаться с атаманом Семеновым: такие решения, как поход в дали дальние, в пыльные оренбургские степи в одиночку не принимаются, — надо обязательно посоветоваться со «старшим товарищем»:

— А мне можно с вами, Иван Павлович?

— Нет!

— Почему, Иван Павлович?

— Мне положен ординарец-офицер. У тебя нет офицерского чина.

— Так сделайте меня офицером, Иван Павлович... Вы же генерал, вы все можете...

— Ошибаешься, Григорий, — произнес атаман суровым голосом. — Например, есть такие люди, которых надо бы расстрелять, а я их не могу даже пальцем по носу щелкнуть.

— Кто же это такие будут? — Куренев, подражая атаману, прищурил глаз.

— Много будешь знать — скоро состаришься.

БУРСАК В СЕДЛЕ

Вообще-то Куренев был прав — офицера ему можно было присвоить. Все дело в том, что в пехоте еще при царе было принято решение присваивать в военную пору без всяких юнкерских училищ звание прапорщика, а в казачьих частях звание подхорунжего. Так что Гриня вполне мог быть подхорунжим.

В комнату, осторожно отодвинув в сторону занавеску, заглянул мужичок с куделькой из трех волосинок, прилепившихся ко лбу — бывший семинарист Гриня Плешивый. Калмыков недовольно покосился на Куренева и поцокал языком:

— Ты чего, Гриня, до сих пор кормишь этих двух дармоедов генеральскими обедами?

Куренев потупил взор.

— Кормлю, Иван Павлович. Вы же велели...

— Я велел накормить один раз и не больше. А так, я чувствую, скоро они мои мундиры будут носить.

— Ну что вы, что вы, Иван Павлович!

— Гони их отсюда, пока я казачий наряд не вызвал!

Лысый Гриня немедленно скрылся — пребывать на глазах у бывшего напарника по семинарской бурсе было опасно... Калмыков был не в духе. И причины на это имелись. Во-первых, неведомо, как отнесется к заявлению об отправке отряда на фронт Григорий Михайлович Семенов; во-вторых, дадут ли ему японцы боеприпасы и оружие?

В последнее время узкоглазые урезали свои поставки. Тратить же свои кровные, — а денег у Маленького Ваньки было немало, а том числе и японских, — ему не хотелось: атаман был прижимист, унаследовал это качество от отца. В-третьих, заявление он сделал потому, что у него выхода не было — он обязательно должен сделать это заявление, чтобы поддержать свой авторитет перед крикунами-казаками, но это вовсе не означало, что ему хочется побыстрее оказаться на фронте...

Скорее, совсем не хочется. Жизнь в городе Хабаровске Маленького Ваньку устраивала.

Гриня Куренев, имея доброе сердце, жалел несчастных миссионеров, забравшихся на Дальний Восток аж вон отсюда, с самых кавказских

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

хребтов, где когда-то сам Иван Павлович сживал, поплеывая вниз, в ущелья, на проходившие там караваны. Он проводил гостей до конца улицы, там посоветовал:

— Двигайтесь-ка на вокзал, там всегда переночевать можно. Замерзнуть не дадут и кипяток есть. А завтра — на поезд и во Владивосток!

Плешивый поежился, загнал один рукав в другой, чтобы теплее было, посетовал:

— Мог бы Иван Павлович с нами и поласковее обойтись.

Куренев стал защищать шефа:

— Не мог! У него столько неприятностей... И покушения были.

— Покушения? — Плешивый Гриня снова поежился. — Покушения — это нехорошо. Не люблю.

— Так что вы не обижайтесь, господа мои ненаглядные. Тем более, вы его хлеб ели, его вино пили...

— Хлеб... — лысый наставник брезгливо поджал губы, — этого хлеба хватит, чтобы двух воробьев накормить.

— Не ругайся, не ругайся на Иван Павлыча... — Гриня Куренев, вытащив руку из холодной дырявой vareжки, невесть как очутившейся в его гардеробе, сунул синие слипшиеся пальцы одному миссионеру, потом второму, развернулся, чтобы уйти, но Плешивый ухватил его за локоть, удержал.

— Погоди, я тебя иконкой одарю. Нашего кавказского святого.

— Иконкой? — Куренев оживился. — Иконка — это хорошо.

Лицо Плешивого напряглось, он сунул руку в карман, но сколько ни шарил там, сколько ни ковырялся, иконка так и не нашлась. Лицо его разочарованно вытянулось.

— Извини. Все раздал, ничего не осталось. При следующей встрече обязательно одарю.

— Что ж, при следующей, так при следующей. — Куренев махнул рукой и споро зашагал по улице.

Миссионеры посмотрели ему вслед и зашагали в противоположную сторону.

— А не опасно ли нам на вокзал? — спросил Плешивый Гриня у своего спутника.

Тот неопределенно пожал плечами.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Не знаю. Чего там может быть опасного?

— Патрули. Задержат — и в кутузку.

Конопатое, словно бы выветренное лицо семинаристского наставника поползло в сторону в невольной улыбке.

— У нас с тобой этих кузuzок столько было, что деревяшек на счетах не хватит, чтобы сосчитать... И ничего, живы.

— Тьфу, тьфу, тьфу! — суетно отпнулся через плечо Плешивый.

— Сошлемся на наше знакомство. Это поможет.

Улица была пустынна, слабо освещенные скудные мартовским солнцем дома почти не давали теней. Миссионеры отправились на вокзал.

Вечером атаман, сидя за столом в кальсонах и в чистых носках, натянутых на ноги, — Гриня натопил дом так, что можно было банным веником разминаться и поливать стены водой, чтобы легче дышалось, — сделал торжественное лицо и позвал ординатора:

— Григорий!

Куренев, погромыхивал ухватом в печи — готовил очень вкусные куриные пупки в сметанном соусе, поэтому зова атамана не услышал. Маленький Ванька уже заранее облизывался, предвкушая царскую еду. Калмыков выкрикнул громче:

— Григорий!

Ординарец высунул голову из печи.

— Слухаю, Иван Палыч!

— Ты не слухай. А иди сюда!

Гриня отряхнул руки, высморкался в какую-то тряпку, оставил на носу темные следы сажи.

— Скорее! — подогнал его атаман.

— Сей момент, — Куренев еще раз высморкался и пошел к столу.

Маленький Ванька показал ему новенькие погоны, настоящие серебряные, с синим кантом по окоему и желтым офицерскими просветом, делящим погоны пополам. Просветы на обоих погонах украшали небольшие темные звездочки по одной на каждый погон. Лицо у Куренева неверяще засветилось — он понял, что погоны предназначены ему.

Атаман хлопнул одним погоном о другой, звук раздался громкий, будто Калмыков пальнул из ружья.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Как ты думаешь, что это такое? — спросил Калмыков и вновь хлопнул погоню о погоню.

Григорий поспешно отвел в сторону заблестевшие глаза.

— Не знаю. Иван Павлыч... Погоны подхорунжевые...

Маленький Ванька налил себе лимонникового кваса, стоявшего на столе в китайском графине темного стекла; гулко работая кадыком, выпил, отер усы.

— Это твои погоны, Гриня, — он протянул погоны ординарцу, — держи дорогой подарок! И это держи! — атаман громко стукнул доньшком стакана о стол, откуда-то из-под рукава чистой белой рубахи достал сотканный из золотой ткани нарукавный знак, украшенный черной, искусно вышитой буквой «К».

Все члены калмыковского отряда, вплоть до последнего казачка, отвозившего на кладбище трупы, носили такие знаки на своей одежде.

— Спасибо, Иван Павлыч! — растроганно пробормотал Куренев. — Век не забуду!

Атаман протянул ему нарукавный знак.

— Это тебе для парадного мундира. Носи!

Куренев поклонился атаману в пояс, повторил:

— Век не забуду!

— Поздравляю тебя с первым офицерским чином... Выкладывай свои пупки на стол, сейчас отмечать твои погоны будем.

— Сей момент, сей момент, — засуетился Гриня.

— И настойку не забудь, — напомнил атаман.

— Уже стоит в холоде, вас дожидается.

— Так что готовься — поедешь со мной в Гродеково, потом во Владивосток, оттуда, возможно, в Читу... А потом — на фронт, господин офицер!

— Премного рад этому обстоятельству, — Куренев не выдержал, радостно хлопнул пятками, туго обтянутыми шерстяными носками домашней вязки, — Гриня жары не боялся. — Премного благодарен!

Вечером следующего дня несколько калмыковских разъездов оцепили хабаровский вокзал. Сделали это плотно в два кольца. Усталый состав, пришедший по «колесухе» из Читы, разодрали на две части,

БҮРСАК В СЕДЛЕ

в середину состава воткнули персональный вагон атамана и экспресс снова соединили.

Вскоре на площади показался длинный автомобиль, окутанный серым дымком, в окружении конвоя.

Это припасы атамана Калмыкова.

Перед отъездом он разослал по редакциям Хабаровска, Читы, Владивостока, Харбина телеграммы, сообщая, что на Уральский фронт для борьбы с большевиками будет отправлен большой сводный отряд, состоящий из трех родов войск. Командовать отрядом будет он, генерал-майор Калмыков.

Чувствовал себя Маленький Ванька настоящим героем.

В персональном вагоне атамана уже всю хозяйничал Гриня Куренев. В новенькой гимнастерке с офицерскими погонами, перепоясанный желтым американский ремнем. От радости он помолодел, отвисший за последнее время живот, — хотя и небольшой, но все-таки приметный, недопустимый для солдата, вобрал в себя, построил. Вот что значило для Куренева стать офицером.

Он носился по вагону, наводил марафет; делал все, чтобы обстановка в салоне была домашней, какую Иван Павлович любит...

Вагон действительно стал домашним, в нем появились домашние запахи — жареного мяса, лука и хлеба.

Длинный автомобиль с блестящим радиатором, вызывая заинтересованные взгляды из вагона, прокатился по перрону, пачкая чистый воздух серым вонючим дымом, и, тяжело заскрипев рессорами, остановился у середины состава.

Из автомобиля вышел Калмыков — несмотря на мороз, в фуражке с желтым бархатным околышем и блестящим черным козырьком, бросил по сторонам несколько настороженных взглядов и прошел в вагон.

Через минуту поезд тронулся. Куренев продолжал носиться по вагону неутомимым веретеном: то в один угол совался, то в другой, поправляя что-то не нравившееся ему, на ходу что-то смахивал, что-то убирал, что-то, наоборот, выставлял напоказ, чтобы было лучше видно, — в общем, Григорий знал, что делал. Только он один во всем ОКО ведал, чем можно ублажить атамана и согнать задумчивую печаль с его лица, но атаман, хотя и имел поводы для радости, продолжал пре-

бывать в хмури и на хозяйские хлопоты новоиспеченного офицера не обращал внимания.

— Иван Павлыч, обед готов, — новоиспеченный офицер наконец закончил хлопоты и остановился перед атаманом с улыбающимся лицом, добавил сладким голосом: — Пора перекусить.

Атаман поднял мрачные светлые глаза, оглядел Гриню невидяще и, похоже, даже не произнес, а проговорил глухо:

— Пошел вон!

— Ну, Иван Павлыч! — Григорий умоляюще наморщил лоб. — Вы же ныне ничего не ели, даже не завтракали.

Взгляд атамана прояснился, он пробурчал недовольно:

— Это ты, Гриня?

— Я, я, Иван Павлыч! Стол накрыт. И закусочка стоит...

Калмыков прошел в соседний отсек, где в центре стола мелодично позванивали, стучаясь друг о друга, вытертые до блеска хрустальные бокалы, опустился на мягкий, обтянутый гобеленовой тканью стул.

По прямому проводу у него состоялся разговор с Читой, с атаманом Семеновым. Тот сказал Калмыкову, что есть очень толковая идея создания самостоятельного Панмонгольского государства, идея эта уже обговорена с рядом послов, и те от имени правительства высказали «одобрям-с», так что перспективка, по словам Семенова, открывается такая, что голова может закружиться.

Конечно, в правительстве нового государства можно будет получить очень приличный, пухлый от денег, выданных на представительские расходы портфель, но не все в этой идее устраивало Калмыкова. Обстоятельства изменились — ныне он уже не хотел отделяться от России. Страшился этой мысли. Как же он будет жить, если ему обрежут пуговицы и он больше не будет видеть лапотных, заморенных бытом и неурядицами, немногословных русских мужиков и баб, родившихся где-нибудь в Тамбовской губернии, не будет видеть деревень и станиц, голых задов, приготовленных к массовой порке, — почти все мужики спускали свои портки добровольно, — лишится возможности слышать русскую речь, мат и невнятные восклицания выпивох, вообще не будет видеть того, что привык видеть каждый день... Атаман засопел шумно, протестуяще качнул головой — несогласный он: нет, нет и еще раз нет!

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Это что же, теперь он должен будет говорить на монгольском или каком-нибудь еще тарабарском языке? Нет, нет и снова нет!

Но, с другой стороны, не хотелось ссориться и с Семеновым. Если бы не Григорий Михайлович, Калмыкова давно бы съели вместе с погонями и лампасами, переварили бы в желудке и превратили в кучу дымящегося навоза. Благодаря атаману Семенову этого не произошло и факт надо было ценить.

В общем, как бы там ни было, Калмыков попадал в вилку: либо он терял Семенова, либо приобретал Россию и оставался с читинским владыкой. Эх, Григорий Михайлович, Григорий Михайлович, друг сердечный... И чего тебе так нейдет? В мыслях с атаманом Семеновым Маленький Ванька был на «ты», в жизни — только на «вы» и больше никак.

Катилось, катилось колесо по дорожке истории и докатилось... До упора докатилось. Калмыков жалел о том, что может потерять Россию, — куда ни брось свои фишки, выходит одно и то же: Григорий Михайлович Семенов был для него дороже России, дороже, и все тут! — морщился недовольно, корежил, словно ему продуло шею и там высыпали чирьи — болезненно нагноившиеся крутые бугорки, стрелявшие огнем, от которого нет ни лекарства, ни спасения.

Будь прокляты все войны, вместе взятые, все революции и свары — все, все, словом, — и жизнь их непутевая, в первую очередь. Ну какой из него, к шутам, панмонгол? Проще сотню лошадей сделать панмонголами, чем его одного.

— Иван Павлыч, поешьте, — вновь возник перед атаманом Куренев, огладил на себе гимнастерку, загнал складки под ремень. — Ну, пожалуйста! У вас же с утра во рту ничего не было...

Атаман нехотя придвинул к себе тарелку.

А с чего, собственно, затеялась революция, как был испечен этот невкусный пирог, на каких дрожжах он поднялся? Люди, образованные и необразованные, чего-то не подели между собой? Или молодым энергичным низам надоели пропахшие коньяком верхи? Или одним не нравилось, что другие живут на более высоких этажах и им больше достается чистого воздуха? (Нечто подобное позже высказывал, кстати, философ Бердяев, о котором Маленький Ванька никогда не слышал).

Или простым неграмотным мужиками захотелось посидеть в роскошных генеральских креслах?

Куренев налил ему в хрустальную рюмку водки.

— Иван Павлыч, отведайте! И холодных закусок отведайте, их вон сколько, — он обвел рукой стол, — вон сколько...

На столе чего только не было! И икра чавычовая нежной рубиновой горкой высилась в тарелке — в горку была воткнута серебряная ложка с изящной витой ручкой; и балыки рыбы, белые и красные, — конфисковали у одного прижимистого хабаровского купца, и буженина изюбря, запеченная в тесте, таявшая во рту, и селедочка океанская, и печенка сырая, мерзлая, приготовленная по-баргински, в белой жировой облатке, — Куренев оказался большим специалистом по ее приготовлению, — и пирог с озерной рыбой, и карасики подледные, жаренные в сметане, специально охлажденные, — в общем, сплошной праздник.

Но на душе у атамана было беспокойно, муторно, все хорошее отступило назад — уже здесь, в вагоне, дежурный офицер сообщил ему, что ночью два наряда калмыковцев были изрублены в окрестностях Хабаровска разбойниками Шевченко... Опять появился он здесь, вылез из леса — тьфу! В Николаевске-Уссурийском плетет свою паутину против атамана новый враг — полковник Февралев, в предводители метит... Как донесли атаману, он ждет не дождется минуты, когда Калмыков отправится с отрядом на фронт. Такого опасного противника, как Февралев, оставлять в тылу нельзя, рыба эта — хищная, не только зазевавшихся мальков глотает, может и крупного окуня, каковым, несомненно, является Калмыков, оттрескать: рот откроет пошире, зубы растопырит, и все — от Маленького Ваньки только сапоги со шпорами останутся.

Калмыков с раздражением запустил под воротник кителя палец, ослабил сжим крючков, повел шеей в одну сторону, потом в другую и, борясь с подступившим к горлу удушьем, откашлялся. И Шевченко — рыба очень хищная. Смесь щуки с судаком, которая все может жрать — и траву, и котят, и щурят, и даже бабу, отправившуюся на речку полоскать белье, может укусить за коленку.

Надо браться и за Шевченко. И тут уж, несмотря на все заверения и телеграммы, разосланные по редакциям, Калмыкову будет не до Ураль-

БҮРСАК В СЕДЛЕ

ского фронта — на своем бы фронте выстоять. Атаман, освобождаясь от неясной тоски, вздохнул, ухватил внезапно задрожавшими пальцами рюмку, опрокинул ее в себя. Вкуса водки не почувствовал.

Вагон Маленького Ваньки был разделен на несколько отсеков. Самым большим был тот, в котором он сейчас находился; пытался пообедать, но пища почему-то совсем не лезла в рот: муторное настроение, которое должен был отодвинуть алкоголь, наоборот, усилилось. Следующий отсек, обитый темной шелковистой тканью, был деловой, предназначенный для заседаний штаба; самый последний отсек, в который Калмыков велел на всякий случай вкатить пулемет «максим» и поставить два железных ящика с заряженными лентами, — мало ли какие хунхузы вздумают напасть на уссурийского атамана по дороге, — был спальным. Маленькому Ваньке очень хотелось сейчас пойти в него и завалиться в постель прямо в сапогах...

Двери, закрывавшие отсеки, напоминали дворцовые — очень уж нарядны были у них ручки — бронзовые, начищенные до зеркального блеска, в витиеватых загогулинах и финтифлюшках, темное дорогое дерево покрыто лаком... Калмыков еще с детства испытывал перед такими дверями робость.

Куренев бестелесной тенью мотался по отсеку туда-сюда, туда-сюда.

— Сядь, Гриня! — велел ему Калмыков строгим голосом. — Выпей со мной водки!

Лицо Грини обрело счастливое выражение, он послушно подсел к столу и неожиданно произнес задыхающимся благодарным шепотом:

— Иван Павлыч, ах, Иван Павлыч... — умолк.

Атаман усмехнулся, потянулся за хрустальным графином, наполненным водкой, налил ординарцу:

— Не робей, воробей! Скоро тебе хорунжего дадим.

Гриново лицо расплылось в улыбке:

— Вы не представляете, как я благодарен вам, Иван Павлыч!

В дверь отсека раздался громкий стук, Куренев поспешно вскочил:

— Это кого еще к нам черт принес? И почему охрана зевнула? — Он взял лежавший на стуле наган, сунул себе за ремень и открыл дверь. — Ну!

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

На пороге стояли двое сторбившихся, с блестящими голодными глазами миссионера — Гриня Плешивый и его лысый напарник с рыжими вьющимися кудельками, небрежно вылезавшими из-под боков, в маленькой, смешной, похоже, в дамской шляпке. Куренев укоризненно покачал головой:

— Как же вы сюда пробрались?

— Есть очень хочется, — скороговоркой пробормотал Плешивый, — а здесь так вкусно пахнет.

— Вкусно-то вкусно... — Куренев оглянулся на атамана.

Атаман сидел в расслабленной позе и играл желваками — они вздувались у него на бледном, нездоровом лице, будто два камня, и опускались.

— Охрана! — перебивая ординарца, громко, срываясь на фальцет, прокричал Калмыков. — Т-твою, мать!

В дверь всунулась встревоженная усатая физиономия хорунжего Чебученко.

— Усатый, ты чего ко мне в вагон всякую шелупонь пускаешь? — фальцет атаман превратился в грозное рычание: Маленький Ванька умел владеть своим голосом.

Чебученко разом сделался ниже ростом, голова у него едва не вобралась в живот, в горле что-то громко булькнуло.

— Я... я...

Маленький Ванька ткнул пальцем в Плешивого:

— Что в моем вагоне делают миссионеры? Шпионят в пользу красных? — Атаман щелкнул пальцами.

Голова у Чебученко приподнялась, словно бы существовала сама по себе — хорунжий понял, что надо делать, с ушибленным рывканьем ухватил миссионеров за воротники и рывком выдернул незваных гостей из салона.

Маленький Ванька успокоился, налил водки себе, ординарцу и предупредил натянутым от напряжения голосом:

— Не дергайся, Гриня!

— Да они сейчас вашим бывшим друзьям фонарей на физиономии наставят неслыханное количество...

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Никогда они не были моими дружками, Гриня, — сказал атаман, — ни бывшими, ни настоящими, — чокнулся с ординарцем и залпом выпил водку. Вкуса алкоголя, как и в прошлый раз, не почувствовал.

Ординарец вытянул шею — не жалеет несчастных людишек, а?

— Если пожалеем, они будут преследовать нас всю жизнь.

В тамбуре раздался вскрик, будто человеку оторвали что-то важное. Куренев дернулся, хотел сказать еще что-то, но вместо этого закрыл рот.

За окном проплывали одинаковые пейзажи — угрюмые сопки, занесенные серым снегом, изрезанные глубокими провалами, черные деревья с истрепанными злыми ветрами макушками, неровные пади, едва освещенные неярким весенним солнцем, и вороны, много ворон. Птицы эти всегда были спутниками всякой бойни.

Неожиданно у самого окна, чуть не задев ногами за стекло, пролетел человек с широко распахнутым немым ртом, взмахнул прощально руками, будто птица, собравшаяся унести в теплые края, и резко, словно сорвавшись в штопор, упал вниз, под колеса поезда.

За первым «воздухоплателем» возник второй, неестественно сторбившийся, мордастый, с большим лысым теменем, стеклисто поблескивавшим в слабом холодном свете дня, и выпученными глазами. Он громко стукнул ботинками по обшивке вагона, сторбился еще больше и, как тот первый летун, стремительно унесся вниз.

Все. Путешествие миссионеров закончилось. Куренев досадливо сморщился: и какой черт понес их в вагон атамана?

Тепла душевного захотелось? Икорочки? Расстегаев с амурской калужатиной? Тьфу! Не ведают люди, что делают.

Уже в пути Калмыков получил сообщение, что к нему выехал атаман Семенов. Маршрут пришлось срочно изменить.

Встреча двух атаманов, Семенова и Калмыкова, была сердечной, они долго стояли лицом к лицу, держась за руки, словно два родных брата, давно не видевшихся, потом начали азартно похлопывать друг дружку ладонями, вскрикивать радостно и невнятно: плотный, обратившийся в большую мясистую глыбу Семенов и маленький худенький Калмыков.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Два вагона сцепили вместе, калмыковский и семеновский, и присоединили к длинному запыленному экспрессу, в котором находилось несколько международных «шляффагенов», и вместе покатали во Владивосток.

Во Владивосток же должен был прибыть и третий дальневосточный атаман — Гамов.

Приехав во Владивосток, Семенов и Калмыков первым делом пригласили к себе прессу — разбитных местных журналистов, самозабвенно попыхивавших модными пахитосками — полусигаретами, полупапиросами французского производства, — горластых, наглых, прожорливых, выставили им несколько бутылок водки и поднос с расстегаями. Семенов представил журналистам Маленького Ваньку:

— Прошу любить и жаловать — генерал-майор Калмыков Иван Павлович!

Калмыков не замедлил лихо щелкнуть каблуками. Наклонил голову с тщательно напомаженными, расчесанными на пробор волосами.

— Командующий Особым отрядом Отдельной Восточно-Сибирской армии, — добавил Семенов. — Если есть какие-то сверхсрочные вопросы, мы готовы с господином Калмыковым ответить на них. Если нет, выпьем по стопке водки, поднимем в себе боевой дух и тогда займемся вопросами и ответами. Как, господа?

Господа пожелали выпить по стопке водки.

— М-милости прошу! — Семенов сделал широкий жест рукой.

Маленький Ванька искоса поглядывал на него — читинский владыка окончательно заматерел, поплотнел, обрел силу и настоящую генеральскую уверенность. Раньше он был совсем иным, более суетливым, что ли, более мелочным и злым, а сейчас Григорий Михайлович превратился в подлинного вожака, великодушного, широкого, умного... Калмыков не сдерживал довольной улыбки — ему нравился Семенов.

Журналисты оживились: забренькали стопками, застучали вилками, подхватывая расстегая, задвигались сами и задвигали с места на место бутылки, передавая их друг другу — водка была выставлена старая, еще царской поры, редкая; мастера газетных интриг такую водку уважали; выпив по паре стопок, они обрели способность говорить.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Господин атаман, какая из стран вам нравится больше всего? — спросил один из них у Семенова.

Григорий Михайлович подвигал из стороны в сторону тяжелой нижней челюстью, сомкнул в одну линию тощие брови и медленно, чеканя каждую букву, произнес:

— Китай!

Журналист, шустрый, словно таракан, и такой же, как запеченный прусак, усатый, суетливо пробежался по столику, налил себе еще водки. Пospешно выпил и, понюхав большой палец правой руки, изрек:

— А говорят, Япония...

Семенов с интересом сощурился — таких нахалов он не видел давно.

— Говорят, что кур доят, — спокойно произнес он, — а коровы яйца несут. Вы верите в это?

— Нет.

— Не верьте и тому, что я больше всех подвержен воздействию Японии. Враки все это.

Атаман конечно же лукавил. Японией он был куплен с потрохами, даже коротенький жидкий чубчик, прилипший к потному лбу, и тот принадлежал японцам.

— Какое количество войск отправится на Уральский фронт? — спросил молодецкий прыщавый репортер из вечерней владивостокской газеты.

— Хороший вопрос, — похвалил Семенов. — Отправится примерно дивизия.

— С артиллерией?

— Да. Артиллерия, конные части и пешие казаки.

— С Оренбургским казачьим войском связь есть?

— А как же! Скоро к нам должен прибыть генерал-лейтенант Дутов Александр Ильич, оренбургский войсковой атаман. Все детали отправки нашего отряда на Уральский фронт мы намерены обсудить при личной встрече.

— Когда намерены отправить отряд на запад, господин атаман?

Семенов усмехнулся.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Есть такая присказка: «Как только, так сразу», — он усмехнулся еще раз. — Как только перевооружим части и получим пособие, положенное казакам по законам Омского правительства, так сразу сформируем четыре больших эшелона. Через день они один за другим уйдут на фронт.

— Вопрос к атаману Калмыкову можно?

Маленький Ванька взбодрился, тряхнул плечами и пригладил чуб на голове:

— Прошу!

— Как вы относитесь к женщинам, господин атаман?

Маленький Ванька удивился вопросу, но вида не подал, подкрутил пальцами кончики усов.

— Ну, как мужчина может относиться к женщине? Однозначно — только положительно.

— Вы были женаты?

— Нет.

— И не собираетесь?

— Ну, как сказать... — на лице атамана возникли озадаченные морщины, — пока претенденток на эту роль нет. Когда появятся — тогда и будем вести речь.

— Вы знакомы с полным георгиевским кавалером Гаврилой Шевченко?

— Знаком.

— Что о нем скажете?

Тень вновь пробежала по лицу Калмыкова, он поморщился, словно внутри у него возникла боль, выпрямился, становясь выше ростом, и с достоинством произнес:

— Шевченко — очень толковый воин.

— И ваш враг?

— Да, и мой враг, — не стал скрывать Калмыков.

— Однажды вы встретитесь, господин атаман, на узкой дорожке, и вам не удастся разойтись, — журналист глянул Калмыкову в глаза и невольно споткнулся, умолк, словно ногой за сучок зацепился; прыщи на его лице покраснели, сделались ярко-пунцовыми, блестящими, он поспешно отвел взгляд в сторону и протянул руку к бутылке с водой. Пальцы у него задрожали.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— А нам и не надо расходиться, — сказал Маленький Ванька, — совсем не надо... Я жду нашей встречи. После нее один из нас будет лежать.

А бывший полный георгиевский кавалер Гаврило Матвеевич Шевченко сидел в заснеженной, искрившейся мелкими весенними блестками пади и отогревал у костра замерзшие руки, совал в пламя пальцы, ладони, погружал в огонь запястья и не ощущал боли — так замерз. Потом слабым вымороженным голосом позвал к себе помощника, запоздало удивившись слабости своего голоса:

— Анто-он!

Из снега, из глубины огромного сугроба, в который угодил глубокий лаз, выбрался человек неопределенного возраста, с тяжелым взглядом и серой щетиной на щеках. Это был тот самый товарищ Антон, который охотился на улицах Хабаровска за атаманом Калмыковым.

— Звали, товарищ командир? — просипел он, вопросительно глянув на Шевченко.

— Хлеб у нас есть?

— Есть немного. Весь замерз. Твердый, как камень.

— Сунь горбушку в костер — отогреется.

— Сгорит, Гавриил Матвеевич. Жалко.

— Тогда поруби топором на куски, — сказал Шевченко. — Сможешь?

— Смогу, конечно...

— Руби!

Товарищ Антон кинулся и, будто некая нечистая сила, исчез в снегу, провалился в глубь и накрылся шапкой-невидимкой целиком, вместе с головой. Шевченко поморгал слезившимися глазами и, сдвинув ремень с маузером на спину, поднялся.

Неподалеку от костра росли несколько кустов краснотала, — прутья были ровные, длинные, от мороза они обратились в стекло, просвечивали на солнце дорогу; Шевченко сквозь снег пробрался к самому большому кусту и, сунув руку в сугроб, надломил несколько стеблей у корня.

Под лазом, в который нырнул Антон, под снегом находилась тщательно замаскированная землянка. Вырыта она была специально для связных, идущих из Хабаровска в партизанский отряд и обратно. Тут, как

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

во всяком охотничьем зимовье, и соль имелась, и бутылка с керосином, и пара посуды была, а совсем рядом, из худой заболоченной почвы, наружу пробивался тонкий прозрачный ключ, веселил душу — вода в этом ключе не замерзала даже в лютые морозы: видать, был в ней растворен какой-то божественный металл, либо земляное масло.

Антон погромыхал в землянке топором, порубил хлеб и выбрался наружу. В одной руке держал погнутый лист, в другой — кулек с нарубленными кусками.

— Вот, — сказал он, показывая кулек командиру партизанского отряда, — покромсал топором...

Шевченко подкинул в руке кусок снега, словно бы пробуя его на вес и прочность, потом поскреб им по железному листу, счистил ржавь. Положил лист на прозрачные хвосты пламени, передернул плечами — разом сделалось холодно, — втянул голову в воротник.

Мерзлые куски хлеба на нагревшемся листе отошли быстро, размякли, Шевченко один за другим насадил их на прут, словно куски шашлыка, и сунул прут в костер.

Через полминуты запахло жареным хлебом. Шевченко с шумом втянул в себя расширенными ноздрями вкусный дух, шевельнул белыми застывшими губами:

— Хар-рашо!

Холодное солнце висело в небе прозрачной кривобокой льдышкой, посылало на землю трескучие искрящиеся лучи, от которых тепла не было никакого — наоборот, делалось еще холоднее. Шевченко вновь зашевелил губами, вытолкнул в пространство смятое слово, только что произнесенное:

— Хар-рашо!

Глядя на командира, Антон тоже выломал прут поровнее и подлиннее, насадил на него несколько кусков хлеба. Сунул в огонь, сдвинул в сторону облезшие губы:

— Хар-рашо!

Шевченко сощипнул с шампура кусок хлеба, проглотил его, не разжевывая, пробормотал глухо:

— Боевые операции в этом году придется проводить с опозданием на месяц... Как минимум, на месяц.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Антон с глухим звуком сглотнул слюну, сбившуюся во рту:

— Слишком затяжная зима, зар-раз! Конца-краю ей нет.

— Все равно, как бы там ни было, зима кончится. И тогда мы свое возьмем. — Шевченко с удивлением оглядел пустой шампур — не заметил, как съел весь хлеб, — всего две фразы произнес и хлеба не стало. Начал поспешно насаживать на прут новые куски ржаной черняшки, один, второй, третий.

— Калмыков лютует, товарищ командир, — сказал Антон, сдирая мелкими прочными зубами с прута подгоревший хлеб. — Каждый день на хабаровских улицах находят убитых.

— Знаю, Антон.

— Американцы, чехи, французы — все выступают против Маленького Ваньки — слишком он жесток, слишком он... — Антон повертел в воздухе рукой. — Никто не ведает, что он совершит в следующую минуту.

— И это знаю, Антон.

— Только одни япошки защищают его.

— Скоро им самим себя придется защищать. Не до Калмыкова будет, — Шевченко перевел взгляд на заснеженное искрившееся пространство, озабоченно поскреб заросший подбородок. — Побыстрее только бы снег сошел...

— Лютует Калмыков, — словно бы не слыша командира, произнес Антон, поморщился — внутри у него сидела боль, и никак от этой боли он не мог избавиться. — Вчера недалеко от станции на железнодорожных путях нашли замученного человека — военно-юридический отдел со своей гауптвахтой постарался...

— Да отдел же распущен.

— Это только на словах, Гавриил Матвеевич, на деле же — существует. Некий Михайлов продолжает командовать им. Мы пару раз пробовали подстрелить этого гада — не получилось. Очень уж осторожный и хитрый.

На белесое прозрачное солнце напоздало длинное, ровно обрезанное облако. Сделалось темно и холодно. Лишь костер потрескивал слабо, горел, не угасал, и от жидкого пламени его исходило неприметное, почти неощущаемое, очень легкое тепло; другого источника тепла в округе не было, только костерок... Все остальное излучало холод.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

У Евгения Ивановича и Кати Помазковых попискивало в люльке очень симпатичное существо, розовое, щекастое, с отвислым складчатым животиком — дочь Маня. Рождение дочери заслонило Помазкову все на свете — и войну, и недругов, и Маленького Ваньку, которого он поклялся убить, — все это осталось за стенами небольшой хатенки в Никольске-Уссурийском, где они поселились вместе с Катей. Мир для Помазкова клином сошелся на одном существе — маленькой Мане.

Когда по улице проезжал казачий патруль в лохматых шапках, натянутых на носы замерзших всадников, Помазков на улице старался не показываться — вдруг патруль загребет его и заставит встать под атаманский стяг? У Помазкова от одной только этой мысли в горле возникал твердый комок и свет перед глазами делался тусклым. Из хаты он выглядывал, лишь когда патруль сворачивал за угол, на соседнюю улицу.

Катя тоже души не чаяла в маленькой Мане.

Так и жила эта семья, война обходила ее пока стороной.

Наобещал Калмыков журналистам, что очень скоро во главе дивизии отправится на Уральский фронт, сделает это во второй половине марта, но вот уже и суровый март девятнадцатого года прошел, и апрель остался позади, и наступил ласковый месяц май, а Калмыков так никуда и не уехал.

Вокруг Хабаровска зацвели сады, земля словно бы снегом покрылась — таким густым было цветение. В воздухе пахло медом, свежей земляникой, которая, как разумел Калмыков, в здешних краях не водилась, пахло еще чем-то памятным с детства, с Пятигорска и Кавказа; на лице атамана появлялась невольная улыбка, он начинал косить огненным петушиным взором на женщин — ни одну юбку не пропускал, обязательно цеплялся за не взглядом и сожалеюще вздыхал...

Весна.

По весне под Хабаровском вновь зашевелились партизаны, щипки их пока были незначительными, но тем не менее атаман пару раз посылал для усмирения зачумленных, пропахших потом, испражнениями и дымом «лесных братьев» бронепоезд «Калмыковец». Тот обстреливал сопки и возвращался в Хабаровск.

Калмыков был доволен действиями своего бронепоезда. Заходя в ресторан, обязательно выпивал стопку тягучей китайской водки:

БУРСАК В СЕДЛЕ

— Чтoб всегда так было! Бронепоезд отучит партизан от разбоя. С ба-рином надо жить мирно... А я — барин, — произносил он и оглядывался по сторонам, ища глазами женщину.

Он теперь часто встречался с журналистами, с удовольствием отвечал на вопросы, в том числе и заковыристые — почувствовал к этому вкус. Деньги у него на проведение пресс-конференций имелись, денег вообще было столько, что их теперь атаман не считал: и золотые царские червонцы были, и бумажные сотенные, отпечатанные на роскошной хрустящей «гербовке», и японские йены, и английские фунты, и мятые американские доллары, и китайские юани. Капиталы свои нынешние Калмыков не оценивал, но финансисты ОКО услужливо подсказывали ему, что кошелек атаманский тянет на два миллиона рублей золотом.

Иногда Калмыков останавливался перед зеркалом, картинно выдвигал вперед одну ногу в ярко начищенном сапоге, всматривался в неровные линии своего лица и бил себя кулаком в грудь:

— Миллионер!

На последней пресс-конференции его спросили: когда же он отправится на фронт помогать своим «старшим братьям» — оренбургским казакам? Атаман ответил быстро, совершенно не задумываясь, будто специально ждал этого вопроса:

— Как только получу команду от генерал-лейтенанта Семенова Григория Михайловича, так тут же отправлюсь на Урал. Дивизия уже сформирована. Но команды пока нет.

— Воевать дивизия готова?

— Казак всегда готов воевать, — усмехнувшись, ответил Калмыков.

Он объявил всем, что подчиняется теперь только Семенову, а тот, как известно, ни перед кем не ломает шапку, даже перед самим адмиралом Колчаком...

Похоже, «сформированная дивизия» вообще не собиралась никуда отправляться. Офицеры, уставшие от безделья, тихо роптали.

Генеральный консул Штатов во Владивостоке Гаррис отправил в Вашингтон бумагу, в которой докладывал своему правительству, что японцы предпринимают серьезные усилия для экономического захвата Сибири, тайно поставляют оружие, боеприпасы, амуницию, продукты

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

атаманам Семенову и Калмыкову, тем самым «стимулируют сепаратные действия последних».

«Подобная политика может привести крестьянство под контроль большевиков, — писал Гаррис, — и вызвать рост партизанской борьбы. Необходимо во что бы то ни стало заключить соглашение между союзниками, находящимися ныне в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы воспротивиться японской экспансии и сделать все, чтобы не была оказана помощь ни одному из казачьих деятелей, чинящих помехи Колчаку».

Американцы окончательно сделали ставку на адмирала, хотя и знали, что адмирал их очень не любит.

К Калмыкову приехал на автомобиле старый знакомый подполковник Сакабе, привез в подарок ящик виски, ткнул в него коротким желтым пальцем:

— У нас этот напиток делают лучше, чем в Англии.

— Виски? — не поверил Калмыков. Взял одну бутылку в руки, наморщил лоб, рассматривая этикетку.

— Виски, — подтвердил Сакабе.

— Прошу в дом, — пригласил Калмыков, продолжая разглядывать черную, с блестящими иероглифами этикетку, приклеенную к бутылке.

— Я — по поручению японского командования, — сказал Сакабе.

— Прошу в дом, — повторил приглашение атаман, выкрикнул зычно, будто на лугу собирал коней: — Грinya!

Подхорунжий Куренев возник будто из-под земли:

— Я, Иван Павлыч!

— Стороди-ка нам под эту увесистую посудину кое-какую закуску, — он передал бутылку с виски ординарцу.

Подполковника Сакабе удивляла способность русских пить в любое время дня и ночи. Он так не умел, хотя, подделываясь под здешний люд, и пробовал. Ничего путного из этой попытки не получилось — у Сакабе потом сильно болела голова; пространство перед глазами заваливалось то в одну сторону, то в другую, рот распахивался сам по себе, обнажая распухший от алкоголя язык, а японский полковник с раскрытым ртом — это нонсенс. Смешно. А смеха Сакабе боялся — знал, что смех способен уничтожить человека.

БУРСАК В СЕДЛЕ

— Дело мое — серьезное, — совсем по-русски, будто некий самарский купец, и с такими же интонациями, садясь в глубокое кожаное кресло, произнес Сакабе. Закинул ногу на ногу.

— Внимательно слушаю вас, господин полковник.

— Подполковник, — поправил атамана Сакабе.

— Это неважно, полковником вы все равно будете.

— Спасибо, господин Калмыков. Вы — добрый человек.

На это атаман ничего не сказал, лишь усмехнулся — он знал, какая у него бывает доброта и чем она оборачивается для многих людей. Впрочем, Сакабе это тоже знал.

— Японское командование советует вам не ездить на Уральский фронт, господин Калмыков.

— Почему? — удивился атаман. Внутри у него вспыхнула радость, сделалось тепло: ему и самому не хотелось ехать на помощь Дутову.

— Слишком серьезная складывается ситуация здесь, на Дальнем Востоке.

— По этому поводу мне надо посоветоваться с Григорием Михайловичем Семеновым, — сделав озабоченное лицо, произнес Маленький Ванька.

Григорий Михайлович тоже так считает, — сказал Сакабе. — Отсюда нельзя уезжать. Здесь в ваше отсутствие может произойти переворот.

Тут Калмыкова изнутри словно бы жаром обдало — похоже, вопрос решится сам по себе, без всякого вмешательства. Уссурийский атаман теперь любому наглому писаке-репортеру может объяснить, почему он застрял в Хабаровске: иностранная разведка предупредила его о готовящемся на Дальнем Востоке перевороте, поэтому он вынужден был остаться... Ради спокойствия собственных же границ.

— Я все понял, господин Сакабе, — Калмыков почтительно наклонил голову. — Ваше пожелание будет принято к действию.

Подполковник встал и с чувством пожал атаману руку.

— Я всегда верил в вас, господин Калмыков, — сказал он.

«Экономический захват Сибири Японией, — как писал в своей депеше Генеральный консул Гаррис, — продолжался».

Оставшись один, Калмыков весело потер руки, засмеялся и громко крикнул:

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Гриня! Ты где?

— Я здесь, Иван Павлыч, — издалека донесся голос Куренева. — Чего надо?

— Ты чего там с закуской телишься?

— Уже готова!

— Неси!

— Йе-есть!

Атаман еще раз потер руки, громко засмеялся.

— Хорошая штука — жисть-жистянка... Жизнь — жистянка!

Особенно хороша она, когда есть деньги, светит солнце и человек молод.

Солнце светило по-прежнему горячо и ярко, и молот был генерал-майор Калмыков до неприличия.

Ночью красные партизаны совершили новое нападение на Хабаровск; в схватке с ними погибло девять калмыковцев. Среди партизан было немало охотников-таежников, которые привыкли бить белку в глаз одной дробинкой, эти люди не промахивались. Казаки тоже умели хорошо стрелять, но все равно били не так лихо, как таежники, попадали через раз.

Калмыков, узнав о потерях, хлопыстнул кулаком о кулак, потом повернул один кулак в одну сторону, второй — в другую.

— Вот что я сделаю с этими партизанами, вот, — он снова провернул кулаки в разные стороны, — в ноздрях у них долго будет сидеть запах жареного мяса. Задохнутся.

Он вызвал к себе Савицкого, свел глаза в одну точку. Резко спросил:

— Ну что, начальник штаба, слышал о ночном налете партизан?

— Слышал.

— Давай готовить операцию. Партизанам это спускать нельзя.

— А как же с отъездом на Уральский фронт?

— Отъезд отменяется.

Брови у Савицкого удивленно поползли вверх.

— Это что, решение Омска? Колчак так распорядился?

— Не Колчак, нет. Я так решил, — Калмыков ощутил, что изнутри его распирает некая генеральская важность; ощущать ее было приятно.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Иван Павлович, офицеры приготовились к отправке, только и ждут, когда к перрону подойдут эшелоны...

— Пусть лучше здесь окоротят партизан, — важность, будто одуванчиковый пух, слетела с атамана, он вывернул большой палец правой руки и придавил к крышке стола ноготь, — их надо расплющить как блох... Чтобы треск стоял. И я их расплющу... — Калмыков вновь придавил ноготь к крышке стола и лихо прицокнул языком. Будто белка.

Савицкий вежливо наклонил голову — он верил, что атаман сумеет расправиться с блохами.

Утром следующего дня, в сером полумраке рассвета, под бесшабашное пение птиц из Хабаровска выступил большой отряд калмыковцев. Двигались казаки молча, угрюмо насупившись, не хотелось воевать со своими. Грех это великий — казак поднимает руку на казака, никогда такого не было... Вот что наделала гражданская война!

Поплутав немного по недобро затихшим улицам, отряд выбрался из города.

Из конного строя на черном мерине выкатился хорунжий Чебученко, оглядел неровную колонну, выкрикнул звонко, будто не степенный полковник Бирюков, однофамилец недавно умершего от ран командира Первого уссурийского полка, командовал этим походом, а он:

— Братцы, не вешай носов! Давайте споем!

Строй угрюмо молчал.

Чебученко приподнялся в седле и затанул визгливым, резавшим воздух, будто осколок стекла, голосом:

— «Распрягайте, хлопцы, кони...»

Голос его одиноко повис неясно в утреннем пространстве, казалось, вот-вот завалится — ему не на что было опереться, — в следующий миг Чебученко оборвал пение — строй не поддержал его. Хорунжий воскликнул жалобно:

— Братцы, что же вы?

Михайлов, который после расформирования юридического отдела числился кем-то вроде помощника по неведомо каким делам при начальнике штаба Савицком, повернулся к Юлинеку, неловко громоздившемуся в седле, — ездить верхом чех не умел:

— Чего надо этому дураку?

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Юлинек взглянул на хорунжего Чебученко, схожего с побитым котом, у которого даже усы обвисли от неожиданного поражения, лениво прохрюкал себе под нос:

— Этот человек любит выделяться из толпы. Для того чтобы обратить на себя внимание, готов голым ходить по улицам города Хабаровска.

— Дурак есть дурак, — резонно заключил Михайлов.

Конная колонна втянулась в лес. Сзади двигались пешие казаки, именовавшие себя пластунами, хотя пластунской подготовки не имели. Раньше пластуны играли в армии такую же роль, что ныне спецназовцы. Солнце запуталось в макушках сосен и угасло. Сделалось сумеречно.

Полковник Бирюков приподнялся в стременах и рывкнул на Чебученко:

— Встаньте в строй, хорунжий!

Чебученко поспешно въехал в конную колонну и растворился в ней. Поваяло опасностью — партизаны находились где-то рядом. Их не было видно, но присутствие их ощущалось — у казаков под мышками даже холодные мурашки зашевелились. Бравый Чебученко вобрал голову в плечи, огляделся по сторонам: не нравился ему этот лес, темный, недобрый, лишенный живых птичьих голосов. На опушке, там, где плоская пыльная дорога вползала в тайгу, голоса их населяли пространство, звучали с каждого дерева, с каждой ветки, с каждого куста, а тут — тихо, как в могиле. Может, их незнакомый полковник Бирюков действительно ведет в могилу?

Не было хорунжему ответа. Подмятый непростительной боязнью, он вместе с конем втиснулся в самую середину колонны, вжался в седло, словно хотел срастись с ним, но в следующий миг уловил взгляд казака, ехавшего рядом, — это был белочубый Ильин, — стер со лба холодный пот и выпрямился.

Конная колонна продолжала двигаться по лесу. Место для нападения было тут удачное: с любой ветки на них могли свалиться волосаны в папахах с красными лентами и затеять драку...

Юлинек тоже опасно вертел длинной жилистой шеей — мнилось чеху, что в густых кронах сидят бандиты, сейчас начнут пикировать на всадников, — надо успеть выстрелить раньше их, передвинул маузер,

БҮРСАК В СЕДЛЕ

болтавшийся, как у матроса, на тонких кожаных ремешках, на живот, чтобы было удобнее им пользоваться, пробурчал угрюмо:

— Не нравится мне тут.

Михайлов посмотрел вверх, поймал глазами длинную пепельно-черную ветку, перекинутую по воздуху через дорогу, на которой сидел жирный черный ворон, усмехнулся завистливо:

— Говорят, черные вороны живут по триста лет...

Юлиnek не замедлил подтвердить высказывание начальника:

— Ага!

— Есть другая точка зрения, Вацлав. Вороны живут чуть больше обычной курицы — двадцать лет.

— Вах! — на грузинский манер воскликнул палач и так резко закрутил шейю, пытаясь рассмотреть взлетевшего ворона, что в позвонках у него раздался глухой хруст. Михайлов поморщился, словно ему сделалось больно.

Колонна постепенно втягивалась в глубину леса. Было по-прежнему тихо, ни одного птичьего голоса не слышно, ни писка, ни щелчка, ни треньканья, будто тайга совсем вымерла. Люди двигались, подчиняясь приказу, не будь приказа — повернули бы, унеслись подальше от этой страшной тишины, от черных деревьев и кустов, от здешней колдовской жути.

Устали казаки воевать, не хотелось им ни стрелять, ни рубить — хотелось жить. Воспитывать детишек, пить по утрам парное молоко, ловить рыбу и косить сено на заливных лугах — там растет самая лучшая, самая сочная трава...

Корсаковская улица, где жили Евгений Иванович Помазков с Катей — домишко их располагался неподалеку от храма, во дворе большого магазина, несуразно именуемого «депо» (на стене так и было начертано краской «Депо аптекарских, фотографических и парфюмерных товаров»), — в последнее время преобразилась, похорошела. Появилось много новых магазинов, которыми заправляли пронырливые чехословаки, выдававшие свои товары за французские и дравшие за них втридорога — цены выставляли запредельные. Около каждого магазина стояли тарантасы на дутых шинах — развозили богатых клиентов. По тротуарам прогуливались офицеры в белых кителях с дамами, железнодорожные инженеры в нарядных мундирах, похожих на флотские.

Хорошо было в Никольске-Уссурийском.

В пятницу и субботу супруги обязательно ходили в храм, брали с собой кулек, закутанный в одеяло — дочку Маню, — в церкви находились до тех пор, пока Манька не начинала хныкать, как только она начинала капризничать, отправлялись домой.

Помазков постепенно привык к тому, что его никто не трогали. Пока ни разу, ни один патруль не задержал его, только завистливо поглядывали мужики на его награды, побрякивавшие на груди, и отпускали: авторитет у георгиевского кавалера был высок, — вот Евгений Иванович и перестал опасаться, что его заберут в калмыковскую рать, осмелел.

Вместе с Катей он появлялся на китайском базаре — тут и цены были пониже, и товар посвежее, а по части разных поделок китайцы были половчее русских — из дерева и бамбука могли сгородить что угодно, согнуть любое колесо, сплести любое фигурное лукошко либо стул для праздного сидения.

Помазкову нравилось умение китайцев, он к этим людям относился с симпатией.

Иногда отправлялись прогуляться на Николаевскую улицу. Там располагалось Коммерческое собрание, имелся роскошный сад, работал театр, в котором выступали акробаты и клоуны. Уютная была улица.

Впрочем, скоро на улице поселился какой-то воинский штаб; утром под оркестр начали маршировать юные солдатики и Помазковы перестали туда ходить. Хоть и не боялся вроде бы Помазков никого, а простейшее опасение иногда возникало в нем: а как бы чего не вышло! Арестуют солдатики георгиевского кавалера и отволокут к себе в казарму.

В мае Никольск-Уссурийский расцвел — не было ни одного палисадника, ни одного огорода, где не видно было бы белое и розовое кипение — земля была словно снегом обсыпана, а потом сверху обрызгана сукровицей... Цвела даже черемуха, которая покрывается белой кипенью едва ли не позже всех; на этот раз и черемуха не выдержала, зацвела раньше. Цвели, ослепляя белым цветом, яблони и сливы, розовели японская сакура и войлочная вишня. Красиво было в городе.

В тот вечер они вдвоем пошли на Унтербергеровскую улицу, к заболевшему церковному старосте Якову Яковлевичу — повелел туда

БҮРСАК В СЕДЛЕ

сходить батюшка-настоятель, забрать у старосты кое-что после пасхальных служб.

Город благоухал. Больших зданий в Никольске не было — в основном одноэтажные деревянные дома, типичные для Сибири, для небогатого, но и не бедного здешнего люда. Встречались на прямых городских улицах, по линейке вычерченных князем Кропоткиным, офицером строительного отдела из штаба военного губернатора, и массивные каменные хоромы. Возведены они были здешними вольнолюбивыми купцами и губернской властью — универмаг Кунста и Альберса, артиллерийские казармы, магазин Зынчандуна, примыкавший к русскому базару, почтовая контора, здания Народного дома и китайского театра и так далее, но этих зданий было немного.

Церковный староста лежал в постели — кровать у него была новенькая, с панцирной сеткой. Он, постанывая, держался обеими руками за голову. На табуретке, приставленной к кровати, в стеклянном жбане розовел морс, сваренный из ягод лимонника. Сами ягоды, будто выжатые клопы, белесой грудкой лежали на дне жбана.

— Чего случилось, батюшка? — спросил Помазков у старосты, хотя тот не был батюшкой, но Помазков хотел ему польстить.

— Да на рыбалке пронесло... Сеть утопили, — ответил староста и аккуратно, словно бы боясь прикоснуться пальцами к коже, погладил себя по лбу. — Рвет вот тут, горит. Спасу нет, как рвет и горит, — староста жалобно сморщился, — не было бы антонова огня...

— Голова не подвержена антонову огню, — успокоил его Помазков знающим тоном, — с ногами-руками может что-нибудь случиться, с головой — никогда.

— О-о-о, — зашелся в стоне церковный староста.

Находиться рядом с ним было невыносимо, Помазков почувствовал, что у него тоже начала болеть голова.

Когда они с Катей вышли на улицу, был уже вечер, на западе вдоль горизонта улеглась чистая помидорно-розовая полоса — признак того, что завтра будет ветреная погода и вообще в небесной канцелярии произойдет смена дежурств — один архангел сменит на посту дежурного другого. Помазков потянулся, зевнул и, подхватив на руки Маню, сказал жене:

— Спать охота — страсть!

— И я хочу спать, — призналась Катя, — что-то в природе не то делается, люди ходят сонные, как мухи.

Но не все люди ходили сонные.

Помазковы чинно двигались по деревянному, крепко сколоченному из не преющих лиственных досок тротуару. Неожиданно рядом в них остановилась пролетка, в которой сидел офицер в казачьей форме с погонами калмыковского отряда и нашивкой на рукаве, украшенной крупной буквой «К», с ним два солдата с винтовками.

— Взять орла! — коротко взмахнув рукой, в которой была зажата перчатка, приказал офицер.

Солдаты проворно вымахнули из пролетки, встали в ряд с Помазковым.

— Пройдете!

— Да как вы смеете? — возмутился Помазков. — Я — георгиевский кавалер!

— Смеем, — благодушно отозвался из пролетки офицер, — вы мобилизованы! И хорошо, если без суда обойдется. Будет хуже, если попадете под военно-полевой суд — могут припечатать расстрел за уклонение от мобилизации в военное время.

Плечи у Помазкова опустились сами по себе, он не ожидал такого поворота событий, — покрутил беспомощно головой и передал Маню жене.

Жена заревела в голос:

— Не реви, дура! — офицер звонко хлопнул перчаткой по колену, туго обтянутому тонкой шерстяной тканью. — Лучше помолись за своего мужика, чтобы все обошлось.

Помазкова сунули в пролетку и увезли под охраной двух винтовок — убежать было невозможно, пулю в спину получать не хотелось. Помазков сторбился и постарел в несколько минут. Оглянулся на жену беспомощно, поднял руку, словно бы хотел предупредить ее о чем-то, но пролетка, влекомая сильной задастой лошадью, взяла с места вскачь, под колесами загрохотала щебенка и пролетки не стало. Вместе с нею не стало и георгиевского кавалера Помазкова.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Боевая колонна полковника Бирюкова двигалась по лесу долго, но никто на нее не нападал, лишь вороны перелетали с дерева на дерево, с ветки на ветку, сопровождали колонну, переговаривались между собой.

На огромной, обнесенной вековыми кедрами поляне объявили привал — надо было накормить коней, перекусить самим, справиться нужду... Старые опытные казаки могли мочиться прямо в седле, не проливая ни капли на шаровары, а молодые терялись: ничего у них не получалось, в седлах они после этого красовались, как правило, с мокрыми штанами.

Михайлов с трудом сполз с седла на землю, застыл на несколько секунд с раскореженными натертыми ногами.

Юлинек, увидев шефа в такой позе, невольно захихикал.

— Ну и ну, — отсмеявшись, он что-то выплюнул изо рта на траву, поморщился болезненно.

— Что-то случилось? — спросил Михайлов вялым голосом.

— Кровь. Сидя в седле, прикусил себе язык.

— Бывает. Это пройдет, — успокоил его Михайлов.

— Хочу домой, — неожиданно капризно заявил Юлинек. — Надоела мне война... Хочу домой.

— А где твой дом?

— В Праге, — на глазах палача, в уголках, заблестела влага. Михайлов подивился такой острой чувствительности своего подопечного, отвел взгляд в сторону — неприятно было видеть слезы чеха.

Покряхтев немного, Михайлов сбил себе дыхание и с трудом опустил-ся на траву. Вытянул ноги. Когда мимо пробежал Чебученко, остановил его.

— Слушай, Чебученко, прикажи своим людям, чтобы они покормили лошадей.

Увидев Михайлова, Чебученко немного оробел — знал, хорошо знал, чем занимается тот и его люди, и хотя юридического отдела уже не существовало, Чебученко опасался Михайлова. Отдел не существует, но служба осталась, без нее Калмыков никуда.

— Сейчас, сейчас, — Чебученко заторопился, задергался, — сейчас будет сделано, — и, увязая в траве, мягко, почти беззвучно покатился к своей сотне.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Эй, Чебученко! — выкрикнул ему вдогонку Михайлов. И хотя он совсем не рассчитывал, что Чебученко его услышит, хорунжий оклик услышал, остановился:

— Ну!

— Отстегни у моего Воронка от седла продуктовую сумку, принеси ее сюда.

Хорунжий покорно выполнил и эту его просьбу. Михайлов опрокинулся на спину, вытянулся в полный рост, похрустел костями. Пожаловался:

— Все суставы болят, все, до единого! Словно бы ни одной целой костяшки в организме не осталось. Вот напасть!

Юлинек хлопнул носом.

— Хочу в Прагу!

— Хотеть не вредно, — Михайлов не выдержал, поморщился — не любил слезливости. Что-то раньше такого за Юлинеком не наблюдалось. Впрочем, Михайлов прочитал в одной умной книжке, что палачи всегда, во все времена, у всех народов, были людьми слезливыми.

Неожиданно в конце поляны, там, где дорога исчезала в недобро черневшей горловине леса, раздался выстрел. Один из казаков, приростившийся к поваленной лесине, чтобы обмокнуть ее, подпрыгнул, словно бы подброшенный, в воздухе стукнул одним сапогом о другой и замертво свалился на землю. Опытные фронтовики, хорошо знавшие, что означает такая стрельба, поспешно попадали в траву, заклацали затворами карабинов.

— Кто стрелял? — зычно выкрикнул полковник Бирюков.

Стреляли из леса. Кто именно пальнул — поди разбери, возможно, даже сам Шевченко, а казака уже нет в живых: он легко и быстро переступил черту, отделяющую бытие от небытия, теперь лежал в траве, задрал острый нос, и ни о чем уже не беспокоился.

Кому отвечать своей стрельбой, какую цель брать на мушку — непонятно. Тайга пошумливала недобро, где-то недалеко злобно цокала белка, поссорившаяся со своей подружкой.

— Подъем! — закричал Бирюков. — Уходим отсюда!

Колонна, сократив время привала, спешно покинула поляну, казавшуюся такой безмятежной... Один из казаков — одностаничник убитого,

БҮРСАК В СЕДЛЕ

подхватил тело погибшего, умело пристроил его на седле — не раз занимался этим скорбным делом, — поскакал назад, в Хабаровск.

А колонна, выставив перед собой разведку — разъезд из пяти конных казаков, — двинулось дальше.

Калмыков, несмотря на визит подполковника Сакабе, все-таки ломал голову над тем, какие же объяснения следует придумать, чтобы оправдать собственное вранье. Ведь он публично объявил, что поедет на Уральский фронт, сам же застрял в Хабаровске. Какие точные слова найти для объяснения? Заявить о предупреждении японской разведки или грядущем перевороте?

Никаким переворотом в Хабаровске пока не пахнет. Свалить на усилившуюся борьбу с партизанами? Это не объяснение. Партизаны на Дальнем Востоке были всегда, даже во времена Ерофея Павловича. Прикрыться тем, что Колчак не прислал жалованье? Где в таком разе патриотизм? Сказать прямо, что не посоветовали японцы, нельзя. Так он подставит и самого себя и своих японских покровителей. Калмыков жалобно сморщился, на мгновение закрыл глаза и неожиданно вздрогнул — из багровой притеми закрытых глаз на него жадно, пристально смотрела... змея.

Испуг, возникший было в нем, прошел мгновенно.

Калмыков растянул рот в обрадованной улыбке: если бы все враги его были, как эта змея, кусачими, но играли бы по определенным правилам, тогда за будущее свое можно было бы не беспокоиться. Всякая змея — это невинная девица, ребенок по сравнению с калмыковскими врагами, да и перед самим атаманом она тоже ребенок.

Атаман вздохнул, открыл глаза, снова закрыл — змеи не стало. Лишь в багровом мареве бледнел неровный обвал, похожий на пулевой пробой — место, где змея только что находилась. Атаман вздохнул еще раз.

В кабинет вошел Савицкий. Бледное лицо его было озабоченным.

— Отряд полковника Бирюкова попал в засаду, — сказал он. — Есть убитые.

— Сколько? — потяжелев взглядом, спросил атаман.

— Хорошо, что не десять. — Калмыков помял пальцы, похрустел суставами — что-то все чаще и чаще выпирала на поверхность эта дедовская привычка — может, старость подоспела? — И что же там случилось?

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Казак, привезший убитого, ничего толком объяснить не может, из записки Бирюкова также мало что понятно. Я разумею, обычная за-сада.

— Обычная, обычная, — прокричал Калмыков, еще раз помял паль-цы, — так мы вообще без народа останемся. А что касается полковника Бирюкова, то он мне не в лесу, а здесь нужен.

— После окончания операции он вернется в Хабаровск, Иван Пав-лович.

Калмыков умолк, не стал объяснять своему помощнику, что за дело он решил предложить Бирюкову.

— Сколько времени штаб отвел на проведение операции?

— Дня в три-четыре уложатся.

— Ладно, иди, — Калмыков коротким движением руки отпустил Савицкого.

— Убитого казака по железной дороге отправить в станицу, пусть похоронят там.

— Протухнет в пути, Иван Павлович, — Савицкий вопросительно вскинул одну бровь, — не доедет. Лучше бы похоронить в Хабаровске.

— Я же русским языком сказал — отправить в станицу. Значит, надо отправить в станицу. Выполняйте!

Атаман часто становился нетерпимым.

А работу полковнику Бирюкову он придумал вот какую. И атаман Семенов со своим разросшимся отрядом, и уссурийцы, и амурские казаки решили вновь пойти на сближение с адмиралом Колчаком, — словно бы поняли атаманы, что войну без Колчака выиграть невозможно, можно только проиграть. Адмирал также пошел навстречу атаманам, выпустил специальную грамоту, адресованную казакам, где подтверждал все права станичников, начиная от земельных наделов, кончая укладом их жизни, несением службы, гражданским и военным управлением. Бумага была серьезная, тем более что станичники в последнее время ожидали, что на их права обязательно кто-нибудь наедет своими тяжелыми железными колесами, отрежет что-нибудь. Напри-мер, землю, либо лишит половины скота или того хуже — отнимет право самим выбирать атамана.

При казачьей вольнице это было самым худшим.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

В общем, как бы там ни было, роль казаков в Белом движении повышалась — из Омска на этот счет пришла бумага, подписанная и самим Колчаком и членами его правительства. Калмыков был доволен...

Соответственно и Белое правительство рассчитывало на поддержку казаков, но, как считал атаман, от планов, разработанных умными головами, до их исполнения — расстояние огромное. В Омск надо было обязательно посылать представителей.

Калмыков наметил на эту роль полковника Бирюкова.

Но пока полковник Бирюков был далеко — в тайге, сражался с партизанами.

Засада ждала отряд Бирюкова на окраине небольшой таежной деревни, в которой и имелось-то всего шесть или семь домов, но зато каждый дом был похож на небольшую крепость — сложен из толстых бревен, окна — маленькие, угрюмые, словно бойницы, из которых удобно поражать противника, а самому оставаться неуязвимым.

В деревне было тихо — ни петушиных вскриков, ни собачьего лая, и людей не было видно. Полковник остановил колонну, обвел биноклем темные тихие хаты.

— Неужели жители покинули дома? — недоуменно проговорил он. — Кого они боятся? Нас или партизан?

Помощником у Бирюкова был высокий чин — заместитель самого атамана Эпова; он также вскинул бинокль, обвел им толстостенные избы, которые можно было взять только снарядом, и произнес убежденно:

— Нас они испугались, нас... И не только сами ушли, но и скот угнали. Вот навозные души!

— Не такие уж и навозные, — возразил Эпову полковник. — А вдруг тут засада?

— Вряд ли, — с сомнением произнес Эпов.

Едва они вошли в деревню, как с грохотом распахнулись ставни сразу в нескольких домах и грянули выстрелы. Около десятка казаков разом вылетели из своих седел.

Бирюков поднял коня на дыбы, выстрелил в ближайшее окно из гана — там, в прозрачной тени мелькнуло плоское бородатое лицо, и он всадил в него заряд. Мужик вскрикнул, задрал ствол винтовки, пальнул

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

вверх. Выстрел его не принес никому вреда, мужик запрокинулся назад, на спину, и исчез в доме.

Находившийся рядом с полковником белоусый чубатый казак — это был Ильин — сорвал с плеча карабин, не целясь, ловко пальнул в распахнутые ставни, уложил второго партизана, потом спешно передернул затвор, сделал еще один выстрел. И снова попал. Полковник позавидовал меткости казака, прижался к шее лошади, пальнул из нагана в человека, высунувшегося из-за угла дома, промахнулся, пальнул снова и опять промахнулся.

— Черт! — выругался он громко, хотя всегда старательно воздерживался от ругани.

Человек — криволапый, замшелый, похожий на зацветший гриб, поспешно сунулся обратно, исчез, потом вновь выскочил из-за угла и не целясь, прямо с бедра саданул из винтовки... К охотникам местным он, видать, отношение имел небольшое — пуля пронзила воздух около уха Бирюкова и унеслась в пространство.

Белоусый казак, едва не порвав коню губы, развернулся на одном месте и пальнул в мужика из карабина. Пуля буквально приподняла того над землей, удар свинца был сильным, такая мощь могла поднять не только человека — целую лошадь. Белоусый снова развернул коня на одном месте, ударил в другую сторону, располовинил пулей стекло в угрюмом приземистом доме.

Осколки полетели во все стороны блестящими брызгами. Следом из окна вывалился человек с лысой, похожей на большой огурец головой, застрял на подоконнике, свесил вниз длинные черные руки с крупными розовыми ногтями. Хорошо стрелял белоусый казак.

Фуражка с потемневшим желтым околышем была притянута ремешком к голове; тусклый кожаный ремешок переброшен под подбородок. Упакован был казак Ильин надежно, все подогнано, подобрано — умелый был человек. С такими людьми можно было любую заваруху свести на нет.

Деревенская улица была заполнена кудрявым сизым дымом, таким едким и кислым, что от него рвало ноздри — стреляли плохим порохом. В дыму этом копошились люди, ржали лошади, с воем носились собаки — откуда они взялись, было непонятно... Выстрелы продолжали грохотать.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Бирюков неожиданно увидел перед собой мужика, одетого по-старинному: в лапти, горластого (черный, без единого зуба рот его был широко распахнут), из глотки вырывался паровозный рев. В руках он держал широкие четырехрожковые вилы. Рожки были ржавые, длинные, страшные.

Мужик ткнул вилами в бирюковского коня, ткнул издали, боясь подойти ближе, не достал. Конь прынул от него, совершил прыжок в сторону, разворачиваясь к налетчику задом, чтобы ударить копытами, а Бирюков, приподнявшись на стремянах, выстрелил.

Мужик захлопнул рот, обрезая паровозный рев, глянул на полковника недоуменно и жалобно и выронил из рук вилы.

— Хы-ы-ы, — вздохнул он, выплевывая изо рта кровь.

В это время конь ударил по нему задними копытами, угодил точно в грудь и несчастный мужик унесся в густой едкий дым, и человека не стало видно.

Схватка продолжалась.

Хоть и сильна была засада, и стволов в ней насчитывалось много, а натиска бирюковского отряда простодырные мужики, носившие лапти, сдержать не смогли — силы были неравные.

Через сорок минут отряд полковника прошел деревню насквозь — выстрелов не прозвучало ни одного, — и остановился на околице, на площадке, посередине которой стояло врытое в землю бревно. Оно было украшено толстым коротким суком, будто коровьим рогом; на суку, раскачиваясь на проволоке, висела большая плоская железяка — соскочивший с плуга лемех.

Лемех этот заменял деревенским жителям колокол — по его ударам они собирались на сходки, бежали за ведрами, если у кого-то начинал дымиться сарай, спасали от пожаров, приходивших из тайги, свои дома и добро.

В тайге лихие люди специально поджигали сухотье, чтобы потом пограбить поднявшуюся по тревоге деревню — дома-то оставались пустыми...

— Надо подсчитать потери, — сказал полковник Эпову.

Тот согласно кивнул.

— Сделайте это, — попросил полковник.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Потери были не очень большие, Бирюков поначалу полагал, что оставит у этой деревне гораздо больше людей — засада сделана умело, над ней поработала хорошая голова. Шесть убитых и трое раненых, причем у одного — младшего урядника, награжденного двумя колчаковскими медалями, ранение было совсем пустяковое и он даже не покинул строя.

— Продолжаем движение, — скомандовал Бирюков.

— А раненых куда?

— С ранеными, как обычно, — на волокуши и назад, в Хабаровск. Хватит им воевать — пусть лечатся.

Колонна двинулась дальше.

Через полтора часа достигла следующей деревни — такой же глухой, лесной, населенной злыми боролатыми мужиками, — и попали в новую засаду.

Правда, на этот раз Бирюков держал ухо востро — вперед послал не просто разведку, а усиленную группу — два десятка уссурийцев, имевших опыт по части засад; хорунжий Чебученко, которому Бирюков поручил командовать разведкой, быстро раскусил деревенскую хитрость: одного казака послал в отряд, чтобы тот предупредил полковника, сам обошел деревню по тайге и взял ее в кольцо.

Деревне не повезло — Бирюков взял ее с лету, не потеряв ни одного человека; дома, из которых пытались вести стрельбу, приказал сжечь.

Не повезло и Чебученко.

Когда в деревне раздалась стрельба, хорунжий послал своих хлопцев на подмогу, сам замешкался и за ускокавшими уссурийцами не успел; с ближайшего дерева неожиданно сорвалась большая бородатая обезьяна, наряженная в дырявые штаны, шлепнулась прямо на Чебученко.

Из седла хорунжий вылетел, словно пушинка, даже охнуть не успел, как очутился на земле. Человек, сбивший его с коня, прыгнул следом, задрал хорунжему руки за спину, победно заревел.

— Хлопцы, помогите! — засипел Чебученко, зовя своих разведчиков, но разведчики уже находились в деревне, не слышали командира. Налетчик рубанул хорунжего кулаком по темени, наполовину вогнал офицерскую голову в мягкий вонючий перегной. Выдернул Чебученко из грязи и прохрипел:

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Попался, рожа калмыковская! — опалил хорунжего горячим дыханием и снова долбанул кулаком по темени.

С соседнего дерева спрыгнул еще один человек, стремительно переместился к поверженному хорунжему. В руках он держал укороченный кавалерийский карабин, какими были вооружены французы из консульского конвоя в Хабаровске, — значит приголубили здешние пахари какого-то парижанина.

Мужик с карабином предупредил человека-обезьяну:

— Смотри, не убей!

— Не бойсь! Офицерики, как коты, — народ живучий.

Хорунжего рывком подняли с земли и поволокли в глубину леса. Чебученко ловил сквозь боль, сквозь проблеск сознания обрывки разговора, видел землю, сучья, голые коренья, поломанные кусты, проползавшие под ним, буквально под самым лицом, иногда они скребли по щекам, сбивали кровь — черные капли оставляли след на траве. Носками сапог хорунжий задевал за все неровности, попадавшие по пути, и тогда в глазах у него вспыхивало пламя.

Поначалу Чебученко крепился, потом не выдержал, застонал.

Человек-обезьяна, услышав стон, ткнул хорунжего кулаком в плечо:

— Не стенай, объедок калмыковский, тебя все равно никто не услышит! — В следующий миг он засмеялся хрипло, торжествующе: — Ну что, попался. Белый?

Чебученко застонал вновь: под носок сапога попала жесткая, словно бы вырубленная из камня кочка, зацепилась за обувь и сдернула сапог с ноги хорунжего. Напарник человека-обезьяны остановился.

— Ты смотри, Гоша, чего ты теряешь?

Гоша также остановился, оглянулся. Лицо у него обрело жадное выражение.

— Сапоги по нынешним временам — штука дорогая, — укоризненно произнес его напарник. О хорунжем они словно бы забыли — ткнули носом в дырявый, полный трещин и зловонный пенек и там оставили.

— Ай-ай-ай! — закричал человек-обезьяна, бросаясь к сапогу, прилипшему к кочке. — Молодец Трофим, засек вовремя, не то бы мы лишились дорогого товара.

Трофим засмеялся, ткнул Чебученко ногой в бок.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Дорогой товар — вот он, — сказал, — дороже нету.

Хорунжего приволокли на большую поляну, посреди которой горел костер, бросили на землю. Трофим подошел к чернобородому, плечистому мужику, орудовавшему у костра.

— Вот, дядька Енисей, принимай беляка. Ставь на довольствие...

— Ага, — тот раскорячился, бесстрашно сунул в огонь голую руку, выволок черную печеную картошку, — разбежался изо всех сил и лаптем землю придержать забыл. Счас! Счас я твоему офицеру манную кашку начну готовить. Дворянин ведь, наверное...

Трофим покосился на стонавшего хорунжего:

— Скорее всего, из бар... Дворянин. Слышь, как поет!

— Нарезать бы у него из ляжек мяса и пельменей с черемшой сготовить. Не то давно пельменей не ели.

Дядька Енисей был старшим в группе партизан; его команды выполнялись беспрекословно, если он скажет нарезать из пленного мяса для жарева или для пельменей — так оно и будет сделано, если скажет запечь на костре живьем вместе с картошкой — запекут. Дядька Енисей кинул одну картофелину Трофиму:

— Лови!

Тот поймал, сделал это ловко. Вторую картофелину старший кинул Гоше. Тот оказался менее ловок, картофелина шлепнулась на землю и подкатилась к ногам Чебученко. Гоша, тряся бородой и размахивая длинными руками, кинулся к хорунжему:

— Это не твое, это мое!

Схватил картофелину, с жадностью ее разломил. Запихнул в рот вначале одну половину, потом другую. Проглотил, не разжевывая, облизал губы черным, испачканным гарью языком:

— Вкусно!

Дядька Енисей также разломил картошку, съел ее без особого интереса, поглядел на пленного калмыковца. Произнес глухо, прокатывая слова во рту, будто кости:

— Ну, рассказывай, чем ты занимаешься у Маленького Ваньки? В какой должности служишь?

Чебученко болезненно перекосялся и, сплюнув изо рта кровь, прошипел что-то невнятное.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Чего ты там фикстулишь, а? — дядька Енисей раздраженно подергал бородой. — Не слышу. Людей пытал?

Хорунжий, словно бы очнувшись, испуганно тряхнул головой:

— Не-е...

— А по моим сведениям — пытал, — дядька Енисей, конечно, брал пленника на арапа, тонкостями допросов он не владел, как вытащить из человека самую тонкую жилу, чтобы тот выдал все от «а» до «я», ничего не утаив, дядька Енисей не знал, хотя всадить кому-нибудь из беляков в задницу шомпол поглубже, чтобы он вылез через ноздри, умел и иногда этим своим умением пользовался. Производил он эту операцию с удовольствием.

Дядька Енисей переместился от костра к пленнику, навис над ним большой мятой глыбой, подвигал бородой из стороны в сторону.

— Рассказывай, милоч, — потребовал он, — не запирайся. Считаю, что ты на исповеди, — дядька Енисей придвинулся к пленнику еще ближе. Тому сделалось страшно. Он задергал ногами, зазвенел шпорой, прилаженной к единственному сапогу, оставшемуся на нем, стараясь выбраться из-под страшного таежного человека.

Тот понимающе ухмыльнулся, показал зубы — крупные, как у людоеда, темные, прочные и острые.

— Итак, излагай, кем ты служишь у Маленького Ваньки? — ласковым, совершенно домашним голосом поинтересовался дядька Енисей, ткнул хорунжего ногой. — Ну!

— В первом полку службу, — просипел Чебученко сдавленно, — командиром сотни.

— А раньше кем служил? — задал неожиданный вопрос дядька Енисей, глаза у него сжались в две узкие щелки.

Чебученко невольно вздрогнул — он этого вопроса боялся — не дай бог выяснится, что он водил людей на допросы, а потом провожал в последний путь, — тогда этот бородатый леший сожрет его живьем, — вдавился лопатками в землю и засипел:

— Сы-ы-ы!

— Какой нервный беляк, — удивленно усмехнулся дядька Енисей, — давно такие не попадались.

— Сы-ы-ы!

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Ты чего, помочиться хочешь? — спросил таежный дядька. — Или уже под себя напруденил?

Тимофей приблизился к нему, понюхал воздух:

— Вроде бы не пахнет.

— Сы-ы-ы!

— Разговорчивый какой, — не переставал удивляться дядька Енисей, — то ли по-кошачьи, то ли по-свинячьи. Без толмача не обойтись.

— Лист кровельного железа, содранный с купеческой крыши, — самый лучший толкач, — рассудительным тоном произнес Тимофей.

— Это только в самом крайнем случае, — остепенил ретивого подопечного дядька Енисей.

Где-то далеко-далеко, на краю краев света продолжала раздаваться частая, заглушенная расстоянием стрельба. Дядька Енисей оттопырил одно ухо:

— Похоже, не кончается заваруха. То ли мы бяляка, то ли бяляки нас, — он вздохнул и перекрестился. — Прости, Господи, души наши грешные.

— Чего крестишься, дядька Енисей? — Тимофей растянул рот в плотоядной улыбке. — Ты же в Бога не веришь. Комиссар ежели узнает, тебе все, что растет ниже бороды, оторвет.

Старший набычился, борода у него неожиданно растрепалась, неряшливо распалась на две половинки, расползлась в разные стороны.

— Для этого он еще узнать должен...

Тимофей усмехнулся.

— Узнает. Он у нас мужик шустрый.

— От кого узнает? От тебя?

— Не-а. Я не из породы доносчиков. Не из того материала сшит.

Дядька Енисей хапнул рукой кобуру маузера, передвинул ее на живот.

— Смотри, Тимоха! Ленин хоть и отменил Бога, а у нас в селе его никто не отменял, понял? Я живу по сельским законам, понял?

Тимофей усмехнулся вновь.

— Еще бы не понять.

— Смотри... иначе к этому вот кресту заставлю тебе приложиться, — он похлопал ладонью по деревянной кобуре. — Понял?

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Тимоха хорошо знал, каким стрелком был дядька — муху укладывал на лету, таких востроглазых по всей дальневосточной тайге больше не сыщешь, поджал нижнюю губу под верхнюю, сразу становясь похожим на налима. Дядька Енисей хлопнул по маузеру еще раз и перевел взгляд на Чебученко.

— Ну что, офицерик, дрожишь?

Чебученко никак не отозвался, промолчал.

— Молчи, молчи, — пробормотал дядька Енисей вполне добродушно, — твое право... Только сейчас ты заговоришь так громко, что твой голос даже в Хабаровске будет слышно.

Чебученко продолжал молчать.

— Ну чего такого ты можешь сказать про своего Калмыкова, чего я не знаю, а?

Чебученко, не понимая, что будет происходить дальше, вновь зашипел:

— Сы-ы-ы...

— Вот-вот, ссы да ссы, главное, чтоб штаны мокрыми не были.

Тимофей и его длиннорукий напарник притащил лист железа, уложили его на костер. Под железо, в свободное пространство, протиснули несколько смолистых суков.

— Офицерик наш живо в жареный пельмень превратится, — сказал Тимофей.

Дядька Енисей зубасто усмехнулся. Сказал хорунжему:

— Это по твою душу приготовления производятся. Чуешь али не чуешь? Запечем тебя и съедим.

— Сы-ы-ы... — Чумаченко задергался, подтянул к себе ноги, шпорой зацепился за сук, потерял зубчатое колесико.

— Чего там задумал против нас Маленький Ванька, не слышал? — дядька Енисей вновь страшноватой неряшливой глыбой навис над хорунжим, махнул у него перед носом большим черным кулаком.

— Сы-ы-ы. Откуда я знаю, что он задумал, — в хорунжем прорезался голос, речь сделалась внятной, он облизал окровавленным языком губы и выбил из горла закисшую пробку. — Я же не в штабе работаю.

— Те, кто работает в штабе, обычно знают меньше тех, кто там не работает, — неожиданно грамотно и складно произнес дядька Енисей.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Вид у него сделался умный, как у известного на весь мир профессора Менделеева, открывшего Периодическую таблицу. — Так что давай, докладывай, — он оглянулся на костер, — пока мы тебя на лист железа не завалили.

У хорунжего снова пропал голос.

— Сы-ы-ы...

— Вот и ссы, пока не захлебнешься. Сколько у Калмыкова войск в Хабаровске?

— Сы-ы-ы! Четыре тысячи человек.

— Четыре? — дядька Енисей недовольно сморщился. — Не загибай!

По моим данным, две.

— Две — это было раньше, сейчас — четыре. Калмыков провел мобилизацию.

— Ловок Маленький Ванька, — дядька Енисей озадаченно покачал головой. — Фокусник, циркач! — Он вновь мазнул по воздуху черным кулаком.

— По мобилизации Калмыков и обрел такую силу... Сы-ы-ы!

Чебученко выложил дядьке Енисею все, что знал, но это не спасло его. Железный лист раскалился докрасна и на мерцавшую, поигрывавшую искрами поверхность швырнули хорунжего. Помучался Чебученко недолго — дядька Енисей пожалел его, спешно поддел ногтями кобуру маузера и всадил пленнику пулю в лоб.

Лесной поход под командованием полковника Бирюкова продолжался.

Жителей деревни, в которой разведчики Чебученко обнаружили партизанскую засаду, согнали на вытопанную земляную площадку, где по вечерам любила колготиться молодежь. Полковник, не слезая с коня, оглядел жителей и сказал Эпову:

— Сопротивление становится назойливым.

Тот согласно качнул головой:

— Я тоже так считаю.

— Что предпринять, чтобы этого больше не было?

— Сжечь деревню.

— Сжечь?

БУРСАК В СЕДЛЕ

— Да. Дотла. Тогда по тайге пойдет слух и мужики деревенские сами перестанут пускать к себе партизан. Свои-то дома дороже товарищей, пропахших дымом костров...

— Верно, — согласился с Эповым полковник. — Так и поступим.

Через несколько минут избы запылали, люди пытались прорваться к родным дворам, вытащить что-нибудь из помещений, но казаки выстрелами отгоняли их от горевших хат.

Когда стало ясно, что ни одного дома уже не спасти, колонна карателей двинулась дальше.

Полковник Бирюков вместе с Эповым расположился в середине колонны — калмыковские командиры боялись, как бы кто из лесных леших не пальнул в них с макушек высокого кедра, не всадил пулю в глаз... Двигаться в середине колонны было надежнее.

Хотя Калмыков и начал в последнее время избегать общения с журналистами и делал это довольно старательно, даже умело, избежать контактов все же не удалось — журналисты сами пришли к атаману. Целой толпой.

Калмыков хотел было отправить их назад и для острастки высечь плетками — казаки сделали бы это с большим удовольствием, стоило им только намекнуть, но потом понял, что вряд ли это поможет, и уж во всяком случае популярности его имени не добавит, и, недовольно подергав усами, распустил рот в улыбке.

— Милости прошу, дорогие господа, — атаман гостеприимно повел рукой, — чего желаете от бедного труженика войны?

— Всего несколько вопросов, господин Калмыков, — бойко пролопотал хабаровский репортер по фамилии Чернов, с которым атаману уже приходилось сталкиваться. Не любил он этого Чернова.

— Отвечу на любой вопрос, — бодро заявил атаман, — если, конечно, смогу. — Усадив журналистов во дворе на две длинные скамейки, сам сел на стул посередине, оперся ладонями о колени. — Задавайте ваши вопросы.

— Когда ожидается отправка вашей дивизии на Уральский фронт?

«Опять двадцать пять», — мелькнуло в голове атамана.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Вопрос не ко мне, — проговорил он спокойно. — Совсем недавно я отвечал на такой же вопрос во Владивостоке. Решение теперь зависит не от Хабаровска, не от моего штаба, а от Омска. Когда они решат, тогда и отправимся.

Вопрос этот был ему очень неприятен, но Калмыков и вида не подал, что это его покорило, а про себя подумал, что надо бы дать команду Михайлову: пусть этого дурака-репортера опечатают где-нибудь в темном углу кирпичом, чтобы он больше подобных вопросов не задавал — забыл чтобы даже, как вообще задают. Похоже, репортеришка этот мечтает о кирпиче... Надо будет его мечту удовлетворить... Или как там правильно будет? Исполнить.

— А в чем, собственно, задержка? — Чернов от нетерпения даже одной ногой задергал.

— Я же адресовал вас к Омску, — спокойно ответил атаман, — все планы наступлений и отступлений разрабатываются там. Спросите у них... Придет приказ отправляться на фронт — отправимся тут же. Войска готовы.

Отвечал на вопрос атаман, а сам думал: «Надо будет обязательно эту “пресс-конференцию” подключить Михайлову... Чем быстрее — тем лучше».

Тут он недовольно поморщился: забыл, что сам отправил Михайлова в тайгу наводить порядок вместе с полковником Бирюковым. Раньше чем через три дня Михайлов вряд ли вернется. Может, поручить это деликатное дело Грине Куреневу? Надо будет подумать.

Помяв Калмыкова минут двадцать, потискав, потеревив его вопросами, журналисты покинули атаманский двор. Калмыков вызвал Савицкого:

— Дай команду своим писарчукам, пусть перепишут всех, кто тут был и бумажку — мне на стол.

— Уже сделано, Иван Павлович, — доложил Савицкий.

Через два дня репортера Чернова нашли мертвым на окраине Хабаровска в заброшенной, пропахшей мышами хате, в которой давно уже никто не жил. На шее репортера была туго затянута проволока. Кто убил крикливого журналиста и за что — неведомо.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Газеты постарались этот факт замолчать, только городские ведомости дали крохотную заметку о трагическом событии.

Калмыков эту заметку прочитал, качнул головой понимающе и швырнул газету в угол, к печке — Гриня использует ее на растопку.

Экспедиция Бирюкова вернулась из тайги с победой, привела двадцать пленных партизан, которых атаман после допроса приказал заколоть штыками — патроны он жалел, боезапас требовался для других целей, — и зарыть в тайге. У Бирюкова спросил, недовольно сведя глаза в одну точку:

— Шевченко так и не попался?

— Даже следов не обнаружили, Иван Павлович. В последний раз его видели в тайге полторы недели назад. Вы поговорите с пленными, они вам все расскажут. Я их специально привел.

— Пленных я приказал уничтожить, — сухо ответил Калмыков.

— Напрасно, Иван Павлович, — Бирюков сожалеющее качнул головой, — мы бы это в тайге сделали, меньше бы хлопот было...

— А их и тут не было.

— Ладно, что сделано, то сделано, — не заметив, как недовольно перекопилось лицо атамана, Бирюков махнул рукой. — Про Шевченко рассказывают, что он ушел в Благовещенск, там сейчас пребывает...

— Чего он потерял в Благовещенске?

— А бог его знает. Может, там партизанская сходка, может, переговоры.

— Какие могут быть у бандитов переговоры? — Калмыков повысил голос.

— Надо будет связаться с Гамовым, пусть он это бандитское собрание прихлопнет, а Шевченко изловит живым... И пришлет его сюда по железной дороге в клетке.

— Как Степана Разина? — Бирюков понимающе улыбнулся.

— Степана Разина везли в нормальной клетке, а Шевченко надо привезти в собачьей.

Через полчаса телефонное сообщение об «опасном бандите» Шевченко ушло к амурскому атаману Гамову.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Недолго будет бегать таракан, — сказал Калмыков, хлопнул ладонью о ладонь, — обязательно попадет в ловушку. И тогда... — он ухмыльнулся и злорадно раскатал одну ладонь о другую, показал наглядно, что тогда будет с бывшим вахмистром.

Запоздало подумал о том, что надо бы дать войсковой канцелярии распоряжение о том, чтобы усатого деятеля этого вычеркнули из списков Уссурийского казачьего войска. Такие казаки войску не нужны.

Гамову тоже не удалось добраться до Шевченко — контрразведка донесла ему, что ярый враг Калмыкова ночевал в нескольких деревнях, примыкавших к Благовещенску, но в Благовещенск не заглянул — побоялся, а потом исчез.

Куда направился — никто не знает. Скорее всего — в родимые края, в Приморье, а вот там бывшего вахмистра иници-свищи, как ветра в поле, чувствует он себя там, словно рыба в воде.

Гамов отстучал Калмыкову телеграмму, короткую, как удар бича по коровьей спине: «Шевченко Благовещенске нет».

Против Калмыкова тем временем выступили собственные офицеры — семьдесят человек. Им не нравилась, «страусиная политика атамана», как выразился один из хабаровских журналистов, занявший место ушедшего в мир иной Чернова: офицеры хотели отправиться на фронт как можно быстрее, дать бой красноармейцам, а Калмыков противился этому, говорил, что, прежде чем ехать на Урал, надо «обмундироваться как следует и рубли от Омского правительства получить»...

— Страус он, наш атаман, — горячились молодые офицеры, — истинный страус! Голову в теплый песок засунет, задницу в небо, будто скорострельный «эрликон» выставил и затих. Волынщик! Трус!

Ночью одиннадцатого мая офицеры, выпив китайской «ханки», пришли к Эпову и потребовали:

— Немедленно отправьте нас на Уральский фронт. Мы не хотим праздновать труса в тылу!

Эпов растерялся:

— Как же я вас отправлю, ребяташки, на чем?

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— На чем угодно, есаул! Хоть пешком. Нам стыдно бить баклуши в Хабаровске. Где Калмыков?

— Калмыков в отъезде. На границе с Китаем находится, пробует изловить Шевченко...

Офицеры зашумели.

— Дался ему этот Шевченко. Давно бы мог с ним помириться — и тогда не было б у нас партизан в тылу.

Эпов нахмурил лоб.

— Помириться? Белому с красным? Это невозможно, господа. Когда вернется атаман, я изложу ему ваши требования.

Атаман вернулся через сутки. Узнав об офицерском бунте, рассви-
репел. Первым делом содрал погоны с Эпова.

— Ты больше не мой заместитель! — Крикнул козвою: — Арестовать его!

Несчастливого Эпова уволокли в кутузку, как рядового казака. Следом Калмыков велел посадить под замок всех бунтовщиков.

Кроме офицеров-артиллеристов и конной офицерской полусотни против атамана выступили юнкеры артиллерийского училища — они поддержали своих командиров. Арестовывать юнкеров было неприлично — молодые ребята, жизнь еще не познали, не обучились ее азам, погорячились малость, но атаман с этими аргументами не стал считаться, также велел запихнуть в кутузку.

Калмыков велел разослать по станицам телеграммы, в которых обвинял взбунтовавшихся офицеров во всех смертных грехах и прежде всего в хозяйственной разрухе, якобы существовавшей в «отрядах пушкарей!». Эпова не просто втоптал в грязь, объявив, что есаул подсиживал его, войскового атамана, плел интриги и хотел забраться в главное кресло в войске. Бедный Эпов попал, как кур в ощи́п — в одночасье лишился всего: и погон, и жалованья, и свободы... да еще на него повесили позорное обвинение.

Узнав об этом, Эпов не сдержался, заплакал.

Разослав телеграммы по станицам, Калмыков решил разослать такие же «молнии» и по воинским частям: ему хотелось, чтобы казаки поддержали его, защитили, в конце концов. От обиды у атамана даже усы дрожали.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Но не все отнеслись к атаману с сочувствием. У него наметился серьезный разлад с войсковым правительством. Все дело в том, что атаман находился в Хабаровске, а правительство заседало во Владивостоке, связь между ними существовала очень слабая — только по телефону, по глухим проводам, которые часто обрезали партизаны, да по телеграфу. А современное устройство это зависело от проводов... В общем, воинское начальство действовало само по себе, а правительство само по себе, очень часто из этих двух контор исходили распоряжения совершенно противоположные.

Почесав затылок, атаман пришел к выводу, что правительство, распустившее свое пузо в сытом городе Владивостоке на французских булочках, паштетах и пирожных безе, да на сырой японской рыбе, тоже причастно к бунту офицеров и рубанул кулаком по площадке с молоком, которую Гриня Куренев заботливо поставил перед ним.

Плошка — вдребезги, молоко — в брызги. И брызги и глиняные осколки разлетелись по комнате.

— М-мать твою! — прорычал атаман грозно. — Разожрались, мышей совсем ловить перестали! Подать сюда... — он на секунду осекся, вспоминая, кто же нынче руководит войсковым правительством, поморщился недовольно: правительством руководил свой человек — Савицкий, которого атаман лишь недавно отправил из Хабаровска во Владивосток наводить порядок, — недовольно крикнул в кулак: — Мда!

В двадцатых числах мая там верховодил Зибзеев, но во время офицерского бунта Зибзеев подал в отставку и атаман принял ее; на место Зибзеева направил Савицкого — больше направлять было некого... Вызывать Савицкого на ковер и снимать с него стружку не хотелось бы. Калмыков еще раз крикнул в кулак:

— М-да!

Но чего не сделал атаман, то за него сделал Савицкий — он сам прислал в Хабаровск телеграмму о несогласии правительства с политикой, которую проводил Калмыков.

Это был удар поддых. Калмыков взвыл, затряс кулаками, а ничего поделать не смог. Надо было выправлять ситуацию.

Он разослал по станицам новую телеграмму — на этот раз о немедленном созыве войскового круга.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Выбирайте себе нового атамана! — заявил он во всеуслышание, зайдя к казакам в казарму. С одной стороны, надо воевать с красными, с другой — с вами... Зачем мне все это нужно?

Калмыков рассчитывал, что его будут уговаривать, но казарма в ответ угрюмо молчала: атаман по привычке озадаченно поскреб ногтями затылок — а может, он погорячился, отправив телеграмму о созыве внеочередного войскового круга? Вдруг круг не поддержит его и изберет своим предводителем того же Шевченко? Хотя Калмыков уже вычеркнул вахмистра из всех списков...

Это будет, конечно, ударом ноги ниже пояса, в переднюю часть — Калмыков посерел от досады и внезапно возникшей внутренней боли, будто ему действительно врезали ногой по мужскому достоинству...

Не произнеся больше ни слова, он покинул казарму.

Проведение войскового круга было назначено на пятнадцатое июня в станице Гродеково.

Калмыков недоумевал: как же его могли предать самые близкие люди? Эпов, Савицкий... Ему даже в голову не приходило, что эти люди и не думали предавать его — они как были верны своему атаману, так верны и остались, но обстоятельства, в которые они угодили, были сильнее их.

Иногда атаман принимал решение без всякого согласования с правительством — ведь расстояние между Хабаровском и Владивостоком около тысячи километров, много не насогласовываешься, — и это приводило часто к недовольству. Как понял Савицкий, не только в войсках, но и в станицах.

Члены правительства, собравшись в кабинете Савицкого, высказывали ему в лицо все, что по этому поводу думают.

Савицкий расстроился и послал телеграмму атаману — ему казалось, что атаман не понимает опасности этой вилки. Она может привести войска к развалу.

Авторитет атамана падал, еще немного — и вообще шлепнется на землю.

Надо было принимать решительные меры. Калмыков привычно почесал затылок, словно бы эта нехитрая процедура приводила мозги в действие.

Неприятные вести пришли и с запада: колчаковские войска не могли сломить сопротивление Красной Армии и побежали с фронта... В Сибирь. Еще два-три дня — и пресловутый Уральский фронт перестанет существовать.

Давний покровитель и шеф Калмыкова Семенов, считавшийся не только главой забайкальских казаков, но и походным атаманом всех Дальневосточных казачьих войск вновь выступил против Колчака, — ну, не любил он адмирала, и все тут! — Григорий Михайлович никак не мог смириться с тем, что Александр Васильевич, а не он, является верховным правителем России...

Дело дошло даже до того, что Деникин прислал с юга России телеграмму Семенову, в которой обвинил забайкальского атамана ни много ни мало, как в измене Родине.

Партизаны беспокоили Калмыкова все чаще и чаще. Он зло сжимал кулаки:

— Ну, червяки красные, погодите!

Калмыков понимал, что против партизан нужна общевойсковая операция — походами в тайгу немногочисленных карательных колонн не обойтись, — на партизан надо накидывать широкую и частую сеть. Атамана натянул на себя парадный мундир и поехал в штаб к японцам.

Месяц май в Хабаровске всегда был жарким, с высоким слепящим небом: без единого облачка, с легким ветром, приносившимся из амурских далей; женщины преображались, делались красивыми, наряжались в яркие платья, мужчины тоже преображались, становились похожими на влюбленных фазанов.

Кстати, фазанья охота под Хабаровском считалась в мае роскошной, фазаны сами прыгали в ягдташи, садились на стволы ружей и пробовали склевывать мушку... Похлебку из фазана атаман очень любил — Гриня Куренев готовил ее знатно...

Плунуть бы на все, забыть про войну и союзников, про баламутов-казаков и дым горящих деревень, подхватить бы «зауэр» и махнуть в сопки за фазанами. Атаман жалобно сморщился, дернул одним плечом, словно бы хотел от чего-то освободиться, и вновь застыл на сиденьи автомобиля, который вез его в японский штаб, приняв чинную и важную позу.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Японцы поняли атамана с полуслова:

— Вы правы, господина Калмыков-сан, надо провести большую операцию против партизан, — сказал атаману переводчик — тщедушный пехотный лейтенант из штаба разведотдела.

— Только надо успеть провести до пятнадцатого июня, до войскового круга, — поторопился заметить атаман.

Лейтенант понимающе вздернул крохотные бровки, прилипшие словно две мухи к железной оправе очков. Что такое «войсковой круг», он не знал. Жалко, не было в штабе старого друга подполковника Сакабе — тому ничего не надо было объяснять. Несмотря на свой неприступный высокомерный вид — Сакабе все понимал с полуслова. Наверное, он уже стар полковником...

Как и начальник японского штаба — маленький, похожий на нарядного паучка полковник, сидевший рядом с переводчиком: он быстро сообразил, что такое войсковой круг, что-то сказал на ухо лейтенанту.

Договорились провести совместную операцию против партизан в районе Кии и Хора — двух таежных рек, где партизан было очень много, и это обстоятельство основательно беспокоило японцев, как и Калмыкова, — в Полетинской и Кшинской волостях.

— Сегодня ночью мы арестуем членов Хабаровского подпольного комитета большевиков, — важно проговорил маленький полковник, — подпольщики нам больше не будут мешать.

— Это хорошо, — обрадовался Калмыков, — а то по городу ночью не пройти — стреляют.

— Больше стрелять не будут, — маленький полковник сделался еще более важным.

Следующей ночью в Хабаровске действительно не раздалось ни одного выстрела.

Совместный русско-японский отряд выступил из Хабаровска двадцать девятого мая, вернулся в город девятого июня.

Партизаны были разбиты, остатки их ушли глубоко в тайгу, растворились там. Операция эта получила название Хорско-Кшинской и, естественно, добавила веса атаману, а то уж он совсем облегчал, растерял авторитет.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Калмыков сиял — дорого яичко к Христову дню, — и, уверенный в дальнейшем своем успехе, в тот же день разослал телеграммы по станциям и воинским частям. Текст телеграмм был коротким — он сообщал, что снимает с себя полномочия войскового атамана.

Из Владивостока Калмыкова к прямому проводу вызвал Савицкий.

«Как же так, Иван Павлович, — отбил он по аппарату Бодо растерянно, — вы не должны снимать с себя полномочия атамана».

«Что я должен делать, а чего не должен — знаю только я», — заносчиво ответил Калмыков.

«И все-таки, Иван Павлович...» — узкая бумажная лента униженно прогнулась перед Калмыковым.

Атаман высокомерно выпрямился, приказал телефонисту:

— Стучи следующий текст...

Телеграфист готовно поднял голову.

— Слушаю.

— «Говорить нам больше не о чем».

Поколебавшись несколько мгновений, телеграфист отстучал текст и дал отбой связи.

Калмыков знал, что делал. Если по поводу себя, любимого, он предпринял ряд шагов: по станции прокатились его посланцы, постаравшиеся напоить людей ханкой, а заодно внушить что лучшего атамана, чем Калмыков, уссурийским казакам не найти; по поводу же правительства даже пальцем не шевельнул, чтобы защитить его. Словно бы войсковое правительство существовало само по себе, а Калмыков сам по себе...

— Посмотрим, как вы без меня обойдетесь.

Тем временем до Хабаровска начали доходить сведения, что народ в станицах собирается на сходки; сходки эти в основном поддерживали Калмыкова — недаром он рассылал своих посланцев, — другого человека на атаманском месте станичники не видят. Даже имя полковника Февралева, нового соперника атамана, очень популярного среди казаков, не выдерживало конкуренции.

Были, конечно, и противники, но их насчитывалось много меньше сторонников.

Новости были хорошие, атаман довольно потирал руки. Все развивалось по плану, как надо.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Узнал Калмыков в эти дни фамилию еще одного своего соперника, это был профессор Мандрин, и осуждающе покачал головой.

— Скоро мы дворников будем двигать в атаманы. Пхих! — развеселился он. — Докатились уссурийцы!

Что-то холодное, колющее зашевелилось у Калмыкова внутри, сделалось тревожно: узнай Калмыков об этом Мандрине еще неделю назад — удавил бы где-нибудь в темном проулке, а сейчас нельзя, поздно, — смерть профессора может всю бочку меда испортить.

Калмыков привычно стукнул кулаком по столу: если уж он сумел одолеть такое большое норовистое животное, как казаки в уссурийских станицах, то войсковое правительством тем более сумеет одолеть, как бы оно ни ершилось...

Войсковой круг, — по счету седьмой, — открылся семнадцатого июня 1919 года.

На повестке дня стол один вопрос, главный: разбор заявления атамана Калмыкова об отставке.

Но прежде чем этот вопрос был принят, на трибуну поднялся советник войскового правительства Понявкин и призывно махнул листом бумаги, зажатым в руке.

Это было постановление правительства номер 99 о сложении собственных полномочий.

В зале повисла тишина. Вопрос об отставке атамана разбирался в станицах детально, и делегаты приехали в Гродеково с наказом поддержать Маленького Ваньку, а вот насчет правительства речи на сходах не было.

Назревал кризис.

Через полчаса делегатам круга сообщили, что члены войскового правительства, прибывшие в Гродеково, разместились по квартирам тайно, а сам Маленький Ванька подогнал к Гродеково бронепоезд с усиленным отрядом — подстраховался на тот случай, если заседания круга пойдут по неожиданному сценарию.

И друзья Калмыкова и его недруги отметили с удивлением одно — никто из японцев не явился поддержать атамана, ни одного «анаты» не было в зале... А раньше они ходили за атаманом толпами, готовы были даже носить его шапку.

То ли атаман сам понял что-то и сделал вывод, что не годится быть хвостом у подданных микадо — позорно это, бьет по авторитету русского человека, то ли японцы, люди неглупые, сами смекнули, что с Калмыковым ныне лучше не вожжаться...

Войсковой круг принял единственное верное решение — не принимать отставку ни у атамана, ни у войскового правительства, и ту и другую стороны оставить при своих интересах.

Правда, несколько казаков дружно, едва ли не в один голос, заявили: «Давайте-ка мы, братцы, прервем нашу толкотню на несколько дней, разъедемся по своим станицам, чтобы потолковать там... Узнаем точку зрения станичников и с их наказами вернемся в Гродеково. Тогда уж и примем окончательное решение по поводу войскового правительства и по поводу атамана».

Но тут в дело вмешались офицеры, прибывшие в Гродеково вместе с Калмыковым, — они вообще отчаянно агитировали за Маленького Ваньку и чуть что — выхватывали из ножен шашки и щелкали курками револьверов. Поскольку их было много, то атамановы недоброжелатели от них отступили — боялись с этим бешеным народом связываться — пальнет какой-нибудь дурак из пистолета — ни один хирург потом дырку не сумеет зашить.

Кандидатуру ученого человека профессора Мандрина завалили быстро, другие кандидатуры поддержаны не были, поэтому в силе осталось прежнее решение — отставку Калмыкова не принимать.

Новым начальником штаба избрали войскового старшину Архипова.

Резиденцией войскового правительства остался Владивосток, резиденцией атамана — Хабаровск.

Когда на заседании круга был поднят вопрос об отправке уссурийского отряда на запад, Калмыков очень умело погасил его:

— Какой может быть сейчас фронт на западе? Для нас сейчас главное — держать фронт здесь, — он обвел светлыми глазами зал. — У нас в Хабаровске партизаны уже под крыльцами домов сидят и их оттуда надо выковыривать — это раз, и два — у меня на посылку отряда на запад наложен строжайший запрет походного атамана дальневосточных казачьих войск... — Понятно? — Несколько минут Калмыков, грозно шевеля усами, вглядывался в зал.

БУРСАК В СЕДЛЕ

Зал молчал. Атаман тоже молчал. Взаимодействие было найдено. Следовало жить дальше.

Вечером Калмыков велел Грине Куреневу истопить баню и приготовить ужин на двоих.

— На двоих, — атаман специально подчеркнул это и поднял указательный палец.

— Неужели, Иван Павлыч, дама какая-нибудь будет? — обрадованно воскликнул Гриня.

— Не будет, — отрицательно качнул головой атаман. — Мы с тобой вдвоем посидим. Я напиток хочу, тяжесть засевшую в душе размягчить. А у этого дела свидетелей, Гриня, быть не должно.

Улыбка на лице ординарца угасла.

— Что вы, Иван Павлыч, все один да дин? Пора бы и на прекрасных дамочек обратить внимание. Совсем нет у вас личной жизни, — с укоризной в голосе сказал он.

Калмыков помрачнел.

— Это дело такое, Гриня, — сказал он — если не повезет, так не повезет долго.

— Ах, Иван Павлыч, — не соглашаясь с атаманом, Гриня отрицательно помотал головой.

Калмыков сжал кулаки и долгое время сидел молча. Гриня что-то говорил, роптал, суетился, рассказывал о новостях, поступивших из родной станицы, но атаман не слышал его.

Последнее время он вообще стал мало общаться с людьми, друзей не имел, везде видел измену, замыкался, и если замечал, что кто-то старается приблизиться к нему, угодить в мелочах, отшатывался от такого человека и тряс чубом:

— Не люблю подхалимов!

Гриня натопил баню так, что она начала трещать по-дедовски, пыхать жаром; сквозь маленькое мутное оконце едва проникал свет, а черное мрачное помещение бани пахло гарью и сухими березовыми вениками. Калмыков повеселел. Впрочем, смена настроения — это штука временная, буквально через несколько минут атаман может вновь запечалиться.

После бани, когда Калмыков сидел в кальсонах и вожаделенно пил холодную воду, разбавленную «клопомором», и выплевывал на пол

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

маленькие, разбухшие ягоды, из штаба примчался посыльный, привез пакет.

— Из Читы, — доложил он. — Прошу, господин атаман!

На пакете красовались четыре сургучные печати, сцепленные между собой пеньковой бечевкой; вид у печатей был внушительный, будто пакет прибыл не из Читы, а из Петрограда или из Москвы, от государя.

Это было письмо от атамана Семенова.

«К тебе через пару дней явится оренбургский атаман Дутов, он ныне занимает должность походного атамана, одновременно — инспектора кавалерии Русской армии, — в общем, большой человек. Но ты, Иван, на чины его не обращай внимания, у него — свои интересы, у нас с тобою — свои. Дутов будет петь разные песни, нужные ему и Колчаку, требовать людей для укрепления Западного фронта, обвинять нас в сепаратизме (слово это на голодное брюхо не выговоришь) и прочая, и прочая. Дутова не слушай и не верь ему. Человек он для нас, повторяю, чужой.

Наша цель — создание своего государства, Бурят-Монгольского. Это подходит для нашего с тобою уклада жизни, для всех казаков. И мы это государство создадим. Скоро я провозглашу полную независимость Дальнего Востока. Деньги у меня есть — 30 миллионов йен. Так что, Иван, будем мы жить в своей собственной республике. Без всяких красных, без Колчака, без большевиков. Цвет нашего знамени будет желтый — это цвет спелого снега и солнца. А Дутову, когда он будет просить, чтобы ты обеспечил своими людьми его фронт, ни одного человека не давай. Понял, Иван Павлович? Держись!»

Дутов произвел на Калмыкова самое благоприятное впечатление — обходительный, мягкий с округлыми, какими-то бабьими движениями, живыми темными глазами и добрым лицом.

Говорил генерал-инспектор кавалерии негромко, вначале выслушав собеседника, потом уже сам произносил речи, — такой уважительный был, Калмыкова обласкал комплиментами, восхитился его спартанским бытом: это надо же — атаман целого казачьего войска, а не брезгует ночевать в одной комнате с деньщиком.

Другие атаманы, — например, читинский Семенов, — погрязли в роскоши, требуют подавать им чай в золотых подстаканниках, а Калмыков

БҮРСАК В СЕДЛЕ

нет, — Калмыков может пить чай вообще без подстаканника, обжигая себе губы и пальцы о горячее стекло, либо с подстаканником, скрученным из обычной проволоки. Вот это человек! Полное лицо генерала-инспектора кавалерии расплывалось в понимающей улыбке: такие люди, как Калмыков, ему нравились, — только благодаря им можно победить в этой страшной катастрофе, в которую попала Россия, — в гражданской войне.

Калмыков вспылал ответным теплом к почетному гостю: время от времени в его маленькой, словно бы усохшей голове возникали мысли о том, что, в конце концов, свет на атамане Семенове клином не сошелся, есть и другие атаманы, не менее головастые, чем Григорий Михайлович, можно уйти и под их крыло... О том, что это будет предательство, Калмыков не думал.

В обстановке, когда отец целится из винтовки в любимого сына, а внук добывает шашкой деда, певшего ему в детстве песни и угощавшего медом, слово «предательство» просто стерлось, перестало существовать, ибо каждый человек, взявшийся за оружие в гражданской войне, — неважно, на какой стороне он находится, — предатель. Поэтому Калмыков думал об этом меньше всего.

Чужой он человек на Дальнем Востоке, — впрочем, как генерал-инспектор кавалерии Дутов, — любой его может попрекнуть нездешним происхождением.

Когда Дутов вернулся в Омск, то, будучи натурой творческой, балующейся пером, подвел некоторые итоги в статье — большая статья эта была опубликована в газете «Русь». «Не буду говорить о тех впечатлениях, которые произвели на меня Дальневосточные казачьи войска. Впечатления, как и следовало ожидать, самые отличные, — написал он. — Везде идет большая организационная работа. Везде казачество готово нести на алтарь возрождающейся родины все, что имеет. Словом, в дальневосточных войсках происходит приблизительно тоже, что вы имели возможность наблюдать здесь, в Омске, на круге Сибирского казачьего войска».

Далее в своей статье генерал-инспектор кавалерии перешел к персоналиям.

«Я хотел бы сказать несколько слов об атамане Калмыкове. Обидно, что против этого атамана ведутся интриги и его имя муссируется. Мое

личное впечатление — Калмыков человек очень достойный, честный русский патриот и хороший русский офицер...» Вот такую характеристику дал Калмыкову Дутов.

И далее. «Атаман Калмыков чрезвычайно скромен в своей личной жизни. Он живет в одной комнатке со своим ординарцем. У него нет личных средств. Он не вмешивается в городские и земские дела. И вся его энергия направлена на борьбу с большевиками. Его отряд прекрасен по дисциплине и боевой подготовке. Атаман до сих пор не признан нашим правительством и это, конечно, не может не отразиться на жизни края».

Ну, насчет личной скромности и невмешательства в дела города Хабаровска Александр Ильич, пожалуй, не все понял и не все увидел — взор его был обращен в другую сторону, да и слишком отвлекался генерал-инспектор во время поездки, слишком уж отвлекался...

Ни одна городская муха не пролетала не замеченной мимо Калмыкова — атаман обязательно засекал ее и провожал внимательным взглядом. А уж если на голову мухи этой был натянута какой-нибудь политический котелок, то Калмыков старался обязательно узнать, где эта муха приземлится и, главное, с кем вступит в контакт.

Просмотрел генерал-инспектор кое-какие черточки в характере инспектируемого атамана, ошибся в оценках. Но Бог ему судья, и Бог судья Ивану Павловичу Калмыкову. И того и другого уже давным-давно нет в живых.

Несколько по-иному оценил Дутов свое общение с Семеновым, более того, кое о чем он просто предпочел промолчать. «Должен сказать, что это впечатление очень сложное, и я еще не успел во многом разобраться, — написал он в некотором раздумье и тут же поспешил перейти на язык комплиментов. — Войска атамана производят прекрасное впечатление. Обращает на себя внимание и то, что железная дорога в полосе заведования атамана Семенова работает, пожалуй, лучше, чем где-либо по всей линии между Омском и Владивостоком. Этого атаман достиг тем, что проявил должную заботливость к нуждам железнодорожных рабочих, которые получают натурой все продовольствие».

А вообще Дутов уехал ни с чем. Адмирал Колчак, поразмышляв немного над дальневосточными перипетиями и поведением атаманов,

БҮРСАК В СЕДЛЕ

подчинил Дутову все войска, находившиеся в Никольске-Уссурийском, Гродеково, Хабаровске, а также в зоне КВЖД, — произошло это шестого июля. Дутов под приказом расписался с готовностью, поскольку предварительный разговор с адмиралом у него был, и вызвал к себе Калмыкова.

— Иван Павлович, — сказал он, — я назначаю вас начальником Хабаровского гарнизона и своим заместителем по командованию всеми силами района. Распишитесь вот здесь, — он протянул атаману штабную бумагу с прыгавшим машинописным текстом, ткнул в нее пальцем: — Вот здесь!

Для Калмыкова это назначение не было повышением, скорее, наоборот, и он спросил:

— А с чем это, собственно, связано?

— С активизацией партизанских банд на Дальнем Востоке, — неожиданно ответил Дутов, — с этой публикой надо бороться решительно и беспощадно.

Ответ Калмыкова удовлетворил. Более того, в «продолжение темы», как принято говорить в таких случаях, он издал свой собственный приказ, в котором велел всем казакам, способным носить оружие, явиться в пункты станичной охраны, созданные повсеместно, в каждой обжитой точке Дальнего Востока, и отметить в специальном журнале. Это было похоже на всеобщую и полную мобилизацию.

Калмыков стал готовиться к очередному этапу борьбы с партизанами. Делал это основательно, как запорожский кошевой перед походом на турецкого султана, чтобы никаких промашек не было.

Сведения о готовящемся походе поступили к партизанскому командиру Шевченко — приготовления были масштабными, не заметить их было нельзя.

Бывший вахмистр постарел, осунулся, глаза у него потухли, словно он был чем-то болен.

Поглядев на стаю ворон, вившихся над недалекой рекой, Шевченко покачал головой: никогда такого не было, чтобы вороны не боялись воды — всегда опасались ее, всегда с истошными криками шарахались в сторону, а тут бесстрашно пикируют прямо в свинцовую рябь, выплывают что-то из воды...

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Шевченко понял — расклевывают глушеную рыбу, дерут ее на куски, питаются на дармовщинку, словно в столовой Красного Креста, и есть рыбу они будут долго, не успокоятся, пока не добьют, или пока стая зубаток не перехватает всех за скрюченные серые лапки, не утащит в холодную глубину.

— Огойдем-ка в сторонку, — сказал Шевченко, одной рукой обнял за плечи Антона, другой — Аню Помазкову, увлек на зеленую, поросшую шелковистым волосцом каменный выступ, — посидим-ка...

Первым, кряхтя, старчески поскрипывал костями, опустился на выступ, словно бы специально излаженный для душевных бесед. Рядом сел Антон, с наслаждением вытянул гудевшие ноги — он только что вернулся из разведки; по другую сторону от командира примостилась Аня.

Шевченко огляделся:

— Хорошо-то как, — молвил он добродушно, — погодка такая, что только на Амуре либо Уссури сидеть, сетку в воду закидывать, рыбеху на уху ловить, ах-ха, — Шевченко потянулся. Ловцом он был заядлым, партизаны это знали.

Неподалеку на пенек вскочил маленький полосатый зверек — бурунук, покосился на людей умными темными глазенками, цокнул призывно.

Шевченко одобрительно хмыкнул и, сдвинув маузер на живот, залез в боковой карман казачьего френча, сшитого на английский манер, с крупными накладными карманами на боку и на груди, достал оттуда полдюжину кедровых орешков, кинул бурундуку.

Тот запрыгал, обрадованно зацокал, боком, как-то по-вороньи, подгребся к орехам, ухватил один и, зажав двумя лапками, ловко расколол его. Потом короткими цепким движением подхватил второй орех. Командир партизанского отряда рассмеялся:

— Во, циркач!

Аня рассмеялась следом. Товарищ Антон на происходящее никак не среагировал — сердито поглядывал вдаль, морщился, думая о чем-то своем, неприятном. Шевченко подкинул бурундуку еще орехов:

— Щелкай!

Тот радостно принялся за работу — только костяная шелуха полетела в разные стороны. Шевченко похвалил зверька:

БУРСАК В СЕДЛЕ

— Деловой парень! — Сдвинул маузер на старое место, прикрыл им карман. — Я вот о чем хотел поговорить с вами, товарищи...

— Об атамане Калмыкове, — предположила Аня.

— Верно. Об атамане Калмыкове, который с большим войском направляется, чтобы уничтожить нас. В операции будут участвовать не только казаки, но и пехота и артиллерия. Иностранцы тоже решили малость размяться, японцы и французы. В общем, собираются накинуть на нас частую сетку на большой территории. — Шевченко ухватил пальцами валявшуюся под ногами ветку, нарисовал на песчаной плешине круг. — Если мы уберем Маленького Ваньку, никакой операции не будет. Товарищей своих от беды уберем.

Шевченко замолчал.

— Понятно, Гавриил Матвеевич. — Ожил, зашевелился товарищ Антон. — Только атаман — рыба очень хитрая. Сколько мы ни метали невод — ни разу не попался, все время дырку находил.

— Надо сделать так, чтобы в этот раз не нашел, — назидательно произнес Шевченко, — иначе потери будут ни с чем не сравнимы.

— Будем искать, — проговорил Антон напористо, добавил, рубанув рукой воздух. — И найдем. Будьте уверены!

— Вот это дело! — похвалил Шевченко командира разведывательной группы, повернулся к Ане: — Как, Анечка, ты готова?

— Готова, Гавриил Матвеевич. С Калмыковым у меня свои счеты.

— Я знаю, — Шевченко оперся ладонями о колени. Поднялся. — Готовь группу прикрытия, Антон. Пора действовать.

Группа прикрытия состояла из пяти человек. Знакомый нам уже дядька Енисей — старый охотник, похожий на городского лихача-извозчика с окладистой разбойной бородой и пронзительными полуприщуренными глазами; родной брат боевика Семена, погибшего год с лишним назад в Хабаровске, — Лев, человек молодой, романтичный, с прыщавым лицом и плотно сжатым тонкогубым ртом, и трое молодых людей, державшихся вместе, пришедших в отряд издалека с призейских сопок. Сидор Юрченко, Исачкин, который отзывался только на фамилию, на имя не отзывался, словно бы его у него и не было, парень малоразговорчивый, работающий и сильный, и Максим Крединцер — неунывающий, всегда бывший в собранном состоянии, будто пружина, с

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

доброжелательной улыбкой на худощавом лице — потомок запорожских казаков-переселенцев. Максим был заводилой в этой тройке, ребята подчинялись ему беспрекословно.

Перед отправкой Шевченко специально собрал пятерку прикрытия, выстроил на лесной тропе. Прошелся вдоль строя. Следом за ним, не отставая ни на шаг, двигался, словно привязанный, Антон — неприметный, крепко сбитый, с тяжелыми серьезными глазами.

В отряде лишь недавно узнали, что в семье у Антона два года назад случилась беда — все погибли в спаленном доме. С тех пор Антон куковал в этой жизни один, ни на кого не рассчитывал, только на себя, и если он погибнет, то на этом род Антона и закончится.

Антон был наряжен в штатский кургузый пиджачишко, на боку у него висел американский «кольт» в желтой кожаной кобуре, ремень был перехвачен через плечо узкой японской портупеей.

Остановившись перед Максимом Крединцером, Шевченко тронул его за пуговицу, пришитую черными нитками к выгоревшей белесой ткани рабочей куртки — материал был прочный; в тайге выдерживала только крепкая материя, так называемая чертова кожа.

— Ну, как настроение, Максим?

— Отличное настроение, товарищ командир!

— Как, говоришь, называется село, из которого прибыла ваша тройца?

— Деревня Новоивановка.

— А почему «Ново», почему не просто «Ивановка»?

— Деревня с таким названием уже есть на Зее, товарищ командир, поэтому отцы наши и назвали ее Новоивановкой.

— Объяснение принято, — Шевченко перешел к следующему новоивановцу — рядом с Крединцером стоял Юрченко.

— Ну что, Сидор, к выполнению боевого задания готов?

— Так точно!

— А ты, товарищ? — Шевченко переместился к Исачкину.

Тот в ответ промолчал. Шевченко, сдвинув фуражку на нос, поскреб пальцем затылок и рассмеялся.

— Извини, я и забыл, что ты отрываешься, лишь когда прозвучит твоя фамилия... Ну как, товарищ Исачкин, готов идти в Хабаровск?

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Готов, — глухо, в себя, проговорил Исачкин.

— И задание боевое, революционное, выполнить готов?

— Готов, — прежним глухим, совершенно лишенным выражения голосом, проговорил Исачкин.

Бесхитростный разговор этот Шевченко затеял специально; в разговоре важны были не слова, даже не смысл их, а интонация, некие мелкие движения голоса, извинения, из которых можно было понять, как чувствует себя человек. Если бы голос подрагивал, менялся, выдавал смятенное состояние души, Шевченко тут же отстранил бы этого человека от задания произвел бы замену, но никто из ребят не тушевался, голоса у всех были спокойные, и Шевченко группой прикрытия остался доволен.

— Мужики, — проговорил он негромко, — вы идете на задание трудное и опасное, скрывать не буду. Но если вам удастся выполнить его, вы спасете жизни многим нашим товарищам. Маленького Ваньку надо убрать во что бы то ни стало. Шевченко покашлял в кулак, вновь прошелся вдоль строя. — Командиром группы прикрытия будет дядька Енисей, — он ткнул пальцем в старого бородатого охотника, — слушаться его приказываю, как тятюку с мамкой, вместе взятых; общее руководство будет осуществлять товарищ Антон, — он повернулся в плотному, невысокому Антону, перетянутому ремнями, — человек опытный, хорошо знающий врага и его повадки. Вот и все, — Шевченко остановился, вздохнул и развел руки в стороны. — Партизанская бригада будет ждать вашего возвращения.

Через час группа товарища Антона покинула лагерь.

Максим Крединцер шагал в группе первым, обходил хламные, забитые таежным мусором места, где можно было поломать ноги, легко перешагивал через ручей, опираясь на длинную суковатую палку, словно цирковой прыгун на шест, на ходу прислушивался к пению птиц, к шорохам зверей, хрюканью кабана, раздававшемуся совсем рядом. Иногда деревья поднимались очень высоко, разгораживали небо и тогда делалось совсем сумеречно, хоть керосиновый фонарь зажигай. Крединцер сбрасывал ход шел тихо, аккуратно, берег ноги людей, двигавшихся следом.

Темные места в тайге всегда таили что-нибудь недоброе, обязательно преподносили сюрпризы: то змея вдруг вырুলивала из-за плоской

волосатой кочки, то из темноты прорезались два жарких злых огня — возникал волк; впрочем, понимая, что против человека все в этой тайге бессильно, волк немедленно исчезал, то вдруг впереди мелькала грузная фигура хозяина тайги — медведя — и тогда Максим совал руку в карман рабочей куртки, где у него находился револьвер.

Уже несколько месяцев прошло с той поры, как он с Сидором Юрченко и Исачкиным покинул Новоивановку и отправился на восток, к партизанам. Часть пути они проделали пешком. Сберегая дорогую обувь, шли босиком; часть проехали на грузовом поезде. Но двигаться по железной дороге было опасно, могли загрести патрули. Поэтому перед большими станциями спрыгивали с поездов и углублялись в тайгу. Две недели, без полутора дней, им понадобилось на то, чтобы добраться до батьки Шевченко.

И добрались. Поставили перед собой цель — добраться и достигли ее. Батька встретил их сердечно, Крединцер передал Гавриилу Матвеевичу записку от однополчанина-благовещенца. И Шевченко, прочитав ее, покивал приветливо; письмо было ему приятно. Да и вообще весточку от однополчанина всегда бывает приятно получать. Аккуратно сложив записку и сунув ее в нагрудный карман, Шевченко решительно махнул рукой:

— Становитесь в строй, ребята!

Так Крединцер, Исачкин и Юрченко стали бойцами партизанской бригады. В крупных боях, правда, бывать еще не приходилось, но в мелких стычках уже участвовали. И не раз.

Юрченко уже дважды предлагал Максиму сменить его и пойти первым, но Максим упрямо от него отмахивался — погоди, мол, я еще не устал, и упрямо врубался в заросли, крушил их, продвигался вперед...

На перевале Крединцер неожиданно повесил голову: вспоминалась Новоивановка, уютная их деревня, вольно расположившаяся около говорливой Джалунки — чистой говорливой речки, защищенной от ветров сопками и тайгой, любимая девушка — полька Вися — легконогая, стройная, голосистая, глазастая; путая польские и русские слова (как и сам Крединцер путал украинские, белорусские и русские слова, иногда они у него склеивались в один комок), обещала Максиму «почекать з вуйны» — подождать с войны, и Максим Висе верил: Вися дождетса его.

Тем временем Максим толкнул Юрченко:

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Слышь, Максим, а насчет Новоивановки ты был неправ.

Крединцер устало приподнялся на мятой траве:

— Почему?

— Вначале деды называли нашу деревню Джалункой — по имени речки, а потом, где-то году в девятьсот седьмом приехал какой-то земский пуп — то ли староста, то ли председатель, то ли еще кто-то — пуп, в общем, собрал он мужиков на сход и заявил им: «Вы это... вы с названием деревни определитесь. Джалункой она называться не может». «Это почему же?» — спросили мужики. «Да я так решил, — сказал пуп. — Понятно? И перерешать мое решение никто не имеет права». — «И как же вы, ваше высокоблагородие, предлагаете называть?» — «Да назовите в мою честь по моему имени, и то лучше будет». — «А как вас зовут?» Оказывается, у пупа было хорошее русское имя — Иван, и деревню в его честь назвали Ивановкой. А потом выяснилось, что под Благовещенском уже строится деревня Ивановка, поэтому к названию добавили приставку «Ново», и мы стали Новоивановкой.

Крединцер задумчиво почесал затылок:

— Век живи — век учись!

— Вумный, — насмешливо протянул Юрченко. — Как вутка. Так моя бабуня говорила.

Антон, расположившийся под развесистым кустом лимонника, пружинисто вскочил на ноги, скомандовал:

— Подъем!

Первым на этот раз двинулся Исачкин. Молодой, жилистый, с длинной худой шеей и тяжелыми сильными руками, — руками этими он один раз умудрился задавить волка, — Исачкин легко проламывался сквозь дебри. А волк тот пришел из тайги — пуца-то подступала к самим огородам, и если бы не усилия мужиков, проглотила бы и огороды, — и запрыгнул на крышу хлева.

Дранка на крыше оказалась слабенькой; голодный, соскучившийся по еде волк легко расковырял ее и спрыгнул вниз, в нагретое коровами и двумя телятами тепло.

Коровы завыли дурным голосом и, защищая телят, пару раз отбросили волка рогами в сторону, но серый — молодой, сильный, — не успокаивался, продолжал нападать.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Первый раз рев буренки услышал младший Исачкин, в кальсонах вымахнул во двор, вломился в хлев и столкнулся с волком.

Серый знал, что отступать ему некуда, и кинулся на человека. Но и Исачкин не оробел: перехватил семидесятикилограммового волка на лету и сцепил руки на его шее, придавил зверя к земле, ткнул мордой в пол.

Ничего волк не смог сделать с парнем — подергался, похрипел немного, вывалил из пасти язык и расстался с жизнью. Вся Новоивановка потом удивлялась, как же это Исачкину удалось завалить такого здорового, сильного волка; Исачкин тоже удивлялся, разводил руки в стороны — он и сам не понимал этого.

Так что на вид Исачкин хоть и невелик был — не богатырь, словом, — но силу в мышцах, да в костях имел, — по тайге он шел не хуже Максима Крединцера, очень сноровисто и быстро.

Двое суток отводилось группе прикрытия на переход в Хабаровск (основная группа ушла раньше) и в это время надо было уложиться.

Пока Калмыков находился в городе, пока не встал во главе войска и не отправился в тайгу жечь ни в чем не повинные деревни, его надо было опередить, всадить в лоб свинцовую лепешку...

Тайга пахла прелью, свежими грибами, крапивой, рыбой, лимонником, муравьиной кислотой, еще чем-то острым, выдавливавшим из ноздрей сырость. Группа двигалась не сбавляя темпа, люди словно бы не по земле перемещались, а над землей, по воздуху, легко преодолевали препятствия, завалы и буреломы; изумленная таежная живность провожала ходоков непонимающими взорами, стараясь понять: как же это неуклюжие люди перемещаются над землей, каким образом, что ими управляет?

В Хабаровск группа пришла на три с половиной часа раньше назначенного времени. Пришедших разместили в небольшой, пропахшей мазутом каморке, — бывшей раздевалке передвижной паровозоремонтной бригады; тесно было, конечно, но в тесноте — не в обиде.

В каморку заглянул широкоплечий приземистый путеец в старой, нахлобученной на самый нос старой железнодорожной фуражке; увидев Крединцера, путеец подмигнул ему. Максим на мгновение растерялся — разве он с этим человеком знаком? — не сразу узнал в путейце товарища Антона.

БУРСАК В СЕДЛЕ

Антон в сопровождении местного умельца отправлялся в город на разведку, чтобы поточнее узнать, где сейчас находится Калмыков.

Атаман менял места своего пребывания часто, словно бы чувствовал, что его пытаются подцепить на мушку и продырявить свинцом, причем старался не переезжать с места на место прилюдно, со всем скарбом, в сопровождении большого количества охраны, а делал это незаметно: снимал несколько квартир, и в какой именно квартире он будет ночевать, знали только сам Калмыков, да его верный ординарец, больше никто.

Даже начальник штаба, и тот не знал. Но имелись кое-какие верные приметы, способные указать, где расположится атаман. По тому, в какой дом доставят свежие продукты, а перед этим пришлют пару сноровистых баб-уборщиц, чтобы добела выскоблить помещения, можно было угадать, куда на ночевку явится Калмыков.

Вернулся Антон через два часа, упал на лавку почти бездыханный, стянул с головы форменную фуражку, обмахнул ею горячее лицо.

— Жара в городе, как в плавильной печи, — сказал он.

Дядька Енисей тоже снял с себя картуз и, приблизившись к Антону, активно замахал им над головой.

— Охолонись, рыбка, охолонись, — забормотал он монотонно.

— Чего это за молитва у тебя такая новая? — поинтересовался Антон.

— Присказка. Из детства принес.

Антон приподнялся на лавке, трубно высморкался в большой, с линиями разводами, оставшимися после стирки, платок.

— Есть сведения, что сегодня Калмыков приедет ночевать в особняк, расположенный в квартале от артиллерийских мастерских «Арсенал».

— Точные сведения, Антон? — нахлобучив картуз на голову, спросил дядька Енисей.

— Совершенно точные. Из хозяйственной службы Маленького Ваньки.

— Не то ведь засветимся, выпотрошимся и ляжем понапрасну.

— Это я, дядька Енисей, знаю не хуже тебя. Так что, мужики, давайте готовиться к бою. Ежели живы останемся, то ночью же и уйдем в тайгу. А там нас не догонят и не найдут — кишка для этого у калмыковцев тонка...

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Отдохнуть бы, — жалобно проговорил Юрченко, — все ноги сбиты...
До крови.

— Дельное предложение. Два часа на отдых, остальное — на подготовку.

Каменных особняков в Хабаровске в ту пору было не очень много — в основном только в центре, но строительство их продолжалось даже в войну. Поскольку в тайге водилось золото, а по ветвям кедров бегали «живые деньги» — соболи в искрящейся дорогой одежке, то народ, прибывавший сюда, быстро обогащался и, не желая расставаться со здешней землей, начинал возводить справные дома, чтобы жить «по-человечески». Среди них были и особняки.

Еще шестьдесят лет назад здесь стояла глухая тайга, украшенная двумя зимними избушками, наспех сколоченными охотниками, промышлявшими соболями (соболь тут, конечно, не такой ценный, как на Байкале, в Варгузинской долине, но и недешевый — во всех случаях, дороже золотого песка и чистых, сплошь из желтой тяжелой массы металлических намывов), а сейчас поблескивает окошками целый город.

В шестидесятом году минувшего века сюда пришли солдаты 13-го Восточно-Сибирского батальона, которыми командовал капитан Дьяченко. Солдаты заложили на берегу Амура военный пост.

Через двадцать лет на месте поста уже стоял деревянный город. Потом в деревянном городе начали появляться каменные строения. Калмыков каменные строения любил, это у него осталось еще с Кавказа.

Первый раз вся группа собралась вместе. Пришла и Аня. Крединцер раньше ее не видел и сейчас не отводил глаз от девушки.

— Кто это? — шепотом спросил у него Юрченко.

— Да та самая... Стреляет так, что петуху за пятьдесят метров из маузера вышибает мозги.

— А зачем петуху вышибать мозги? — недоуменно поинтересовался Юрченко. — А чем он будет кукарекать?

— Дур-рак ты! — раздосадовано отозвался Крединцер. — Тебе к доктору надо... Разве такие вопросы задают? Петух, он что, мозгами кукарекает?

— А чем же?

— Еще раз дурак!

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Ладно, не дергайся, — миролюбиво проговорил Юрченко. — Я же тебя не хотел задеть... Красивая девка!

— Красивая, — согласился с земляком Крединцер. — Даже очень.

Антон обвел собравшихся усталыми покрасневшими от напряжения глазами, объявил тихим, ровным голосом:

— Сегодня вечером проводим операцию. Так что готовьтесь, мужики... Все ясно?

— Все! — коротко и громко произнес Крединцер. За всех сказал. Один! Худое загорелое лицо его от внутреннего волнения побледнело, щеки втянулись в подскулья. Взгляд темных блестящих глаз был спокоен.

Антон покосился на него, кивнул одобрительно: боевой запал, сидевший в ребятах, ему нравился.

В тот день Калмыков был занят формированием так называемого Хабаровского местного батальона — надеялся сделать из него некую ударную часть, которая показывала бы партизанам Кузькину мать, наступала бы им на хвост везде, где бы они ни появлялись.

Но партизан становилось все больше и больше, и это очень беспокоило и Калмыкова и атамана Дутова, который застрял на Дальнем Востоке, похоже, надолго, и Ставку, находившуюся в Омске — адмирала Колчака и генерала Лебедева. Партизанское движение на Дальнем Востоке ширилось; не дремали подпольщики, их также становилось больше — каждую ночь в Хабаровске громыхали выстрелы.

Атаман Дутов велел своему заместителю Калмыкову держать в кулаке Хабаровск, а сам помчался в Гродеково, там обстановка складывалась сложнее всего: партизан, среди которых было немало фронтовиков (прежде всего казаков), здорово потеснили регулярные части.

Жестокие бои шли не только под Гродеково, но и под Иманом, под селом Камень-Рыболов, в тайге. По всему Дальнему Востоку полыхал огонь.

Несмотря на то что генерал-лейтенант Дутов назначил Калмыкова своим замом, Омск это назначение не утвердил — просвистел атаман мимо своего нового поста, будто огрызок горького огурца, брошенный пьяницей из окошка в собаку, что-то искавшую на помойке. Впрочем, дальнейшие события помогли, что называется, развести эту ситуацию; должность, которую занимал Дутов, через некоторое время была ликви-

дирована, вместо нее был учрежден пост главного начальника Приамурского края. В кресло это незамедлительно уселся генерал-лейтенант Розанов, командовавший войсками Оренбургского военного округа, а атаман Дутов, наскоро пошвыряв свои вещички в чемодан, отправился в вагоне первого класса на запад, в родные зауральские степи.

Заком у нового главного начальника вместо Калмыкова стал атаман Семенов — в общем, была подведена показательная рокировка. А «шибко большой царь», руководивший КВЖД, генерал-лейтенант Хорват был назначен главноначальствующим над всеми русскими учреждениями, войсками и пограничными отрядами в полосе отчуждения железной дороги. «Шибко большим царем» его звали китайцы, в превеликим уважением рассматривая изображения Дмитрия Леонидовича на бумажных банкнотах — Хорват начал печатать на КВЖД свои собственные деньги, которые выглядели много лучше китайских.

Более того, когда Розанов приехал во Владивосток — это было в августе девятнадцатого года, — прокурор военно-окружного суда генерал Старковский передал ему следственное дело, возбужденное на мещанина Ивана Калмыкова» (так было начертано крупными буквами на папке — «мещанина») по факту «многочисленных уголовных преступлений, совершенных им». Один лишь перечень преступлений в деле занимал целых двадцать страниц.

Прокурор Старковский просил отстранить Калмыкова от должности и отдать его под суд.

Два дня Розанов изучал дело, потом вызвал к себе прокурора и объявил, брезгливо выпятив нижнюю губу:

— Отдавать атамана Калмыкова под суд пока еще рано. Это — потом, потом... после войны.

Говорят, что Калмыков связался с прокурором по прямому проводу и сказал ему:

— Имей в виду, генерал, как только я появлюсь во Владивостоке, так первым же делом повешу тебя на фонарном столбе.

Калмыков показал свой характер, закаляя себя в борьбе с «внутренними врагами» и готовился к будущим решительным схваткам.

Тогда генерал-лейтенант Старковский отправил пухлое уголовное дело в Омск, прокурору главного военного суда. Тот изучил дело и

БҮРСАК В СЕДЛЕ

схватился руками за остатки волос, украшавших темя, — дело атамана Калмыкова тянуло на пожизненную каторгу. Написал свое заключение и передал военному министру Будбергу. Тот перекинул пухлый том делегатам казачьей конференции:

— Пусть познакомятся с художествами этого деятеля! Там есть много чего интересного.

Делегаты конференции зачесались озадаченно — характер Маленького Ваньки они знали хорошо и приняли в конце концов следующее «соломоново» решение: «Ввиду заслуг атамана Калмыкова перед государством делу ход не давать!»

Сколько Старковский ни посылал запросов в Омск, ответа на них не получил. Единственное письмо с ответным адресом пришло к нему в октябре девятнадцатого года. Было оно сухим, невнятным, неграмотным; из него следовало, что «документы уголовного дела на атамана Калмыкова изучаются». Не «мещанина Калмыкова», а «атамана»...

Но вернемся в жаркий июль девятнадцатого года, в город Хабаровск.

Долгими светлыми вечерами в Хабаровске пели птицы, в воздухе трепыхались прозрачные безобидные мошки с роскошными длинными крыльями, пахло цветами, а в городском саду, наводненном калмыковскими патрулями, играли сразу два духовых оркестра.

Антон послушал далекую музыку, печально покачал головой и сказал Ане:

— Тебе бы сейчас, девочка, на мотаню сбегать, пляски посмотреть, самой сплясать, а не заниматься грубым мужским делом, — он указал глазами на пистолет, который та разбирала и смазывала детали оружейным маслом, добывая его из обычного аптечного пузырька.

Масло было надежное, английского производства, у убитого калмыковского интенданта взяли целую фляжку, разделили по наиболее опытным стрелкам.

— Обойдется. — Сухо и как-то отчужденно отозвалась на замечание старшего Аня, быстро собрала пистолет, вытерла его обрезком новенькой «чертовой кожи». Среди этого материала иногда попадались куски, фактурой своей ничем не отличавшиеся от замши. Вскинула пистолет один раз, второй, проверяя его на ловкость, и доложила Антону: — Я готова!

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— А винтовочка как же, товарищ Аня? — напомнил Антон об оружии более грозном, чем пистолет.

— Винтовочка тоже готова к стрельбе, товарищ Антон. Вычищена и смазана.

— Молодец! — в глухом голосе Антона возникли уважительные нотки. Антон поймал себя на этом, недовольно помял пальцами кадык. — Жаль только, ночью из винтовок не постреляешь.

Аня промолчала. Старший вытащил из кармана луковицу часов, тихо щелкнул крышкой. Пошевелил губами, что-то прикидывая про себя. Произнес спокойно, ни к кому не обращаясь:

— Через сорок минут выдвигаемся.

В сумерках улочку, где находился каменный особняк, в котором должен был ночевать атаман, прочесали два конных наряда, ничего не нашли. Один конный наряд, перейдя на рысь, ускакал, второй наряд остался.

Похоже было, что атаман Калмыков вот-вот явится.

Аня Помазкова, нарумяненная, прифранченная, сидела в коляске с крутыми пластинчатыми рессорами и дутыми резиновыми шинами. Рядом с ней, изображая жениха, разместился Антон в новом костюм-тройке с веточкой роскошной черемухи в нагрудном кармане пиджака. Запах от белых гроздей шел дурманящий, вкусный, нежный; на облучке, картинно подбоченясь и распустив черную цыганскую бороду, сидел дядька Енисей, поигрывал кнутом. Антон вглядывался в сумерки, цеплялся глазами за одинокую мужскую фигурку, стоявшую в конце улицы между домами, — там дежурил Исачкин.

Антон ждал от него отмашку: как только Исачкин увидит машину с атаманом, сразу же подаст знак.

— Запаздывает что-то Маленький Ванька, — недовольно пробурчал дядька Енисей, ухмыльнулся неволью: — Совсем от рук отбился, разбойник!

— Никуда он от нас не денется, — спокойно проговорил Антон.

— Тьфу, тьфу, тьфу! — дядька Енисей сплюнул через левое плечо. — Бестия хитрая увертливая, сколько мы его ни брали в клещи, так ни разу он и не попался. Без рукавиц не возьмешь — ускользнет.

— В конце концов свое он все равно получит, — убежденно произнес Антон.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Неподалеку во дворе стояла еще одна коляска-пролетка. В пролетке сидел принаряженный Максим Крединцер, в вожжи крепко вцепился пальцами Сидор Юрченко.

Максим приподнялся на сиденьи, стараясь заглянуть за забор, увидеть стоявшего на стреме Исачкина, но у него ничего не получалось, и он спросил недовольным тоном у Юрченко:

— Ты видишь чего-нибудь? Видишь?

Юрченко промолчал — был не в настроении, вглядывался в разреженную темноту вечера и так же, как и Исачкин, ничего не видел и нервничал, его руки, сжимавшие вожжи, подрагивали.

Самым спокойным их всех участников нападения были Аня и Антон; им это дело было привычное.

Наконец Исачкин вздернул над головой руку, махнул, Антон недовольно поморщился: слишком уж показным был сигнал — не только опытный человек, даже уличный кот может догадаться, что это означает, — подал команду:

— Приготовиться!

Дядька Енисей натянул поглубже на уши котелок, молвил хрипло:

— Что ж, приготовиться, так приготовиться...

Неожиданно в конце улицы, где стоял Исачкин, хлопнул выстрел, ударил из карабина. Выстрел из карабина всегда можно отличить от любого другого, он бывает резким, глухим, как удар кожаного бича, к концу которого привязана свинцовая гайка, о металлическую бочку. За первым выстрелом громыхнул второй, потом третий — все выстрелы были сделаны из карабина.

Исачкин шарахнулся в сторону, взмахнул нелепо руками — это был совсем иной взмах, отличимый от сигнала и, надломившись резко, будто перерубленный стебель, свалился на тротуар.

Антон хлопнул дядьку Енисея ладонью по спине:

— Вперед!

Дядька хлестнул коней бичом, те захрипели, беря с места в галоп, — пара лошадей была сильная, могла потянуть даже паровоз, — Антон выдернул из кармана револьвер, лихо крутанул его по пальцам, потом выдернул второй револьвер.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Пролетка понеслась по каменной улице, подпрыгивая на неровностях. Аня достала из сумочки оружие. Дядька Енисей, закусив зубами кусок черной бороды, снова хлобыстнул коней бичом.

— Йе-ехе!

К лежавшему на тротуаре Исачкину подъехали два всадника. Один из них держал на весу карабин, целя поверженному парню в лоб. Вскрикнул, громко спрашивая у напарника:

— Ну что, жив?

— Не-а! Разве после твоей стрельбы можно остаться в живых?

— Это верно, — довольно проговорил стрелок.

Пролетка продолжала мчаться по улице

Из бокового двора одного из домов — деревянной, срубленной из старых лиственничных бревен пятистенки, — вылетела еще одна пролетка — лихая, легкая стремительная. Парень, сидевший в ней, привстал и, когда увидел, что казак-стрелок направил на него ствол карабина, пальнул из пистолета.

Казак охнул, выронил карабин и повалился на шею коня. Конь горько заржал, заплясал на одном месте — понял, что с хозяином стряслась беда.

Максим Крединер выстрелил еще раз — во второго казака, судорожно пытавшегося сдернуть с плеча карабин, но пальцы у того неожиданно одеревенели, сделались чужими: то ли страх подмял человека, то ли еще что-то. По лицу его обильно тек пот, он держал оружие за ремень, дергал, а карабин все не поддавался, словно бы прирос к плечу; казак взвыл от досады, пошатнулся подбито, видя, что парень, сидевший в пролетке, целится в него, пригнулся к седлу и предсмертно взвыл.

Конь его юлой завертелся на одно месте, протестующее заржал — не верил в уязвимость седока, захрапел, забрызгал пеной, громко заржал, страшно: хоть и не боялся он пуль, а почувствовал, что следующая пуля будет его.

Густой горячий воздух всколыхнулся, задрожал; сквозь тучу комаров, прилетевших с Амура, с трудом пробилась два плоских, бледных луча — это подъезжал автомобиль атамана.

Шофер еще не сориентировался в происходящем, он был подслеповат и под большими шоферскими «консервами», закрывавшими ему поло-

БҮРСАК В СЕДЛЕ

вину лица, носил обычные крохотные увеличительные очки, — и вполне сносно справлялся с машиной.

Раньше он управлял броневиком марки «Остин», ходил с офицерскими цепями в атаку, но потом пересел на легковой мотор, вначале возил Савицкого, а когда тот переместился во Владивосток, перешел к атаману.

Слева и справа автомобиль окружили всадники атаманского конвоя, устремились вперед, заслонили старому водителю обзор.

— Черт! — выругался он.

Калмыков приподнялся на пуховом кожаном сиденье. Произнес спокойно, с некоторой задумчивостью:

— Впереди какая-то заварушка.

Шофер подслеповато поморгал глазами, пробормотал едва различимо:

— Вполне возможно, но я пока ничего не вижу...

— А выстрелы слышишь?

— Бухнуло что-то. Сейчас каждую минуту что-нибудь где-нибудь бухает. Жизнь такая.

Пролетка, в которой сидел Максим Крединцер, первой унеслась за поворот и врубилась в неровный строй атаманского конвоя.

Юрченко выдернул из-под облучка маузер, щелкнул курком и закричал неожиданно лихо, громко:

— Бей Маленького Ваньку!

— Прорывайся, прорывайся к автомобилю! — прокричал ему Крединцер. — Ванька там!

Но Юрченко не слышал его, палил из маузера в казака, нависшего над ним с шашкой; тот, задетый пулей, попавшей ему в голову, пытался достать возницу острием шашки, но не смог. Казака опередил Крединцер, выстрелил в него.

Пуля Максима, выпущенная в упор, снесла казаку полголовы, он откинулся назад, упал, зацепился одной ногой за стремя, и лошадь унесла его в распахнутые настежь ворота двора, из которого вымахнула пролетка.

— К автомобилю прорывайся! — вновь прокричал Максим своему земляку, но тот по-прежнему не слышал его, он избрал себе новую

цель — конвоира, наряженного, несмотря на теплый вечер, в лохматую волчью папаху, выстрелил в него, не попал, выстрелил снова. Конвоир привстал в седле, оглянулся зачем-то назад, словно бы хотел проверить, куда улетела пуля, не попавшая в него.

Юрченко выстрелил в третий раз. Для конвоира этого оказалось достаточно, и Юрченко переключился на новую цель.

Справа их пролетку обогнал экипаж, в котором сидели Антон и Аня. Черная борода дядьки Енисея разбойно полоскалась на ветру. Антон держал в руках два пистолета и палил из них по конвою. Стрелял он, в отличие от Юрченко, метко и, наверное, более метко, чем Крединцер.

Водитель, сидевший за рулем атаманского автомобиля, наконец-то понял, что происходит, и, резко затормозив, включил заднюю скорость.

Место это было узким, развернуться в нем оказалось непросто. Задом автомобиль въехал в нарядный, крашенный зеленой штакетник, смял его, мотор машины захрипел, из выхлопной трубы полетели черные вонючие кольца, шофер поспешно передернул рычаг скоростей, и автомобиль вылез из ограды.

В следующее мгновение пуля пробила ветровое стекло автомобиля, шофер сгорбился, выкрикнул неверяще:

— Стреляют, Иван Павлович!

Тот хмыкнул в ответ:

— А я чего говорил! — В руке Калмыков держал наган, курок был взведен. Это шофер, несмотря на подслеповатость, успел заметить — атаман тоже был готов стрелять, и водитель еще больше сгорбился в невольной тоске: а вдруг Калмыков случайно попадет в него?

И вообще атаман был человеком непредсказуемым... Шофер приник к рулю, заработал большим неповоротливым роговым кругом, машина задела конвойную лошадь, та испуганно заржала и, блестя влажным окровавленным боком, шархнула в сторону... Через несколько секунд автомобиль уже летел по улице в обратном направлении; из выхлопной трубы машины, как у паровоза, вылетали длинные горячие искры.

Навстречу скакал казачий наряд — подмога конвою. Наряд находился на соседней улице и, когда началась стрельба, поспешил на выручку.

Следом за автомобилем, словно бы привязанная, неслась пролетка. Как она умудрилась пробиться через конвой, было непонятно, но про-

БҮРСАК В СЕДЛЕ

летка пробилась, чернобородый возница отчаянно хлестал лошадей, стараясь не отстать от автомобиля. Седок, поднявшись в экипаже, в полный рост палил сразу из двух пистолетов, рядом с ним сидела женщина, лицо которой показалось атаману знакомым.

Но разбираться в этом было недосуг. На пролетку навалился казачий наряд, крепкоплечий мужчина, стоявший в пролетке, свалил сразу двух человек. Потом вышиб из седла третьего; чернобородый возница также снял одного казака, обернулся на свист, раздавшийся над его головой, распахнул в крике здоровенный зубастый рот. Над ним навис с шашкой хорунжий из атаманского конвоя, сделал легкое движение, и серебристая молния отделила голову возницы от туловища.

Оказавшись без головы, возница некоторое время азартно взмахивал руками, будто живой, — смотреть на это было страшно, потом задержался и рухнул на гнутый передок экипажа, ухватился за него руками — мертвый! — из среза шеи на мостовую полилась темная, густая, как деготь, кровь.

Антон двумя выстрелами утихомирил ретивого хорунжего, потом отогнал в сторону еще одного настырного конвоира, перевалился корпусом через убитого дядьку Енисея и ухватился за вожжи.

Пролетка продолжала мчаться за атаманским автомобилем. Аня тоже азартно стреляла и метко уложила двух конвойных — бравых плечистых мужиков, стреляла и по автомобилю, попадала в него, но зацепила ли кого из тех, кто находился в салоне, неизвестно, — скорость у пролетки и атаманской машины была разная.

Это был настоящий бой; в таких схватках Ане раньше не приходилось участвовать. Страха в ней не было, как, впрочем, не было и лихого бойцовского азарта, что обычно появляется в бою у мужчин, — было желание действовать, был расчет, была злость, вот, пожалуй, и все. Малым составом группа Антона умудрилась перебить едва ли не весь атаманский конвой, вот ведь как.

Неожиданно откуда-то из-за забора, из узкого проема, вырвались два всадника — они отстали от своего наряда — и пошли наперерез экипажу.

— Товарищ Аня, не зевай! — предупреждающе выкрикнул Антон, — левый — мой, правый — твой.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Есть правый мой! — выкрикнула в ответ Аня, сосредоточилась на несшемся на нее всаднике.

Тот очень умело управлял конем, прикрывался им, приникал к шее, — лица его не было видно.

Аня выстрелила в него — мимо, выстрелила еще раз — опять мимо: пуля, словно бы споткнувшись обо что-то, взвизгнула остро, надрезано и унеслась в сторону...

Что-то отводило пули от этого человека — ну словно бы действовала некая посторонняя сила.

Крутанув барабан нагана, Аня вложила в освободившиеся отверстия новые патроны, с клацаньем сомкнула ствол. Еще раз выстрелила. Всадник, которого она никак не могла достать, выпрямился в седле, вырезал шашкой в пространстве блестящую стальную «мельницу» и направил коня на Аню.

Только сейчас Аня увидела, что это — ее отец.

Но из поднятого ствола Аниного нагана уже выскользнула раскаленная свинцовая пуля, за ней другая.

— Не-ет! — закричала она запоздало, отчаянно, протестующее, но оторвать палец от спускового курка не смогла — пули одна за другой всаживались в грудь всадника — в Евгения Ивановича Помазкова.

Над самым ухом Ани громыхнул выстрел, за ним, почти в унисон, второй. Напарник Ани вскрикнул и ткнулся головой себе в колени, пролетка накренилась, поднялась на два колеса, проехала так немного и перевернулась.

Аня покатилась в кусты, это ее и спасло — девушку перебросило через комель старой черемухи и уложило на дно канавы, густо заросшей травой. Над канавой свесился черночубый казак с бешеными медвежьими глазами, впустую остриг лезвием шашки макушки у полыни, потом махнул шашкой еще раз и прокричал:

— Сбегла, проклятая баба! Ведьма, нечисть, крикуля, профура не метле! Только что была и — тьфу! — не стало ее!

Он еще раз свистнул лезвием шашки, вспарывая пространство над Аней, которую трава укутала будто саваном — не найти, не заметить, — выругался по-черному и, сунув шашку в ножны, поспешно поскакал за своими товарищами.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

В живых из всех налетчиков остались только двое — Аня да Максим Крединцер, больше никого.

О том, что произошло, хабаровчане даже не узнали: мало ли кто ныне рубится на улицах, кто в кого стреляет. Гражданская война притупила в людях чувство опасности — это раз, и два — совершенно вытравила из них такую черту характера, как любопытство. Люди стали относиться равнодушно даже к собственной жизни.

Калмыков, которого так хотели убрать партизаны, не пострадал ни сколько: приехав домой, он гоголем прошелся перед зеркалом и неожиданно показал собственному изображению фигу:

— Вот вам!

На следующий день на собрании хабаровских толстосумов он заявил, что «старое казачество прогнило, оно доживает свой век, казаки создаются историей, а не классовой и партизанской борьбой».

На этой встрече Калмыков сделал другое важное заявление.

— Я намерен, — сказал он, — создать новое дальневосточное казачество, которое будет сильнее, честнее, эффективнее нынешнего казачества. Нынешнего, почитай, уже нет, его съело время и враги.

Заявление было серьезным. Его опубликовали многие газеты не только в Хабаровске, но и во Владивостоке.

Казаки, не зная, как на это реагировать, ёжились, кряхтели и говорили, что атаман преследует какие-то личные цели, а вот какие именно — непонятно.

— Ничего подобного! — узнав об этом, воскликнул Калмыков. — Нет у меня никаких личных корыстных путей, мне ничего не надо — ни власти, ни положения, ни чинов, ни орденов — ни-че-го!

Аня Помазкова вошла в крохотную, жарко натопленную комнатенку на конспиративной квартире. Аня захлебывалась слезами. Такое невозможно увидеть даже в дурном сне, не только на яву...

В комнате она находилась одна. Окно было закрыто инеем, сквозь который ничего не было видно.

Во второй половине дня Аня забылась, свалилась на самодельную деревянную кушетку и заснула.

Сон ее был горьким.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

На следующий день Ани уже не было в Хабаровске. Куда она исчезла, в какой угол забилась, не знал никто — ни местные подпольщики, ни партизаны, ни усатые мужики из калмыковской контрразведки, ни связные, которые зачастили в Хабаровск из Владивостока и Благовещенска...

Зимой атаман Калмыков отличился — окружил в Хабаровске местное отделение Госбанка и забрался в святая святых его — в подвал, где хранилось золото.

Деловито осмотрев ящики с драгоценным металлом, атаман стянул с руки кожаную перчатку, командно махнул ею:

— Выносите все!

Перед ним возник крохотный, с тощими волосами, наползавшими на уши, очень похожий на старого лесного гнома сторож.

— А что я скажу своему начальству? — дрожащим голосом спросил он.

— Ты кто? — жестко сощурившись, поинтересовался Калмыков.

— Хранитель золота.

— Никогда не слышал о такой должности. И чего же ты, дед, хочешь?

— Чтобы выдали мне на руки документ о том, что вы забрали в банке золото.

Атаман усмехнулся.

— Однако ты смелый, дед. А если я возьму да снесу тебе шашкой голову?

— Зачем? — наивно полюбопытствовал дед.

— Чтобы ты не задавал глупых вопросов.

Гном потупил голову, хотя и не понял, в какой опасности находится. Калмыков усмехнулся вторично и пальцем подозвал к себе Куренева.

— Гриня, подь-ка сюда!

Ординарец поспешно подскочил к атаману.

— Нарисуй этому деду бумажку, которую он просит.

— За вашей подписью, Иван Павлыч? — деловито осведомился Куренев.

— За своей. Как офицер Уссурийского казачьего войска, — Калмыков щелкнул ногтем по Гринину погону, украшенному форсистой серебряной звездочкой.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

На Гринином лице собрались озабоченные морщины, он приложил ладонь к виску.

— Есть нарисовать бумажку!

Атаман почистил банк основательно — взял все ценное, что в нем было. Гриня Куренев крупными корявыми буквами начертил на листе бумаги расписку и вручил ее трящемуся от страха и обиды гному.

Сколько золота взял атаман, точно неизвестно, только через некоторое время, уходя в Китай, он тайно передал японцам на сохранение тридцать восемь пудов золота и свои ценные вещи — личные, как он подчеркнул, пожимая руку представителю японского штаба.

Так это золото у японцев и осталось, украл его у России Иван Павлович Калмыков.

Положение атамана становилось все хуже и хуже — лупили его в хвост и в гриву. Красные партизаны вышибали калмыковцев из деревень; карательные отряды, которые посылал атаман, заманивали в ловушки и уничтожали.

Черный дым стелился над хабаровской землей, вдоль дорог валялись трупы людей, угодивших в чудовищную молотилку войны.

В морозный ветреный день тринадцатого февраля 1920 года Калмыков под звуки винтовочной стрельбы, раздававшейся в Хабаровске с трех сторон — северной, восточной и западной, именно здесь партизаны давили особенно сильно, — вместе со своим отрядом покинул город.

На окраине Хабаровска он остановил коня и, глянув на черный дым, поднимавшийся над крышами домов, ладонью вытер слезы, неожиданно проступившие на глазах, пробормотал тихо, глухо, пытаясь побороть внезапно возникшую тоску:

— Ничего-о, мы сюда еще вернемся... Мы сюда обязательно вернемся!

В следующее мгновение он согнулся в седле, сделавшись похожим на усохшего, здорово помятого жизнью старика. Таким атамана Калмыкова его сподвижники еще не видели.

Отряд прошел рысью километра три, и на него напали партизаны: Шевченко не хотел пропускать Калмыкова к китайской границе...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Отряд Калмыкова, ежедневно отбиваясь от партизан, теряя людей, уходил на юг по реке Уссуре. Лед на реке был крепкий, толстый; в некоторых местах голубовато-серые пласты приросли ко дну, и вода с пушечным грохотом взламывала лед, выхлестывала на поверхность, быстро там застывала.

Морозы в феврале бывают в этих краях жестокие; случается, даже птицушибают на лету — вместо шустрой живой пичуги на землю падает твердый камень голыш, а ветры бывают более жестокие, чем морозы. Ветры на открытых местах выбивали казаков из седла.

Двое казаков у Калмыкова неудачно вылетели из седел, покалечились: один незадачливый всадник сломал ногу, другой — ключицу.

— Дуракам закон не писан, — сурово молвил атаман и велел оставить их в ближайшей деревне — пусть отлеживаются, лечат свои переломы.

— Братцы, возьмите нас с собою, — начали канючить покалеченные казаки, — мы вам в тягость не будем.

— На обратном пути, когда будем возвращаться в Хабаровск, — пообещал атаман.

Границу переходили розовым морозным вечером.

Ветер, словно бы отдавая дань происходящему, осознавая важность момента, стих, — лишь на льду реки взбивал небольшие снежные фонтанчики, перемещал их с места на место, дразнил ворон, видевших в этой игре ветра что-то мистическое. На небе нарисовались пушистые красные полосы; зловеще-нарядные, они вышибали из глаз слезы и рождали невольную тоску.

Всадники выстроились на высоком берегу реки под толстенными старыми соснами, распухшими от болевых наростов и опухолей.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Калмыков проехался на коне вдоль строя, остановился на правом фланге. Потом неуклюже, словно бы у него не сгибалась шея, поклонился строю.

— Казаки! — произнес он хрипло, негромко. Чтобы говорить громко, не хватало сил, в горле у него что-то булькало, клокотало, и атаман, пытаясь справиться с немотой, внезапно навалившейся на него, замолчал, потом заговорил вновь. — Казаки, — повторил он и опять замолчал.

Казаки потупились, завздохали яростно — они чувствовали себя так же неважно, как и атаман, им было так же больно и так же острая тоска сжимала горло.

— Казаки, — в третий раз произнес Калмыков, поморщился, — мы уходим из России, но не прощаемся с нею. Мы вернемся, чтобы расплатиться за поруганных товарищей наших, за боль, что сидит в каждом из нас, за землю, которую измяли, испохабили большевики. Мы вернемся, чтобы построить в России новое общество, — атаман не удержался, сдвинул каблуками меховых сапог бока коня, конь замолотил копытами по снегу, заржал — зубастые кругляши шпор всадились в шкуру, прорубили ее, на боках показалась кровь. Калмыков сжал руку в кулак и коротким взмахом рассек воздух. — Мы сюда вернемся!

Атаман произнес еще несколько фраз, они были перепевами того, что он уже сказал, и такой боли у казаков, как первые слова, уже не вызывали. Калмыков это понял и замолчал.

Потрескивал, кряхтел сдавленный морозом снег; длинные колючие лапы сосен шевелились, будто живые, с них летел сор — то ли птицы в них обитали, кормились, то ли белки.

Лед на реке лежал неровно, горбами — вода фонтанами вымахивала из-под прочной, как железо, кольчуги и, схваченная лихим разбойным морозом, тут же застывала, превращалась в металл. И главное, как заметил Калмыков, наплывы замерзали, стекали в противоположную от течения сторону. Видать, земля в этом месте была так накалена, приподнята с одного бока, раз лед течет в обратную сторону... Очередная загадка природы. В некоторых местах с ледяных надолбов свисали целые охапки

сосулк. Как они образовались? Как забрались на высокий надолб, какая сила их туда занесла?

Неожиданно с одного из надолбов — кривого, перекошенного, высокого, сорвалась связка сосулк, рухнула вниз, на лед, — неуютно ей стало на верхотуре, на вольном ветре, потянуло на землю... Грохот раздался, будто пушка стрельнула. Калмыков поежился — ему сделалось холодно.

В следующее мгновение он выпрямился, строго глянул на заиндевелый, дышавший паром казачий строй.

— Может быть, кто-то из вас устал, хочет вернуться назад? Не стесняйтесь. Ежели что...

Строй молчал. Только пар звонкими струйками поднимался над головами людей и растворялся в пространстве.

— А? — повысил голос атаман. — Не стесняйтесь!

— Веди нас дальше, атаман, — сипло проговорил кто-то, — столько лет были вместе и дальше будем вместе, разделяться нам нельзя.

— Все правильно. Веди и дальше, — раздался другой голос, простуженный, хриплый, — мы за тобой как нитка с иголкой.

— Может быть, все-таки кто-то хочет вернуться? — атаман был настойчив.

— Мы там такие следы оставили, что лучше не возвращаться, — сказал третий голос, чистый, звучный, почти детский.

Калмыков так и не разобрался, кто это говорил, — строй перед ним начал расплываться, покрываться красными пятнами, глаза в вечернем солнце заслезались, сделались слабыми, будто у старика.

— Спасибо, — благодарно проговорил атаман, — за доверие спасибо.

Тут строй неожиданно шевельнулся, сдвинулся в сторону, и из него выехал казак с седыми висками и черными, чуть посеребрёнными усами.

— Я, пожалуй, останусь, ваше высокопревосходительство, — заявил он, окутался паром; белая, закуржавленная инеем папаха была натянута

БҮРСАК В СЕДЛЕ

на самый нос, в густом вареве дыхания его голова скрылась, будто не человек это был, а какое-то чудище.

— Значит, домой потянуло? — зловещим хриплым шепотом спросил атаман.

— Домой, — казак наклонил повинную голову, вновь погрузился в белый пар. — Землю свою, надел, мне даденый, вон сколько лет не пахал, надо бы хоть один раз вспахать...

— Домой, к мамке на полати, значит, потянуло? — упрямо гнул свое атаман.

— И этот момент есть, — не стал возражать казак.

— Кто еще хочет к мамке на полати? — Калмыков заскользил взглядом по строю. — Ну!

Строй зашевелился вновь и из него выехал... Вот уж чего не ожидал атаман, так этого — из строя выехал Гриня Куренев.

— Эх, Гриня, Гриня, — зло, едва сдерживая себя, дернул головой Калмыков, — а говорил, век со мною будешь...

— Извините, Иван Павлыч, — устал я. Сил больше нету воевать. — Куренев приложил руку к груди, отвел глаза в сторону.

Калмыков вновь дернул головой и произнес с неверящими нотками в голосе:

— Эх, Гриня!

— Еще раз простите меня, Иван Павлыч, — виновато пробормотал Куренев, я всю жизнь с вами и уже забыл, как выглядит дом, в котором родился. Еще будучи в Хабаровске, я получил письмо из дома — маманя у меня скончалась, — голос у Куренева сделался тихим, дрожащим, — так и не довелось мне с нею попрощаться.

Калмыков эту исповедь ординарца пропустил мимо ушей.

— Кто еще желает к мамане на полати? — интересовался он, обводя глазами строй, и заключил с облегчением: — Слава богу, больше никто! — Он оглядел ординарца, покрытого инеем, с головы до ног, — теперь уже бывшего ординарца, — поморщился, будто на зубы ему попал свинец, затем с головы до ног оглядел казака с седыми висками и произнес с плохо скрываемым сожалением: — Сдавайте оружие!

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Казак с семью висками вздохнул и через голову, придерживая одной рукой папаху, чтобы не свалилась, стащил с себя карабин, бросил его в снег.

— Шашку тоже снимай! — потребовал атаман.

Казак отстегнул от поясного ремня шашку, также швырнул ее в снег, произнес с облегчением:

— Все. Больше ничего не осталось. Даже патронов.

Атаман тронул коня, подъехал к Куреневу:

— А тебе, Гриня, что, дополнительное приглашение требуется?

Куренев облегченно шмыгнул носом, потом махнул рукой, словно бы прощался со своим прошлым, и, сдернув с плеча карабин, несколько мгновений держал его на весу.

— Может, оружие оставите, Иван Павлыч? В честь нашей давней дружбы.

— Нет!

Гриня еще раз шмыгнул носом, поцеловал потертое, облезшее от времени ложе карабина, бросил оружие в снег.

— Наган клади рядом, — велел Калмыков.

Куренев отстегнул кобуру с наганом и, согнувшись в седле, опустил его на снег рядом с карабином.

— Теперь снимай шашку!

— Шашку-то хоть оставьте! Не забирайте шашку!

— Снимай шашку!

— Ну какой казак без шашки, Иван Павлыч?

— А ты, Гриня, уже не казак. Большевики ликвидировали казаков, как народ российский, и раструбили об этом во всех своих газетах.

— Эх, Иван Павлыч, Иван Павлыч, — с болью проговорил Куренев, стащил с себя шашку, висевшую на желтом кожаном ремне, и также положил ее на снег. — Последнее отнимаете, Иван Павлыч!

— Это еще не последнее, Гриня, — сказал Калмыков, расстегнул кобуру маузера. Если раньше он любил наган, то сейчас наган был у него не в чести — атаману стал больше нравиться маузер.

Лицо у Куренева сделалось белым — он понял, что сейчас произойдет, губы тоже сделались белыми, на носу, несмотря на мороз, выступил пот.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Не надо, Иван Павлыч, — униженно попросил он атамана, но тот на него уже не обращал внимания — откинул крышку деревянной кобуры и извлек оружие.

— Не надо, — вторично попросил Куренев, но атаман вновь не обратил на него внимание — ни один мускул не дрогнул на его лице.

Калмыков поднял маузер и в ту же секунду, почти не целясь, выстрелил. Казак с седыми висками вскрикнул и, вскинув прощально руки, вылетел из седла. На снег он упал уже мертвый, мягкий, как куль, — тяжелая пуля снесла ему часть головы.

— Не надо, Иван Павлыч, — попросил Куренев, губы у него не слушались, одеревенели, речь стала невнятной, — я передумал... Я остаюсь!

— Не юли, Григорий, — сурово молвил атаман. — Ты предал меня...

— Я остаюсь!

— Предав один раз, предашь и в другой...

— Не надо! — отчаянно выкрикнул Куренев.

Калмыков вновь нажал на курок. Стрелял он метко. Пуля обезобразила Грине лицо, смяла нос и вышибла несколько зубов — вместо лица образовалась сочившаяся кровью рана. Тело дернулось словно бы само по себе, но Куренев, крепко вцепившийся пальцами в лук, обтянутую кожей, чтобы было удобнее держаться, из седла не вылетел, а некоторое время сидел прямой, окаменелый, потом окаменелость прошла, он сложился в пояс и тихо сполз вниз.

Атаман, не глядя на тело бывшего ординарца, засунул маузер в кобуру, звонко щелкнул деревянной крышкой и сделал призывный взмах рукой:

— Поехали!

Приказ прозвучал буднично; отряд начал спускаться с крутого берега на лед реки. По льду металась синие снеговые хвосты, поднятые низовкой — недобрый здешним ветром. Вверху на берегу было тихо, даже невесомый снежный сор не плавал в воздухе, улегся, а тут дул свирепый ветер.

Кто-то в строю, за спиной атамана, совсем недалеко, выкрикнул срывающимся голосом:

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Прощай, Россия!

Калмыков дернулся, словно бы в спину ему всадили гвоздь, протес-
тующее мотнул головой и сипло прорычал:

— Не прощай, а до свидания!

Целые сутки, пока они шли по территории Китая вдоль границы, устремляясь на запад, их никто не останавливал, не трогал — ни одного окрика, ни одного собачьего тявканья, ни одного выстрела.

А вот через сутки раздался тонкоголосый, подрагивавший от страха оклик, — прозвучал он из леса:

— Стой!

Калмыков, двигавшийся во главе отряда, в первой тройке, дал команду остановиться. Приподнялся в седле:

— Ну, стоим... И что дальше?

— Вы вторглись на территорию чужой страны, вы в Китае. Поворачивайте назад, в свою страну!

Атаман пальцем поманил к себе толмача, взятого из Хабаровска — тощего студента, наряженного в огромную, в которую можно было за-
вернуть всадника вместе с конем, шубу, с фамилией вполне воинской: Трубач.

— Вступи с ним в переговоры, — велел Калмыков, — узнай, чего он хочет?

— Он хочет, чтобы мы вернулись в Россию.

— А чтобы у нас выросли конские уши и хвосты, не хочет?

— Об этом он ничего не сказал, господин атаман, — толмач принял слова Калмыкова всерьез и отвечал вполне серьезно.

— Скажи ему, что мы белые казаки и назад нам ходу нет — ждет верная гибель. Мы уйдем, но только позже, когда в России изменится обстановка.

Толмач поспешно перевел эти слова, китаец что-то обозленно про-
кашлял в ответ и вышел из-под огромной старой ели, держа наперевес новенький «маузер» — добротную немецкую винтовку. Калмыков знал, что китайцы недавно закупили для своих пограничников большую партию таких винтовок.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Лицо китайского солдата ничего не выражало, было словно бы вырезанным из дерева, выделялись только угольно-черные глаза. Как два уголька, жили на его физиономии своей отдельной, какой-то особенной жизнью, заиндевелые ресницы хлопали, прикрывая эту светящуюся чернь; хлоп-хлоп, хлоп-хлоп... Китаец сделал винтовкой резкое движение и окутался паром — пролаял что-то гортанное, будто янычар, грозивший неверным карами небесными.

— Чего он протявкал? — поинтересовался Калмыков.

— Требуется, чтобы мы все-таки убирались к себе, на свою территорию.

— Нет, — тряхнул головой Калмыков, — нет и еще раз нет. Может, ему показать фигу, тогда он поймет?

— Не надо, господин атаман, — студент поморщился — тогда он обозлится.

— В таком разе скажи китайцу, чтобы он не дурил, не заворачивал нас. Иначе мы с вами завернем этому узкоглазому голову на пупок. Будет тогда из-под микиток кукарекать.

Толмач перевел, китаец в ответ вновь пролаял что-то непотребное.

— Чего он?

— Говорит, что в ельнике его прикрывают два пулемета и взвод солдат.

— Пхе! — отмахнулся атаман. — Невидадь какая: сейчас от его пулеметов одни заклепки останутся. Переведи!

Студент начал послушно переводить. Потом споткнулся и замолчал.

— Ты чего? — спросил Калмыков и едко сощурился. — Кишка тонка?

— Тонка, — признался студент. — Это противоречит всем дипломатическим нормам.

— Плевать я хотел на разные китайские нормы! — раздраженно выкрикнул атаман.

Ветки старой ели тем временем зашевелились, и из-под них вылез еще один китаец, судя по виду, — офицер.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Во, вот с ним мы будем говорить, — обрадовался Калмыков, — а то с чуркой какой-то препираемся... Чурка ничего решить не может.

Толмач быстро переговорил с офицером и наклонился к атаману:

— Сам он не имеет права дать нам добро на проход в Китай, ему надо запросить своего начальника в Фугдине.

— Пусть запрашивает, — милостливо разрешил Калмыков, — мы подождем.

Китайский офицер исчез, пограничник с примкнутой к ноге винтовкой остался стоять около огромной ели.

Мороз давил, снег недобро потрескивал, скрипел. Было тихо. Солнце от мороза покраснело, сделалось холодным и чужим.

«Нерусское солнце!» — отметил про себя Калмыков.

— Спроси у этого солдата, когда вернется офицер?

Студент послушно залопотал по-китайски, для убедительности пару раз взмахнул рукой; часовой ответил сдержанно, коротко, без эмоций. Дерево, а не человек.

— Говорит, что он не знает.

— По-моему, этот узкоглазый сказал что-то другое.

Толмач смутился.

— Вы правы, Иван Павлович, часовой сказал, что не наше это дело — спрашивать, когда вернется начальник. Наше дело — ждать.

— А узкоглазый не боится, что я ему срублю голову, как кочан капусты?

— Похоже, не боится.

Калмыков похмыкал, укутался паром, будто усталый локомотив.

— Осмелел ходя. А еще десять минут назад дрожал, как осиновый лист.

Офицер вернулся через четверть часа, бесстрастный, с каменным лицом и ничего не выражавшими, словно бы вымерзшими глазами.

— Ну? — не выдержал Калмыков, привстал на стременах.

— Вам разрешено проследовать в Фугдин, — сказал китайский офицер, — там будет оказано внимание. Встреча вам, думаю, понравится.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Понравится, говоришь? — Калмыков подбил пальцем заиндевелые усы и подмигнул толмачу. — Это хорошо.

— Чтобы вы не заблудились, с вами поедет китайский проводник, — сказал офицер.

Калмыков поджал сухие белые губы — прихватил мороз, — потом вздохнул и поклонился китайцу:

— Передавайте вашему командованию нашу большую благодарность.

В Фугдин въезжали парадным строем, посотенно. Все сотни были неполными — потрепал Гавриил Шевченко боевые порядки атамана здорово.

В китайском Фугдине было тепло — здесь уже ощущалось дыхание весны, хотя время было еще не весеннее — конец февраля.

— Хлопцы, песню! — привычно скомандовал атаман, но команда его словно повисла в воздухе — усталые люди были подавлены.

Жители городка едва ли не все вывалили на тротуары, разглядывали казаков. Среди любопытствующих Калмыков заметил несколько русских лиц.

«И здесь — наши, — подумал он облегченно, — живут, хлеб жуют... А наши нашим пропасть не дадут».

На углу одной из улиц расположился небольшой местный рынок. Торговали живыми курами, рыбой, свежей зеленью, срезанной в парниках, а один старик в широкополой, похожей на большое хлебное блюдо шляпе торговал фазанами, заточенными в деревянные клетки. Фазанов было четыре — по паре в каждой клетке; крылья у птиц, чтобы не улетели, были перевязаны пеньковыми бечевками.

Облака раздвинулись, выглянуло яркое горячее солнце — настоящее, весеннее.

— Братцы, ну давайте споем, покажем местному люду, как умеют петь русские казаки, — повернувшись к строю, следовавшему за ним, попросил Калмыков.

На этот раз сработало. Кто-то в задних рядах первой сотни затянул казачью песню, певца поддержали, и вскоре над конным строем сла-

женно, сливаясь в одно целое, зазвучали печальные мужские голоса. Что-что, а печаль из душ казацких, прибывших на чужбину, изъять было нельзя.

Калмыков понял это и с досадой потряс головой. Какова будет доля его подопечных, как сложится их жизнь в Китае, когда они смогут повидать своих родных, — было неведомо.

На центральной площадке городка казаков встречал высокий, с породистым лицом китайский военный. Атаман бросил взгляд на его знаки отличия и определил — полковник. В китайской армии это высокий чин. Калмыков спешился и, приложив руку к папахе, представился. Китайский военный, чуть растягивая слова, ответил. Это действительно был полковник, Калмыков не ошибся. Полковник Ли Мен Гэн командовал здешним гарнизоном.

Отрекомендовавшись, полковник улыбнулся, обнажив крупные, способные перекусить лошадиную кость зубы. Калмыков невольно поежился.

После короткой беседы полковник предупредил атамана, что оружие придется сдать.

Атаман не питал особых иллюзий насчет того, что оружие им оставят, хотя в глубине души теплилась слабая надежда, что все-таки оставят. Ведь казак без шашки и карабина — не казак, а командир без маузера — не командир.

— Где нам надлежит сдать оружие, господин полковник? — спросил Калмыков спокойно.

— На окраине города. Там находятся наши склады.

По лицу атамана проползла короткая нервная тень, но самообладания он не потерял, перевел взгляд на офицера, сопровождавшего полковника, и молвил тихо, дрогнувшим голосом:

— Что ж, на окраине города, так на окраине...

Ли Мен Гэн, понимая, в каком состоянии находится атаман, добавил утешающе:

— После этого мы отведем ваших людей в теплые казармы и накормим сытным обедом.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Казаков разместили в свободных солдатских казармах, с ними поселились и младшие офицеры; старшим офицерам предоставили места в низеньком, похожем на конюшню отеле, увенчанном плоской крышей.

Над крышей, будто памятник, возвышалась высокая тяжелая труба.

Из трубы валил плотный сизый дым.

— Топят, черти, стараются, — не замедлил отметить это Калмыков, — дрова подкидывают сухие.

— Да, сухие, — поспешно подтвердил студент-толмач, он с нынешнего дня состоял при атамане вместо Грини Куренева. — Печи у китайцев слабые. Сырые дрова они просто не в состоянии переработать.

Номер, который выделили атаману, был лучшим в гостинице, с выходом окон сразу на две улицы, с вполне добротной мебелью и большими фарфоровыми вазами, стоявшими на полу. Толмачу выделили комнату под лестницей, шедшей на чердак, — жилище неказистое, но студент и этим был доволен.

Вечером к атаману пришел полковник Ли Мен Гэн, вежливый, надушенный парижским парфюмом, — Калмыков был готов голову отдать на отсечение, что это парижский парфюм, — при орденах. Следом за полковником тоненькая служанка в шелковом халате вкатила бамбуковый столик на маленьких, звонко погромыхивавших колесиках. На столике высилась пузатая зеленая бутылка с очищенной гаоляновой водкой; в плоских фарфоровых тарелочках находились закуски, невесть из чего приготовленные, горкой высились хрупкие, словно бы светившиеся пиалушки.

— Как говорят у вас — поедим, чего бог послал, — сказал Ли Мен Гэн. Фраза получилась смешной — с русским языком у полковника были трудности.

Калмыков в ответ согласно кивнул.

Служанка проворно расставила еду на столе. В окно вливался будоражащий кровавистый свет уличного фонаря, рождая в душе недобрые ощущения.

— Я вынужден буду, господин генерал, приставить к вашему номеру почетный караул, — сказал Ли Мен Гэн, раскуривая душистую китайскую сигаретку, скрученную из очень слабого табака.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Это что, арест? — нахмурившись, спросил Калмыков.

— Упаси бог! — Ли Мен Гэн улыбнулся во весь рот, показав полностью свои зубы, крупные и опасные, как у жеребца. — Просто... — он на мгновение замялся, что-то соображая про себя, — просто в городе появились подозрительные люди... У нас есть все основания предполагать, что они приехали из России и собираются на вас напасть.

— На меня? — Калмыков нахмурился еще больше. — Здесь, в Китае? Невероятно. Это точно русские люди?

— Точно русские.

— Невероятно, — повторил атаман и потянулся к бутылке. — Давайте выпьем, господин полковник, за нашу дружбу!

Полковник охотно подставил фарфоровую пиалу под вялую желтоватую струю, церемонно чокнулся с Калмыковым.

— За нашу дружбу!

— Когда можно ожидать ответ от вашего командования?

— Думаю, дней через пять — шесть.

Обед прошел, как принято говорить в таких случаях, в дружеской обстановке.

Сам Калмыков, если честно, мало интересовал советскую власть — интересовало золото, которое атаман забрал в Хабаровском банке.

Местные чекисты матерились по этому поводу так, что на небесах начинали шевелиться тучи, и соответственно костерили Калмыкова на все лады. Из Хабаровска в Китай ушли несколько групп «эксов», которым было поручено ликвидировать атамана.

— Государственный золотой запас должен принадлежать государству, а не какому-то пришлому кривоногому белопогоннику, — внушительно произнес руководитель хабаровских чекистов, — это — достояние народа.

С одной из групп в Китай пришла Аня Помазкова. Она повзрослела — даже скорее постарела, вокруг губ у нее собрались щепотки мелких морщин, глаза потускнели, в голове появились серебряные нити. Время расправлялось с нею безжалостно...

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Через шесть дней полковник Ли Мен Гэн вновь появился в гостинице, надушенный, нарядный, с торжественной улыбкой на лице.

— Я вас поздравляю, господин генерал, — сказал он Калмыкову, — вам разрешено двигаться дальше.

— Мне одному или моему войску тоже? — хмуро поинтересовался атаман.

— Вашей части тоже, — ответил полковник, доброжелательно улыбаясь. — Куда намерены двигаться?

— В Харбин. Там находятся наши.

Китайский Хабрин в ту пору был русским городом. Возведенный на месте крохотной рыбацкой дереvушки на берегу реки Сунгари, он приятно удивлял китайцев своими широкими улицами, чистотой и добротными зданиями. Жили в нем в основном люди, обслуживавшие КВЖД, и щеголи-инженеры, изящно носившие пижонскую черную форму, и техники — вечно озабоченные завтрашним днем небритые дядьки, и простые рабочие, жившие одной мечтой — выпить бы вечером.

Атаман верил, что свои обязательно помогут — русские русских не привыкли оставлять в беде.

— Завтра и выступим, — проговорил он обрадованно, — в крайнем случае — послезавтра.

Но ни завтра, ни послезавтра выступить не удалось. Ночью в гостинице, на этаже, где остановился Калмыков, раздался глухой топот, появились десятка полтора жандармов. Не слишком ли много на одного человека?

Командовавший жандармами офицер помахал перед носом у сонного караула бумажкой, разрешавшей этот ночной налет, и с грохотом долбанул кулаком по двери номера, в котором остановился Калмыков.

— Эй, генерала! Просыпайся!

Калмыков уже проснулся — спать при таком грохоте могли только мертвые, — натянул на кальсоны штаны с широкими лампасами, враз придавшими его фигуре значительность, — на плечи накинул мундир с серебряными генеральскими погонами.

Рывком распахнул дверь:

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Ну!

Жандармы быстро заполнили просторный номер, затопали ногами, переворачивая вещи. Калмыков устрашающе рявкнул на них:

— Чего вы тут потеряли, а? Чего вам надо?

Руководивший этими суетливыми людьми офицер вполне сносно говорил по-русски.

— Вас требуют в управление Сянь-Бин-Ин, — сказал он.

«Сянь-Бин-Инами» в Китае называли жандармские управы.

— А в чем, собственно, дело? — нахмурился Калмыков. — Я русский генерал...

— Это мы знаем, — быстро, скороговоркой произнес китаец.

— Что случилось?

— Это вам сообщат в управлении Сянь-Бин-Ин.

— Тьфу! — плюнул Калмыков и натянул на плечи полушубок. Про себя подумал: явно этот налет срежиссирован где-нибудь в Хабаровске или во Владивостоке, в чека, при свете керосиновой лампы. — Пошли! — скомандовал он жандармам, и те с топотом потянулись за ним.

Может, ему лучше переселиться к своим казакам? — все под защитой будет. Неуютная это, конечно, вещь — казарма, но во много крат надежнее гостиницы. Там — свой народ, при случае казаки и защитят и спрячут.

Снег звучно скрипел под сапогами, вызывал в ушах резь. Улица, по которой они шли, была темна — ни одного огонька, жестяные погашенные фонари глухо позванивали на ветру, ничего не было видно, но Калмыков шагал уверенно — в темноте он неплохо видел.

Про себя соображал: может, завалить сейчас мелко семяющих за ним служак в снег и раствориться в ночи? Нет, это не выход.

Надо было придумать что-нибудь другое, более капитальное.

Идти, к счастью, оказалось недалеко. Темнота кончалась, Калмыков увидел тусклый керосиновый фонарь на крыльце и понял: это и есть управление Сянь-Бин-Ин.

Фугдин — городок небольшой. Если изловчиться, то от одного края до другого доплюнуть можно. Ворона пешком, неспешной походкой,

БҮРСАК В СЕДЛЕ

пересечет город за двадцать минут; все жители знают здесь друг друга в лицо. Теперь понятно, почему появившиеся русские привлекли внимание разведки — это были новые лица.

Калмыкова ждал сам начальник управления — представительный господин в золотом пенсне, с совершенно плоским лицом, похожим на старую, потемневшую от времени доску.

Начальник управления был вежлив — встал, приветствуя атамана, и показал пальцем на стул:

— Прасю!

— Но русский жандармского гостеприимства не оценил, рявкнул во всю глотку:

— На каком основании меня арестовали?

Начальник управления поспешно заявил:

— Вас никто не арестовал. Мы просто пригласили вас к себе в гости.

— Ага, на чашку чая, — атаман издевательски хмыкнул. — Ночью!

— Да, на чашку чая, — подтвердил начальник управления, хлопнул призывно в ладони.

Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился солдат с подносом в руках. На подносе стояли две чашки с горячим дымящимся чаем и две плетеные из прутьев вазочки. В одной горкой высилось рисовое печенье, в другой — желтоватый тростниковый сахар.

— Прасю! — произнес хозяин кабинета на ломаном русском языке и ловко подхватил с подноса чашку с чаем.

Калмыков неспешно потянулся ко второй чашке, с шумом отпил из нее. Чай был хороший, китайцы понимали толк в добротных напитках. Произнес знающе, будто местный житель:

— Хо!

Несколько минут сидели молча, смаковали чай. Лицо Калмыкова расслабилось, на лбу появился пот. Атаман стер его пальцами и, словно бы вспомнив, что он находится в жандармском управлении, со стуком опустил чашку на поднос и выпрямился:

— Итак, что произошло, господин начальник?

Начальник управления тоже отставил чашку.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Произошло. Вчера вечером ваши казаки убили своего соотечественника, представителя одного из торговых домов, через час — бедную женщину, китаянку.

— Откуда вы знаете, что это были казаки?

— От свидетелей, господин генерал.

— Тьфу! — отплюнул Калмыков. — Да в казачью форму может нарядиться кто угодно, даже ваш брат-китаец, но это совсем не означает, что он принадлежит к казачьему сословию.

— Ошибки нет, господин генерал... Нам хотелось бы знать, кто это сделал.

— Уверяю вас, это сделали не мои люди!

— У меня другие сведения, господин генерал. И, повторяю, у преступления есть свидетели, — начальник управления ухватил за длинную резную ручку колокольчик, звякнул. На пороге кабинета возник жандарм, как две капли воды похожий на своего шефа.

— Пригласи эту несчастную женщину, — приказал начальник управления жандарму.

— Почему несчастную? Ее что, убили? — спросил Калмыков, наполняясь раздражением.

— Нет, не убили, но до этого было недалеко.

Жандарм едва ли не за шиворот вволок в кабинет китаянку в засаленном стеганном халате, сшитом из грубой синей ткани, усадил на табуретку.

— Эта женщина стала свидетельницей одного из убийств, — сказал начальник управления, иронически улыбаясь. — Убийца убежал через ее огород, помял рассаду и огурцы, приготовленные к продаже, сломал загородку... Ты могла бы опознать убийцу? — повысив голос, спросил он у женщины.

— Да! — та стремительно поднялась с табуретки, низко поклонилась начальнику управления. — Это был большой, очень большой человек, — сказала она и в робком, каком-то дрожащем движении раскинула руки в стороны. — Такой!

— И это все приметы? — насмешливо полюбопытствовал Калмыков. — Других примет нет?

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Главное, она запомнила лицо преступника, — сказал начальник управления.

— Еще у него были сапоги и большая лохматая шапка, — добавила китаянка.

— У меня все люди в сапогах и в лохматых шапках, — пробурчал Калмыков, — это раз. Сапоги и папаху может носить любой человек, приехавший из-за Амура.

— У нас есть и другие свидетели, — сказал начальник жандармского управления.

— И стоило меня поднимать из-за этого ночью? — спросил атаман.

— Мы всегда так поступаем.

— Ну и порядочки у вас... Ладно! — Калмыков хлопнул ладонями по коленям. — Что будем делать?

— Вам придется выстроить своих людей, а мы попробуем опознать виновного.

Шаг был, конечно, нежелательный, Калмыков поморщился, поводит подбородком из стороны в сторону, будто боксер, получивший большой удар.

— А если мы этого не сделаем?

— Тогда вам придется вернуться назад, в Россию. Мы вас депортируем.

Неприятное слово «депортируем», острым железным огрызком резанувшее по уху, Калмыков слышал первый раз в жизни.

— Ишь ты, — проговорил он насмешливо, — мудрено как выражаетесь, господин начальник, — атаман повертел в воздухе рукой, потом подул на пальцы, словно бы случайно схватился за что-то горячее.

Начальник управления вежливо улыбнулся в ответ, глаза его сделались злыми.

— Нам необходимо посмотреть на каждого вашего человека, — сказал он, — и мы это сделаем.

— Хорошо, — атаман согласно наклонил голову, — я не буду препятствовать.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

На следующий день Калмыков выстроил своих казаков в одну линию, проехался перед ними на коне и звонко хлопнул плеткой по голенищу сапога. По крупу атаманского коня пробежала короткая нервная дрожь, конь прижал уши к холке — испугался... Слишком уж грозно хлопнула плетка. Атаман ударил плеткой вторично, фыркнул, распушил усы:

— Архаровцы! — Снова проехался вдоль строя. — Китайские власти жалуются на вас, — сказал он, — обижают местных жителей...

— Как можно, господин атаман! — прогудел кто-то густым басом из дальнего края длинной шеренги. — Это не мы.

— Не верю. Это вы! — атаман привстал в стременах. — Начальник Фугдинского жандармского управления сообщил мне, что вчера подчиненные мне казаки завалили двух человек — одного русского, представителя торговой компании, и одного китайского подданного.

— Это не мы, — вновь прогудел из шеренги густой бас.

— Вы! — атаман еще раз зло хлопнул плеткой по сапогу. — Вы! Сейчас начальник жандармского управления произведет досмотр и найдет виновного. Досмотру не сопротивляться. Это приказ, — атаман ткнул плеткой в конец шеренги, где стоял начальник с испуганной, мелко подергивавшейся от страха китайкой, — приступайте, господин хороший!

Начальник управления с женщиной медленно двинулись вдоль строя. Шли долго. Наконец остановились около урядника Прохоренко, крупного плечистого мужика с круглыми совиными глазами, в огромной папахе, сшитой из целого баран.

— Эх, Прохоренко, Прохоренко, — досадливо произнес атаман, — угрозило же тебя сшить такую приметную папаху! Тьфу! — Он огорченно отвернулся от казака.

Начальник жандармского управления вцепился в руку урядника, визгливо завопил по-русски:

— Ты арестован!

Казаки выдернули руку из цепких пальцев жандарма, закричали:

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Вы чего, китаезы, совсем тут рехнулись? Не привязывайся! — И когда начальник жандармского управления вновь вцепился в его руку, позвал атамана: — Ваше превосходительство, заступитесь!

Калмыков опустил голову, прорычал глухо:

— Не могу! Если бы дело было в Хабаровске — заступился бы, здесь нет.

— Господин атаман!

— Не имею права! — В следующий момент Калмыков развернул коня и направил его на начальника жандармского управления. Тот понял, что атаман сейчас наедет на него, сомнет — вон как горят глаза у русского генерала, завопил громко, дергая казака за руку:

— Этот человек убил китайского подданного!

На площадь перед казармами выскочили десятка два жандармов и урядника увели. Калмыков опустил голову — он ничего не мог сделать.

Когда площадь очистилась от жандармов, Калмыков подрагивающим от внутреннего напряжения голосом негромко произнес:

— Через пару дней выступаем на Харбин.

— Скорее бы! — раздалось сразу несколько голосов. — А сейчас мы не можем уехать, господин атаман?

— Сейчас нет. Я еще должен повидаться с командующим Ли Мен Гэном и получить от него бумагу, разрешающую нам этот поход. Иначе нас на первом же углу остановят пулеметы.

— Шашками прорубимся, господин атаман!

Калмыков поморщился:

— Шашками нельзя. Мы в чужой стране. — Выпрямился: — А сейчас, господа станичники, прошу получить жалованье.

Строй одобрительно загудел:

— Вот это дело!

Калмыков выдал каждому казаку, ушедшему с ним в Китай, по десять золотых червонцев.

Кстати, царские золотые десятки до сих пор остаются одной из самых ходовых и популярных монет в мире — и ныне за потускневший червонец можно получить восемьдесят, а то и сто долларов «компен-

сации» по официальному обменному курсу. Вот какие были деньги у России!

Свидание с Ли Мен Гэном было назначено на шестнадцать ноль-ноль. Полковник Ли сказал Калмыкову, что они вместе пообедают, выпьют по паре-тройке стопок старой душистой ханжи и спросят как добрые друзья. После этого Калмыков может двигаться дальше.

Калмыкова беспрепятственно пропустили в китайский штаб, провели в обеденную комнату, где в центре стоял длинный шаткий стол, накрытый желтой шелковой скатертью. Атаман сбросил полушубок, повесил его на крючок, прилаженный к стенке, подумал, что пора переходить на шинель — ведь на дворе весна, — огляделся... Что-то званым обедом здесь и не пахнет. И вкусной настоявшейся ханжой тоже не пахнет. Да и комната эта мало походит на зал для приема почетных гостей...

Атаман подошел к двери, дернул ее — дверь не поддалась. Дернул еще раз — бесполезно. Лицо его перекошилось от возмущения, под глазами возникли тени. Он прорычал:

— Скоты узкоглазые!

И как он только угодил в этот капкан! Слишком глупо! Самое отвратительное, что оружие свое — маузер и гранату — он оставил в гостинице в шкафу, туда же бросил короткоствольный револьвер-бульдог, словно бы специально сработанный для брючного кармана.

Калмыков сел на стул, осмотрелся. На окнах стояли решетки — не проломиться. Стены толстые, прочные — не взять даже ломом. Он повесил голову: неужели из этого безнадежного положения нет выхода?

Через несколько минут он вскочил, откинул стул в сторону и замолотил кулаками в дверь:

— Эй, сволочи, откройте!

В ответ — тишина. Слово бы никого в здании и не было.

— Сволочи, — бессильно выругался Калмыков и вновь опустился на стул. Ли Мен Гэн появился через полтора часа — насупленный, без

обычной улыбки. Холодный, как кусок льда. В руке он держал телеграфный бланк из плохой бумаги с наклеенными на него полосками текста.

Калмыков сделал к нему резкое движение.

— Что вы себе позволяете, господин полковник?

Ли Мен Гэн тряхнул телеграммой, будто неким разрешительным мандатом.

— Это вы себе позволяете, господин генерал, а не я, — он вновь тряхнул телеграммой. — Правительство России требует немедленно арестовать вас!

— Мало ли что оно может требовать! Завтра оно прикажет вам расстрелять меня. Расстреляете?

— Вы обвиняетесь в хищении шестидесяти восьми пудов золота из Хабаровского банка.

Калмыков покраснел, потом зло рубанул рукой пространство: вот она, ложь, идущая по пятам — вес изъятого золота почти удвоен, завтра будет уже не шестьдесят восемь пудов, а сто восемь. Послезавтра — сто пятьдесят восемь и далее по нарастающей... Ну и ну!

— Господин генерал, у меня есть к вам предложение, — на лице Ли Мен Гэна неожиданно появилась доверительная улыбка, он легко провел рукой по воздуху, словно бы оглаживал крутое атласное бедро какой-нибудь красивой китайки, — очень хорошее предложение...

— Какое? — угрюмым тоном пробормотал Калмыков. Он уже почти догадался, что сейчас скажет Ли Мен Гэн — попросит сдать хабаровское золото китайским властям, либо того хуже — поделиться с ним.

— Очень хорошее предложение, — повторил полковник Ли, — вы будете довольны.

— Вряд ли, — пробурчал Калмыков.

— Только не торопитесь говорить «нет», — Ли Мен Гэн в предостерегающем движении поднял пухлую холеную ладонь, попросил доброжелательным тоном: — Пожалуйста!

— Ну?

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Сдайте золото нашему правительству и спокойно отправляйтесь в Харбин.

Калмыков отрицательно покачал головой:

— Нет!

— Подумайте, подумайте, господин генерал...

— Нет!

— Это очень хорошее предложение...

— И думать нечего. Нет!

— Это ваше окончательное решение?

— Окончательное.

— Жаль, — Ли Мен Гэн вздохнул. — Еще раз спрашиваю: это ваше окончательное решение?

— Окончательное и бесповоротное, — Калмыков стремительно шагнул к полковнику и сунул ему под самый нос фигу. — Вот тебе, а не золото! За золото я отчитаюсь перед законным российским правительством. Понятно?

— Очинно жаль, — сказал полковник и, подойдя к двери, открыл ее. Церемонно наклонил голову, будто на званом балу.

Это была команда — в помещение ворвались солдаты. Один из них, с хищным птичьим лицом и окрашенной в рыжий цвет косичкой, перевязанной грязным шнурком, ткнул Калмыкова кулаком в грудь. Удар был сильный — атаман отлетел от китайца метра на три. Это послужило сигналом — солдаты кинулись избивать Калмыкова. Били, когда он уже лежал на полу, согнувшись калачом, и прикрывал голову руками.

— Хо! — подал команду Ли Мен Гэн, и солдаты отступили от атамана. Атаман разлепил узкие, заплывшие от ударов глаза и сплюнул на пол кровь.

— Сволочь же ты все-таки, полковник, — произнес он сипло. — И как только земля на себе таких носит? Она давно должна была перевернуться, — атаман смежил опухшие веки и застонал, потом пожевал разбитым ртом: хрен его возьмет этот коварный китаец...

— Советую вам, господин генерал, серьезно подумать над предложением китайских властей, — сказал Ли Мен Гэн и закрыл дверь.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Калмыков остался один. Виски разламывало от боли, от медного гуда внутри все тупо ныло. Он подумал о том, что казакам, оставшимся без него, придется туго.

Если честно, это было единственное, о чем он жалел. Хорошо, что хоть он успел раздать им жалованье.

Казарму, где пребывали казаки, двойным кольцом окружили солдаты Ли Мен Гэна.

— Братцы, на нас, похоже, как на урядника Прохоренко, собираются накинуть пыльный мешок, — прокричал кто-то. — Запирай казарму!

Дверь казармы была немедленно заперта на два засова, в окнах стали видны стволы винтовок и револьверов. Китайцы, конечно, предполагали, что на руках у казаков остались несколько несданных стволов, но не думали, что их наберется так много.

Пожилой майор с тощими усиками, руководивший солдатами, поспешно скомандовал своим подчиненным, чтобы те оттянулись к воротам. Испугался майор. И правильно сделал, что испугался — казаки могли в любую секунду открыть стрельбу — майор понял, что их ничто не остановит: будут нажимать на курки до тех пор, пока не перебьют всех солдат, — подогнал свое несобранное воинство:

— Быстрее, быстрее отсюда!

Солдаты рванули от окон казармы так быстро, что галдящей кучей застряли в воротах. Майор подскочил к ним и несколькими ударами ноги ликвидировал пробку, затем сам со вздохом облегчения вылетел за ограду.

Вдогонку хлопыстнул выстрел — кто-то из нетерпеливых казаков саданул из японской «арисаки» поверх голов.

Нетерпеливого казака выругали матом сразу несколько человек

— Земеля, ты чего, беды хочешь накликать на наши головы?

Этого земля не хотел, виновато опустил винтовку. Китайские солдаты, руководимые пожилым майором, сбились за воротами в несколько плотных кучек, затопали ногами по жесткому снегу — было холодно.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Надо подождать, когда подтянется артиллерия, без пушек нам казарму не взять, — решил майор.

Казачи тоже допускали, что китайцы могут подтянуть пушку и садануть прямой наводкой по окнам и времени даром не теряли. Командовать ими взялся невысокий кривоногий подьесаул — старший по званию.

— Братцы, отсюда надо как можно скорее уносить ноги, — встревожено произнес он.

— Куда, господин подьесаул?

— Будем пробиваться на Харбин.

— Это хорошо. Но как же мы без атамана?

— Атаман арестован, нам его не выручить. Нужно самим уносить ноги.

Казарма была соединена с конюшней напрямую, и это было на руку казакам.

Через десять минут широкие двери конюшни с треском распахнулись, и из них вынеслась конная лава — скакало человек шестьдесят, не меньше; китайцы, сбившиеся в кучки за воротами, с испуганными криками бросились врассыпную.

Конники брали ворота с лету, перемахивали через них, будто огромные птицы, и растворялись за изгибом неширокой, заставленной кривоногими домами улочками.

Преследовать конников китайский майор посчитал делом бессмысленным и опасным. Надо было думать, как накинуть сетку на оставшихся казаков.

Придумать что-либо толковое он не успел — из конюшни вынеслась вторая лавина всадников — стремительная, гикающая страшными головами, и китайские солдаты вновь бросились в разные стороны — попасть под копыта казачьих коней им совсем не хотелось.

Подопечные атамана Калмыкова покидали Фугдин группами и устремились на северо-запад, в Харбин — русскую столицу КВЖД.

Прохоренко сидел в земляной конуре неподалеку от казармы и томился в неизвестности. Впрочем, от будущего он ничего хорошего

БУРСАК В СЕДЛЕ

не ожидал. Услышав казацье гиканье, понял, что происходит. На глазах у него возникли слезы, хотя Прохоренко был сильным человеком, не плакал даже, когда отравленный немецкими газами лежал в госпитале и плевался черными сгустками крови, а здесь в нем словно бы чего-то надломилось, и он заплакал. Покрутил головой, смахнул с глаз слезы.

Если казаки уйдут все, оставят его здесь, то в одиночку ему из этой ямы ни за что не выбраться. Выход у него в таком разве останется один...

Слезы полились у него из глаз сильнее, руки затряслись, заходили ходуном. Через несколько минут он успокоился, вытер ладонями лицо: Прохоренко теперь знал, что надо делать.

Он разделся — скинул с себя форменную шубейку, фасонисто отороченную серым барашковым мехом, сбросил мундир с тусклыми пуговицами, с которых еще в Хабаровске напильником стер двуглавых орлов — державная символика эта уже два с половиной года была не в ходу в России, потом через голову стянул нижнюю рубаху.

Вот она-то, исподняя рубаха, и была ему нужна.

Прохоренко отодрал от подола одну длинную полоску, подергал ее за концы, проверяя на прочность, — материя была крепкой, почти не ношеной еще, и урядник удовлетворенно кивнул, потом отодрал другую полоску, также проверил на прочность. Лицо его разгладилось, помолодело. Он связал полосы друг с другом — получилась длинная лента, довольно прочная. Кряхтя, приподнялся на цыпочках, пропустил конец ленты через кованый железный крюк, вкрученный в выступивший из земли камень для надобностей вполне понятных — сажать на цепь узников, — на другом конце ленты соорудил петлю.

Продел в петлю голову и, присев на корточки, совершил резкое движение вперед, очень похожее на прыжок, навалился кадыком на петлю, захрипел, завозил руками по воздуху, потом опустил их и, боясь, что у него не хватит воли довести задуманное до конца, еще сильнее натянул петлю...

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Некоторое время он еще шевелился, дергался, — жизнь не хотела уходить из этого крепкого, надежно сработанного тела, — потом затих.

Когда тюремщики пришли к нему, чтобы сопроводить на допрос, Прохоренко был мертв — ускользнул из рук своих мучителей... Тюремщики огорченно поцокали языками и закрыли земляную камеру на железный засов — надо было доложить о случившемся начальству.

Калмыкова перевели в тюрьму. Камера была сырой, темной — скудный свет проливался лишь откуда-то из-под потолка, таял в воздухе, не достигая дна камеры. Калмыков оглядел дыры, оставшиеся на мундире после схватки с китайским солдатами, застонал было от досады, но потом решил, что раскисать нельзя, и повалился на жесткие, сколоченные из грубых досок нары, установленные в камере. Матрас, брошенный на нары, был плоским, набит какой-то пылью, смешанной с трухой, пахнул клопами. Лежать на нем было неприятно.

Атаман закрыл глаза — надо было обдумать ситуацию. Застонал невольно — как же он, тертый-перетертый, мятый-перемятый, умудрился угодить в силоч?

Ведь все эти ловушки он привык распознавать издали, на расстоянии, и всегда свершал нужный маневр, обходя коварные ямы, а тут на тебе — так наивно и бездарно угодил в капкан.

Суть допросов атамана сводилась к одному — от него требовали отдать хабаровскую добычу — золото. А дальше атаман мог следовать с песнями и музыкой куда угодно — в Пекин, в Париж, в Москву: китайцам он был не нужен.

— Не отдадите золото — вернем большевикам с кандалами на руках, — стращал его следователь.

Калмыков отрицательно крутил головой, скрипел зубами и привычно показывал следователю кукиш:

— А этого ты, ходя, не хочешь? Золото передам только законному российскому правительству.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

В конце марта Калмыкова решили перевести из Фугдина в Гирин. Гирин — город более важный, чем Фугдин, хотя такой же грязный и занюханный.

Атамана вывели из тюрьмы ярким солнечным днем. Он прикрыл ладонями глаза, покачнулся, словно бы его не держали ноги, сделавшиеся вдруг такими непрочными, и остановился. Конвоиры тоже остановились — они понимали, что происходит с русским генералом.

Парни из бедных крестьянских семей, они вели себя совсем по-иному, чем офицеры, и никакого зла к русскому не испытывали, даже наоборот, относились к нему с уважением.

На макушках высоких, щекочущих небо своими ветками тополей резвились, радовались солнцу птицы, старались наполнить души человеческие надеждой, весенней звенью. Калмыков потер пальцами глаза, посмотрел на тополя, на птиц, подивился тому, что небо над ним вдруг сделалось размытым, влажным, а птичьи крики неожиданно стали глухими...

Что с ним происходит? Неужели его сломала тюрьма? Нет, не сломала. Калмыков вновь потер глаза и, покачиваясь из стороны в сторонку, сделал несколько неровных шагов, опять остановился.

В Хабаровске, конечно, весны еще нет, рано: весну оттесняют от города свирепые мартовские ветры, но скоро они ослабнут, и тогда земля там оттает, на полянах зазеленеет трава, проклюнутся мелкие бледные цветы, наполнят души людей благодарностью и печалью. И одновременно неверием — неужели им удалось пережить еще один год и уцелеть?

Если в Хабаровске весны еще нет, то на Кавказе, в родном краю Калмыкова, она точно есть — звенит, гремит бурными ручьями, потоками, способными снести не только хлипкую саклю, но и большой дом, прочно вросший крепкими корнями в землю, поляны покрыты цветами, а воздух насыщен крепким влажным духом, от которого кружится голова.

— Пошли, — глухо произнес Калмыков, обращаясь к конвоирам, и, пошатываясь, двинулся дальше — он боялся, что на глазах у него вновь выступят слезы.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Из Фугдина в Гирин шли пешком — Калмыкову не предоставили даже подводу, не посчитались с его генеральским чином, и атаман бил ноги о дорожные камни, как простой солдат. Сапоги его, казавшиеся такими прочными, стали разлезаться уже на середине пути. Хорошо, что один из конвоиров сумел достать где-то кусок веревки, сплетенной из прочного сизаля, и атаман, располовинив его, перевязал драные сапоги.

Идти было все тяжелее и тяжелее.

— Когда же будет Гирин? — спрашивал он у китайцев, и офицер, командовавший этим переходом, отвечал, по-лягушачьи смешно шлепая тонкими губами:

— Скоро!

Дорога медленно уползала назад. Весна уже окончательно вступила в свои права, от земли поднимался пар, и однажды утром, после ночевки около какого-то небольшого озера, в котором громко лопались пузыри, рождали в душе тревогу, атаман неожиданно услышал пение жаворонка.

Тот висел в небе и самозабвенно, сладко пел. Калмыков почувствовал, как ему что-то сдавило горло: пение жаворонка он уже не слышал, кажется, тысячу лет, да и на Дальнем Востоке жаворонки, кажется, не водятся... Впрочем, Калмыков никогда не задавался этим вопросом. Он помял пальцами горло и потер глаза.

Как же забралась в эти края крохотная птичка, сколько тысяч километров одолела, чтобы убажить слух несчастного атамана? Он вновь потер пальцами повлажневшие глаза, невольно отметил, что в душе его, видать, что-то сдвинулось, ослабло, раз на глазах появляются слезы. Не дай бог, если эта слабость останется на всю жизнь... Слабым Калмыкову быть нельзя — сомнута.

А жаворонок продолжал петь-заливаться, звать к себе подругу, и звонкая беззаботная песня его оставляла в сердце атамана незаживающие раны.

Ах, как хотелось ему сейчас вернуться назад, в свое прошлое, в детство, в семинаристскую юность — если бы можно было вернуться, то и жизнь свою он, наверное, начал бы по-другому. Но никому еще,

БҮРСАК В СЕДЛЕ

ни одному человеку не удавалось вернуться в свое прошлое и что-то в нем исправить. Калмыков вздохнул и направился к озерку мыть грязные сапоги.

Он обтрепался основательно, потерял лоск, щеки обметала жесткая щетина, трещала, будто наэлектризованная, от всякого малого прикосновения. Если бы его встретил кто-нибудь из хабаровских или гродековских знакомых, — не узнал бы.

Хабаровск, Гродеково, Владивосток... Как давно это было!

А жаворонок продолжал заливаться, висел под облаком невесомо трепещущей точкой и пел, пел, пел...

Едва Калмыков отошел от озера, как небо вдруг поблекло, словно бы его заволокло дымом, потемнело, и полился дождь — чистый, крупный, теплый. Дождь смыл с воздушного полога дым, и небо вновь поглубело, стало высоким, как у Калмыкова на родине, на Кавказе.

Дождь переждали под высокими мрачными деревьями, так к стати очутившимися на пути.

Сколько потом атаман ни прислушивался к небесным звукам, жаворонок так больше и не услышал. Похоже, в Китае, эти птицы — несчастные гости, если и залетают сюда, то только для того, чтобы порадовать своей песней какого-нибудь несчастного человека, поддержать его. Атаман почувствовал, как губы его тронула улыбка — улыбка эта возникла сама по себе и так же, сама по себе, исчезла.

В Гири пришли через двадцать дней, шестнадцатого апреля. Здесь уже всюду цвели сады. Земля была бело-нежно-розовой от цветения слив, вишни, сакуры и простой русской черемухи, которая тут тоже произрастала; воздух был наполнен тонким сладковатым ароматом. Летали кипенно-снежные бабочки, крупные, шаловливые, очень похожие на цветки.

Сам Гири мало чем отличался от Фугдина — такой же суматошный. С низкими крышами домов и грязью на улицах, с торговыми лавками, по самый потолок забитыми товарами, порою самыми неожиданными: в одной лавке продавали сразу три гидрокомпаса, и это при том, что

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

мало кто из здешних жителей видел море — в основном только реку Сунгари, протекавшую под боком; в другой лавке — свисток от паровоза, в третьей — новенькие шляпы, в которые когда-то была наряжена наполеоновская армия, в четвертой — шесты для управления ручными слонами. Все это было выставлено напоказ. Калмыков, пока шел, плотно окруженный конвоем, успел разглядеть и приметы морской навигации, и шесты, глядя на которые ни за что не догадаешься, для чего они предназначены...

Гириная тюрьма находилась за зубчатой стеной, в крепости, в нее вошли через восточные городские ворота, сложенные из глины, красочные, с крышей, слепленной на манер пагоды.

Главная улица в Гирине была хуже, чем в Фугдине, — деревянные тротуары, проезжая часть, застеленная толстыми дубовыми колодами. Стоили эти колоды немало, и их явно привезли из России — сделал это какой-нибудь оборотистый благовещенский или хабаровский купец. А вот тюремная камера в Гирине была побольше, чем в Фугдине, правда, пахла также мерзко — прокисшей едой, мочой, грязью, еще чем-то, способным выдавливать из глаз слезы. Но прежде чем попасть в камеру, Калмыков побывал в официальном кабинете — с ним решил познакомиться начальник жандармского управления Гирина, важный толстый китаец с крохотными масляными глазками.

Он задал атаману несколько незначительных вопросов, потом брякнул в колокольчик, вызвал в кабинет двух солдат.

— Обыщите! — приказал он.

— Как можно? — возмутился Калмыков.

— Мозно, — сказал по-русски начальник управления, добавил весомо: — Нузно!

— Ни золота, ни оружия при мне нет, — сказал атаман, — не найдете! А раз так, то чего обыскивать?

— Нузно! — сказал начальник управления. — Оценно мозно.

Атаман думал, что этот важный китаец будет сейчас приставать к нему с надоевшими до зубной боли расспросами насчет хабаровского золота, но тот о золоте не сказал ни слова.

БУРСАК В СЕДЛЕ

Через десять минут Калмыков уже находился в камере. Сгреб с нар остатки гнилой соломы, вздохнул:

— Вшей тут, наверное... не сосчитать, — он снова поскреб ладонью по нарам и завалился спать.

Сны к нему в последнее время приходили очень светлые, какие-то весенние, с птичьим пением и радостными улыбками детства — он видел себя мальчишкой, ловил во сне змей и синиц, читал псалмы в семинаристской молельне и что-то спрашивал у своего отца, который тоже оказывался там.

Отец, седой, с растрепанной бородой и усталыми добрыми глазами, отвечал на вопросы, но Калмыков голоса его не слышал, губы у отца шевелились безмолвно, иногда на них появлялась улыбка, потом исчезала, руками он делал плавные, будто в танце, взмахи. Калмыков был рад видеть своего тихого неприметного отца, а тот факт, что его давно уже не было в живых, не играл никакой роли. Он потянулся к отцу, хотел его обнять, но отец посмотрел на него неожиданно строго и исчез.

Через несколько дней Калмыкова посетил российский консул в Гири-не Братцов — любитель гаванских сигар, китайской кухни, миниатюрных японских садов, живописи гохуа и элегантных костюмов, сшитых по последней парижской моде. Представлял Братцов старую власть, которой в России уже не было, но он этим совершенно не тяготился, поскольку от Родины себя не отделял, а какая там будет власть — это уже дело вдвое, третье, десятое; главное, что при любой власти русский народ оставался русским народом.

Братцов попросил провести его прямо в камеру к арестованному.

— Не можно, — пробовал упираться начальник жандармского управления.

— Можно, еще как можно, — начал настаивать на своем несгибаемый дипломат Братцов, — иначе я пожалуюсь в Пекин.

В результате он победил, его провели в камеру к Калмыкову.

— Здравствуйте, Иван Павлович, — сказал Братцов, появившись в дверях, протянул атаману руку.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Атаман медленно, как-то по-старчески ежась, скрипуче опустил ноги с топчана на пол, сделал несколько шагов к консулу и также протянул руку. Он понял, что к нему пришли. Сказал:

— Здравствуйте, господин посланник.

— Я не посланник, а консул. Зовут меня Владимиром Александровичем. Фамилия — Братцов.

— Я знаю. Жаль только, Владимир Александрович, что нам не довелось встретиться раньше.

Братцов окинул Калмыкова с головы до ног сочувственным взглядом.

— Раньше китайцы были более вежливые, с генералами так не обращались, — сказал он.

— Во всех правилах есть исключения. Это все равно должно было когда-нибудь произойти. — Калмыков обреченно махнул рукой. — Но не будем об этом. Словами делу все равно не помочь. Вот если бы вы, Владимир Александрович, подсобили мне выбраться отсюда, я бы до конца жизни своей кланялся вам в ноги.

— За этим я сюда и пришел.

— Спасибо. Большое спасибо. — Калмыков неловко согнул спину, поклонился консулу. — Говорят, из Советской России целая пачка бумаг по мою душу пришла...

— Это правда.

— Меня обвиняют в том, что я изъял золото из Хабаровского банка...

— И это правда.

— А как же мне было не изымать? Казакам-то должен был заплатить жалованье — это раз. И два — большевики все равно бы пустили то золото в распыл... на свои собственные нужды. И три — за все, что взял, готов отчитаться. Но только, Владимир Александрович, не перед каждым встречным разбойником, а перед законной российской властью. А эти косоглазые захотели, чтобы я золото передал им.

— Вот потому они и держат вас в тюрьме, Иван Павлович.

— Ничего они из меня не вытрясут — бесполезно.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Условия могли бы создать получше...

— Не хотят, либо денег не имеют.

— Российское консульство сегодня же направит протест китайским властям.

— Спасибо, Владимир Александрович! Не слышали, как дело обстоит с моими подопечными казаками?

— В Фугдине осталась лишь малая часть, человек двадцать, все они арестованы; другая часть, большая, ушла в Харбин. Дошли, насколько я знаю, не все: примерно человек десять погибли, человек тридцать арестованы, остальные прорвались.

— Хвала тем, кто прорвался. Ну а насчет погибших... — Калмыков умолк, до хруста сжал кулаки. — Дайте только выйти отсюда — расплачусь за каждого поименно, — он потрянул кулаком, — за каждого счет сведу.

Братцов поглядел на атамана с интересом: маленький, какой-то усохший, похожий на дикое лесное деревце Калмыков источал некую лютую силу, и консул понимал — такие люди не покоряются. Они погибают, но никогда не прогибаются и не сдаются. Братцов подумал, что эта черта свойственна лишь русским людям, иностранцам она бывает зачастую непонятна.

Два дня назад у Братцова на приеме побывала молодая женщина, заявившая, что Ивана Калмыкова она знает хорошо, и особых иллюзий на счет беглого атамана не питает. Характер атаман не изменить, как был он грабителем и насильником, так грабителем и насильником и остался... Но золото, которое он насильно забрал в Хабаровске, надо обязательно вернуть в нынешнюю Россию.

Братцов к этому золоту оставался равнодушен — во-первых, никогда не зарился на чужое, во-вторых, украденное атаманом золото дурно пахло, в-третьих, в тесте этом была густо замешана политика, а политику кадровый дипломат Братцов не любил. В-четвертых, консул был нанят на службу не новой властью, а старой. С новой властью песенка у него может и не спеться, как не получается это, например, у признанного любителя хорового пения российского посланника в Пекине князя Кудашова...

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Были еще кое-какие пункты, частные, о которых консул предпочитал не распространяться.

Визитерша передала Братцову письмо от нынешних дальневосточных властей и просила по возможности узнать, где атаман спрятал хабаровское золото.

— Как я смогу это сделать, позвольте полюбопытствовать, сударыня? — непонимающе сощурил глаза Братцов.

— Возможно, он расскажет вам в доверительной беседе.

— На доверительную беседу его еще надо вызвать. Атаман на нее может не пойти.

— Пойдет. Ему некуда деться.

— Как ваше имя-отчество, голубушка? — Братцов тронул пальцами руку посетительницы.

— Анна Евгеньевна. Калмыков обязательно будет просить у вас помощи в освобождении. Поэтому он пойдет вам навстречу и в порыве откровенности обязательно расскажет, куда спрятал золото.

— Не знаю, не знаю, — Братцов с сомневающимся видом приподнял одно плечо. — Говорят, атаман — человек сложный.

— Золото прятали несколько казаков — Калмыков и еще четверо. Если атаман не сообщит, где спрятано золото, то у него надо хотя бы узнать, кто с ним был при этом... Выйдем на других казаков, — посетительница говорила с консулом так, будто он уже перешел на службу к новой российской власти.

У посетительницы консул не спросил даже фамилии, а надо было бы спросить...

Это была Аня Помазкова.

— Сколько вы уже содержитесь под арестом, Иван Павлович? — поинтересовался Братцов.

— Более полутора месяцев.

— Мда, — произнес Братцов и, оглянувшись, присел на краешек нар.

— Осторожно, тут вши, — предупредил консула Калмыков.

Братцов поспешно вскочил с нар. Спросил, стряхнув с брюк остья соломы:

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Вам обвинение предъявили, Иван Павлович?

— Нет. Хотя обязаны были предъявить в двадцать четыре часа.

— Это в Китае происходит сплошь да рядом.

— Помогите мне выбраться отсюда, Владимир Александрович, — горячо зашептал Калмыков, приложив к груди обе ладони.

— Правда говорят, что хабаровское золото вы закопали в Китае? — спросил Братцов, не удержался все-таки.

По лицу атамана пробежала тень.

— За золото это, повторяю, я отвечу перед законным российским правительством, — сказал он.

Доверительный разговор не получился, так, во всяком случае, показалось Братцову.

Калмыков отказался пролить какой-нибудь свет на местонахождение хабаровского золота — не сообщил ни Братцову, ни прилипчивым китайцам, где оно спрятано. Отказался сообщить и имена тех людей, которые вместе с ним это золото прятали. Да и ищи-свищи сейчас этих людей. Кто-то из них надежно укрылся в Харбине, кто-то вообще утек в другой угол Китая, либо пересек границу и осел в Монголии, примкнул к семеновцам, кто-то уже сложил голову и спит теперь спокойно и вряд ли когда сможет взмахнуть шашкой... У каждого — своя доля.

Атаман продолжал томиться в тюрьме, хотя кое-каких послаблений для него консул Братцов добился — атамана перевели из завшивленного тюремного помещения в обычную комнату, освободив ее от папок — раньше в комнате сидел жандармский писарь, сопел, лил пот и брызгал вокруг себя чернилами — следы его деятельности отпечатались на известке, на небольшом мутном оконце, где стояла прочная решетка: атаман, войдя в комнату, ощутил, как у него сама по себе задергалась щека: решетка — это ведь первейшая примета тюрьмы. Значит, из тюрьмы — в тюрьму.

И тем не менее, это был шаг к свободе — за решеткой начиналась воля, о которой так мечтал атаман. Она снилась ему, как и детство. Просыпался

со слезами на глазах. Не думал он, что окажется таким слезливым, но что было, то было.

Пора цветения прошла, природа сделалась строгой, задумчивой; птицы утихли — уселись на гнезда.

Что еще было хорошо — еда стала лучше (во всяком случае, в каше перестали попадаться черви), и два раза в неделю атаману разрешили посещать русское консульство.

Анализируя события той поры, мой старый товарищ, знаток истории Дальнего Востока Лев Князев, написал следующее: «Командующего войсками Гиринской провинции генерала Бао Гуй Циня, в чьем ведении находились заключенные, дожимали всякими просьбами и отношениями не только российские дипломаты, дни службы которых, как он догадался, судя по событиям в России, сочтены, но и большевистские наместники из Читы, Хабаровска и Владивостока. С самоуверенностью завтрашних диктаторов огромной империи они бомбардировали его письмами и памятками, требуя немедленной выдачи атамана. Генерал неизменно отвечал, что считает атамана не состоящим под арестом, а находящимся в положении интернированных комбанатов, которые спаслись в стране, объявившей нейтралитет к происходящей Гражданской войне в России. Поэтому никаких обвинений ни он, ни китайское правительство, насколько ему известно из руководящих указаний, не предъявляли, и поэтому требования уважаемых большевиков о выдаче атамана для суда он считает необоснованными.

О скорой и немилосердной большевистской расправе с противниками их режима генерал уже наслышался довольно, а недавно ему донесли, что схваченные в казарме калмыковцы были доставлены под конвоем в Лухассусе и там переданы красным, после чего те немедленно, без суда и следствия, расстреляли их на виду у китайских конвоиров».

Узнав о расстреле генерал Бао Гуй Цинь велел перевести атамана из завшивленной камеры в одну из комнат жандармского управления.

Наступил жаркий июль 1920 года.

БУРСАК В СЕДЛЕ

Походы по конвоем жандармов в русское консульство стали для Калмыкова жгучей отдушиной — на территории консульства он чувствовал себя дома; главное — там не было враждебных глаз, которые имелись в предельном количестве в жандармском управлении: куда ни глянь, всюду попадавших черным огнем раскосые глаза. Ох, эти глаза! В консульстве — тишина, в саду поют-милуются птахи, пахнет свежими розами и только что скошенной травой, по веткам слив прыгают веселые солнечные зайчики.

Хорошо в консульском саду. Атаман, находясь там, становился самим собой, с лица его стиралось скорбное выражение, движения делались сильными и рассчитанными.

Во вторник тринадцатого числа Калмыков прибыл утром в консульство. Сопровождали его, как обычно, восемь жандармов с саблями и тяжелыми револьверами, гулко хлопавшими своих владельцев по тощим ляжкам. Кроме рядовых чинов, были и офицеры: помощник командира жандармского батальона, адъютант командующего войсками провинции Гирина и драгоман-переводчик — молодой, похожий на недоучившегося студента китайца, который военную форму предпочитал не носить, обходился штатской одеждой.

Встретил Калмыкова не Братцов, хотя обычно атамана встречал сам консул, а его заместитель Константин Васильевич Лучич. Гостеприимно распахнул дверь:

— Милости прошу...

Первыми, толпясь и шумно сопя, прошли жандармы, потом атаман и последними — командный состав, стараясь соблюдать порядок. Лучич, изобразив из себя старательного привратника, закрыл за китайцами дверь.

По обыкновению, консул накрыл стол с душистым китайским чаем и печеньем. Калмыков считался высоким гостем и это учитывалось в расходах консульства. Лучич широким движением руки пригласил всех в столовую:

— Прошу, прошу...

Жандармы ломанулись в столовую, Калмыков с легкой улыбкой — следом.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

После чая атаман встал, застегнул воротник своего потрепанного мундира, будто собирался на прием к высокому начальству:

— Господа, извините, мне нужно по малой надобности...

Помощник командира жандармского батальона взялся проводить его.

— Не беспокойтесь, прошу вас, — попробовал осадить ретивого жандарма Калмыков, но тот отрицательно мотнул головой, произнес коряво по-русски:

— Не можно.

— А что можно? — с усмешкой полюбопытствовал атаман.

— Цай пить можно. Печенье есть можно.

Атаман засмеялся и вышел в сад. В конце дорожки, присыпанной мягким рыжим песком, находилась уборная — чистенький ухоженный домик, обвешанный, чтобы отбивать дурной запах, пучками сухих цветов. Помощник командира батальона, жуя на ходу печенье, засеменил следом.

Калмыков зашел в туалет и с громким скрежетом закрыл дверь на тугую, едва влезавший в железную петлю крючок; китаец, продолжая жевать печенье, остался снаружи.

Было жарко, и по лбу у него катился пот. Неожиданно он забеспокоился, вскинул голову, застыл с напряженным блеском в глазах, в следующий миг уловил кряхтенье атамана за деревянной дверкой консульского нужника. Напряженный блеск, делавший его глаза какими-то чертенячьими, угас, лицо довольно расплылось. Он доел печенье и стал ждать атамана.

Через несколько минут он снова забеспокоился, затоптался на одном месте, хрустя мягким песком.

— Господин генерал! — позвал он, но в ответ ничего не услышал — ответом была тишина, прерываемая вскриками птиц, да тарахтеньем какой-то мелкой машиненки, проехавшей на медленном ходу за забором консульства. Китаец затоптался на песке энергичнее. — Господин генерал!

В ответ вновь ничего. Молчание. Китаец подскочил к двери нужника, ударил в нее кулаком:

— Эй! Господин генерал!

БҮРСАК В СЕДЛЕ

В уборной — никакого шевеления. Китаец мучительно сморщился, словно бы собирался заплакать, откинулся назад и с силой врубился плечом в дверь. Дверь устояла — была сколочена надежно. Китаец вновь врубился в нее плечом.

Минут через пять он все-таки справился с дверью и, разгоняя зеленых навозных мух, влетел в нужник.

— Эй!

В нужнике никого не было, противоположная стенка была разобрана — через нее атаман и совершил побег. Китаец жалобно захныкал, замахал руками...

Жандармы рассыпались по саду, двинулись цепью, тщательно исследуя, обыскивая каждый угол, но попытка эта оказалась тщетной — Калмыков будто сквозь землю провалился.

Вице-консул Лучич нашел в нужнике сложенную вчетверо записку, адресованную консулу Братцову, прочитал ее вслух: «Ставя интересы Родины выше всяких условностей, я просил 4 месяца и, не видя даже просвета к намерению освободить меня, решил использовать поездку к вам и удрать. Извиняюсь, но работа на благо Родины требует меня». Помощник командира жандармского батальона протянул к записке дрожащую руку:

— Дайте ее сюда!

Вверху, в углу листа, стоял черный типографический штамп «Атаман Уссурийского казачьего войска» — послание свое Калмыков начертал на официальном бланке...

— Дайте мне записку! — повторил просьбу китайский офицер. — Я приложу ее к следственному делу.

Лучич нехотя отдал записку и с сожалением покачал головой:

— Бедный Иван Павлович! Бедный...

Через несколько минут из жандармского управления прискакал конный взвод, оцепил территорию консульства. Жандармы произвели тщательное прочесывание, вторичное, ни один жучок, ни одна божья коровка не остались не замеченными... Атамана не обнаружили, он словно бы растворился в пространстве.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Затем жандармы, несмотря на то что не имели права производить обыск в помещениях, имеющих дипломатическую неприкосновенность, обыскали все комнаты и залы консульства.

Калмыкова не было и там, он исчез.

Вторник тринадцатого июля 1920 года стал для китайских жандармов «черным вторником». Чтобы хоть как-то оправдаться, они обвинили вице-консула Лучича в пособничестве побегу.

Лучичу пришлось писать объяснительную бумагу на имя русского посланника в Пекине князя Н.А. Кудашева. В Гириин был срочно командирован генконсул в Муклене С.А. Колоколов. Лучич написал вторую объяснительную записку — на этот раз на имя Колоколова, к ней приложил копию записки атамана, составленную по памяти.

По утверждению Лучича, в побеге атамана отчетливо виден японский след — подданные микадо не захотели оставлять в беде своего давнего друга.

Генерал Бао Гуй Цинь заявил недовольным голосом, что не верит своим подчиненным — их подкупили, чтобы они помогли Калмыкову бежать...

— А вы не допускаете, Константин Васильевич, что Калмыков мог бежать и в одиночку, без помощи японцев? — спросил Колоколов у Лучича.

— Допускаю. Побег из консульства технически очень несложен. Для этого надо только добраться до берега реки — река-то рядом... Много лодок, привязанных к кольям. Отвязывай любую и плыви куда хочешь: хочешь — в Харбин, хочешь — в Хабаровск. Ночью на Сунгари пусто — ни единого человека, ни одной лодки.

— Но бежал атаман все-таки из консульского сада...

— Он легко мог спрятаться в густой траве под мостиком, росточка-то он малого, — выждать, когда уляжется суматоха, и в темноте появиться на берегу Сунгари...

— Мда-а, — задумчиво протянул Колоколов и ничего больше не сказал: то, что он услышал, требовалось обмозговать, прикинуть разные варианты. Вид у Колоколова был больной: под глазами — потемневшие

БҮРСАК В СЕДЛЕ

мешки, на лбу — мелкий искристый пот. Колоколов поднял голову и внимательно поглядел на Лучича. — В конце концов, Константин Васильевич, нелепо и даже смешно подозревать вас в том, что вы помогли бежать арестованному атаману...

— Я тоже так думаю, ваше превосходительство!

Между тем Калмыков сумел укрыться в казарме консульства, в хозяйственной выгородке, специально приготовленной для него здешним плотником Пантелеем Каманиным (по происхождению из кубанских казаков), — выгородка была потайная, жандармы сколько не обыскивали помещение, ее не заметили, и о том, что Калмыков находится в консульстве, знал Братцов — Лучич находился в неведении... Да и самому Братцову сказали об этом не сразу.

Выходил Калмыков из своего убежища лишь ночью, стараясь быть невидимым и неслышимым, смотрел сквозь занавеску на медленную задумчивую луну, слушал звень комаров, висевших в воздухе, засекал движущиеся тени — это несли охрану жандармы, пост их до сих пор не был снят, — и вновь скрывался в своем убежище.

Посланник Кудашев прислал Братцову разносное письмо, но ничего с консулом сделать не мог и наказания большего, чем это письмо, придумать не мог — в России уже правил другой МИД, не царский, и назывался этот МИД диковинно, как-то по-эфиопски: наркоминдел.

Так минул июль двадцатого года, наступил август. Над городом Гириным повисли фруктовые ароматы — персиков, абрикосов, груш, яблук, слив; запахи переплетались, свивались в один воздушный жгут, повисали в пространстве; у людей от плотных запахов кружились головы, на глазах наворачивались благодатные слезы — тот год в Гирине был урожайным на фрукты.

подавали фрукты и атаману в его потайную коморку.

Душно было Калмыкову в этом крохотном, с тесными деревянными стенками убежище, не хватало воздуха, по ночам совершенно исчезал сон, и атаман лежал с открытыми глазами.

Для естественных надобностей у него имелся эмалированный горшок с крышкой — незаменимая вещь в таких случаях, но Калмыкову было

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

противно ходить в ночную посудину, пропахшую мочой. Почему-то именно запах мочи добивал атамана, действовал больше всего, он унижал его...

А китайцы до сих пор продолжали искать беглеца, вот упрямые!

Утром двадцать пятого августа в кабинет генерала Бао Гуй Циня аккуратно постучал адъютант. Генерал недовольно оторвался от бумаг, которые читал:

— Чего тебе?

— Господин генерал, с утренней почтой прибыло вот это, — адъютант согнулся в почтительном поклоне и положил перед Бао Гуй Цинем лист бумаги, на котором были наклеены вырезанные из английских газет крупные буквы.

— Что это? — брезгливо дернул верхней губой генерал.

— Анонимное письмо.

— Зачем оно мне? Отдай его в канцелярию!

— Письмо касается беглого атамана Калмыкова.

— Ну-ка, ну-ка, — в глазах генерала пробудился интерес, и он, ухватив письмо двумя пальцами, развернул его.

Текст письма гласил: «Калмыков скрывается казарме посольства между двумя перегорodkaми».

Генерал прочитал текст дважды, словно не верил смыслу, заложенному в этих незамысловатых клееных строчках, затем резко отодвинул бумагу от себя.

— Поднимай охранный взвод! — приказал он адъютанту.

От конторы генерала до русского консульства — рукой подать. Через десять минут охранный взвод — лучший в вооруженных силах провинции — окружил здание консульства. Бао Гуй Цинь, звякая серебряными шпорами, прошел в кабинет Братцова. Тому нездоровилось — простудился на свежем сунгарском ветру, — но находился на месте.

Увидев вошедшего в кабинет генерала, консул встал.

— Что случилось, генерал?

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Случилось, консул, — ответил тот в тон, — мы вынуждены обыскать все помещения консульства. Особенно те, где были какие-то переделки.

Братцов сразу не понял, к чему это приведет. В протестующем жесте он выставил перед собой обе ладони:

— Полноте, генерал! Уже добрые полсотни раз обыскивали...

— Я настаиваю, — нахмурил брови Бао Гуй Цинь, сделал знак жандармам, которые, как и солдаты, сопровождали его. — Начинайте!

Жандармы рассыпались по комнатам консульства — им важно было одновременно занять все помещения, чтобы Калмыков не имел возможности перейти с одного места на другое.

Потайную выгородку нашли быстро — чутье собачье имели, — и вскоре выволокли Калмыкова наружу.

— Ироды, дайте хоть сапоги на ноги надеть, — рычал тот, отбиваясь от насевших на него жандармов.

Сапоги атаману дали надеть, но не более того. Старший жандармского отряда не отходил от атамана ни на шаг, держал его за рукав.

Генерал Бой Гуй Цинь был доволен. Было слышно, как в консульском саду кричат птицы.

— Ну, что на это скажете, господин консул? — спросил Бао Гуй Цинь.

— Ничего, — спокойно ответил Братцев. Голос его был ровным и тихим, словно бы действительно ничего не произошло, хотя в глазах промелькнуло беспокойство. Промелькнуло и исчезло.

Генерал понимающе улыбнулся.

— Не огорчайтесь, господин консул — сказал он, — шансов укрывать Калмыкова дальше у вас почти не было.

Единственная вечерняя газета Гирина вышла с сообщением, что в здании русского консульства пойман важный государственный преступник Калмыков. В той заметке имелась строчка, которая повергла пойманного беглеца в уныние. «Скорее всего, по требованию советских властей Калмыков буден интернирован в Россию».

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

На этот раз атамана посадили в худшую камеру, какая имелась в здешней тюрьме: кроме клопов, в камере водились огромные, в полкулака величиной тараканы и жили три шустрые усатые крысы. Первый раз в жизни атаман поймал себя на том, что кого-то боится... Он боялся крыс: ведь эти твари могут сожрать человека живьем.

Ночью атаман гонял крыс развалившимся сапогом, но крысы оказались ловчее человека — сколько он ни пробовал попасть в какую-нибудь из них — ни в одну не попал, раздосадованно ругался: слишком уж ловкими и верткими были эти твари...

Держали Калмыкова на хлебе и воде, относились к нему пренебрежительно. В конце концов атаман почувствовал, что его начали покидать силы. Он свалился на топчан и заплакал.

Аня Помазкова тоже находилась в Гирине — проживала в комнате, которую ей предоставил агент хабаровского чека Бромберг — представительный, роскошно одевавшийся господин средних лет, с блестящими, цвета конопляного масла усами — Бромберг ухаживал за усами особенно тщательно, считался модным кавалером среди русских дам, проживавших в этом городе.

Связи Бромберг имел большие, в том числе и в жандармском управлении, и в администрации тюрьмы и в канцелярии самого Бао Гуй Циня.

Душным вечером первого сентября Бромберг пришел в Ане на квартиру, обмахнулся газетой:

— Жарко как! И солнце уже зашло, нет его, а припекает, как на печке.

Бромберг был наряжен в шелковую рубаху с коротким рукавами и легкие, сшитые из тонкого, хорошо выделанного хлопка брюки.

Аня молча смотрела на агента, ждала, когда он перейдет к делу — не ради же трех пустяковых фраз он заявился к ней... Бромберг вновь обмахнулся газетой:

— А вы как переносите жару, Аня, хорошо или плохо?

— Нормально.

Бромберг покашлял в кулак: хотя и была эта девушка нелюдима, но очень ему понравилась.

БУРСАК В СЕДЛЕ

Не хотите ли побывать в каком-нибудь местном ресторане? — спросил он. — В «Дыхании ветра над цветами лотосов», например, или в «Призывном крике молодой речной утки»?

— Нет!

— Неужели вам неохота выйти из дома, немного размяться, развлечься?

— Без дела — неохота.

— Дело, дело... — Бромберг рассмеялся с неожиданной печалью. — Так и жизнь пройдет — в думах о деле.

— Пусть, — равнодушно произнесла Аня.

— Ну что ж, давайте о деле, — сказал Бромберг. Печальные нотки исчезли из его голоса. — У меня есть сведения, что Калмыкова собираются перевести из Гирина в другой город.

— Куда именно?

— Этого я не знаю. Может быть, даже в Пекин. Известно одно — его под конвоем поведут из тюрьмы на вокзал.

— Интересно, интересно, — задумчиво произнесла Аня.

— Понятно одно — народу поглазеть на это сборище соберется много — не каждый ведь день по улицам Гирина водят русских генералов. Тут его и можно будет... — Бромберг звучно хлопнул газетой по крышке стола, словно бы расплющил муху, закончил с победной улыбкой: — атаковать.

— Когда это должно произойти?

— Дату я сообщу дополнительно.

Атамана били каждый день — китайцы умели это делать мастерски, — в камеру он возвращался с заплаканными от истязаний глазами и разбитыми губами. Долго лежал на деревянном жестком топчане, стонал, приходя в себя.

Вопрос, который интересовал его мучителей, был один, уже знакомый: куда он спрятал хабаровское золото? Вместо ответа Калмыков всякий раз выставлял вперед собой фигу и в следующий миг получал удар кулаком по лицу: вид фиги китайцев бесил. Калмыков сплевывал кровь на пол и, с трудом шевеля разбитыми губами, произносил едва слышно:

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

— Давайте следующий вопрос, господа хорошие!

Следовал еще один вопрос, также про хабаровское золото, и атаман вновь складывал пальцы в хорошо знакомую неприличную фигу, через несколько секунд он опять оказывался на полу с разбитым ртом.

Процедура повторялась изо дня в день — каждый раз одно и то же. Калмыков ощущал, что силы его тают, внутри все спекается, покрывается болезненными струпьями, еще немного — и он превратится в сплошной комок боли, осталось совсем немного — край, за которым находится бездна, совсем рядом. Он стонал, облизывал прокушенным языком губы и забывался. В забытии он оказывался в сияющем, подрагивающем невесть от чего, переливающимся пространстве, видел самого себя, невысокого, в шелковой рясе, перепоясанной кожаным ремнем, и ощущал, что его захлестывает плач, тело дергается от рыданий; сопротивляясь этому плачу, он плыл куда-то по воздуху; цепляясь руками за сучья деревьев, нырял вниз, к земле, но его подхватывал невидимый поток, не давал опуститься, и Калмыков вновь поднимался к облакам, надорванно сипел — в нем словно бы что-то надламывалось, рвалось; высота вызывала испуг, он давил этот испуг в себе и опять плыл, плыл по пространству, пытался приземлиться, но это у него не получалось.

И тем не менее, просыпался он воспрянувшим духом, отдохнувшим, с болячками, которые за несколько часов успевали засохнуть, и ожидал, когда его снова поволокут на допрос и все повторится опять... Сдаваться атаман не собирался, но, тем не менее, силы его продолжали таять, он слабел на глазах.

Через день Бромберг вновь появился у Ани Помазковой. В синих Аниных глазах зажглись злые блески:

— Что-то вы зачастили ко мне, товарищ Бромберг! Соседи могут подумать невесть что...

Бромберг на Анину колючесть даже не обратил внимания, произнес задыхаясь, словно бы после долгого бега:

— Третьего сентября Калмыков будет по этапу выведен из Гириной тюрьмы.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

— Третьего сентября — это пятница, — проговорила Аня быстро, лицо у нее обрадованно просветлело: на этот раз атаман не должен уйти...

— Пятница, — подтвердил Бромберг, — надо устроить так, чтобы пятница эта оказалась для душителя Дальнего Востока черной.

— Постараемся, товарищ Бромберг.

— Готовьтесь, товарищ Аня, — Бромберг высокомерно вскинул голову. — Я тоже буду готовиться.

Атамана вели к вокзалу под усиленным конвоем — несколько солдат с винтовками наперевес и жандармский офицер с обнаженным маузером в руке и таким злобным выражением на лице, что какая-то собака, неосторожно высунувшая голову из-под забора, тут же поспешила втиснуться обратно.

Народа на тротуар вывалило видимо-невидимо.

Калмыков шел тяжело, прихрамывая и оступаясь на выбоинах, шаг его был медленный, и со стороны было хорошо видно, какого напряжения стоит ему поход на железнодорожный вокзал. Солнце било атаману прямо в глаза, он жмурился, мучительно кашлял, хватался руками за грудь — было заметно, что он сильно болен.

На ногах у атамана красовались разбитые дырявые сапоги — новую обувь китайцы ему так и не купили... да, собственно, атаман уже и не просил; в его потухших глазах ничего, кроме равнодушия да сочувствия к самому себе, не было.

Там, где люди покидали тротуар и вступали на мостовую, образуя живые языки, из конвоя вперед выскакивал шустрый солдатик с крохотными светлыми глазами и, выставив перед собой винтовку с плоским штыком, загонял людей обратно. Он очень старался, этот шустрый солдатик...

Офицер, командовавший конвоем, иногда что-то выкрикивал; голос его был возбужденным, гортанным, враждебным; Калмыков на ходу тряс головой, выбивал застрявший в ушах звук и равнодушно ковылял дальше.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Неожиданно он увидел перед собой представительного, хорошо одетого господина с ухоженным лицом и блестящими от масла, тщательно расчесанными черными усами. Лицо этого господина странным образом увеличилось, заняло едва ли не все пространство перед атаманом, и Калмыков, вовремя сообразив, что это означает, сделал поспешный шаг в сторону, потом сделал еще два широких шага — действовал он интуитивно, тело само подсказывало ему, как надо поступать.

Черноусый господин выдернул из кармана дорогого пиджака небольшой револьвер — дамская модель, — и выстрелил в атамана.

Пуля пролетела у Калмыкова рядом с ухом, он ощутил ее убийственный жар, дернулся в сторону, черноусый выстрелил вторично и опять не попал. Он был плохим стрелком...

Успел он выстрелить и в третий раз — и снова мимо, пуля с басовитым шмелиным звуком пронзила пространство и растворилась в воздухе. Нажать на курок в четвертый раз черноусый не успел — к нему метнулся проворный солдатик, и с ходу, что было силы, пырнул стрелка штыком в грудь.

Стрелок вскрикнул по-вороньи резко и полетел на тротуар. Уже с земли он выстрелил в солдатика, попал ему в плечо.

Солдатик заблажил так, что солнце закачалось в небе, вторично ткнул черноусого штыком, затем всадил в него штык в третий раз — в уязвимое место, в горло. Черноусый захрипел, револьвер выпал из его руки; проворный солдатик, брызгая кровью, подналег на приклад винтовки, и черноусый перестал хрипеть.

Конвой с Калмыковым двинулся дальше.

Вокзал находился уже совсем недалеко. Калмыков вновь почувствовал опасность, обеспокоенно поднял голову и вгляделся в толпу, запрудившую улицу. Здесь, у самого вокзала, зевак было больше всего. Атаман сжался, заскользил глазами по лицам людей, стараясь понять, откуда исходит опасность, источника тревоги не нашел и невольно втянул голову в плечи.

Народу было много, опасность могла исходить от кого угодно — даже от той вон бабы с плоским грязным лицом и дымящейся самокруткой,

БҮРСАК В СЕДЛЕ

запечатавшей ей рот; и от тонконового низкорослого маньчжура с задранной вверх сальной косичкой, схожей с щенячьим хвостиком; и от плечистого темноволосого человека, явно приехавшего в Гирин с севера, из России, который с жалостью смотрел на обессиленного атамана — возможно, он видел Калмыкова совсем другим — пружинистым, резким, наполненным энергией, и теперь сравнивал его с человеком, которого видел сейчас...

Опасность могла исходить и от трех рослых, злобных на вид китайцев в выгоревших потертых рубахах, прикрывавших им колени, — китайцы стояли на тротуаре и оценивающе поглядывали на атамана; и от седого могучего человека с очень редкой, всего из трех волосков бороденкой, неряшливо прилипшей к груди; и от интеллигентной черноглазой дамочки, державшей в руках кожаную сумочку. В сумочке этой, сшитой из шкуры полоза, вполне мог оказаться пистолет.

Атаман снова сжался, усох в теле, сделался совсем маленьким, опустил голову.

Конечно, китайцев интересовало не только золото, хотя золото было главнее всего, — интересовала, например, и обстановка, в которой атаман отдал приказ потопить китайские канонерки.

Случилось это больше года назад. На свинцовой глади Амура неожиданно возникли две речные канонерки — точнее, одна была канонерка и довольно новая, еще не загаженная, не обляпанная рыбьей чешуей, а вторая — старое дырявое корыто с двумя пулеметами, установленными на носу и корме, канонеркой лишь считалась.

Шли канонерки, прижимаясь к российскому берегу, — Амур здорово обмелел, запросто можно было всадиться днищем в какую-нибудь косу, поэтому капитан головного корабля и лавировал, как мог, спасаясь от мелей.

Когда Калмыкову доложили о канонерках, он буквально рассвирепел и, ожесточенно рубанув рукой воздух, приказал:

— Потопить! Совсем обнаглели, басурмане...

С берега по судам пальнули из пушек, пушкарь, хоть и был криворуким и одноглазым, все же попал в головную канонерку и здорово

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

удивился этому — срубил мачту и смел с палубы какие-то тряпки, — китайцы поспешно свернули к своему берегу, задымили черными трубами и вскоре исчезли...

Вот и весь инцидент. Калмыков о нем уже забыл, а китайцы нет — все вспомнили и начали усердно рыть атаману новую яму.

Вполне возможно, что переводят его в другое место из-за этих вот канонерок и бестолковой стрельбы кривоглазого наводчика — было бы гораздо лучше, если бы тот потопил эти два ночных горшка, плававших под китайском флагом. Калмыков замедлил шаг — показалось, что пьянчужка с расхристанной головой и кривыми, кренделем сомкнутыми ногами сейчас выдернет из рваной рубахи тесак и кинется на него, но в следующий миг понял, что ошибается — пьянчужка даже не видел арестанта, и атаман убыстрил шаг.

Ноги у него ломило, скрипящие колени простреливала боль, дыхание осекалось, в сердце всаживались невидимые иголки, уколы их были очень острыми, в горле сидели кашель и изжога одновременно.

Думать о чем-либо, в том числе и о собственной кончине, не хотелось. Атаман поймал глазами камень с диковинными очертаниями, впаянный в полотно улицы, взгляделся в него и неожиданно похолодел — камень абрисом своим был похож на расстрелянного ординарца — ну точь-в-точь Гриня Куренев!

Он поискал глазами другой камень, в следующий миг поймал его, камень сам вошел в поле зрения: был он размерами поменьше, женственный, округлый. Калмыков всмотрелся, и вновь по коже брызнули, разбегаясь в разные стороны ледяные мурашки — это же тетка Наталья Помазкова, она... Точно она! Атаман поморщился, раскрыл пошире рот, пытаясь захватить хотя бы немного воздуха, но воздуха не было и Калмыков, задыхаясь, впустую зашевелил губами...

Еле справился с немощным состоянием. А на глаза попался, как на удочку, третий камень. И камень этот также напоминал кого-то знакомого. Калмыков часто заморгал ресницами, напрягаясь, силясь понять: кто это?

БҮРСАК В СЕДЛЕ

Господи, да это же Васька Голопупов, мыслитель местного значения, напрочь исчезнувший из поля зрения атамана: то ли он дезертировал, то ли погиб в какой-нибудь пьяной драке, то ли с ним произошло еще что-то, Калмыков не знал — просто был человек и неожиданно исчез... Смело его, будто по мановению волшебной палочки — пфу! — был человек и не стало его.

Не хотелось никого видеть, никого и ничего, и уж тем более — камни, превратившиеся в скорбные лики живых когда-то людей, — вид их вызывал у Калмыкова досаду и отнимал последние силы.

Он сделал несколько неровных шагов, споткнулся и упал на одно колено, правое — сил не было уже совсем. Жандармский офицер, взмахнув маузером, пробормотал что-то невнятно, возмущенно и глухо; стремительно, будто птица, подлетел к атаману и ухватил его за воротник кителя. Резко дернул, ставя пленника на ноги.

Воротник затрещал, грозя оторваться, но нитки оказались крепкими, крепким было и тонкое, специальной выделки сукно, воротник выдержал, и атаман, шатаясь, поднялся на ноги, повернулся к жандармскому офицеру с невидящим лицом.

— Сука, как ты обращаешься с русским генералом? — выдавил он из себя страшным свистящим шепотом.

В следующее мгновение он выхватил из рук жандарма маузер и выстрелил. Пуля попала офицеру в плечо, враз превратив его в кровавый кусок мяса, китаец пролетел несколько метров по воздуху и плашмя влетел в онемевшую толпу зевак — удар свинца был страшен. Калмыков подкинул в руке маузер и врубился в толпу следом.

Солдаты кинулись за ним.

Атаману удалось разрезать людскую мешанину своим маленьким исхудавшим телом, будто ножом, — и откуда только силы взялись, — миновав тротуар, он с лету одолел хлипкую штакетниковую загородку, смял сапогами грядку с ягодами, недавно заботливо политую хозяйкой, потом еще одну грядку, также сырую от полива, вновь одолел низкий, сколоченный из непрочных досок заборчик и услышал, как сзади громыхнул выстрел.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Пуля просвистела у атамана над головой, прошла высоко, и Калмыков с удовлетворением отметил, что стрелки из китайцев плохие, руки у них не из того места растут. И глаза здорово косят...

По дороге попалась глубокая канава, в которой дрыхнул, наслаждаясь сном и сытой жизнью, длиннорылый пятнистый поросенок с белыми, будто бы выгоревшими ресницами. Калмыков попытался с ходу одолеть канаву, но неудачно — сапогом скovyрнул глиняную закраину, и в поросенка полетели жирные влажные комки. Свин заблажил отчаянно, словно бы его пытались вторично охолостить, и бросился вслед за атаманом.

Но бежал недолго — лень было бежать, — вновь вернулся в свою теплую канаву. За спиной у Калмыкова прозвучали два выстрела, почти слившиеся в один, — и опять мимо. Атаман даже не услышал жужжания пуль, на ходу прохрипел удовлетворенно:

— Молодцы, китаезы!

Он снова перемахнул через низкий непрочный заборчик. Ноги его, попавшие на сырую проплешину, разъехались в разные стороны, и атаман чуть не свалился на землю, захрипел. Развалившиеся сапоги захлюпали. Ноги вольно бултыхались в обуви, бежать было тяжело.

У него не было плана побега, все произошло сиюминутно, без всякой подготовки. Главное сейчас было — оторваться от преследования и скрыться где-нибудь в кустах, отсидеться там до темноты, а ночью выйти на берег Сунгари, отвязать китайскую лодчонку и уплыть на ней куда глаза глядят. Подальше от этого проклятого грязного городка.

Сзади гроыхнул еще один выстрел. Калмыков почувствовал буквально своим затылком, дернулся, пригибаясь, — сделал это запоздало, — выскочил в узкий, застеленный мелкими непрочными досками проулок.

По проулку шла женщина. Русская, синеглазая. Калмыков на мгновение остановил на ней взгляд, отметил, что это — землячка, из России, и тотчас ощутил сильную тревогу — где-то он видел ее ранее, женщину эту... Но где? Этого атаман не знал, не мог вспомнить, в голове его

БҮРСАК В СЕДЛЕ

звонкими молоточками забились мысль: где, где, где он видел ее? Где? Очень уж знакомое лицо. Он встречал эту синеглазую в той, прошлой жизни. Обращался к ней накоротке, ходил по одной дорожке... Но где? В Хабаровске, во Владивостоке, в Никольске-Уссурийском?

Этого Калмыков не мог вспомнить: на лице его появилась слабая виноватая улыбка, он глянул на синеглазку и невольно зажмурился: синеглазка рывком распахнула изящную, предназначенную для походов в ресторан сумочку, в которую вряд ли что, кроме носового платка, могло влезть, и выхватила из нее револьвер.

Револьвер был небольшой, с укороченным стволом, производил он впечатление ненастоящего — обычный дамский пугач, не больше. Атаман и принял его за пугач, взмахнул рукой, в которой был зажат маузер и о котором он забыл, разъехался ногами на тротуаре и чуть не растянулся. Это было важнее, чем какая-то дамочка с пугачом, — что не растянулся.

Дамочка тем временем подняла револьвер. Калмыков недоуменно глянул на нее, словно бы пытался понять, чего она хочет, и одновременно — вспомнить, где же он ее видел? — но не вспомнил, и по лицу его пробежала тень.

Ствол револьвера украсился зеленовато-оранжевым бутоном — атаман резко наклонился вперед, ложась на воздух, в следующее мгновение чудовищная сила приподняла его, поставила на ноги, и он ощутил в груди резкую, ошпаривающую, будто крутым кипятком, боль.

Он еще раз недоуменно глянул на дамочку — чего же такого он ей сделал, что она причиняла ему такую непереносимую боль? Красивое лицо женщины дрогнуло у него перед глазами, поползло в сторону, расплылось, потом вновь сфокусировалось в одной точке, превратилось в пятно и сделалось четким.

Калмыков одолел боль, перевел дыхание и спросил дамочку едва слышно:

— За что?

Ему показалось, что дамочка выстрелит в него вновь, добьет, но женщина медлила, не стреляла. В этот момент атаман узнал ее, вспомнил

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

зимнее заснеженное Гродеково, прохладную избу, которую следовало хорошенько протопить, и за это взялась наивная тоненькая девчонка с яркими синими глазами.

Это была Аня Помазкова.

— Стреляй еще, — слабо просипел атаман, — чего медлишь? Добей меня!

Аня отрицательно качнула головой и молвила спокойно:

— Зачем? Вы и так уже мертвы, Иван Павлович!

И все-таки выстрел раздался. За спиной Калмыкова послышался топот, крики, один из преследователей пальнул в атамана из винтовки. Калмыков волчком развернулся вокруг своей оси и чуть не упал, но все же устоял на ногах. Высокое небо над ним накренилось вместе с островерхими шапками деревьев и птицами, сидевшими на ветках, выпрямилось, потом опять накренилось.

А где же стрелявшая в него женщина, куда она подевалась? Ее не было. Зато Калмыкова должны были вот-вот настигнуть солдаты. Топот их ног делался все ближе и ближе.

Атаман застонал, сделал один неловкий шаг, зашатался, попробовал опереться руками обо что-то, попытка оказалась тщетной, он сделал еще один шаг, совсем крохотный, сделал его через силу, сплюнул на землю кровью и попросил Аню, хотя ее уже не было перед ним — растаяла, растворилась в пространстве:

— Добей меня! Я не хочу попадаться этим... — он повел головой назад, себе за спину, — не хочу попадаться живым.

В следующее мгновение он согнулся пополам и вот так, калачиком, ничком, ткнулся головой в тележную колею, которую так и не удалось одолеть, — с удовлетворением подумал о том, что вряд ли теперь китайцы узнают тайну хабаровского золота, отныне оно вообще будет запечатано от них прочно, они никогда не найдут его — атаман запрятал клад так хитро, что его вообще невозможно раскопать, — на губах у Калмыкова появилась улыбка, он вжался лицом в сырую теплую землю и затих. Изо рта у него выбежала проворная красная струйка, нырнула в тележный след и покатила вниз по уклону, собралась в углублении в крохотное

БҮРСАК В СЕДЛЕ

страшноватое озерцо, просочилась вниз, в глубь земли, которая была для атамана чужой и враждебной.

Под ним, перед лицом, вдавленным в землю, плыли облака, он словно бы взмыл вверх и теперь касался их обнаженными ступнями; белая чистая вата щекотала ему пятки, и Калмыкову, ставшему неожиданно маленьким, на себя не похожим, ни с того ни с сего захотелось засмеяться — хорошо ему было...

Боль исчезла, он чувствовал себя легко, свободно, на губах его родилась и застыла счастливая улыбка.

А потом пространство перед Калмыковым подернулось серой рябью, потускнело, отдалилось, стягиваясь, словно послушная ткань, к горизонту, затем и вовсе потухло.

Атамана не стало.

Уже после смерти Калмыкова в местных газетах появились сообщения о том, что китайские чиновники приняли решение о передаче атамана в руки русских властей во Владивостоке и намерелись перевести его из Гирина не в Мукден, хотя об этом уже было сообщено консулу Братцову, а в Пекин через город Чанчунь. Распоряжение поступило от генерал-губернатора Гиринской провинции Пао Квей-синга.

Первое сообщение о том, что атаман убит, появилось в начале сентября на телеграфных лентах вездесущего агентства Рейтер. Агентство сообщило всему миру, что Калмыкова посадили на вокзале в Гирине в поезд и под усиленным конвоем, которым руководил полковник Соу, отправили в непростую и долгую дорогу.

По пути поезд остановился на станции Калачи⁷ в десяти милях от Гирина на запад, где атаман Калмыков сделал попытку бежать. Выдернул у полковника револьвер прямо из рук и бросился в заросли высоченного гаолянового поля, начинавшегося неподалеку от станционных зданий.

⁷ Ныне станция Иляши.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Солдаты, конвоировавшие атамана, кинулись следом, окружили поле. Завязалась ожесточенная перестрелка, во время которой атаман и был убит.

Через некоторое время газета «Норд Чайна Дейли Ньюс» выступила со статьей, в которой сообщила, что агентство Рейтер дало информацию, мягко говоря, не совсем точную. Соврало, бишь. Китайская газета специально подчеркнула, что атаман был действительно отправлен из Гирина в Мукден, но только по обычной проселочной дороге, а не по железной. Это было сделано для того, чтобы избежать Южно-Манчжурской ветки, которую контролировали русские специалисты и где могло случиться все что угодно, вплоть до налета на поезд и похищения атамана, а уже из Мукдена Калмыкова перевезли в столицу Поднебесной по Мукдено-Пекинской ветке. Этой дорогой полностью управляли китайцы.

Повезли Калмыкова без особых удобств в фургоне, в которых привыкли разъезжать бродячие цирковые артисты, а чтобы атаман был всем виден, с фургона сняли матерчатое полотно, так что важный пассажир ехал открытым, под палящим солнцем, от которого могли запросто закипеть мозги.

Вот мозги у Калмыкова, похоже, и закипели. Поскольку атаман не был связан, ехал вполне вольно не связанный веревками, то он выхватил у офицера, ехавшего рядом, карабин, поспешно передернул затвор и выстрелил.

Произошло это в ста ли⁸ юго-западнее от Гирина, около одной небольшой деревушки. Офицер был легко ранен, Калмыков перепрыгнул через борт фургона и скрылся на просянном поле.

Поле немедленно окружили солдаты. Завязалась перестрелка. Патронов у Калмыкова было мало — только те, что находились в обойме, и вскоре стрельба прекратилась. Атамана выволокли из стеблей проса и связали.

Далее, как сообщала газета «Нью Чайна Дейли Ньюс», сведения к ним в редакцию поступали противоречивые. По одним сведениям, ата-

⁸ Ли — мера длины, менее километра.

БҮРСАК В СЕДЛЕ

мана расстреляли на краю просяного поля расвирепевшие китайские солдаты, по другим — застрелил офицер, когда атаман, выясняя что-то, бросился на него.

Восьмого сентября 1920 года слухи о гибели атамана получили официальное подтверждение — была опубликована телеграмма Пао Квейсинга, гиринаского генерал-губернатора...

Как же сложилась судьба людей, которые шли в те годы по жизни рядом с Калмыковым? О многих, к сожалению, неизвестно ничего — время похоронило и их самих и свидетельства их деятельности. Увы, ничего тут не поделывать, таков закон бытия — все, связанное с нами, рано или поздно уходит в могилу.

Полковнику Савицкому, например, повезло. Он благополучно дожил до старости. Вскоре после гибели Ивана Павловича получил от атамана Семенова чин генерал-майора и продолжал служить в эмиграции на разных штабных должностях.

Непримиримый противник Калмыкова Гавриил Матвеевич Шевченко был награжден орденом Красного Знамени, в тяжелой молотилке Гражданской войны остался жив. Погиб он уже в 1937 году, во время массовых репрессий. Был расстрелян, и где могила его, никому не ведомо. Как неведомо, где могила и самого Калмыкова.

Хорошо известна судьба эпизодического героя этого повествования — бесстрашного партизана Максима Крединцера. Человек, имевший характер довольно жесткий, неуступчивый, бойцовский, пользовался среди земляков большим авторитетом, — в своем родном селе Новоивановке он, например, стал первым колхозником, первым вступил в коллективное хозяйство и отдал все свое имущество (а имущество это было, замечу, немалое) в общий котел. После него новоивановцы гурьбой повалили в колхоз.

В 1936 году в Новоивановку приехал священник крестить детей. Знакомых у священника не было, остановиться на ночлег было не у кого, поэтому Максим Крединцер приютил его у себя в доме.

За это Крединцера, героя Чудиновского боя, где крупный отряд самураев был наголову разбит партизанами отряда Драгошевского,

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

арестовали. Дали пять лет тюрьмы, а после освобождения запретили возвращаться в Новоивановку — дескать, район этот военный, граница недалеко, — и сослали в Сибирь.

Крединцер потерял свою семью.

Кстати, в 1938 году еще пять человек из Новоивановки были сосланы в Сибирь — карательная машина той поры работала бесперебойно.

Долгое время Крединцер жил под Красноярском, на станции Сорокино. За стенами его дома, который он срубил сам, своими руками, начиналась дремучая тайга.

В Амурскую область, где располагалась его родная Новоивановка и где находилась его усадьба — она цела до сих пор, — Крединцер смог вернуться лишь тридцать лет спустя, и до конца дней своих недобрыми словами вспоминал момент, когда его под конвоем увели из деревни, но жить в Новоивановке не смог и купил себе небольшой домик в городе Свободном.

Жил долго, довольно счастливо, с женой, взятой из семьи ссыльных поляков, которую вся улица звала бабой Висей (первая его жена тоже была Висей); в Свободном он и умер. Похоронен на городском кладбище.

Город Никольск-Уссурийский — столица казачьего войска — был переименован, через некоторое время стал Ворошиловым, но потом и это имя стерли с карты, стал Никольск просто Уссурийском.

Недавно я побывал в Уссурийске. Город как город, хотя мало какие дома и улицы в нем помнят прошлое — ведь столько лет прошло...

В Уссурийске когда-то давно, еще мальчишкой, жил славный человек — Геннадий Петрович Турмов, писатель, профессор, доктор технических наук, до последнего времени — ректор Дальневосточного технического университета (сейчас он перешел на почетную должность президента ДВГТУ), депутат законодательного собрания Приморского края. Турмов и помог мне разобраться в сложных событиях той давней поры, когда атаман Калмыков был в большой силе в расстановке «шахматных фигур» на КВЖД и в дальневосточных городах; помог мне Ген-

БУРСАК В СЕДЛЕ

надий Петрович и с материалами, поскольку в Москве ни документов, ни материалов об атамане Калмыкове не оказалось совершенно.

В частности, он прислал мне исследования хабаровского ученого-краеведа Сергея Савченко, посвященные Ивану Павловичу Калмыкову. Материалы эти очень помогли мне в работе. Как помогли и советы приморского прозаика Льва Николаевича Князева, в свое время написавшего повесть о последних днях жизни Ивана Калмыкова. Спасибо вам, друзья! Если бы не вы, книги этой, наверное, и не было бы — слишком много белых пятен имелось в биографии атамана, и препятствие это было бы просто непреодолимым.

Ставку свою Калмыков, как мы знаем, делал на японцев — под давлением читинского атамана Семенова, что конечно же было неверно. Но Семенов — человек крутой, не любивший, чтобы кто-то при нем высказывал свою собственную точку зрения, все последние годы открыто наставлял уссурийского предводителя:

— Дружи с японцами! Эти не подведут... В сторону американцев не смотри. Американцы далеко, а япошки близко.

Кстати, именно американцы помогли белым отстоять Сибирь и Дальний Восток. Не дали распространиться по тамошним просторам слишком настырным японцам. Делали они это, наверное, для того, чтобы девяносто лет спустя Мадлен Олбрайт — госсекретарь США, или, в переводе на наш язык, министр иностранных дел, полуславянка по происхождению, могла произнести следующую колючую и совсем недипломатичную фразу:

— Несправедливо, что Сибирь принадлежит одним русским...

Уж слишком далекий прицел высвечивался у этой мадам, уж слишком большой рот оказался у широкозадой матушки Олбрайт: дали бы ей возможность, она проглотила бы не только Сибирь...

Ее преемница Кондолиза Райс на одной из конференций озвучила некоторые факты и цифры из того, ставшего уже далеким времени.

Оказывается, наши союзники по Первой мировой войне — англичане — предлагали японцам в январе 1918 года «оккупировать Транссибирскую магистраль от Владивостока до точек соприкосновения в Европе». Вот такие у России были союзнички. Подленькие, добра не помнящие.

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Если бы не американцы, Япония так и поступила бы. Это они сунули подданным кулак под нос, это они с грозным рычанием стукнули ладонью по столу:

— Однако не смей!

И японцы, разинувшие было жадный рот, притихли: американцев они боялись — эти люди из-за океана, если захотят, Страну восходящего солнца без особых усилий на колени поставят, не говоря уже о винтовках и пулеметах.

Когда японцы напечатали иены для сибирской оккупационной зоны, государственный секретарь США Лансинг вызвал к себе японского посла и молча погрозил ему пальцем.

Японский посол все понял и, кланяясь низко, выдавил себя задом из кабинета с высокими потолками. Отпечатанными иенами в Японии пришлось топить печи.

А вот точные данные о количестве интервентов, находившихся на Дальнем Востоке и в Сибири на пятнадцатое сентября 1918 года. Я их частично уже приводил, сейчас же хочу привести полностью, да и повторение, говорят, мать учения и вообще, это хорошая наука на будущее. Слишком уж многое позволяли себе Семенов Григорий Михайлович, Калмыков Иван Павлович и им подобные. Фактически они продавали Россию по частям.

Американцев было 8477 человек; англичан 1429; итальянцев 1400; французов 1076; японцев — шестьдесят тысяч.

Я уже не говорю о чехословаках, которые объединились в могучий кулак и творили беспредел — такой беспредел, что в некоторых местах Сибири до сих пор кашляют и чихают, вспоминая их, — этих было более миллиона. Вот сколько.

О кровавом следе, который они оставили после себя, почему-то не говорят, молчат. Видать, в силу природной славянской стеснительности или в угоду неким политическим соображениям.

Ох, уж эта политика! Нас предают, над нами издеваются, нам плюют в лицо, нас убивают, а мы вместо того, чтобы достойно ответить, лишь глупо улыбаемся, да после удара по правой щеке подставляем щеку

БҮРСАК В СЕДЛЕ

левую — для равновесия. Хорошо, что так не всегда бывает — (вспомним события в Южной Осетии и грузинских вояк, получивших по заду после нападения на Цхинвали и уничтожения наших миротворцев), иначе ютиться бы ныне России где-нибудь на земле Франца-Иосифа или Новосибирских островах...

В Китае я был в последние годы дважды — в основном в тех местах, что так или иначе связаны с русскими, с русской историей и русскими именами. Впечатление осталось, увы, удручающее.

Дружелюбные улыбчивые китайцы старательно уничтожают у себя то, что так или иначе связано с Россией. В Харбине из двадцати трех православных храмов работает один — Покровский, да и тот открывается лишь по большим праздникам — на Пасху, на Троицу да на Рождество Христово.

Когда мы находились в Харбине, то отец Алексей Курахтин, священник катакомбной православной церкви, решил отслужить службу на Троицу, — для этого специально привез из Москвы облачение, свечи, просвиры, все необходимое для службы. Так батюшке под видом того, что не отыскали какого-то районного чиновника, не разрешили провести праздничное богослужение.

В Святой Софии — главном харбинском храме — ныне расположен музей истории города, в других храмах — другие «музеи»...

Иконы с алтаря главного харбинского храма перенесены в подвал, обитают теперь там. Все русские таблички сняты, надписи стерты, из брусчатки выковыривают даже водопроводные люки со старой русской маркировкой, словно бы мы никогда тут и не были. И КВЖД не мы построили, и город Харбин возвели не мы...

А прошлое забывать нельзя. Как нельзя забывать и атамана Калмыкова, каким бы он ни был: плохим или хорошим; как нельзя забывать генералов Унгерна Романа Федоровича и атамана Семенова, советских полководцев Василия Константиновича Блюхера и Сергея Георгиевича Лазо, партийца Павла Петровича Постышева и царского полковника Владимира Клавдиевича Арсеньева... Это — наше прошлое, наша история, не всегда, может быть, удачная, но это было, было, было, и никому

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

не дано вычеркнуть эти страницы и этих людей из большой книги, именуемой Жизнью.

Над Уссурийском плывут легкие кудрявые облака, устремляются на юг, в Китай. Вполне возможно, их зовет мятущаяся душа Ивана Калмыкова. Ведь гораздо лучше было бы, если б он лежал на родине, в России. Не то ведь у него даже могилы своей нет...

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.....	3
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.....	130
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.....	378

Новый захватывающий роман известного российского писателя Валерия Поволяева рассказывает об одном из наиболее трагических эпизодов российской истории — Гражданской войне на Дальнем Востоке. В центре повествования — яркая, короткая и трагичная судьба войскового атамана Уссурийского казачьего войска, генерал-майора Ивана Павловича Калмыкова (1890—1920), который стал одним из самых непримиримых борцов с советской властью на Дальнем Востоке. Части Калмыкова контролировали Транссибирскую магистраль на протяжении от Никольска-Уссурийского до Хабаровска. В феврале 1920 года, после поражения армии Колчака атаман Калмыков ушел в Маньчжурию, где вскоре был арестован китайской жандармерией и расстрелян.

ISBN 978-5-9533-5071-6



9 785953 350716

